ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (14)

ИЮНЬ—ИЮЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Москва. Главлит № 9838. 10.000 экз.

„Мосполиграф", 16-я типография, Трехпрудный, 9.

Автобиографические рассказы.

М. Горький.

(Продолжение).

Очень памятны мне вечера в маленькой, чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями; на столе, в углу, горит лампа, перед нею крутолобый, гладко остриженный человек с большой бородою, он говорит спокойно:

— Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота...

Трое мужиков слушают внимательно, у всех — хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, что слышит только он один; Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо:

— Значит, все-таки была нужда народу разбиться на сословия.

Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя.

Кончится беседа,—я иду к себе, на чердак и сижу там, у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, так же молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина...

Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, и, постепенно, я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле...

Жизнь села встает предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но—я вижу мужиков в непрерывном, каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе и почти совсем нет веселых людей. Мастеровые и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как

эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой,—она требует напряженного внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И не сердечна эта, бедная разумом жизнь,—заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу,—что-то волчье есть в них.

Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех „наших“,—людей, которые хотят жить разумно.

Я отчетливо вижу преимущества города: его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда в такие ночи мне вспоминается двое горожан:

„Ф. Калугин и З. Небей.

„Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее“.

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина. По сторонам двери—пыльные окна. У одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на желтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седою щеткой усов. У другого окна—З. Небей, курчавый, черный, с большим, кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и, порою, неожиданно кричит басом:

— Тра-та-там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колеса, аристоны, глобусы; всюду на полках—металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но мое длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками—гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю:

— Какое счастье уметь все делать!

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить все на свете. Это—люди!

А деревня не нравится мне, мужики непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезнь; у них что-то „подкатывает к сердцу“, „спирает в грудях“ и постоянно—„резь в животе“,—об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой, глиняной корчаги, ценою в двенадцать копеек, три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю.

Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними: поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подолы мочалой над головами. Это называется „пустить девку цветком“.

По пояс обнаженные снизу девицы визжат, ругаются, но, кажется, им приятна эта игра—заметно, что они развязывают юбки свои медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной, парни щиплют девицам ягодицы,—кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп с амвона говорил:

— Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?

— На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии,—рассказывает Ромась,— а здесь, под верою в Бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренной любви к Богу, восхищения красотою и силой его—у здешних нет. Это, может быть, хорошо: легче освободятся от религии, она же—вреднейший предрассудок, скажу вам.

Парни хвастливы, но—трусы. Уже раза три они пробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я прихрамываю, он сам догадался в чем дело.

— Эге, все-таки—получили подарок? Я ж говорил вам.

Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но, все же, иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там, под ветлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз и за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отраженными мертвой луною. Я не люблю луну, в ней есть что-то зловещее и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завыть. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва и нет, и не может быть жизни на ней. До этого я представлял ее населенной медными людьми; они сложены из треугольников, двигаются как циркули и уничтожающе, великопостно звонят. На ней все—медное: растения, животные,—все непрерывно, приглушено звенит, враждебно земле, замышляет злое против нее. Мне было приятно узнать, что она—пустое место в небесах, но, все-таки, хотелось бы, чтоб на луну упал большой метеор, с силою, достаточной для того, чтоб она, вспыхнув от удара, засияла над землей собственным светом.

Глядя, как течение Волги колеблет парчевую полосу света и, зарожденное где-то далеко во тьме, исчезает в черной тени горного берега,—я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острей. Легко думается о чем-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днем. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По темной, широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в огненном оперении, мягкий шум течет вслед за ним как трепет тяжелых крыльев. Под луговым берегом плавает огонек, от него по воде простирается острый красный луч—это рыбак лучит рыбу, а можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звезд и носится над водою огненным цветком.

Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, воображение неустанно ткет картины бесподобной красоты, и точно плывешь в мягком воздухе ночи вслед за рекою.

Меня находит Изот,—ночью он кажется еще крупнее, еще более приятен.

— Ты опять тут?—спрашивает он и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит, глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шелк золотистой бороды.

Потом—мечтает:

— Выучусь, начитаюсь,—пойду вдоль всех рек и буду все понимать! Буду учить людей. Да! Хорошо, брат, поделиться душой с человеком. Даже бабы,—некоторые,—если с ними говорить по душе—и они понимают! Недавно одна—сидит в лодке у меня и спрашивает: а что с нами будет, когда помрем? Не верю—говорит—ни в ад, ни в тот свет. Видал? Они, брат, тоже...

Не найдя слова, он помолчал и, наконец, добавил:

— ...живые души...

Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней,—тихими словами мечтающего ребенка. В Бога он веровал без страха, хотя и церковно, представлял его себе большим, благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла только потому, что не поспевает он, больно много человека разродилось. Ну — ничего, он — поспеет, увидишь. А вот Христа я не могу понять — никак. Ни к чему он для меня. Есть Бог, ну, и — ладно. А тут — еще один. Сын, говорят. Мало ли что — сын. Чай Бог-то не помер...

Но чаще Изот сидит молча, думая о чем-то, и лишь порою говорит, вздохнув:

— Да, вот оно как...

— Что?

— Это я про себя...

И снова вздыхает, глядя в мутные дали...

— Хорошо это — жизнь.

Я соглашаюсь.

— Да, хорошо!

Могуче движется бархатная полоса темной воды; над нею изогнуто простерлась серебряная линия Млечного пути, сверкают золотыми жаворонками большие звезды; и сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни.

Далеко над лугами из красноватых облаков вырываются лучи солнца, и — вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост.

— Удивительно это — солнце!— бормочет Изот, счастливо улыбаясь.

Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дегтя и навоза. Сотни

цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от изб села в поле. В лунные ночи, при легком ветре, мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые, тяжелые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днем задорно дразнились скворцы, и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный, нежный звон свой.

По праздникам, вечерами, девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался точно пьяный, он похудел, глаза его провалились в темные ямы, лицо стало еще строже, красивей и — святей. Он целые дни спал, являясь по улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущенно ухмыляясь, говорил:

— Молчи, знай! Что поделаешь?

И восхищался:

— Ой, сладка жизнь! И, ведь, как ласково жить можно, какие слова есть для сердца. Иное — до смерти не забудешь, воскреснешь — первым вспомнишь.

— Смотри, побьют тебя мужья,—предупреждал его Хохол, тоже ласково усмехаясь.

— И — есть за что,— соглашался Изот.

Почти каждую ночь, вместе с песнями соловьев, разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий, волнующий голос Мигуна,— он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему.

Вечерами, по субботам, у нашей лавки собиралось все больше народа и — неизбежно — старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, Мигун. Сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие, и так — почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других — солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орет натужно, хрипло:

— Хохол, вредная нация, турецкая вера! Отвечай — почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человечий! Отвечай — кто ты таков есть?

Его дразнят:

— Мишка,— ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?

Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают в овраг,— катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо:

— Караул! Убили...

Потом вылезает весь в пыли, и просит у Хохла на шкалик водки.

— За что?

— За потеху,— отвечает Костин. Мужики дружно хохочут.

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи

и вышла на двор, а я был в лавке — в кухне раздался сильный взрыв, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню,— из двери ее в комнату лезли черные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало. Хохол схватил меня за плечо:

— Стойте...

В сенях завыла кухарка.

— Э, дура...

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:

— Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

— Осторожней!—сказал Хохол, ведя за руку кухарку, и, втолкнув ее в комнату, скомандовал:

— Запри лавку! Осторожнее, Максимыч, может и еще взорвет...

И присев на корточки, он стал рассматривать круглые, еловые поленья, потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда.

— Что вы делаете?

— А — вот!

Он протянул мне странно разорванный кругляш и я увидал, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

— Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну, что можно сделать фунтом пороха?

И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря:

— Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы ее...

Кисловатый дым разошелся,—стало видно, что на полке перебита посуда, из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи — вырваны кирпичи.

В этот час спокойствие Хохла не понравилось мне,— он вел себя так, как будто глупая затея нимало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели их голоса:

— У Хохла пожар! Горим!

Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья.

— В лавку ломятся, Михайло Антоныч.

— Ну, ну, тихо!— говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду.

В открытое окно комнаты, смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, щурились глаза разъедаемые дымом и кто-то возбужденно, визгливо кричал:

— Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, Господи?

Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и — не мог,— в правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась.

Держа в руке полено, Ромась спросил его:

— Куда ты?

— Тушить, батюшка...

— Так нигде же не горит...

Мужик, испуганно открыв рот, исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе людей:

— Кто-то из вас, мужики, начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло...

Я стоял сзади Хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо рассказывает:

— Как он размахнется на меня поленом...

А солдат Костин, уже выпивший, кричал:

— Выгнать его, изувера! Под суд...

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова:

— Для того, чтоб взорвать избу надо много пороха,— пожалуй — пуд! Ну, идите же...

Кто-то спрашивал:

— Где староста?

— Урядника надо!

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то.

Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая как никогда и, сочувственно поглядывая на Ромася, говорила:

— Не жалуетесь вы на них, вот они и озорничают!

— Не сердит вас это?— спросил я.

— Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Я подумал: если б все люди так спокойно делали свое дело!

А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивал, какие книги привезти?

Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует — как в часах — некий механизм, заведенный сразу на всю жизнь. Я любил Хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтоб однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими, холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное.

Так, он спросил Суслова:

— Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?

Желтые щеки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет,—казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос.

— Ведь,—нет для вас пользы в этом, а уважение вы потеряете.

Суслов, опустив голову, согласился:

— Верно—нет пользы!

И потом говорил Изоту:

— Это—душеводитель! Вот эдаких бы подобрать в начальство...

... Кратко, толково Ромась внушает что и как я должен делать без него, и мне кажется, что он уже забыл о попытке попугать его взрывом, как забывают об укусе мухи.

Пришел Панков, осмотрел печь и хмуро спросил:

— Не испугались?

— Ну, чего же?

— Война.

— Садись чай пить.

— Жена ждет.

— Где был?

— На рыбалке. С Изотом.

Он ушел и в кухне еще раз задумчиво повторил:

— Война.

Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всем важном и сложном. Помню,—выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасем, Изот сказал:

— Скушный царь!

— Мясник,—добавил Кукушкин,—а Панков решительно заявил:

— Ума особого не видно в нем. Ну, перебил он князей, так—на их место расплодил мелких дворянишек. Да еще чужих навез, иноземцев. В этом—нет ума! Мелкий помещик хуже крупного. Муха—не волк, из ружья не убьешь, а надоедает она—хуже волка.

Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил:

— Удумали черти! Вошь свою перевести—не могут, а человека извести—пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше—поменьше, да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь,—жди беды!

„Эта штука“, очень неприятная богатеям села,—артель садовладельцев; Хохол почти уже наладил ее при помощи Панкова, Суслова и еще двух, трех разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней, в лавке заметно увеличивалось количество покупателей, и даже „никчемные“ мужики—Баринов, Мигун—всячески старались помочь всем, чем могли, делу Хохла.

Мне очень нравится Мигун, я любил его красивые, печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза и его страдальческое лицо не дергалось судорогами. Жил он темными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало,—с вечера зовет меня тихонько:

— Приходи на Волгу.

Там, налаживая на стерлядей запрещенную снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые, темные ноги в темную воду, он говорит вполголоса:

— Измывается надо мной барин,—ну, ладно, могу терпеть, пес его возьми, он—лицо, он знает неизвестное мне. А—когда свой брат, мужик, чистит меня—как я могу принять это? Где между нами разница? Он—рублями считает, я—копейками, только и всего.

Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти; тихо звучит сердечный голос:

— Считаюсь я вором, верно—грешен. Так, ведь, и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас—не любит, а чорт—балует!

Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.

— Жить-то—надо?—вздыхая, спрашивает Мигун.

Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:

— А зачем надо жить таким и так, как ты?

Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме.

— Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют,—бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запевает песню:

— Меня-а мамонька любила-а,—
Говорила:
Эх-ма, Яша, эх-ты, милая душа.
Живи тихо-о...

Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бичевку снасти, шевелятся медленнее.

— Не послушал я родимой.
Эх,—не послушал...

У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжелым движением темной, жидкой массы, опрокидывается в нее, а я—съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце.

Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него и почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:

— Зачем живут такие люди?

В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвастун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплевываясь:

— Адов город! Бестолочь. Церквей—четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ—сплошь жулик! И все—в чесотке, как лошади, ей-богу!

Купцы, военные, мещане,—все, как есть, ходят и чешутся. Действительно—царь пушка есть там,—струмент громадный! Петр Великий сам ее отливал, чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и—бунт. Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту—девять тысяч триста восемь человек сразу уложил. Даже—сам испугался: нет,—говорит Филарет-митрополиту,—надо ее, сволочь, заклепать от соблазну! Заклепали...

Я говорю ему, что все это ерунда, он—сердится:

— Гос-споди Боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты... Ходил он в Киев „ко святым“ и рассказывал:

— Город этот—вроде нашего села, тоже на горе стоит и—река, забыл, однако, какая. Против Волги—лужица. Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы—кривые и в гору лезут. Народ—хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а—полупольской, полутатарской. Балакает,—не говорит. Нечесаный народ, грязный. Лягушек ест. Лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них—замечательные, самый маленький—вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов там—пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиерея... Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я—сам все видел, своими глазами, а ты—был там? Не был! Ну, то-то же! Я, брат, точность больше всего люблю...

Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза, восклицая:

— Такую штуку никто и выговорить не может!

Он—человек нескладный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее и, должно быть поэтому, они сторонятся друг друга.

Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и—бредит:

— Море, братец мой, ни на что не похоже! Ты перед ним—мошка! Глядишь ты на него и—нет тебя! И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был; ничего—работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах—ну, чего бы еще надо? Однако—не стерпела: очень ты мне, прокурор, любезен, а все-таки—прощай! Потому—кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе—никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну,—не знаю я пустынь порядочных...

Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.

— Ловко врет! Занятно!

Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков, — однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:

— Баринов доказывает, что про Грозного не все в книгах написано, многое скрыто. Он, будто, оборотень был, Грозный, орлом оборачивался,—с его времени орлов на деньгах и чеканят,—в честь ему.

Я замечал,—который раз?—что все необычное, фантастическое, явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни.

Но когда я говорил об этом Хохлу,—он, усмехаясь, говорил:

— Это—пройдет. Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются! И чудаков этих—Баринова, Кукушкина—вам надо понять. Это, знаете,—художники, сочинители. Таким же—наверное—чудаком Христос был. А—согласитесь, что, ведь, он кое-что не плохо выдумал...

Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о Боге,—только старик Суслов часто и с убеждением замечал:

— Все—от Бога!

И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное дерево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь, похваливал меня:

— Хорошо действуете, Максимыч!

Как я был благодарен ему за эти слова!

Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую „по-городскому". Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущенно смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:

— Понимает!

К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.

Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по-собачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки.

Я смотрел с горы, как на черной—или посеребренной луною—реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода,—смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела. Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня,—глаза ее показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой, бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно, и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны—как будто искали за что бы схватиться? Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающие лицо. Было в ней что-то волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть ее.

В средине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастие объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.

Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:

— Когда Хохол воротится?

— Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью битое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью.

— Что ты?

Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

— Ездил я—с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено—понял? Значит—убит Изотушка! Убили. Не иначе...

Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова, одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, стал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать, и—не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головою.

На другой день вечером, мальчишки, купаясь, увидали Изота под разбитой баржею, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина—в воде и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось вниз лицом длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом,—вода вымыла

мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака,—казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков богачей,—бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя—по очереди—на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слизились и рябое лицо показалось мне жалким.

— Ой, озорство!—причитал староста, семеня кривыми ногами.— Ох, мужики, не хорошо!

Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы ее шевелились, и нижняя, толстая, красная как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела:

— Занозистый был мужик.

— Чем это?

— Это, вон, Кукушкин занознет...

— Зря извели человека...

— Изот—смирно жил...

— Смирно-о?—завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам.—Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу,—мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

— На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:

— Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием...

— Видал, как я Кузьмина шарахнул?

К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи — она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты.

— Нет, ты докажи—кому я мирволю? Ты—докажи!

— Уходить надо отсюда мне,—ворчал Баринов, поднимаясь в гору.—Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные, синеватые тучи, красные отблески сверкали на листве кустов; где-то ворчал гром.

Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе его волоса, выпрямленные течением, как-будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:

— В каждом человеке детское есть,—на него и надо упирать, на детское это. Возьми Хохла: он, будто, железный; а душа в нем — детская.

Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:

— Всех нас вот эдак,— перетово... Господи, глупость какая!

Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу:

— Мало спите, Максимыч.

— Изота убили.

— Что-о?

Скулы у него вздулись желваками и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражки, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой.

— Так. Неизвестно — кто? Ну, да...

Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги.

— Я же говорил ему... Начальство было?

— Вчера. Становой...

— Ну, что же?— спросил он и сам себе ответил:— конечно — ничего.

Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику.

— Так. Ну, что же тут скажешь?

Я ушел в кухню кипятить самовар.

За чаем Ромась говорил:

— Жалко этот народ,—лучших своих убивает он. Можно думать — боится их. „Не ко двору“ они ему, как здесь говорят. Когда шел я этапом в Сибирь эту,— каторжанин один рассказывал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: бросимте, братцы, воровство, все равно — толку нет, живем плохо. И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого: троих, говорит, прикончил я после того — не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ — умный, веселый, чистая душа. „Что же вы убили его,— спрашиваю,— боялись: выдаст?“ Даже обиделся: „нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что. А — так, как-то, не ладно стало дружить с ним, все мы — грешны, а он, будто, праведник. Не хорошо“.

Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки на спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво, точно беседуя сам с собою.

— Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или — как собаки — смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это — реже. А учиться жить у них, подражать им — не могут, не умеют. Может быть — не хотят?

Взяв стакан остывшего чая, он сказал:

— Могут и не хотеть. Подумайте,— люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один — бунтует: не так живете. Не так? Да, мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми. И — бац его, учителя, праведника. Не мешай. А, все же таки, живая правда с теми, которые говорят: не так живете. С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.

Махнув рукою на полку книг, он добавил:

— Особенно — эти! Эх, если б я мог написать книгу. Но — не гожусь на это,— мысли у меня тяжелые, нескладные.

Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:

— Как жалко Изота...

И долго молчал.

— Ну, давайте, ляжем спать...

Я ушел к себе, на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес,— казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется прозрачный, красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки,—и если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдаленный гром, в окно вливался тяжелый поток душного тепла.

Предо мною лежало тело Изота,— на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остеклевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями, в ней прятался изумленно открытый рот.

— Главное, Максимыч, доброта, ласка! Я Пасху люблю за то, что она — самый ласковый праздник.

К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах.

Тяжелые шаги на лестнице... согнувшись в двери, вошел Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть.

— А я, знаете, женюсь! Да.

— Трудно будет здесь женщине...

Он пристально посмотрел на меня, как-будто ожидая: что еще скажу я? Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая ее призрачным светом.

— Женюсь на Маше Деренковой...

Я невольно улыбнулся: до этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать — Маша. Забавно. Не помню, чтоб отец или братья называли ее так — Маша.

— Вы что смеетесь?

— Так.

— Думаете — стар я для нее?

— О, нет!

— Она сказала мне, что вы были влюблены в нее.

— Кажется, — да.

— А теперь? Прошло?

— Да, я думаю.

Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря:

— В ваши годы это часто кажется, а в мои — это уж не кажется, но просто охватывает всего, и ни о чем нельзя больше думать, нет сил.

И, оскалив крепкие зубы, усмешкой, он продолжал:

— Антоний проиграл цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своем корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя,— вот что бывает.

Встал Ромась, выпрямился и повторил как поступающий против своей воли:

— Так, вот как — женюсь!

— Скоро?

— Осенью. Когда кончим с яблоками.

Он ушел, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо, а я лег спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне.

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах аниса окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром желтые и розовые яблоки.

В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с досчаником товара и другим, груженым коробами. Было утро часов восемь буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил:

— А хорошо плыть ночью по реке...

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

— Как будто — гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи:

— Горим!

Мы бросились на двор,— горела стена сарая со стороны огорода, в сарае мы держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд мы, оторопело смотрели, как деловито желтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья притащила

ведро воды, Хохол выплеснул его на горящую стену, бросил ведро и сказал:

— К чорту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Анисья — в лавку!

Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтя и взялся за бочку керосина, но когда я повернул ее,— оказалось, что втулка бочки открыта и керосин потек на землю. Пока я искал втулку, огонь — не ждал, сквозь досчатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит черная седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:

— А-а-а, дьяволы!..

Снова вбежав в сарай, я нашел его полным густейшего дыма: в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решотку. Дым душил меня и ослеплял, у меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал Хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор.

— Бегите прочь! Сейчас взорвет...

Он бросился в сени, а я за ним и — на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок; окно было узко для него, тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей, но — глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло, я понял, что это взорвалась бочка керосина, крыша надо мною запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице,— густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени.

Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат и кроме этого я не слышал иных звуков. Понимал, что — погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя я закрыл их руками.

Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения—я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно.

Очнулся я на краю оврага, предо мной сидел на корточках Ромась и кричал:

— Что - о?

Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, черную землю пред нею лизали злые собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы.

— Ну, что?—кричал Хохол. Его лицо, облитое пóтом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало.

Меня облила освежающая волна радости—такое огромное, мощное чувство,—потом ожгла боль в левой ноге, я лег и сказал Хохлу:

— Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, он вдруг дернул ее—меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, точно пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасенные вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

— Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!..

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье:

— Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить...

В дыму под оврагом летали белые куски бумаги.

— Эх,—сказал Ромась,—жалко книг! Родные книжки были...

Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торопился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плети и крыши как бы неохотно. Раскаленный гребень чесал солому крыш; кривые, огненные пальцы перебирали плетни, точно играя на них, как на гуслях; в дымном воздухе разносилось злорадно-ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучавший, треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые „галки“, бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик:

— Воды-ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы с обеих сторон пожарища. Его покорно слушались, и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь „порядок“, всю улицу. Но работали все-таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело.

Я был настроен радостно и чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе,—они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы навстречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев

и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

— Не трусь!—кричал Хохол.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на мою голову:

— Рубите с того конца, а я—здесь!

Я подрубил один-два кола, — стена закачалась, тогда я влез на нее, ухватился за верх, а Хохол протянул меня за ноги на себя и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

— Обожглись?—спросил Ромась.

Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим, дорогим для меня, человеком, я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в туче дыма все еще летали, точно голуби, страницы наших книг.

С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся все шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую; пробегая мимо богатеев, я услыхал чье-то злое восклицание:

— Поджог!

А лавочник сказал:

— В бане у него поглядеть надо!

Эти слова неприятно засели мне в память.

Известно, что возбуждение, радостное особенно, увеличивает силы; я был возбужден радостно, работал самозабвенно и, наконец, „выбился из сил". Помню, что сидел на земле, прислоняясь спиною к чему-то горячему, Ромась поливал меня водою из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали:

— Силенка у робенка!

— Этот—не выдаст...

Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря:

— Отдохните! Довольно.

Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие как черти, повели меня в овраг, утешая:

— Ничего, брат! Кончилось.

— Испугался?

Я не успел еще отлежаться и притти в себя, когда увидал, что в овраг, к нашей бане, спускается человек десять „богачей", впереди их—староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Он— без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орет:

— В огонь еретицкую душу!

— Отпирай баню...

— Ломайте замок—ключ потерян,—громко сказал Ромась.

Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал:

— Православные, ломать замки не позволено!

Указывая на меня, Кузьмин кричал:

— Вот этот еще... Кто таков?

— Спокойно, Максимыч, — говорил Ромась. — Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку.

— Оба вы!

— Ломай!

— Православные...

— Отвечаем!

— Наш ответ...

Ромась шепнул:

— Встаньте спиной к моей спине, чтобы сзади не ударили...

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я, тем временем, сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

— Ничего нет...

— Ничего?

— Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

— Напрасно, мужики...

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные:

— Чего—напрасно?

— В огонь его!

— Смутьяны...

— Артели затевают!

— Воры! И компания у них—воры!

— Цыц!—громко крикнул Ромась.—Ну,—видели вы, что в бане у меня товар не спрятан — чего еще надо вам? Все сгорело, осталось— вот: видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро?

— Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

— Чего глядеть на них?

— Будет! Натерпелись...

У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг нас.

— Ага-а, колья взяли!

— С кольями?!

— Оторвут они бороду мне,—говорил Хохол, и я чувствовал, что он усмехается.—И вам попадет, Максимыч,—эх. Но—спокойно - спокойно...

— Глядите, у молодого топор.

У меня за поясом штанов, действительно, торчал плотничный топор, я забыл о нем.

— Как будто—трусят...—соображал Ромась.—Однако вы топором не действуйте, если что...

Незнакомый, маленький и хромой мужичонко, смешно приплясывая, неистово визжал:

— Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он, действительно, схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот, но раньше, чем я успел ответить ему, сверху, ястребом, свалился на него Кукушкин и они, обнявшись, покатились в овраг. За Кукушкиным прибежал Панков, Баринов, кузнец, еще человек десять, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил:

— Ты, Михаило Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит...

— Идемте, Максимыч, на берег, в трактир,—сказал Ромась и, вынув трубку изо рта, резким движением сунул ее в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил:

— Пошел прочь, дурак.

На месте нашей избы тлела золотая груда углей, в середине ее стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. До красна раскаленные прутья койки торчали точно ноги паука. Обугленные вереи ворот стояли у костра черными сторожами, одна верея—в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха.

— Сгорели книги,—сказал Хохол, вздохнув.—Это досадно!..

Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят, они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек, лет пяти от рода, беловолосый, голубоглазый, сидя в теплой, черной луже, бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах, за пожарищем, недвижимо стояли деревья, листва многих порыжела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее.

Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

— А с яблоками мироеды проиграли дело,—сказал Ромась.

Пришел Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда.

— Что, брат?—спросил Хохол.

Панков пожал плечами:

— У меня изба застрахована была.

Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг ко другу щупающими глазами.

— Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

— Подумаю.

— Уехать надо тебе отсюда.

— Посмотрю.

— У меня план есть,—сказал Панков:—пойдем на волю, поговорим.

Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне:

— А не робок ты. Тебе здесь—можно жить, тебя бояться будут...

Я тоже вышел на берег, лег под кустами, глядя на реку.

Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким свитком развернулось предо мною все, пережитое в этом селе—как-будто красками написанное на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул.

— Эй,—слышал я, сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то. Помер ты, что ли? Очнись!

За рекой над лугами светилась багровая луна, большая точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня.

— Иди,—Хохол тебя ищет, беспокоится.

Идя сзади меня, он ворчал:

— Тебе нельзя спать где попало! Пройдет по горе человек, оступится—спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас—не шутят! Народ, братец ты мой, зло помнит. Окромя зла ему и помнить нечего.

В кустах на берегу кто-то тихонько возился,—шевелились ветви.

— Нашел?—спросил звучный голос Мигуна.

— Веду,—ответил Баринов.

И, отойдя шагов десять, сказал, вздохнув:

— Рыбу воровать собирается. Тоже и Мигуну—не легка жизнь.

Ромась встретил меня сердитым упреком:

— Вы то же, гуляете? Хотите, чтоб вздули вас?

А когда мы остались одни, он сказал хмуро и тихо:

— Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А—вот что—я продал ему все, что осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идет?

— Подумаю.

— Думайте.

Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, я смотрел на Волгу. Отражения луны напоминали мне огни пожара. Под луговым берегом тяжко шлепал плицами колес буксирный пароход, три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звезд и порою закрывая их.

— Сердитесь на мужиков?—сонно спросил Ромась.—Не надо. Они только глупы. Злоба—это глупость.

Слова его не утешали, не могли смягчить мое ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:

— Кирпичами издаля!

В это время я еще не умел забывать то, что не нужно мне.

Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, немного злобы, а часто и совсем нет ее. Это, в сущности, добрые звери,—любого из них не трудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребенка рассказы о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого все, что возбуждает мечту о возможности легкой жизни по законам личной воли.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то все свое хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи, лицемерия, в них начинает играть собачья угодливость пред сильными,—и тогда на них противно смотреть. Или—неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться—и дерутся—из-за пустяка,—в эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда еще вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники, никем не любимые, они живут на смех селу без помощи, в презрении.

Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним.

— Преждевременный вывод,—заметил он с упреком.

— Но—что же делать, если он сложился?

— Неверный вывод! Неосновательно.

Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я неправ, ошибаюсь.

— Не торопитесь осуждать! Осудить—всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему... Медленно? Зато прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте все, будьте бесстрашны, но—не торопитесь осудить. До свидания, дружище!

Это свидание состоялось через пятнадцать лет в Седлеце после того, как Ромась отбыл по делу „народоправцев" еще одну десятигодовую ссылку в Якутской области...

Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Красновидова. Я заметался по селу точно кутёнок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, мы работали у богатых мужиков: молотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане.

— Лексей Максимыч, воевода без народа.—Как же, а?—спросил он меня дождливой ночью,—едем, что ли, на море завтра? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Еще—того, как-нибудь, под пьяную руку.

Не впервые говорил это Баринов. Он тоже, почему-то, затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался, точно заплутавшийся в лесу.

В окно бани хлестал дождь, угол ее подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немощно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал:

— Едем, а? Завтра?

Поехали.

...Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью, сидя на корме баржи у руля, которым водит мохнатое чудовище с огромной головой,—водит, топая по палубе тяжелыми ногами, и грустно вздыхает.

— О—уп!.. О—рро-у...

За кормой шелково струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекой клубятся черные тучи осени. Все вокруг— только медленное движение тьмы, она стерла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое,—непрерывно, бесконечно всей массой текущее куда-то вниз, в пустынное, немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд...

Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышит невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька—два над водой и один высоко над ними—провожают его; ближе ко мне, под тучами плывут, точно золотые караси, еще четыре, один из них—огонь фонаря на мачте нашей баржи...

Я чувствую себя заключенным внутри холодного, масляного пузыря, он тихо скользит по наклонной плоскости, а я влеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает и близок момент, когда оно совсем остановится,—пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом, и владычно обнимет меня неподвижность, тишина.

И большой человек в рваном овчинном тулупе, в лохматой бараньей шапке, шагающий у руля, остановится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать:

— Орр-оп! О-урр...

Я спросил его:

— Как тебя звать?

— А зачем тебе знать?—глухо ответил он.

На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое, безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил ее в два приема, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дернул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, тряхнув башкой, сказал строго:

— Благослови Осподь!

Пароход ведет из Нижнего, с ярмарки, в Астрахань четыре баржи, груженые штучным железом, бочками сахара и какими-то

тяжелыми ящиками,—все это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал:

— Не иначе—ружья, с Ижевского завода...

Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил:

— Тебе какое дело?

— В мыслях моих...

— А—в морду,—хочешь?

За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу „из милости", и хотя мы „держим вахту", как матросы,—все на баржи смотрят на нас, точно на нищих.

— А ты говоришь—народ,—упрекает меня Баринов.—Тут просто: кто на ком сел верхом...

Тьма так плотна, что барж не видно, видишь только освещенные огнями фонарей острея мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью.

Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен боцманом „вахтить" на руле в помощь этому зверю. Следя за движением огней на поворотах, он тихо говорит мне:

— Эй, берись.

Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля.

— Ладно...—ворчит он.

Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком не удается, он отвечает вопросами:

— А тебе что за дело?

О чем он думает? Когда проходили место, где желтые воды Камы вливаются в стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал:

— Сволочь.

— Кто?

Не ответил.

Где-то далеко, в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то остатках жизни, еще нераздавленных тьмою. Это кажется недосягаемо-далеким и ненужным.

— Собаки тут плохие,—неожиданно говорит человек у руля.

— Где—тут?

— Везде. У нас собака—настоящий зверь...

— Ты—откуда?

— Вологодской.

И, точно картофель из прорванного мешка, покатились серые, тяжелые слова:

— Это—кто с тобой—дядя? Дурак он, по-моему. А у меня дядя умный. Лихой. Богач. В Симбирском пристань держит. Трактир на берегу.

Выговорив все это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползет в сетях тьмы золотым пауком.

— Берись, ну... Грамотный? Не знаешь—кто законы пишет.

Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Разно говорят: одни—царь, другие—митрополит. Сенат. Кабы я наверно знал—кто, сходил бы к нему. Сказал бы: ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не мог, а не то, что ударить. Закон должен быть железный. Как ключ. Заперли мне сердце и—шабаш! Тогда я—отвечаю! А так—не отвечаю! Нет.

Он бормотал для себя, все более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву рычага.

С парохода кричали в рупор, и глухой голос человека был так же излишен, как лай и вой собак, уже всосанный жирной ночью. У бортов парохода по черной воде, желтыми масляными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные осветить что-либо. А над нами точно ил течет,—так вязки и густы темные, сочные облака. Мы все глубже скользим в безмолвные недра тьмы.

Человек угрюмо жаловался:

— К чему довели меня? Сердце не дышит...

Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать.

Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах желтые кусты, железные, ржавчиной покрытые сосны, темные лапы их ветвей, вереницу изб деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржóй пролетела чайка, свиснув кривыми крыльями.

Меня и рулевого сменили с вахты, я залез под брезент и уснул, но вскоре—так показалось мне—меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидал, что трое матросов, прижав рулевого к стенке „конторки", разноголосо кричат:

— Брось, Петруха!

— Господь с тобой,—ничего!

— А ты—полно!

Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал:

— Дайте от греха уйти!

Он был бос, без шапки, в одной рубахе и портах, темная куча нечесанных волос торчала на его голове; они спускались на упрямый, выпуклый лоб; под ним видны были маленькие глаза крота, налитые кровью, они смотрели умоляюще, тревожно.

— Утонешь!—говорили ему.

— Я? Никак. Пустите, братцы. Не пустите—убью его. Как приплывем в Симбирской, так и...

— Да перестань!

— Эх, братцы...

Он медленно, широко развел руки, опустился на колени и, касаясь руками „конторки", точно распятый, повторил:

— Дайте от греха бежать!

В голосе его, странно глубоком, было что-то потрясающее, раскинутые руки, длинные, как весла, дрожали, обращены ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде; кротовые, слепые глаза темными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука вцепилась в горло ему и душит.

Мужики молча расступились пред ним, он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал:

— Вот—спасибо!

Подошел к борту и с неожиданной легкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидал, как Петруха, болтая головою, надел на нее—шапкой—свой узел и поплыл наискось течения, к песчаному берегу, где, навстречу ему, нагибалися под ветром кусты, сбрасывая в воду желтые листья.

Мужики говорили:

— Одолел себя, все-таки!

Я спросил:

— Он—сошел с ума?

— Зачем? Нет, это он—души спасенья ради...

Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головою узлом.

Матросы закричали:

— Прощай!

Кто-то спросил:

— А как же без пачпорта он?

Рыжий, кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием:

— У него, в Симбирске, дядя живет, злодей ему и разоритель, вот он и затеял убить дядю, да, однако, пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь—мужик, а—добрый! Он—хороший...

А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка, против течения реки и—вот он исчез в кустах.

Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари; к вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил, что они смотрят на меня с любопытством угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что чорт дернул Баринова за язык и этот фантазер что-то рассказывал матросам про меня.

— Рассказал?

Улыбаясь бабьими глазами, смущенно почесывая за ухом, он сознался:

— Рассказал немножко!

— Да—я ж тебя просил молчать?

— Ведь я и молчал, да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а рулевой захвати карты,—скушно. Я и того...

Из расспросов моих оказалось, что Баринов, скуки ради, сплел весьма забавную историю, в конце которой Хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с толпой мужиков.

Бесполезно было сердиться на него,—он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на краю оврага в поле, он убежденно и ласково внушал мне:

— Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасется, собака бегает, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто: злой человек—правда, а добрый—где? Доброго-то еще не выдумали, да-а!

В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег.

— Вы нам люди не подходящие,—сказали они.

Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в карманах тридцать семь копеек.

Пошли в трактир пить чай.

— Что будем делать?

Баринов уверенно сказал:

— Как—что? Надо ехать дальше.

До Самары доехали „зайцами" на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через семь дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай.

(Продолжение следует).

Кощеева цепь.

Хроника.

Михаил Пришвин.

ЗВЕНО ВТОРОЕ. МАЛЕНЬКИЙ КАИН.

Бабы.

Иногда попадешь в такую полосу жизни, плывешь, как по течению, детский мир вновь встает перед глазами, деревья густолиственные собираются, кивают и шепчут: „жалуй, жалуй, гость дорогой!". Являешься на зов домой, и там будто забытую страну вновь открываешь. Но как малы оказываются предметы в этой открытой стране в сравнении с тем, что о них представляешь: комнаты дома маленькие, деревья, раньше казалось, до неба хватали, трава расла до крон, и все дерево было, как большой зеленый шатер; теперь, когда сам большой, все стало маленьким: и комнаты, и деревья, и трава далеко до крон не хватает. Может быть так и народы, расставаясь со своими любимыми предками, делали из них богатырей—Святогора, Илью Муромца? А может быть и сам грозный судия стал бесконечно большим оттого, что бесконечно давно мы с ним расстались? Так и случается, как вспомнишь, будто вдвойне, одно—живет тот бесконечно большой судия, созданный всеми народами, и тут же свои живут на каждом шагу, на каждой тропинке, под каждым кустом маленькие боги-товарищи. Никогда бы эти маленькие свои боги не посоветовали ехать учиться в гимназию, это решил судия и велел: „собирайся!".

Милый мой мальчик, как жалко мне с тобой расставаться, будто на войну провожаю тебя в эту страшную гимназию. Вчера ты встречал меня весь мой, сегодня я не узнаю тебя, и новые страхи за твою судьбу поднимаются, как черные крылья.

Вот он идет по мостику в купальню и слышит, деревенские мальчики кричат:—„скоро в гимназию повезут, а он с девками купается". Почему вчера еще это самое мимо ушей проходило, а сегодня задело? Минуточку подумал, поколебался, итти в купальню или убежать, но решил:—„какие же это девки Маша с Дунечкой!" и по мостику прошел

в обшитую парусиной купальню. День был жаркий, перед самым Ильей, девушки плескались в воде, и от солнца в брызгах показывалась радуга. Вдруг как загрохочут мужики, бабы и девки на молотилке во все свои грохотá, заглушили и шум барабана, и стук веялки. Очень хотелось бы девушкам разузнать, в чем тут дело, отчего такое веселье на молотилке, но показаться в пруд из купальни было невозможно: на том берегу, будто из самой воды, выходит высокий омет золотой соломы, и на самом верху, как Нептун с трезубцем, стоит Илюха с вилами и все видит оттуда и над всем потешается. Дальше по берегу пруда, как хорошие куличи, стоят скирды и их вершат и перетягивают скрученными соломенными канатами, на каждом скирду по мужику. Курымушка выпросился поплавать в пруду, скоро все разузнать и рассказать. Прямо из дверцы купальни своими „саженками" он поплыл к Илюхину омету, к этой золотой горе, откуда смех выходил, как гром из вулкана. Плыл и дивился, а дело было самое пустяковое.

Конечно, вся молотьба идет только хлопотами старосты Ивана Михалыча, вот он нырнул в темноту риги к погоняльщикам, кричит ребятишкам:—„эй, вы, черти, живей, погоняй!", выйдет оттуда к подавальщику, сам схватит сноп и, пропуская, учит:—„ровней, ровней, подавай, чтобы не было—бах-бах! а шипело; не забивай барабан,—неровен час—камень попадет, зуб вышибет в машине, девок перебьешь". Долго возится у конной веялки с ситами, выходит оттуда весь в мякине и распорядится „халуй"—какой-то мякинный сорт—перекидать живо от веялки в угол. У сортировки, где громадный чистый ворох зерна все растет и растет, Иван Михалыч непременно возьмет метло и так ловко сметет два-три полуколосика, будто артист-парикмахер причешет красивую голову. Но еще лучше, когда зерно захватят мерой для ссыпки в мешки и в мере—верх, так вот этот верх зерна срезать лопатой в чистоту, ж-жик! и мерка с зерном стоит раскрасавицей. От полыни, от пота людского и конского во рту горько и даже солоно, ворота риги дышат этим на жаркое солнце. Иван Михалыч выходит из ворот поглядеть на свет Божий, но и тут нет ему покоя; сразу глазом схватил: Илья напустил вязанки и повел омет влево.

— Подай, подай вправо,—кричит,—не напущай!

И вот тут-то случилось: привязанный к столбу жеребенок, на которого все время под жарким солнцем дышала потно-полынная рига, одурелый поднялся на дыбы, обхватил шею Ивана Михалыча передними ногами и при всем народе пожелал обойтись со старостой, как с молодой кобылицей. От этого все и пошло. Первый сигнал подал тот Нептун с трезубцем на вершине золотой горы, Илюха: га-га-га! и грохнулся с вилами на солому; поднялся,—опять: га-га-га! и опять грохнулся. Те бабы, что взбирались на омет с носилками, так и осели на месте, и чтó они, барахтаясь в соломе, выкрикивали и причитывали:—„ой, бабочки, ой, милые!"—было похоже скорее на рыдание, чем на смех; на скирдах тоже враз полегли мужики и бабы; все, кто в риге

был, выбежали; один парень шесть баб повалил, лег на них поперек мостом, сам гогочет, а все шесть визжат, как поросята, в далекий слух; другой парень пустился за девкой по черному пару, догнал,— и там на горячей земле большой взвился над ними столб пыли и закрыл их, как дым. И, кажется, даже само горячее летнее солнце на синем небе запрыгало. Под тяжестью жеребенка Иван Михалыч сначала осел на колени, потом приподнялся, крикнул:—„леший тебя разобрал, поди прочь, поди прочь!“, а жеребенок все пуще и пуще, порядочно времени прошло, пока Иван Михалыч освободился: успели уже остановиться и молотилка, и веялка, и сортировка. И тут бы старосте самому засмеяться, а он рассердился и раз! жеребенка в морду кулаком. Тогда не выдержал Илюха наверху, схватил бабу, задрал ей рубашку, хлопнул ладонью и, схватившись с ней, как воробьи на крыше, покатился с высоты, а с Илюхой зараз потащилась чуть не половина соломы и, рухнув, закрыла всех — и шесть баб с поперек лежащим на них парнем, и Илюху с бабой, и самого Ивана Михалыча, и жеребенка.

— Мала куча, мала куча!—крикнули мальчишки-погонщики, вскинувшись мигом на солому, похоронившую старосту.

Сбежались девки подметальщицы, с ними первая Катерина Жируха.

— Мала куча, мала куча!—кричала Жируха, взбираясь наверх, и только взобралась, вдруг под соломой, ударил жеребенок передом, задом, взвился на дыбы, и вся куча рассыпалась.

В эту самую минуту голенький вышел из пруда Курымушка и не чуя беды над собой, подобрался к самому току. Жируха крикнула подметальщицам:—„лови его!“ и в миг он был окружен.

— Бей их, лупи!—крикнул, подымаясь, Илья.

Курымушка ударил Катерину кулаком в какую-то подушку.

— В дойло попал!—крикнул Илья,—бей по дойлам, бей их по дойлам, вот так, молодец!

Чуть-чуть бы еще, и выскочил из круга, но Катерина вдруг завалилась на него и придушила, как печь таракана. Душила Курымушку, в роту стало горько, солено, даже крикнуть было нельзя от щекотки, и, кажется, чуть бы еще,—и пропасть, но тут Иван Михалыч силу забрал, со всего маху плашмя лопатой хлопнул по заду Катерину и сразу Жируху в память привел. Курымушка вырвался и бросился к пруду, а вслед ему крикнул Илья:

— Это, брат, тебе не со своими девками купаться в пруду!

Под густую иву на сук у воды сел и спрятался Курымушка, будто в воду ушел, и так ему стало, что невозможно плыть ему обратно в купальню к Маше и Дунечке: ему в эту минуту первый раз только ясно стало, что и они были такие же, как все — бабы. Так он и остался надолго сидеть под ивой, не зная что делать. Долго со всех сторон звали его голоса, как в раю голос Бога слышался после грехопадения: „Адам, Адам!“. Маленький Адам лучше бы утонул, чем голый

показался, потому что все они, все они — бабы. Когда он высмотрел, что девушки ушли из купальни, поплыл туда, оделся и вернулся домой мужчиною: с бабами больше он не купается. Это хорошо дома поняли. Маша привезла ему из города синюю гимназическую фуражку, он ее надел, сразу стал большой, а около Успенья, отслужив молебен на дому, мать повезла его в гимназию.

Архиерей.

Ехали по большаку. Никогда не виданный город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слышалось с той стороны в праздники, о чем говорили: „в городе звон". Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе. Изредка в безлесных полях, как островок, показывалась такая же усадьба, где и Курымушка жил, с такими же белыми каменными столбиками вместо ворот. Очень странно думалось, глядя на эти ворота: что, если заехать туда, будет казаться, будто много там всего и самое главное—там; а если выехать, то главное кажется тут, на большаке, этому конца нет, а усадьба— просто кучка деревьев. „Неужели и у нас так же?"—подумал Курымушка, — но отстранил эту неприятную мысль хорошей: „у нас лучше всех". Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: „это старый собор". Показался Покров, Рождество и, наконец, Острог— тоже церковь; среди зеленых садов закраснелись крыши, сказали:— „вот и гимназия!". В это время на большак с проселочных дорог выехало много деревенских подвод, растянулись длинною цепью, и это стало — обоз. Помещичьи тряские тарантасы обгоняли обозы, а какие-то ловкачи на дрожках на тугих возжах, в синих поддевках и серебряных поясах обгоняли тарантасы. Всем им на встречу возле кладбищенской церкви выходил старичок с колокольчиком, никто почти ему не подавал, а он все звонил и звонил. В Черной Слободе все подводы будто проваливались: это они спускались тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на пол-горы вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу во всей славе своей и стал перед Курымушкой собор, и тут на Соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери прямо же и начался разговор о Курымушке с тетушкой Калисой Никаноровной.

— Необходимо свидетельство о говении,— говорила тетушка Калиса Никаноровна,— неужели он у тебя еще не говел?

— Не говел,—какие у него грехи, вот еще глупости!

— Ну, да, конечно, ты ли-бе-рал-ка, а все-таки без свидетельства в гимназию не примут. Веди сегодня ко всенощной, сговорись с попом: он как-нибудь завтра его исповедует.

Какая-то не то музыка, не то работа большой молотилки чудилась теперь Курымушке, но совершенно не так, как в деревне: там гудит на гумне молотилка, а в саду сами по себе птицы поют,—тут все и ездят, и ходят, и говорят под эту музыку. Не успел о чем-нибудь подумать, как уже это прошло, и под музыку началось думанье о совершенно другом: в голове стало тоже все быстро крутиться, как в молотилке.

Даже и в соборе это не остановилось,—напротив, тут уже совсем разбежались глаза—столько людей! и между ними дорога малиновая уходит к золотым воротам, слышится оттуда ангельское пение, и батюшка в золотой ризе копается над чем-то—чудесно! Хотел Курымушка о чем-то спросить мать, оглянулся, а ее нет как нет! Спросил господина, тот улыбнулся и ничего не сказал. Другой показал на малиновую дорогу, и Курымушка по дороге этой идет вперед, всех спрашивает:—„где моя мама?“. Ничего не отвечают, а только улыбаются, а он все дальше и дальше идет по малиновой дороге, и страх, похожий на прежний детский в лесу, одолевает его: он один среди этой толпы, где никто не знает ни его, ни его маму. Вот эта малиновая дорога ступеньками поднимается к золотым воротам, туда, конечно, надо итти, узнавать у батюшки, тот все должен знать. Со всех сторон, слышит, кричат:—„куда, куда, вернись, стой!“, но это ему только ходу поддает, он почти бежит к батюшке для защиты от страшной толпы. И когда он прошел в Царские врата,—„ах!“ кто-то сзади, кто-то фыркнул,—батюшка обернулся, спросил:

— Тебе что, мальчик?

— Маму потерял,—ответил Курымушка.

И только это сказал, мамин голос зовет:—„иди, иди сюда скорей, я тут!“. Хотел броситься назад, но батюшка ухватил его сзади за пискун-волос, потом за руку, ведет его куда-то, ставит перед иконой на коленки, велит строго положить двенадцать поклонов.—„Господи, милостив буди мне, грешному“, шепчет Курымушка свою любимую молитву. Через какие-то боковые двери батюшка ведет его, и тут ожидает мать.

— Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал?—спросил батюшка.

— Мы в деревне живем,—конфузливо ответила мать,—в городе он никогда не бывал.

— Ну, ничего,—заметив смущение матери, сказал батюшка,—всему свое время; а признак хороший, через Царские ворота прошел, он еще у вас архиереем будет.

— Архиерей, архиерей!—засмеялись на клиросе певчие.

И пока шли до самого своего места, везде смеялись и шептали:

— Архиерей, архиерей!

На другой день Курымушка был опять в соборе, но все было тут по другому: ни малиновой дороги, ни огней, ни толпы, и только чер-

ные старушки в мантильках с гарусом впились кое-где глазами и сердцем в иконы. Курымушка и себе стал, подражая старушкам, так же впиваться в иконы, а мать ему тихо шептала, что на исповеди все нужно открыть, все грехи, все тайны. Вот думать про это стало почти непереносимо,—разве можно так вдруг все и открыть, а если что-нибудь забудешь?

— А если забудешь,—спросил он,—господь покарает?

— Забудешь, ничего,—ответила мать,—а будешь помнить, да утаишь, то покарает.

Но легче не стало от этого: „захотеть",—казалось ему,—можно все вспомнить, а можно не захотеть и будто все забыл; как же тогда быть,—за это покарает господь, что захотел или не захотел".

— Надо полное раскаянье,—сказала мама.

— С чего же начать?

— Батюшка сам тебя спросит, и ты ему отвечай на все:—„грешен, батюшка".

Вот это очень хорошо, это твердо запомнил Курымушка и спросил последнее:

— Если я не грешен и скажу „грешен, батюшка!", за это покарает господь?

— Нет, это ничего, мы во всем немножко грешники.

Тогда из боковой двери вышел батюшка в черном, кивнул головой, мать сказала сначала „иди!", а потом:—„стой, подожди, вот возьми двугривенный и отдай батюшке за исповедь".

Так, было, с этим „грешен, батюшка" все хорошо наладилось и вдруг этот несчастный двугривенный все дело испортил, явилась дума: „когда отдать его и как отдать, а главное, если надо говорить „грешен" и открываться во всем, то как в то же время держать в зажатой руке двугривенный и думать, как его отдать".

— Веруешь в бога?—спросил батюшка.

— Грешен!—ответил Курымушка.

Священник, будто, смешался и повторил:

— В Бога Отца, Сына и Святого Духа?

— Грешен, батюшка!

Священник улыбнулся:

— Неужели ты сомневаешься в существе божием?

— Грешен,—сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил:—грешен, батюшка, грешен.

Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.

— Грешен, батюшка, грешен!

Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать хорошую какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава Тебе Господи,

все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а Господь опять простит.

Главное же Курымушке стало хорошо оттого, что двугривенный можно теперь и не отдавать: вывел он это верно из того, что раз всякая тяжесть с души снималась, то и двугривенный тоже. Он поцеловал крест и спокойно опустил двугривенный в карман. С сияющей улыбкой ожидала его мать, встретила, будто давно с ним рассталась, спросила:

— Ну, как, все свои тайны открыл?

— И открывать-то нечего было,—победно ответил Курымушка,—он их и так все простил, он добрый.

— И ты отдал двугривенный?

— Нет, не отдал, это не нужно.

— Не взял?

— Я не давал, это не нужно оказалось, молитва такая есть, все прощается.

— Как не нужно, иди сейчас, отдай и покайся.

— Не пойду!

— Как ты смеешь! так завтра нельзя причащаться, ты деньги притаил, это грех, пойдем вместе, пойдем!

Больно было, что мать не понимала, как прощен был двугривенный, и вот это всегда самое плохое на свете:—„я не виноват, а выходит виноват, и никак нельзя этого никому объяснить, даже мать не поймет". Курымушка заплакал, мать приняла это за каприз, тащила его за рукав, громко шептала у алтаря, вызывая:—„батюшка, батюшка!". Он вышел. Мать объяснила ему грех Курымушки,—не отдал деньги и теперь вот плачет.

— Ничего, ничего, Бог простит,—ответил батюшка, поглаживая его по голове,—и смотрите еще, он у вас архиереем будет.

На другой день после причастия было получено свидетельство о говении, мать спешила в деревню к посеву озими. Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины Шмоль Курымушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую гору, и у Кладбищенской березовой рощи, где выходит непременно старичок с колокольчиком, мать скрылась. Березки кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то сошлось с желтой холодной вечерней зарей, и желтая заря сошлась с желтобокой холодной Антоновкой в крепкой росе, все свое деревенское встало неизъяснимо прекрасным и утраченным навсегда. Особенно больно было какое-то предчувствие, что мать никогда уже не вернется такой, как была, это схватило, сжало всю душу мальчика, он положил голову на подоконник, зарыдал, и так все плакал, и плакал, пока не уснул под уговоры доброй Вильгельмины.

Коровья смерть.

Бывает,—на берегу лежит лодочка, к ней уже и чайки привыкли, садятся рыбу клевать; странник лег отдохнуть, но вот подошла волна,

схватила и понесла куда-то лодочку с человеком, только человек тот ни при чем, нет у него ни весел, ни руля, ни паруса. Так вот и Курымушку волна подхватила и выбросила на самую заднюю скамейку, тут сел он рядом с второгодником, по прозвищу Ахилл. Гигант второгодник был всем хорош,—слабость его была только одна: несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу все рассказал Курымушке про учителей.

— Директора,—сказал он,—ты не бойся,—он справедливый латыш; был бы ранец на плечах, все пуговицы пришиты, не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок, разное такое, к этому привыкнешь. Инспектор тоже не страшен,—он любит читать смешные рассказы Гоголя и сам первый смеется; угодить ему просто: нужно громче всех смеяться; когда он читает, то хохот идет в классе, как в обезьяньем лесу, за это и прозвали его Обезьян. Есть еще надзиратель Заяц,—сам всего до-смерти боится, но ябедничает, доносит, нашептывает; с ним надо поосторожнее. Козел—учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому—что на ум взбредет, и с ним все от счастья. Страшней всех учитель математики Коровья Смерть, тот как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год. Твоя фамилия очень плохая, начинается с буквы А, первый всегда будешь попадать, тебе нужно хорошо выучить первый урок, а то сразу под Коровью Смерть попадешь, и тут тебе крышка.

— Почему же он называется Коровьей Смертью?—спросил Курымушка.

— Вот почему: ежели он тебе единицу в начале поставил, и ты с этой единицей пошел на весь год, то ты уже больше не ученик, а корова.

— Ты сам—корова?

— Был прошлый год коровой, тут все назади были коровами, но я надеюсь в этом году попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу,—вот он идет.

Коровья Смерть, рыхлый и серый лицом, вошел к костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетрадки и стали под его диктовку писать весь час правила.

— Это вызубри,—учил Ахилл,—на зубок, тебя завтра первого спросит,—смотри, не подведи, а то с тебя рассердится, и пойдет,—много лишних коров наделает.

— Не подвести бы класс!—опасливо думал Курымушка дома, приступая к зубрежке. В слове „класс“ ему сразу далось что-то очень хорошее, за что нужно стоять и, Боже сохрани, подвести. А что учителя—враги классу, то это само собою понятно. Зубрить Курымушка начал возле того самого окошка, откуда виднелась кладбищенская березовая роща, за которой далеко в полях был рай, так ему теперь представлялся их дом в саду. Очень было трудно зубрить, думая

о, желтобокой Антоновке, но он честно вызубрил, а утром повторил и, когда в гимназию шел, все твердил: „сложение есть действие...".

— Хорошо вызубрил?—спросил Ахилл.

— Хорошо.

— Ну-ка!

— Сложение есть действие...

И стал.

— ... посредством которого...—подсказал Ахилл.

— Да, да: посредством которого...

— Стой, идет!

— Идет, идет, идет!—прошумело в классе и стихло, как перед грозой.

Далеко слышался в коридоре стук костылем. Коровья Смерть приближался, в классе все мертвело и мертвело. А когда Смерть вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово, невозможно было его принять на себя, а все-таки слово это было: А л п а т о в.

— Тебя, тебя!—шептали вокруг.

— Алпатов здесь?

— Здесь, здесь!—крикнули за Курымушку и толкнули его вперед между партами, дальше еще толкнули, и так пошло до самой кафедры и все шло как с самого начала: без весел, без руля, без паруса волны несли куда-то Курымушку.

— Дай тетрадь!

Курымушка подал.

— Что есть сложение?

— Сложение есть действие...

Запнулся.

Везде в классе, как тетерева в лесу шипели и бормотали:

— ... посредством которого, посредством которого...

— Молчать!—крикнул Коровья Смерть.

Курымушка погрузился куда-то в глубокую бездну и уходил туда все глубже и глубже.

— Долго ли ты будешь молчать?

Жужжала муха осенняя, летала по классу, будто над ухом молотилка гудела, и стукалась в стекло, как топором: бух! бух! Тут было как на стойке по зрячей дичи, есть такие шальные лягаши: видит, у самого носа его птица сидит в траве, и стоит, не тронет, только глаза огнем горят и где-нибудь у задней ноги еле заметно шерсть дрожит и дрожит, так стоять бы ему до смерти, но птица шевельнулась... и,—вот зачем левая передняя нога на стойке у лягаша подогнута,—эта левая нога теперь метнулась, как молния, и полетел шальной пес с брехом по болоту за дичью.

Курымушка тоже, как птица, шевельнулся и посмотрел искоса на учителя: у-у-у!—что там он увидел: у-у-у, какая страсть! Коровья Смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз, выражая такое пре-

зрение, такую ненависть, будто это не человечек стоял перед ним, а сама его подагра вышла из ноги и вот такой оказалась, в синем мундирчике, красная, потная, виноватая. Курымушка скорей отвел глаза, но было уже поздно: раз птица шевельнулась, стойка мгновенно кончается, Коровья Смерть спросил:

— Отец есть?

— Нет отца,—ответил тихо Курымушка.

— Мать есть?

— Есть!

— Несчастная мать!

Надорвал синюю тетрадку до половины, сказал:

— Стань в угол коровой!

Вот если бы теперь, в этот миг Коровья Смерть не грозил каждому в классе, с какой бы беспощадной жестокостью все крикнули бы Курымушке: „Корова, корова!", но уже и другой стоит, потупив глаза.

— Отец есть?

— Есть!

— Несчастный отец. Стань в угол коровой.

Третий потупился.

— Мать есть?

— Есть.

— Несчастная мать. Стань в угол коровой.

Вторая корова, третья, четвертая, и Ахилл тут с разорванной тетрадкой на второй год в коровы попал.

— Раз это так водится,—подумал Курымушка,—то с этим ничего не поделаешь, я тут не виноват, так и маме скажу, не виноват и—кончено, она это поймет.

— Теперь, брат Алпатов,—сказал после урока Ахилл,—можешь не учить правила совсем, выучишь, не выучишь, на весь год пойдет единица: ты теперь корова.

И правда, на другой день у Курымушки было опять то же, только очень коротко и легко, на третий, на четвертый, субботу выдали „кондуит" и единицы в нем стояли, как ружья.

С легким сердцем возвращался домой Курымушка, решив твердо, что он не виноват, только эта легкость была совершенно особенная, не прежняя птичья, а вот как полетчик в цирке на канате: можно и оборваться. Но и это все прошло, как только увидел он на дворе Сокола, все забыл и бросился по лестнице наверх и на ходу уже чуял носом: яблоки, яблоки, яблоки. Мать тоже услыхала его и тоже бросилась к лестнице, тут они и встретились и слились, как два светлых луча.

Только скоро набежала тучка на солнышко.

— Как твои дела?—спросила мать.

— Ничего,—ответил Курымушка,—дела как дела.

— Кондуит отдали?

— Отдали.

— Покажи!

Тучка растет, растет, и вот они единицы, как ружья, стоят.

— Что же это такое?

— Я не виноват,—сказал Курымушка,—учителя несправедливые.

Мать заплакала. Курымушка бросился к ней и вместе заплакал.

— Мама милая, ты не на меня это, не на меня, это они несправедливые, я не виноват.

И этого она понять не могла; как она не могла этого понять! Ее лицо говорило: может быть, это и правда, ты не виноват, но мне-то что, мне нужно, чтобы у тебя выходило.

Сразу она стала будто чужая, так и уехала будто чужая. Сухими глазами провожал ее из окна Курымушка на Чернослободскую гору: предчувствие тогда не обмануло его, маму он теперь совсем потерял.

Грустно качала головой добрая Вильгельмина.

Козел.

В актовом зале, где каждый день в без четверти девять вся гимназия от приготовишек до восьмиклассников выстраивалась на молитву амфитеатром, большое огорчение Зайцу доставляло параллельное отделение первого класса: великаны этого класса каким-то островом торчали среди всей мелюзги первых рядов, и на острове этом Рюриков был еще головой выше всех. Случилось, кто-то при постройке колонны задел этого Рюрика, тот ударил ответно и нечаянно сильно задел Курымушку. В этот самый момент проходила колонна восьмиклассников, и Курымушке при них особенно стыдно показалось спустить Рюрику свою горячую затрещину. Маленький Курымушка разбежался и со всего маху ударил Рюрику в ноги; тот хлопнулся плашмя—лицом в пол, а Курымушка сел на него верхом и лупил по щекам: вот тебе, вот тебе!..

— Молодец, свалил Голиафа!—одобрил весь восьмой класс.

В это время звякнул камертон инспектора и запели: „Царю небесный, утешителю душе истины...“.

— Иже везде сый!—подхватил Курымушка, стараясь как бы спрятаться от инспектора громким пением.

Но это было напрасно. Как только певчие дотянули: „Твое сохраняя крестом твоим жительство“, Обезьян обернулся и сказал:

— Рюриков и Алпатов за драку на молитве отправляются в карцер,—там они могут драться весь день.

Сказав это, Обезьян сам первый засмеялся, а за ним, доставляя ему удовольствие, засмеялась и вся гимназия, и у Зайца по всему лицу пошли мелкие бороздки, будто лицо его было полем, по которому неумелой рукой пахарь накривил Бог знает сколько борозд и огрехов.

Карцер был просто пустой класс. Рюрик и Курымушка сначала сели, как враги, в разные концы. Однако молчание в пустом классе было непереносимо.

— Ты за что меня ударил?—спросил Курымушка.

— Я нечаянно,—ответил Рюрик,—а ты меня за что?

— За то, что ты меня нечаянно.

— Ну, давай мириться.

— Давай!

Враги помирились и сели рядом.

— Ну-ка, посмотри эту штуку,—сказал Рюрик.

И вынул из кармана настоящий шестизарядный револьвер.

Мало того, он сказал, что отец его—офицер и дома у них еще есть три револьвера, четыре охотничьих ружья, три сабли.

Из того же кармана, где был револьвер, Рюрик вынул жареную навагу, очень пострадавшую от падения. Пощелкали револьвером, закусили навагой. Курымушка, достав из ранца любимую свою книгу „Всадник без головы", спросил:

— Не читал?

— Нет, не читал.

— Ну, брат, что теперь с тобой будет!

И зачитал ему.

Прошел и час и два. Читали на переменку и так, будто сами там в Америке все и переживали, без отрыву на все пять часов, не слыхали звонков, не заметили, как Заяц ключ повернул в двери: им бы хоть бы и совсем не выпускали, хоть бы так и всегда жить.

— Знаешь что,—сказал на улице Рюрик,—давай-ка завтра на молитве опять подеремся.

— Рано,—ответил Курымушка,—дня два поучимся, а то выгонят.

— Нас с тобой все равно выгонят.

— Ну?!—удивился Курымушка.

Эта мысль ему еще не приходила в голову, и он про себя решил этим заняться, но сейчас из осторожности сказал:

— Все-таки, брат, лучше денька два погодим.

Дома он засел учить географию, задано было нарисовать границы Америки. И вот, когда он рисовал по атласу и заучивал названия, вдруг такие же названия пришли ему из „Всадника без головы", и стало представляться, будто он продолжает путешествовать с Майн-Ридом.

Долго он провозился над этим приятным занятием и сам даже не знал, выучил он урок или не выучил.

На другой день, как всегда, очень странный, пришел в класс Козел, весь он был лицом ровно-розовый с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Курымушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час.

— Почему он Козел?—спросил Курымушка.

Ахилл ответил:

— Сам видишь почему: козел.

— А географию он, должно быть, знает?

— Ну, еще бы, это самый ученый: у него есть своя книга.

— Про Америку?

— Нет, какая-то о понимании и так, что никто не понимает, и говорят, он сумасшедший.

— Правда, какой-то чудной. А что не понимают, мне это нравится, милый Саша,—ты это не замечал, как тебе иногда хочется сказать что-нибудь, и знаешь, ни за что тебя никто не поймет; вот бы хорошо иметь такую книгу для понимания.

Ахилл на это ничего не сказал, верно ему не приходилось страдать болезнью непонимания, а Козел обвел своими зелеными глазками класс пронзительно и как раз встретился с глазами Курымушки, так у него всегда выходило, встретится глазами и тут же непременно вызовет.

Ни имен, ни фамилий он не помнил, ткнет пальцем по глазу и выходи.

Курымушка вышел к доске.

— Нарисовал карту?—спросил Козел.

— Сейчас нарисую,—ответил Курымушка.

Взял мел и в один миг на доске изобразил обе Америки.

Козел очень удивился. А Курымушка отчего-то стал смел: у него из головы не выходило „все равно выгонят". И он это не серьезно, а из озорства стал рассказывать про Америку какую-то смесь Майн-Рида и учебника.

Козел удивлялся все больше и больше, и глаз его стал такой, будто видит свое, а ухо может быть и не слышит. Курымушке отчего-то страшно даже стало,—он остановился, покраснел.

— Ну, ну!—сказал Козел.

Курымушка молчал.

— Ты, брат, молодец.

А Курымушка сильней покраснел и рассердился на это.

— Знаешь,—продолжал Козел,—из тебя что-то выйдет.

Тут и случилось с Курымушкой его обыкновенное: вдруг самая ходячая фраза явится ему в своем первом смысле, а то обычное значение куда-то скроется.

— Как же это из меня выйдет?—спросил он, все гуще и гуще краснея, представляя себе приблизительно, как няня ему говорила, будто у одной барыни в животе развелись лягушки и потом вышли через рот.

— Как же это выйдет?—спросил он, краснея и ширя глаза.

— Через верх, конечно,—ответил Козел,—то каждый день через низ выходит, а то через верх.

— „Не вырвет ли?"—про себя подумал Курымушка и хорошо еще вслух не сказал, а то и так в классе все засмеялись; но Козел, как все, не умел смеяться, у него на лице вместо смеха делалось так, будто он ест что-то очень вкусное, сладкое и облизывается,—это и был его смех.

Козел облизнулся и сказал:

— Вот, вот, выйдет из тебя, и будешь знаменитым путешественником,—садись, очень хорошо.

И поставил пять.

— Ну и счастливец,—сказал Ахилл,—в тебя, кажется, Козел втюрился.

— Вот, Саша,—сказал Курымушка,—я тебе говорил насчет понимания, как это трудно взять и понять, по-моему—это у него хорошая книга о понимании, и вовсе он не сумасшедший.

— Кому как,—ответил Ахилл,—тебе вот выпало счастье, тебя он понял, а меня не понимает и все единицы жарит,—одному хорошо, другому плохо, это, брат, тоже непонимание.

Забытые страны.

Занимаясь теперь с большим удовольствием и даже наслаждением картой Америки, Курымушка все раздумывал, что это значит быть знаменитым путешественником. Явилась перед ним какая-то страна, еще без имени и без территории; вот там, в этой стране, думал он, и есть настоящая жизнь, а тут у нас жить не стоит, тут—не настоящее.

Он стал догадываться, где находится такая страна, и вспомнились ему голубые бобры, что они в Азии. Не в Азии ли и эта его страна? По карте он стал искать себе путь в Азию и, пока разыскивал, совершенно уверился, что желанная страна без имени и без территории находится в Азии. Путь туда он установил простой: по реке Быстрой Сосне в Дон, из Дона в Азовское море, в Черное и потом уже и начнется Малая Азия, большую часть пути можно совершить даже просто на лодке; и хорошо, если к лодке приделать колесо, как у речных пароходов, и вертеть его с кем-нибудь поочередно; оружие можно достать у Рюрика.

Вот это и значит быть знаменитым путешественником.

В эту ночь Курымушка уснул очень поздно, все рисовал берега Азии, обводил лазурью море Индии и Китая, вырезал из бумаги рельефы гор, окрашивал их коричневой краской. Ему казалось все уже готовым в себе самом, только непременно надо было с кем-нибудь поделиться, и тогда все это будет ясно, как в обыкновенной жизни, только для этого поделиться с кем-нибудь планом надо непременно. И он решил встать и пойти в гимназию как можно пораньше, там сговориться с Рюриком, подраться перед молитвой и в карцере все рассказать. С этим он уснул поздно ночью, и виделась ему одна из золотых березок

такая же, как в кладбищенской роще, но только действительно золотая, и чудесно звенит она своими нежными тонкими лепесточками. „Не сон ли это?“ думает он во сне и берет себе за пазуху несколько золотых листиков.

— Auf, auf! Пора в гимназию итти!—услыхал он над собой голос доброй Вильгельмины,—hallo, hallo!—и схватился за пазуху, стал искать там золотые листики, посмотрел на простыню, под подушкой, нигде ничего не было.

— Что ты ищешь, милый мой?—спросила хозяйка.

— Ах, это было во сне,—догадался он.

И потом со страхом подумал, не во сне ли была ему и та удивительная страна без имени и территории.

— Nun nun, и карту нарисовал,—вот это мастер. Wunderschön!—сказала немка, и Курымушка очень обрадовался: неизвестная страна не была сновидением. Одно было плохо, что проспал. Он попал в гимназию, когда уже пели „Сокровище благих и жизни подателю“, невозможно было без предупреждения подраться с Рюриком и попасть в карцер. Тогда мелькнул ему другой план, взять и вызваться на уроке географии, а потом вместо Америки показать карту Азии, рассказать путь туда, и, если Козел одобрит, значит, верно, а после на большой перемене можно и с Рюриком подраться, и в карцер попасть. Для первой пробы он показал свою карту в классе, там сразу все задивились и, когда Козел пришел, стали ему показывать: им хотелось оттянуть время и заговорить его.

— Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку?—спросил очень удивленный картой учитель.

— Америка открыта,—ответил Курымушка,—а в Азии, мне кажется, много неоткрытого, правда это?

— Нет, в Азии все открыто,—сказал Козел,—но там много забыто, и это надо вновь открывать.

Тогда Курымушка про себя стал вспоминать, когда это он видал сон про забытые страны, и так это его обрадовало, что все исполняется на-яву.

— Нельзя ли начать открывать забытые страны с Малой Азии?—робко спросил Курымушка.

— Можно, только почему же именно с Малой Азии?

— Потому что туда легче всего проехать по реке Быстрой Сосне в Тихий Дон, в Черное море и там прямо и будет Малая Азия.

— Отлично, можно начать с Палестины и, как делали рыцари, поклониться сначала там Гробу Господню.

Козел увлекся, забылся и стал рассказывать о тайнах Азии, что там находится колыбель человеческого рода, исторические ворота, чрез которые проходили все народы. Неузнаваем был Козел, и так выходило из его рассказов, что Гроб Господень и есть как бы могила человечества, а колыбель его где-то в глубине Азии, что все это забыто и нужно все вновь открывать.

— Вот вам пример,—сказал он в похвалу Курымушке,—как нужно учить географию, вы занимайтесь, как он, вообразите себе, будто путешествуете, вам все ново вокруг в неизвестной стране, вы открываете, и будет всегда интересно.

— А почему бы и не поехать?—чуть-чуть не сорвалось с языка у Курымушки, едва-едва он успел удержаться и прикусил язык.

— Садись,—сказал Козел,—я тебе еще пятерку поставлю, очень уж ты хорошо занимаешься.

— Ну, и счастливец! — приветствовал его на задней скамейке Ахилл.

Не знал только Ахилл, чем был счастлив Курымушка, так был счастлив, что больно становилось, и так непременно нужно было, чтобы и Ахилл был счастливым.

— Почему ты не хочешь быть счастливым?—спросил он.

— Не могу.

— Почему ты не можешь, откройся мне, милый Саша, скажи, ну...

— Ну, я скажу: она меня не любит.

— Вера Соколова?

— Она!

— Ну, вот что я тебе посоветую, если она тебя не любит, тебе нужно уехать в другую страну, поедем с тобой в Азию открывать забытые страны.

— Я бы поехал, но как же уедешь?

— А вот подумаем.

На большой перемене Алпатов, Ахилл и Рюрик сговорились, спрятались в шинелях под вешалками против учительской и, выждав, когда Заяц с Обезьяном по звонку вышли оттуда, бросились и вцепились друг другу в волосы. Конечно, инспектор с надзирателем не могли догадаться, что так начинается экспедиция в забытые страны, и прямо же всех троих заперли в карцер.

Счастливо все шло необыкновенно, было так удивительно Курымушке, что Рюрик и Ахилл сразу все поняли, как только он сказал про экспедицию в Азию через Иерусалим в забытые страны за голубыми бобрами, Рюрик ответил коротко:

— Это можно!

Ахилл еще короче:

— Ну, что ж.

Курымушка даже опешил и спросил:

— А как же оружие, лодка, съестные припасы?

— Оружие,—ответил Рюрик,—у меня есть на всех троих; три ружья, три сабли, три револьвера; у отца я стащу золотые часы, на это дело не грех и стащить, - сегодня же я их продам, куплю лодку, припасы.

— Только надо делать как можно скорее,—сказал Курымушка,— чтоб успеть до замерзания рек пробраться в южные теплые моря.

— Завтра поедем!—сказал Ахилл.

Рюрик остановил:

— Не успеем завтра, послезавтра.

— Я напишу прощальные стихи,—сказал Ахилл.

— Я составлю подробный план путешествия, — вызвался Курымушка.

— Тогда за работу немедленно,—распорядился Рюрик,—ты, Алпатов, черти план, ты, Ахилл, пиши стихи, я буду считать, что взять с собой: послезавтра едем.

Кум.

Как чудесно бывает, пока что-то заманивает в свою судьбу перейти, в то святое святых, где я сам с собой и, значит, весь мир со мной. Но сколько людей останавливаются в страхе у порога своей судьбы, у росстани, где все три пути заказаны. Тут, у росстани, впереди хоть и остается приманка, а уже дает себя знать за спиною котомка своей судьбы. Это сразу почувствовал Курымушка, едва только состоялось неизменное решение ехать открывать забытые страны. Начались заботы, и открылся чей-то голос, неизменно день и ночь в глубине души повторяющий: „не надо, не надо, нельзя, так не бывает, этого никто не делает".

Так одному, а другой, как Сережа Астахов, со своими прекрасными бархатными глазами в длинных черных ресницах, ждет и мечтает, что своя судьба тихим гостем придет и ласково, как невесту, поведет его к своему алтарю. Вот тоже и Сережа Астахов—чем не путешественник в забытые страны?—он знает время прилета и отлета каждой птички, знает, куда они, прилетев, деваются, как живут, где можно разыскать их гнездышко; облюбовал себе в полях и лесах все цветки и хворостинки,—ему ли не ехать! А вот и в голову никому не пришло предложить ему путешествие и, напротив, избрали его хранителем тайн: он передаст письмо Вере Соколовой, он обойдет дома путешественников и скажет хозяевам, что их заперли в карцер на двадцать четыре часа и они бы о них не тревожились. Стоило бы Сереже сказать:—„я с вами!"—и он тоже бы поехал в Азию за голубыми бобрами. Но Сережа проплакал всю ночь и сказать не решился, и так по своей застенчивости пропустил случай еще в детстве заглянуть в лицо своей судьбы. В назначенный час, перед уроками, Сережа спустился к реке, перешел деревянный на бочках лежащий мост, от него завернул по берегу влево и тут увидел, как путешественники уже сдвигали с берега лодку. Какой-то мещанин в синей поддевке полюбопытствовал, куда едут ребята на лодке.

— В деревню на мельницу.

— Кто же у вас там на мельнице?

— Тетушка Арина Родионовна.

— Не слыхал, есть Капитолина Ивановна, а Родионовны там не слыхал.

— Мало ли ты чего не слыхал, отстань, не до тебя!

Синий отошел к мосту, перешел на ту сторону и по ступенькам стал взбираться, все оглядываясь, на кручу высокого берега, где стоял-красовался собор. Тут на известной скамеечке, где всегда вечером кто-нибудь сидит и любуется далью, сел теперь в утренний час Синий. Он видел отсюда, как путешественники расцеловались с Сережей, сняли шинели, как блеснули на солнце вынутые из-под шинелей стволы ружей, как серебряное весло стало кудрявить тихую гладь воды, как Сережа тоже поднялся сюда на лавочку, проводил путешественников глазами до поворота реки, где лодка скрылась, всплакнул и пошел. Синий сзади пошел за Сережей.

Возле женской гимназии Сережа умерил шаг и стал прохаживаться взад и вперед. Синий тоже стал прохаживаться по другой стороне улицы. Начали с разных концов показываться маленькие и большие гимназистки. Сережа каждую оглядывал, наконец, увидев одну, похожую на молодую козочку, подошел к ней, передал письмо и направился в мужскую гимназию, за ним вплотную сзади пошел Синий. Сережа вошел в калитку гимназии и, только Синий за ним туда ногу поставил, вдруг с той стороны другой Синий закричал:

— Ивано Паромонов!

Первый Синий обернулся.

— Бежи скорей, свиней резать начали.

Оба Синие сошлись на середине улицы и во весь дух пустились бежать в ту сторону, где начали резать свиней.

Только уже когда в городе появились объявления о трех сбежавших гимназистах, Синий явился в гимназию и дал свои показания. Прикатил в гимназию на шарабане становой Крупкин, за ним следовала телега с двумя полицейскими. Хорош и могуч был в гимназии знаменитый истребитель конокрадов, багрово-синий и весь наспиртованный. Гимназисты всех классов видели, как Заяц и Обезьян в своих синих виц-мундирах вертелись около громадного грузного человека, будто они были бумажные, долго ему что-то рассказывали и просили ни в каком случае не применять оружия.

Услыхав про оружие от бумажных людей, становой сказал:

— Едрёна муха!

И не обращая больше на них никакого внимания, вышел из гимназии, сел в тележку и покатил. За ним покатилась телега с полицейскими.

— В Азию поехали!—сказали гимназисты.

От Веры Соколовой уже в двух гимназиях было известно и шопотом передавалось из уст в уста, что поехали именно в Азию.

— Как бы не вернули в гимназию?

— Ну, уж, брат, нет,—вспыхнул какой-то горячий гимназист,—теперь уже их не догонят.

Мало того, гимназисты—синие прасолы сошлись опять и обсуждали дело серьезно.

— Конечно,—говорили один,—Крупкин ловкач, да ведь мальчишки тоже отчаянные.

— Опять у них вода,—говорил другой,—река быстрая и сама несет лодку, а ему нужно погонять и погонять.

Весь город ожил. Спросись вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в Азию, ну, а как уж уехали, так стало многим казаться, что хорошо, и отчего бы им и не доехать до Азии. Все спящие на ноги стали и с радостью передавали друг другу: три бесстрашных гимназиста уехали от проклятой латыни в Азию открывать забытые страны.

Как раз в эти золотые светлые сентябрьские дни, на воле, о которой столько пишут и мечтают на лавочках, глядя в синюю даль, на этой настоящей воле был осенний перелет птиц с севера на юг над реками быстрой Сосной и тихим Доном через теплые моря на берега Малой Азии. Курлыкали журавли и, расстраивая свои треугольники, спускались отдыхать на низком берегу Сосны. Гуси строгими кораблями торжественно летели, отрывисто переговариваясь; они ночевали вместе с утками на воде, выставляя на всем берегу сторожей. Лебеди совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их груди в чистом воздухе и по каким-то гармоническим, особенным ладам можно было догадаться о них. Белые рыболовы, чайки разных пород еще не трогались и вились на своих гнутых крыльях у самой воды.

Этого наш Курымушка еще никогда не видал и не мог видеть, это можно почувствовать всей душой, только если сам сжег за собой корабли и сам вступил в этот птичий путь, исполненный всякого риска, всяких опасностей. Тогда уже знаешь наверное, что и они там в воздухе не просто кричат, а так же, как мы, разговаривают. Хорошо было, что Рюрик с пяти лет был на охоте со своим отцом, все это знал и умел все объяснить, скажет: „лебедь!“ и Курымушка на всю жизнь от одного слова знает, как летят лебеди и что́ это значит, скажет: „гуси!“ и вот что-то очень серьезное, строгое залегает в душу от гусиного полета. Какие-то маленькие пичужки, серебрясь, попискивая штук сорок зараз, как стая стрел просвистят; подумать только: завтра они перехватят Черное море! Хорошо на минутку выйти из лодки, выглянуть из-под кручи берега в поле и хоть, не подкрасться,—где тут подкрасться в открытом безлесном поле!—а просто посмотреть, как без людей хозяевами в полях ходят на длинных ногах журавли. Раз так видели дроф и даже пустили в них пулю из штуцера: столбом взвилась пыль от удара пули о землю, дрофы разбежались, тяжело полетели, встретились в воздухе с цаплями, не понравилось вместе и разлетелись в разные стороны: цапли к реке, дрофы в степь.

Страшно было в первый раз выстрелить из настоящего ружья, но виду Курымушка не подал, туго прижал ложу к плечу, выстрелил, но промахнулся. В другой раз Рюрик ему крикнул во-время: „мушку, мушку!“. Он мушку навел, и летящая чайка упала; ее с радостью присоединили к мясному запасу в корме. И так весь день прошел, и куда это лучше было, чем самые мечты о забытой стране: это Курымушке надолго осталось, что мысль про себя не обман, как все говорят, а и вестник прекрасного мира.

Под вечер странно стали смыкаться впереди берега, кажется, кончилась река, вот, вот лодка в берег уткнется, а смотришь—опять берега широко расступаются, проехали и опять смыкаются, будто хотят лодку взять в плен. Позднее все стало как будто ловить лодку, тростники, кусты, деревья, но она все шла и шла по течению, и только это казалось, будто лодка стоит и вокруг все идет и ее окружает.

В темноте ночью еще больше, чем днем, несметною силой шел перелет: прямо над самыми головами со свистом проносились чирки, кулики разных пород, тяжело шли кряквы и часто шлепались в воду на отдых. Дикие гуси возле самой лодки иногда спускались всем кораблем, кричали, хлопали крыльями так близко, что брызги летели в лицо. Как хорошо было все это слушать, притаив дыхание в надежде, что глаз каким-нибудь чудом в темноте рассмотрит и можно будет пальнуть из ружья.

Но холод осенней ночи пробирал все больше и больше, и особенно плохо было ногам в сырой, чуть-чуть подтекающей лодке. Попробовали саблями нарубить тростнику, сложили его на дно лодки, легли, но сырость и холод помешали. Если бы на берегу костер развести, но условились в первую ночь не разводить огня и не выходить на берег, догадываясь, что Крупкин будет ловить, и так он по огню сцапает, что и за ружье не успеешь схватиться—это нельзя. И что это: сон, бред или явь? Слышно Курымушке самому себе, как сопит, и как зубы вдруг будто сорвутся и начнут сами так яро стучать друг о друга, а на берегу все время без перерыву где-то по самому близкому соседству дикие утки между собой переговариваются, и, что делает этот полусон!—понятен бывает их разговор. Одна говорит: „пересядь сюда, нам будет потеплее“, другая:—„убирайся с моего места, я тебя не просила, вот еще!“. И так у них всю ночь, то кто-нибудь недоволен, а то вдруг лисицу или хорька почуют и сразу все заорут так, что и мертвый проснется. Много разных снов таких ярких видится, что вот хоть рукой ухвати. Так увидал себя Курымушка на теплой чистой постели, и голова его лежит на пуховой подушке в белой наволочке; вот это настоящее было видение и открытие,—никогда в жизни ему не казалось, что так хороша может быть обыкновенная подушка, какая бывает у всех, на каких теперь все-все люди спят в городах и в деревнях, в богатых домах и в бедных.

Ужасный утиный крик перебил его сон, он проснулся, понял, где он, но подушка так и осталась неотступным видением. В эту самую минуту слышит он у самого своего уха шопот Ахилла:

— Отпустите меня!

— Куда?—хотел спросить Курымушка, но вместо звука вылетел с яростью треск зубов челюсть о челюсть.

— И у тебя зубы трещат,—сказал Ахилл,—ты их рукой придерживай, как я.

Курымушка попробовал, и, правда, вышли слова:

— Куда тебя отпустить?

— Я по бережку тихонько пойду, согреюсь как-нибудь и дойду.

— Куда ты дойдешь?

— Домой.

— До-мой! ах, ты...

Не то было главное обидно, что вернуться задумал, а что мог себе представить, будто это так близко, что вернуться можно. Курымушке было, будто он уж и в Азию приехал.

— Баба, баба!—повторил он со злостью.

— От бабы бежал и к бабе тянет его,—сказал Рюрик.

— Ну, не буду, ребятушки, не буду,—спохватился Ахилл и, отпустив челюсть, затрещал зубами, будто фунтами орехи посыпались.

— Ишь, сыпет, ишь, сыпет!—засмеялись товарищи.

А Курымушке скоро опять подушка привиделась, и он стал с этим бороться, но только напрасно,—чем больше он ее отвергал, тем ярче она вновь показывалась, небольшая подушка, такая же чудесная, как на подушке чудесной снилась когда-то страна голубых бобров. Но вот между утками и гусями пошли совсем какие-то иные разговоры.

— Ты знаешь, о чем они сейчас говорят?—спросил Рюрик.

— Не знаю, а что-то случилось; и по всему берегу одно и то же.

— Это значит, скоро рассвет.

— А как будто еще темнее стало: звезд не видно.

— Всегда перед самым рассветом темнеет, и звезды скрываются: меркнет. Я много с отцом ночевал на утиных охотах: всегда меркнет.

Правда, скоро стало белеть. Теперь не страшно и костер развести. Вот вспыхнуло на берегу маленькое пламя, на востоке начался огромный пожар и потом, когда солнце взошло, как добродушно оно встретило это маленькое человеческое пламя и как вкусен был чай с колбасой и какая радостная сила от солнца вливалась в жилы: этой силой опять все живое поднималось и летело на юг в теплый край.

— Гуси, гуси летят!

— А там смотри, что там?

— Тоже гуси.

— И там?

— И там гуси.

— Ложись на землю, готовь ружье, кряквы летят.

— Стреляй!

Одна шлепнулась, другая подумала, споткнулась и тоже упала.

— А ты, дурак, хотел к бабам итти!

— Дурак я, дурак!

На охоте всегда так: нужно одну только удачу в начале и потом пойдет на весь день, будто каждая новая минута готовит новый подарок. Так прошел этот прекрасный день, и ночь прошла у костра в тепле на сухом тростнике. И еще прошел день и еще одна утиная ночь. В полдень третьего дня путешественники услыхали далеко на берегу колокольчики.

— Не становой ли нас догоняет?—спросил Курымушка.

— Очень просто,—ответил Рюрик,—вот сейчас я это узнаю, он нам кум, кроме шуток, с отцом ребят крестил, приятель отцу: кум.

Было там на берегу высокое дерево. Рюрик вышел на берег, взобрался на самый верх.

— Ну что, видно?

— Видно, едет шарабан.

— Становой?

— Не знаю, не разберу.

— Скорее же разбирай, ну?

— Разобрал: становой!

И так он это спокойно сказал, будто в самом деле он своего кума встречает.

— Скорей же слезай!

— Подожди: за ним в телеге два полицейских.

— Слезай же, слезай, это за нами!

Но Рюрик слезал не так, как хотелось Курымушке, и Ахилл равнодушно смотрел.

Курымушка вспыхнул от злости, но вдруг ему пришла одна мысль.

— Он нас не поймает,—сказал Курымушка, весь просияв,—слушайтесь только меня, вытаскивай живо лодку на берег.

— Как вытаскивать, что ты, удирать надо.

— Вы-тас-ки-вай!

Послушались, вытащили на берег лодку.

— Перевертывай вверх дном.

Тут все и поняли: под лодкой пересидеть станового.

Выбили живо лавочки, нос пришелся как раз в ямку из-под камня и лодка плотно закрыла путешественников.

Колокольчики все приближались. Вот, если бы мимо промчался, но нет—колокольчики затихли, и голос послышался:

— Едрёна муха! зачем тут лодка на берегу? Стой-ка, я посмотрю,

Подъехали полицейские.

— Это их лодка!—сказал становой.—Только где же они сами?

— В деревне, ваше благородие,—сказал полицейский,—они там наверно заночевали, отдыхают, как-никак, а ночи зябкие.

— Ну, вы поезжайте в деревню, а я вот здесь вас подожду и закушу. Еремей, привяжи коня к дереву; Кузька, подай сюда из шарабана кулек.

Полицейские уехали. Становой вытащил из кулька четверть с водкой, поставил на дно лодки и подумал, удивился:—„Ночью дождя не было, а лодка мокрая".

— Вот едрёна муха!—сказал он.

Выпил чайный стакан, закусил, посмотрел следы на траве, как они все выходят от воды и уходят под лодку...

— Те-те-те,—проговорил он, широко и добро улыбаясь,—вот так изюминка!

И запел почему-то:

Чижик, чижик, где ты был?
На Фонтанке водку пил...

Выпил стаканчик, выпил другой и вдруг заплясал, припевая:

Выпил рюмку, выпил две—
Зашумело в голове.

— Молодцы,—сказал он вслух,—взяли себе да и поохотились, самое время, осень, перелет: вот как найду их, так им дня три еще дам пострелять.

— Слышишь?—шепнул Рюрик Курымушке,—надо бы сдаваться.

— Да, надо бы,—шепнул и Ахилл.

В ответ Курымушка ткнул кулаком в нос сначала одному, потом и другому.

— Вот как поймаю,—продолжал становой,—прежде всего им водочки, ветчинки, чайку с французской булкой, а потом с ними на лодке дня на три зальюсь, будто их все ловил: отпуск себе устрою. А то и неделю промотаемся, надоели мне эти черти-конокрады.

Рюрик тихонечко пальцем тронул Курымушку, а тот ткнул его в бок кулаком.

С каждой минутой все ненавистней и ненавистней становились Курымушке его товарищи: превратить всю экспедицию в охоту, вернуться с позором в гимназию?—нет, если они сдадутся, он один убежит, он так не вернется.

А полицейские катили обратно.

— Вы умные люди,—сказал становой,—хорошо сделали.

— Точно так,—отвечали полицейские.

— И порядочные дураки.

— Точно так, ваше благородие.

— Вот что, умные дураки, постелите-ка все это вон там на траве, костер разведите, чайник согрейте,—так! Живо! Теперь нужно гостей звать.

— Слушаем.

— Куда же вы пойдете?

— Не могим знать, ваше благородие.

— Ну, так я вам скажу: лодку эту поставьте на воду и поезжайте гостей звать.

— Слушаем! —сказали полицейские,—и, взяв лодку за край, повернули на бок.

— Чижик, чижик, где ты был? Пожалуйте, гости дорогие. А, и кум тут! Ну, давай поцелуемся.

Становой с Рюриком обнялись, но Курымушка, пока они целовались, схватил ружье, отбежал к дереву и стал за него, как за баррикадой.

Ахилл как осклабился, так и остался с такою же глупою рожей стоять.

Не обращая никакого внимания на Курымушку, такого маленького, Кум угостил вином Рюрика и Ахилла и, увидев четырех убитых крякв, так и ахнул.

— Да мы тут сейчас пир на весь мир устроим: ведь они теперь осенью жирные.

И велел четыре ямки копать; в эти ямки прямо в перьях уложили уток, засыпали горячей золой, костер над ними развели.

— А еще бы хорошо осеннего дупеля убить, да его бы во французскую булку сырого, а булку тоже бы в ямку, пока она вся жиром его пропитается. Ну, вот закусим, такая закусочка—едрёна муха, скажу я вам... ну, вы чего дремлете, ребята здоровые, вам еще по стакану под ветчину, а потом и под утки начнем.

Выпили еще по стакану.

— Меня самого из шестого класса выгнали; эх, было время! вот было время: Gaudeamus знаете?

— Ну, как же!

И запели:

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus...

А Курымушка так и стоял, все стоял за деревом, ожидая на себя нападения; первым выстрелом он думал убить станового, вторым полицейского, затем броситься вперед, схватить второе ружье, другого полицейского взять в плен и на этих лошадях продолжать путешествие.

Так он думал в начале, а кумовство у костра все разгоралось, товарищи его покидали; они, пожалуй, пойдут за Кумом.

Знал ли Кум его мысли? Верно знал: он лежал на полушубке брюхом вниз и сам пел Gaudeamus, а сам все смотрел на воду, будто чего-то ждал и ждал, потом вдруг крикнул Курымушке:

— Не зевай, не зевай!

А у воды совсем низко, будто катились-летели два чирка и прямо на Курымушку.

— Не зевай,—крикнул Кум,—так-так-так-вот-вот-вот... стре-ляй!

Курымушка выстрелил раз—промахнулся, два—чирок свалился в воду у самого берега. Сразу бросился и Курымушка и Кум к утке, у Курымушки руки не хватало достать, а Кум дотянулся и, подавая ему утку, сказал:

— Молодец, азият!

Обнял его вокруг шеи правой рукой и, повторяя „молодец азият", усадил его возле костра на полушубок.

— Ну, ребята,—сказал он,—кажется, ужин поспел, давайте-ка под утку, я сам гимназист, да из шестого класса.

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.

Все выпили, Курымушка тоже первый раз в своей жизни хватил и прямо целый стакан.

— Молодец, азият!—похвалил становой.

Тогда мало-по-малу Курымушке стала показываться та желанная теплая подушка в белой наволочке; еще он сопротивлялся; отталкивал ее, а она все наседала, наседала.

— Нет, нет!—крикнул он.

— Добирай, добирай!—кричал Рюрик,—мы без тебя сколько выпили, добирай!

Курымушка выпил еще, и подушка, огромная, белая, теплая,—сама легла ему под голову.

Хор пел:

Наша жизнь коротка—
Все уносит с собой,
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой...

Только под вечер Курымушка проснулся и услышал голос Рюрика:

— Куда же ты, Кум, нас пьяных теперь повезешь?

— Ко мне на квартиру: мы там еще под икру дернем и спать, а утром вы по домам, и будто вы сами пришли и раскаялись.

Лобан.

Вот если бы знать в свои ранние годы, когда встречаешься: с первою волною своей судьбы, что та же волна еще придет,—тогда совсем бы иначе с ней расставался, а в том и беда: кажется, навеки ушла и никогда не воротится. Старшие с улыбкой смотрят на детские приключения, им хорошо, они свое пережили, а для самих детей все является, как неповторимое. Долго не мог взять себе это в ум Курымушка, почему так издевались над ним в гимназии, как за зверем ходили и твердили: „поехал в Азию, приехал в гимназию". Разве нет забытых стран на свете, разве плана его не одобрил сам учитель географии, и если была его одна ошибка в выборе товарищей,

то ведь от этого не исчезают забытые страны, их можно открывать иначе,— в чем же тут дело?—„Уж не дурак ли я?"—подумал он. И стал эту мысль носить в себе, как болезнь. Пробовал победить сам себя усердием, стал зубрить уроки, ничего не выходило: Коровья Смерть как заладил единицу, так она и шла безотрывно. Смутно было в душе, что если бы что-то не мешало, то мог бы учиться как все и даже много лучше. Однажды Коровья Смерть задал такую задачу, что все так и сели над ней, все первые математики были спрошены, никто не мог решить. Вдруг Курымушке показалось, будто он спит - не спит и ему просто видится решение отдельно от себя; попробовал это видимое записать, и как раз выходил ответ. Всю руку поднять он не посмел, а только немножко ладонь выставил, и то она дрожала. Соседи крикнули:

— Алпатов вызывается!

— Ну, выходи,— сказал Коровья Смерть,— опять какую-нибудь глупость сморозишь,—это тебе не Азия!

Курымушка вышел и стал писать мелом на доске по своему видению.

— Как же это ты так?— изумился учитель,— откуда ты взял это решение.

— Из головы,— ответил Курымушка очень конфузливо,— мне так показалось, это не верно?

— Вполне верно, только ведь как же ты мог?

И к великому изумлению всего класса сразу после единицы поставил три и не простое, а как воскресение из коровьей смерти, на весь год. После этого случая он стал усердней учить уроки, но так всего было много, что от силы было все выучить только на три. Как учатся иные всегда ровно на четыре и даже на пять, понять он не мог. Тупо день проходил за днем и год за годом: глубоко где-то в душе, как засыпанная пеплом страна лежала, дремала, и вот,—когда у Алпатова стали виться кольцами русые волосы и чуть-чуть наметились усики даже, когда почти все ученики стали мечтать о танцах и женской гимназии и писать влюбленные стихи Вере Соколовой, в начале четвертого класса,—будто из-под пепла вулкан вырвался и опять пошло все кувырком.

Мысль, что он дурак, все-таки не оставляла Курымушку и втайне его очень даже точила: он не верил себе, что может окончить гимназию, так это было трудно и скучно, предчувствие постоянно говорило, что это все оборвется каким-то ужасным образом. На своих первых учеников он не смотрел с завистью, они просто учились и больше ничего, но настоящие умные были в старших классах, и многим им он очень завидовал. Эти умные ходили — держались как-то совершенно уверенно, им было и наплевать на гимназию и в то же время они знали, что кончат ее и непременно будут студентами; это были настоящие умные, таких в классе его не было ни одного. Против его, четвертого

класса был физический кабинет, в нем были удивительные машины, и там восьмиклассники занимались, настоящие умные ученики, и среди них Несговоров был первый, к нему все относились особенно. Раз Курымушка засмотрелся в физический кабинет, и Несговоров, заметив особенное выражение его лица, спросил:

— Тебе что, Купидоша?

Каким-то Купидошей назвал.

Робко сказал Курымушка, что хотелось бы ему тоже видеть машины.

Несговоров ему кое-что показал.

— Перейдешь в пятый класс,— сказал он,— там будет физика, все и узнаешь.

— А сейчас разве я не пойму?

— Отчего же, вот тебе физика, попробуй.

Дома Курымушка нашел себе в книге одно интересное место про электрический звонок, стал читать, рисовать звонки, катушки. На другой день случилось ему на базаре увидеть поломанный звонок, стал копить деньги от завтраков, купил, разобрал, сложил, достал углей, цинку, банку и раз — какое счастье это было! — соединил проволоки — звонок задергался; подвинтил — затрещал, еще подвинтил, подогнул ударник — он и зазвенел. Через два месяца у него была уже своя электрическая машина, сделанная из бутылок, была спираль Румкорфа; в физическом кабинете Несговоров показал ему все машины и при опытах он там постоянно присутствовал. Как-то раз он сидел у вешалок с одним восьмиклассником и объяснял большому устройство динамо-машины. Несговоров подошел и сказал:

— Вот Купидоша у себя в классе из последних, а нас учит физике,—почему это так?

— Да рязве нас учат?— вздохнул ученик и запел: „так жизнь молодая проходит бесследно". Несговоров то же запел какую-то очень красивую французскую песенку.

Тогда ябедник Заяц показался в конце коридора. Несговоров перестал петь.

— Спой, пожалуйста, еще,— попросил Курымушка,— мне это очень нравится.

— Нельзя, Заяц идет: это песня запрещенная.

Так и сказал: за-пре-щен-на-я. С этого и началось. Мысль о запрещенной песенке навела Курымушку, взять как-нибудь и открыться во всем Несговорову. Но как это сделать? Он понимал, что открываться нужно по частям, вот как с физикой, захотелось открыться в интересе к машинам, сказал, его поняли, а что теперь хотелось Курымушке, то было совсем другое: сразу во всем чтобы его поняли и он бы сразу все понял и стал, как все умные. Ему казалось, что есть какая-то большая тайна, известная только учителям, ее они хранят от всех, и служат вроде как бы Богу. А то почему бы они, такие уродливые, держали

все в своих руках и их слушались и даже боялись умные восьмиклассники? Просто понять,— они служили Богу, но около этого у восьмиклассников и было как раз то, отчего они и умные: им известно что-то запрещенное,— и вот это понять — сразу станешь и умным. Каждый день с немым вопросом смотрел Курымушка во время большой перемены на Несговорова, и вопрос его вот-вот был готов сорваться, но, почти что разинув рот для вопроса, он густо краснел и отходил. Мучительно думалось каждый день и каждую ночь, как спросить, чтобы Несговоров понял.

— Чего ты смотришь на меня так странно, Купидоша?— спросил однажды Несговоров,— не нужно ли тебе чего-нибудь от меня, я с удовольствием.

Тогда желанный вопрос вдруг нашелся в самой простой форме, Купидоша сказал:

— Я бы желал прочесть такую книгу, чтобы мне открылись все тайны.

— Какие-такие тайны?

— Всякие-развсякие, что от нас скрывают учителя.

— У них тайн никаких нет.

— Нет? А Бог, ведь они Богу служат?

— Как Богу?

— Ну, а из-за чего же и они и мы переносим такую ужасную скуку и родители наши расходуются на нас: для чего-нибудь все это делается?

— Вот что, брат,— сказал Несговоров,— физику ты вот сразу понял, попробуй-ка ты одолеть Бокля, возьми-ка почитай, я тебе завтра принесу, только никому не показывай, и это у нас считается запрещенной книгой.

— За-пре-ще-нной!

— Ну, да что тут такого, тебе это уже надо знать, существует целая подпольная жизнь.

— Под-поль-на-я!

По этой своей врожденной привычке вдруг из одного слова создавать себе целый мир, Курымушка вообразил сразу себе какую-то жизнь под полом, наподобие крыс и мышей, страшную, таинственную жизнь и как раз это именно было то, чего просила его душа.

— Та песенка,— спросил он,— тоже подпольная?

— Какая?

— Мотив ее такой: тра-та-та-та-там...

— Тише! это марсельеза, конечно, подпольная...

— Вот бы мне слова...

— Хорошо, завтра я тебе напишу марсельезу и принесу вместе с Боклем. Только, смотри, начинаешь заниматься подпольной жизнью,— нужна конспирация.

— Кон-спи-ра-ци-я!

— Это значит держать язык за зубами, запрещенные книги, листки, все прятать так, чтобы и мышь не знала о них. Понял?

— Понял очень хорошо, я всегда был такой...

— Конспиративный? Очень хорошо, да я это и знаю: не шутка начать экспедицию в Азию в десять лет.

— Еще я спрошу тебя об одном,— сказал Курымушка,— почему ты называешь меня Купидошей?

— Купидошей почему?— улыбнулся Несговоров,— у тебя волосы кольцами, даже противно смотреть, будто ты их завиваешь, как на картинке, и весь ты скорее танцор какой-то, тебе бы за барышнями ухаживать.

Курымушка, посмотрел на Несговорова, и до того ему показались в эту минуту красивыми его живые, умные, всегда смеющиеся глаза и над ними лоб высокий с какими-то шишками, рубцами, волосы торчащие мочалкой во все стороны, заплатанные штаны, с бахромой внизу и подметки, привязанные веревкой к башмаку,— все, все было очаровательно. Всех учеников за малейшую неисправность костюма одергивали, даже в карцер сажали, а Несговорову попробовал раз директор сделать о подметках замечание.

— Уважаемый господин директор,— сказал Несговоров,— вам известно, что на моих руках семья, и у сестер и братьев моих подметки крепкие; вот когда у них будет плохо, а у меня хорошо, то очень прошу вас сделать мне замечание.

— Вам бы надо хлопотать о стипендии,— робко заметил директор.

— Обойдусь уроками,— ответил Несговоров,— к Пасхе у меня будут новые подметки, даю вам слово.

Как это понравилось тогда Курымушке!

— Знаешь,— сказал он теперь,— я сегодня же остригу волосы свои под машинку, с этого начну.

— И очень хорошо: у тебя есть серьезные запросы.

Не так запрещенная книга и марсельеза, а вот совершенно новый мир, открытый этим разговором — ведь только звонок на урок оборвал разговор, а то бы можно и все узнать у Несговорова, всю подпольную и нелегальную жизнь вплоть до Бога — вот это открылось, вот чем был счастлив Курымушка.

„Начать, значит, с того,—думал он на уроке,—чтобы наголо остричься, это первое; во-вторых, хорошо бы дать теперь же зарок на всю жизнь не пить вина... Правда, вина он и так не пил, но хотелось до смерти в чем-нибудь обещаться и не делать всю жизнь. Вот и вино, если обещаться не пить, то уж надо не пить ни капельки; а как же во время причастия пьют вино,—правда, это кровь, но потом за-пи-ва-ют вином.. Как это? Надо завтра спросить Несговорова, он все знает и все теперь можно спросить".

Быстро проходил урок географии, ни одного слова не слыхал Курымушка из объяснений Козла, и вдруг тот его вызвал.

— Чего ты сегодня смотришь таким именинником?—спросил Козел.

Но что можно было снести от Несговорова, то нельзя было принять от Козла: „смотреть именинником" было похоже на „Купидошу".

— А вам-то какое дело?—сказал он Козлу.

— Мне до вас до всех дело,—ответил Козел:—я учитель.

— Учитель, ну так и спрашивайте дело,—зачем вам мои именины?

— Хорошо: повтори, что я сейчас объяснил.

Курымушка ничего не мог повторить, но очень небрежно, вызывающе сложил крестиком ноги и обе руки держал фертом, пропустив концы пальцев через ремень.

Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

— Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!

То же сказал Несговоров—и ничего было, а Козел сказал, так всего передернуло, чуть-чуть не сорвалось с языка:—„Козел!", но, сначала вспыхнув, он удержался и потом побледнел, наконец и с этим справился и сделал губами совершенно такую же улыбку, как это делал Коровья Смерть, когда хотел выразить ученику свое величайшее презрение словом: „есть мать?" и потом—„несчастная мать!".

— Где ты научился такие противные рожи строить?

— В гимназии.

— Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет.

С каким счастьем когда-то Курымушка от того же Козла услышал, что из него что-то выйдет, а теперь ему было все равно: он уже почти знал о себе, уже начало что-то выходить, и уже не Козлу об этом судить.

Пока так он препирался у доски с учителем, на парту его Коля Соколов, брат известной всей гимназии Веры Соколовой, положил записку. Письмецо было очень коротенькое с одним только вопросом:—„Алпатов, согласны ли вы со мной познакомиться? Вера Соколова". Получить бы такое письмецо вчера,—какие бы мечты загорелись, ведь почти у каждого есть такая мечта, выше этого некуда итти, как познакомиться с Верой Соколовой да еще по ее выбору! С каким бы трепетом вчера он написал в отдельном письме, что согласен, и просил бы назначить свидание. Но сегодня против этого, совсем даже поперек, лежало решение остричь наголо волосы и всю жизнь не пить вина; выходило или то, или другое, а остричься и познакомиться с Верой Соколовой было невозможно.—„Может быть, не стричься"?—подумал он и ясно себе представил, будто он с Верой Соколовой катается на катке под руку и шепчет ей что-то смешное, она закрывается муфтой от смеха и...—„Нет,—говорит,—нет, не могу, я упаду от смеха, сядемте на лавочку". Садятся на лавочку под деревом, а лед зимний прозрачный

колышется, тает, и волны теплые несут лодочку. Кто-то загадывает ему загадку: плывет лодочка, в ней три пассажира, кого оставить на берегу, кого выбросить, а кого взять с собой,—Веру Соколову беру!—отвечает он и плывет с ней вдвоем; а навстречу плывет Несговоров с Боклем в руке, поет марсельезу, посмотрел на Курымушку, и не как Козел с презрением, или с укоризной, ничего не сказал, ничего не показал на лице, все скрыл, но все понял Курымушка, как в душе больно стало этому прекрасному человеку.

Звонок последнего урока вывел Курымушку из колебания, он твердым почерком написал поперек письма, как резолюцию: „не согласен“, передал письмо Коле Соколову и пошел из гимназии прямо в парикмахерскую.

— Nun, nun... wa-as ist's, o du lieber Gott!—встретила его добрая Вильгельмина,—такие были прекрасные русые волосы, и вот вдруг упал с лестницы: von der Treppe gefallen!

Курымушка посмотрел на себя в зеркало и с радостью увидел, что лоб у него такой же громадный, как у Несговорова, и тоже есть выступы и рубцы.

А прислуга Дуняша, как увидала безволосого, так и руками всплеснула:

— Лобан и лобан!

Подпольная жизнь.

Бывало, бросишь камень в тихое озеро—он на дно, а круги идут далеко, глазом не увидишь, и только по догадке знаешь, что катиться им по всей воде до конца. Так брошена была когда-то и где-то одна мысль, как камень, и пошли круги по всему человечеству и докатились до нашего мальчика.

Мысль эта была: законы природы.

То был закон божий, а то просто закон. В том законе нужно было только слушаться, в этом узнавать, и когда узнал и стал жить по закону, то слушаться больше никого не нужно: это знание и дело.

День и ночь мальчик Бокля читает, много совсем ему непонятного было вначале, но когда ключ был найден, этот новый закон, то очень интересно было перечитывать и все подводить под него.

В том законе, которому учат в гимназии, есть какое-то „вдруг!“, все учителя очень любят это слово: ...—„и вдруг!“ или... „а вдруг!“, бывает даже: „вдруг—вдруг!“. Каждый из учеников ходит в класс и учится, как машина, от часу до часу, но всегда ожидает над собой, или под собой или возле себя это: „...вдруг!“. Надзиратель Заяц постоянно под страхом... „и вдруг“ оглядывается, прислушивается, лукавится. Козел, самый умный, и то бывает, ни с того, ни с сего, мелко-мелко перекрестится, и Алпатов узнает в этих крестиках свое детское в саду, в полях, когда, бывало, идет по дорожке... и вдруг начинает из кустов такое показываться, чего отродясь не видал.

А если по новому закону жить, то никаких „вдруг“ быть не может, всему есть причины. Так он, читая и думая, потом подобрался и к богу, что он есть тоже причина, но вспомнил о причастии, когда священник говорит: „со страхом божиим и верою приступите“, вот тут-то и может быть больше всего это „вдруг“, об этом страшно и думать, и кажется, сюда не подходит новый закон.

Каждую большую перемену Алпатов ходит теперь с Несговоровым из конца в конец, восьмиклассник сверху кладет ему руку на плечо, Алпатов держится за его пояс, и так они каждый день без-умолку разговаривают.

— Последнее—это атом,—говорит Несговоров.

— Но кто же двинул последний атом,—бог?

— Причина.

— Какая?

— Икс. А бог зачем тебе?

— Но ведь богу они служат, наши учителя, из-за чего же совершается вся наша гамназическая пытка?

— В бога они верят гораздо меньше, чем мы с тобой.

— Тогда все обман?

— Еще бы!

— Я сам это подозревал, но неужели и Козел не верит?

— Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрещивает, он—мечтатель.

— Что̀ значит мечтатель!

— А вот что̀: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: „если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии“.

— Но ведь это гадко,—почему же ты говоришь, что̀ он умный.

— Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

— А умный, по-моему,—это и честный.

— Еще бы!

После этого разговора стало очень страшно: про это свое, что ему страшно, Алпатов ничего не сказал Несговорову,—как про это скажешь, этот страх еще хуже, чем в лесу бывало: там догадываешься, а тут известно, что это старшие сговорились между собой и обманывают всех,—как тут жить среди обмана?

Раз он идет из гимназии и слышит, говорят два мещанина:

— Смотри!

— Нет, ты смотри!

— Господь тебя покарает!

— А из тебя на том свете чорт пирог испечет.

Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими

в гимназии и их обманывают богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губернии, и так дальше, и еще дальше,—значит их всех, всех обманывают?

— Кто же виноват в этом страшном преступлении?—спросил он себя. Вспомнилось, как в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь, как его достанешь?..

— Козел виноват!—сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель.

— Что же делать, как быть дальше?—спросил он себя, входя к себе.

— О, мой милый мальчик,—сказала ему добрая Вильгельмина,—зачем, зачем ты остригся, ты стал теперь такой умный.

— Чем же это плохо быть умным?

— Всему свое время, у тебя были такие красивые каштановые волосы, тебе надо бы танцовать, а ты по ночам книжки читаешь.

И от доброй Вильгельмины Алпатову так показалось: хорошо это время, когда он хотел танцовать, и как хорошо казалось тогда узнать тайны, а вот узнал и что́ теперь делать? В эту ночь в первый раз он узнал, что̀ такое бессонница, долго провертелся на кровати и только под утро уснул.

— Auf, auf! в гимназию!—звала его Вильгельмина.

А он все лежал и лежал. Какая тут гимназия, разве в гимназии дело? И ему захотелось хоть гадость какую-нибудь, но делать сейчас же, немедленно!.. Вспомнилось, как в саду его братья выстраивались возли бани вместе с деревенскими мальчиками и занимались обыкновенным пороком,—как и он тогда пробовал, но у него ничего не получалось. Теперь он тоже захотел это сделать, но опять ничего не вышло. „Этого даже не умею!“ подумал он с досадой, и сильное раздражение явилось, хоть бы кого-нибудь обидеть, но невозможно было сказать дерзость доброй Вильгельмине с двойным подбородком.

— Милый мой мальчик,—говорила она,—отчего ты такой бледный сегодня? О, зачем ты остригся!

Смутно бродил он мыслью в разные страны, как-то ни во что ею не упираясь, будто пахал облака. В гимназию не пошел, а прямо в городской сад, на самую отдаленную лавочку и стал там думать о последней, казалось ему, неизвестной и большой тайне,—вот бы и это узнать. В классе была целая группа учеников, во главе с Калакутским, они между собой всегда говорили про это и знали все. Но это раньше так чуждо было Алпатову, что он их сторонился и даже боялся,—вот бы теперь их расспросить! И так случилось, что путь Калакутского из гимназии домой как раз был через городской сад мимо этой лавочки. Алпатов задержал его и прямо спросил про это.

— Можно,—сказал Калакутский,—только тебе первый раз надо выпить для храбрости.

— Ну, что же, давай напьемся.

— Приходи ко мне в сумерки.

Началось ожидание вечера. Страх не выдержать и осрамиться борол его. „Ничего,—борол он свой страх,—когда напьюсь, страшно не будет". И всю надежду возложил на водку. С тех пор еще, как он бежал в Азию и напился с Кумом, не пил он ни разу, но воспоминание о действии водки было связано с большой белой теплой подушкой и крепким сном—хорошее воспоминание! Водка может совершать чудеса.

Как только смерклось и стали зажигать фонари, он явился к Калакутскому.

— Ну, пойдем?

— Куда пойдем?—спросил Калакутский.

Алпатов покраснел, стыдясь напомнить. А Калакутский был такой: у него всегда в одно ухо вскочит, в другое выскочит, и что-нибудь делать с ним можно только в тот самый момент, когда в одно ухо вскочило, а из другого еще не выскочило.

— А!—вспомнил он вдруг,—водки не купил, нельзя было, у нас сегодня гости.

— И не пойдем?

— Нет, отчего же, пойдем,—там выпьем, у них есть. У меня там есть приятельница Настя, она тебя живо обработает. Ты не думай, что это из корысти,—они нас, мальчиков, очень любят, только надо теперь же итти, до их гостей, и прямо к ним в комнаты. Неужели ты никогда не пробовал?

— Нет, я думал, нам это нельзя.

— Во-от! а я, брат, с десяти лет начал. Как же это ты вздумал?

— Да, так, вижу нет ничего и—вздумал.

— Как нет ничего?

— Учителя обманщики,—сами не верят, а нас учат.

— Неужели это ты только теперь узнал? А я это с десяти лет понимал. Ты знаешь, Заяц-то наш к моей Анютке ходит, она мне все рассказывает, хохочет!—он страшный трус и тоже нашим путем ходит, заборами, пустырями, в одном месте даже в подворотню надо пролезть, ну она и заливается: ты представляешь себе, как Заяц подлезает в подворотню? А ты думал—они боги. Я тебя Насте поручу, она мальчиков любит. Понравишься, так еще подарит тебе что-нибудь. Ну, пойдем.

„Вся надежда на водку!"—холодея от страха, думал Алпатов.

Шли сначала по улице. Алпатов спросил:

— А Козел тоже ходит?

— Нет, у Козла по другому: он сам с собой.

— Как же это?

Калакутский расхохотался.

— Неужели и этого ты еще не знаешь?

Алпатов догадался и ужасно ему стал противен Козел: нога его значит дрожала от этого.

— Ну, здесь забор надо перелезть, не зацепись за гвоздь,— сказал Калакутский.

Перелезли. Ужасно кричали на крышах коты.

— Скоро весна,—сказал Калакутский,—коты на крышах. Ну, вот только через этот забор перелезем и—в подворотню.

Перелезли, нырнули в подворотню. С другой парадной стороны двора ворота были приоткрыты, и через щель виднелся красный фонарь.

— Запомни теперь для другого раза,—шопотом учил Калакутский,—этот заячий путь нам единственный, а с той калитки, если войдешь, сразу сцапают. Теперь вот в этот флигелек нужно и опять осторожно; чтобы хозяйка из окна не увидала: ведь мы с тобой бесплатные. Боишься?

— Нет, не боюсь!

— Молодец. Постоим немножко в тени: какая-то рожа у окна. Ну, ничего, идем.

В темном коридоре Калакутский нащупал ручку, погремел, шепнул:

— Отвори, Анюта!

— Это ты, Калакуша?

Она только проснулась, сидела на неубранной кровати, в одной рубашке. Алпатову ничего не показалось в ней особенного: просто раздетая женщина и—ничего таинственного, как представлялось.

— Вот этот мальчик,—сказал Калакутский,—его надо просветить.

— Веди к Насте, она их страсть любит.

Пошли дальше по коридору. „Если так,—думал Алпатов,—то не очень и страшно". Но Настя оказалась большая фарфоровая баба с яркими пятнами на щеках.

— Поручаю тебе обработать этого кавалера,—сказал Калакутский.

И втолкнул Алпатова в ее комнату.

— Раздевайтесь, — очень ласково сказала Фарфоровая, — пива желаете?

— Водки,—ответил Алпатов.

Она вышла.

Тогда стала ему Фарфоровая, как на первых уроках в гимназии Коровья Смерть: страшно и слабо в себе.—Не убежать ли теперь?— подумал он, но вспомнил, что еще будет водка и после нее все переменится: тоже был страшный Становой, а потом стал милым Кумом.

Она принесла графин с двумя рюмками, на блюдечке было нарезано мясо: закуска.

— Миленочек, ах, какой ты хорошенький; пил ли ты водку когда-нибудь?

— Пил!

И налил две рюмки.

— За ваше здоровье!

Чокнулся и выпил.

И вот странно, обжог себе рот, водка настоящая, а никакой перемены от нее не было.

Налил еще, выпил и — опять ничего, и еще налил и — опять ничего, и еще...

— Миленочек, ты очень уж скоро, так ты совсем опьянеешь.

— Водка на меня не действует,—ответил Алпатов,—мне надо много выпить.

— Вот ты какой!

Она села в кресло, притащила его к себе на колени, обняла.

— Ах, какой ты хорошенький, миленочек, знаешь, я тебе сделаю подарок,—вот.

И дала ему небольшой перочинный перламутровый ножик.

— Подождите,—освободился Алпатов,—я сейчас на двор схожу, мне нужно.

Шинель надел, а пояс забыл. Выпитая водка стала действовать, только в другую сторону,—видно напрасно грешат на этот хлебный напиток. Или, может быть, невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Маревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами. Водка действовала, но в другую сторону: бежать, бежать!

Он спрятался в тени ворот, собираясь перелезть в подворотню, но вдруг ему почудилось, что на той стороне есть кто-то.

— Не Заяц ли это лезет?

Вылез кот и шарахнулся: другой кот бросился на первого, и оба с ужасным криком понеслись на крышу. Две старушки у других ворот разговаривали между собой:

Первая старушка сказала:

— Пост пополам хряпнул!

Вторая ответила:

— Коты на крыши полезли.

Первая сделала вывод:

— Значит, месяц остался до полой воды.

— Ведь вот как они странно выводят,—подумал Алпатов:—у них причины выходят совсем не так, как у Бокля.

Коты, сцепившись в клубок, ляпнулись с крыши прямо ему под ноги и бросились в подворотню. За котом бросился в подворотню Алпатов и на забор, по кустам, до другого забора, по улице.

Добрая Вильгельмина ничего не заметила в дверях, и он прямо пошел в постель, но водка теперь только и начала свое действие, всю ночь ему чудится, будто Заяц его преследует, он в подворотню и Заяц за ним, по пустырям, по заборам, по крышам мчатся они всю ночь, только где-то у собора ему удалось, наконец, обмануть Зайца, с высокой горы он скатился вниз кубарем и там у реки была опрокинутая

лодка, под эту лодку нырнул он, а там... что там он увидел! Там сидел Козел и уединенно сам с собой занимался.

— Auf, auf, в гимназию! —звала его Вильгельмина.

С ужасной головной болью он встал и вышел к чаю.

— O, mein liebes Kind,—воскликнула добрая Вильгельмина,—ты совсем больной, не нужно ходить в гимназию.

Но Алпатов пошел, у него было какое-то смутное решение начать свою жизнь совсем по-другому. Первый урок был как раз география. Вошел Козел, сел, заложил ногу за ногу и задрожал, заходила кафедра, затряслась половица, и через половицу—и парта. Алпатов стал испытывать точь-в-точь такое же невыносимо противное, как от фарфоровой дамы. Своими зелеными глазками учитель стал перекидываться от лица к лицу, Алпатов упорно смотрел и когда встретил, то видел как они зло вспыхнули и остановились, как две кометы — злейшие на всем небе светила. Алпатов опять скривил губы, как Коровья Смерть, и что в тот раз удалось, то и сегодня от этого Козлу стало, будто он яд принял.

— Ты опять рожи строишь?—сказал он.

— А вы опять дрожите,—ответил Алпатов,—мне это неприятно.

Класс притих, как перед грозой.

Козел перестал дрожать ногой и даже как-будто сконфузился, стал шарить глазами в журнале, слепо вызвал кого-то. Только Алпатову нельзя было так оставаться, было начертано совсем не тут, что итти ему в это утро, итти до конца: далеко где-то в других временах и в других странах камень упал, и пошли круги по человечеству и сегодня докатились до этого мальчика. Он поднял руку.

— Что тебе надо?

— Позвольте выйти.

— Не успели начать урок и уже выйти, что с тобой?

Сердце его стучало. Он вспомнил, что Вильгельмина, принимая бром, жаловалась на сердцебиение, и сказал:

— У меня биение сердца.

— Ну, что же,—ответил Козел,—сердце у всех бьется.

В классе засмеялись. Победа была за Козлом. Алпатов сел на свое место.

Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели, в церкви пели: „Кресту твоему поклоняемся, владыко“, при этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.

Алпатов встал.

— Тебе что?

— Пост пополам хряпнул.

— Ну, так что?

— Коты на крыши полезли.

— Что ты хочешь сказать?

— Значит, месяц остался до полой воды.

Козел хорошо понял.

Козел такое все понимал.

— Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же садись и не мешай, а то я тебя вон выгоню.

Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою и половица ходуном заходила.

— Вот вы опять дрожите, невозможно сидеть.

— Вон, вон!—крикнул в бешенстве учитель.

Тогда Алпатов встал бледный и сказал:

— Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю. что сделаю, может быть и убью.

Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине. и Козел.

Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел перекрестился большим открытым крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.

— Ты—маленький Каин!—прошипел он Алпатову, уходя вон из класса.

— Козел, Козел!—крикнул ему в спину Алпатов.

Через несколько минут в класс вошел Обезьян, у него было торжественно-мрачное лицо, и он сказал:

— Алпатов, возьми свой ранец, уходи из класса и больше не возвращайся.

Алпатов не надел на спину ранец, как это непременно требуется, а взял его под мышку портфелем, запел:

— Allons, enfants de la patrie.

И пошел в коридор мимо директора, не поклонился и все пел: „Contre nous de la tyrannie".

По пути домой он зашел в лавочку, купил себе черные пуговицы.

— Что случилось, что так рано?—спросила его добрая Вильгельмина,—заболел?

— Меня исключили из гимназии,—сказал Алпатов.

— Wa-a-as-s?

Алпатов попросил ножницы, иголку с ниткой и пошел в свою комнату. Там он сел у столика, развернул свою заветную бумажку, положил на стол перед собой. И отпарывая блестящие серебряные пуговицы, пришивая черные, запел на весь дом:

Allons enfants de la patrie.
Le jour de gloire est arrivé.

Верно из всех хозяек этого города одна добрая Вильгельмина понимала эту песню во всем ее ужасном значении.

— Alles verloren,—шептала она с ужасом.—Armes Kind!

А за дверью до самого вечера гремело:

Contre nous de la tyrannie,
L'etendart sanglant est arrivé.

Конец второго звена.

Перемена.

Мариэтта Шагинян.

(Продолжение.)

ГЛАВА XVI ЛИРИЧЕСКАЯ.

Слово о мире Эвклида.

Страшно видеть тебя лицом к лицу, Перемена!

Обживаются люди на короткой веревочке времени, данной им в руки. Обойдут по веревочке от зари до заката короткий кусочек пространства, данный им под ноги. Все увидят, запомнят, в связь приведут, каждой вещи дадут свое имя. И между ними и между вещами ляжет выравненная дорожка, из конца в конец выхоженная своим поколеньем. Ей имя--привычка.

Станет тогда человек ходить по дорогам привычки. И не трудно ногам, ступившим на эти дороги: вкось или прямо, назад иль вперед, а уж они доведут человека до знакомого места.

Только бывает, что вырвет веревочку распределитель времен из рук поколенья. Тогда из-под ног поколенья выпорхнет птицей пространство. Остановится человек, потрясенный: не узнаёт ни пути, ни предметов. Боится шагнуть, а уже к нему тяжкой походкой, чеботàми мужицкими хряско давя, что попало, руками бока подпирая, дыша смертоносным дыханьем, чуждая, страшная, многоо̀читая, как вызвездивший небосклон, чреватая новым, подошла,—Перемена. Неотвратима, как смерть: ее, если хочешь, прими, если хочешь, отвергни,—все равно не избегнешь.

И, как смерть, лишь тому, кто доверится ей, заглянув в многоо̀читый взор,—она сладостную, сокровенную радость подарит и на смертные веки его положит нежную руку. Перемена, освободительница всех скорбящих.

Не потому ли к тебе, под тяжкую поступь твою, кидаются прежде разумных—безумцы, быстрее счастливых--страдальцы? Не потому ли на хряский твой топот откликаются нищие, грешники, прокаженные, падшие женщины, поэты, младенцы, мечтатели? И, утешая одних, ты других коронуешь бессмертьем!

Каждому, кто под небом живет, дано пережить не однажды предчувствие смерти. Опархивает оно, словно бабочкины крыла, ваш лоб в иные минуты. И певцу твоему, Перемена, тронул волосы тот холодок.

Встало сердце, холодом сжатое, как привидение в саване, как мороз, проходящий по коже. Все вспомнило сразу: созревания вещих любвей, опавших до срока; закипания крови, другой никогда не зажегшей; мудрую нежность, источившуюся на бесплодных; погоню за призраками,—и за тобою, последний, ты с седыми бровями и невеселым пристальным взглядом, отчим с гор Прикарпатских, колдун, так сладко любимый!..

— Пусть же холодом неутолённого гнева наполнится песня. Не тебе, Перемена, чье могущество славлю, будет слово мое,—а уходящему на закат, Эвклидову миру.

Прямолинейный! Древний для нас и короткий, как вздох, перед будущим, ты кончаешься, мир Эвклида! Пляшет в безумьи, хмелем венчаясь, Европа, порфироносная блудница. Пустые глазницы ее наплывающей ночи не видят.

Боги уходят, дома свои завещая искусству.

Так некогда вышел Олимп, плащ Аполлона вручив актёру и ритору; а за кулисами маски остались, грим и котурны... Мы за кулисами уже подбираем и вас, византийские маски! Строгие лики, источенные самоистребленьем, мертвые косточки, лак, пропитавший доску кипариса, смуглые зерна смолы, сожигаемые в тяжелых кадильницах, темное золото риз, наброшенных на Тебя и надломивших Тебя, Лилия Галилеи!

Другими дорогами поведет Перемена.

Прямолинейный! Ты, кто навек разлучил две параллельных, кто мечту о несбыточном, о неслиянном, об одиноком зажёг в симметрии земного кристалла, пространство наполнил тоской Кампанеллы о заполняемости; ты, кто бросил физикам слово об ужасе пустоты, horror vacui,—ты при смерти, мир Эвклида! Кристалл искривился. Улыбка тронула губы рассчитанного симметрией пространства. И улыбка убила твою прямизну—завертелись отсветы ее, искажая законы. Две параллельные встретились. Из улыбки, убившей тебя,—родилась геодета.

Плачут в тоске умирающие на кристалле Эвклида.

Плачьте же, плачьте, оплакивайте уходящее! Но всеми слезами вам не наполнить завещанной трещины меж прямизною сознанья и ложью и кривью действительности, дети Эвклидова мира! Посторонитесь теперь: к нам входит кривая. Мост между должным и данным быть может, построит она, дочь улыбки, соединительница,—геодета.

ГЛАВА XVII.

Вышитые подушечки.

Душно становится жить на тесной земле в иные минуты. Все передумано, перепробовано, грозит повтореньем. Возраст-гримировальщик карандашиком складочки чертит возле рта, возле носа. Тронет точку, опустит углы, и видишь, что человек все изведал, устал, окопался, как хищная ласка, в своем одиночестве,—проходи себе мимо. И для новой надежды на чудо, для счастья—приберегает зевоту.

Душно дышалось меж вышитыми подушечками у вдовы профессора Шульца, Матильды Андревны. Вход в квартиру был через стеклянный фонарь, где не звякал звонок, обмотанный мягкою тряпкой (от нервов Матильды Андревны), а только шипел, содрогаясь. На шип бежала прислуга.

Чехлы не снимались в квартире ни зимою, ни летом; но поверх них набросала хозяйка искусной рукою цветные подушечки: одна вышита гладью, другая на пяльцах ковровою вышивкой; третья вовсе не вышита, а просто пуховая в шолке, с футляром из кружев; четвертую разрисовал по атласу художник; пятая собрана из малороссийской ширинки, и сколько еще мягких, круглых, квадратных, прямоугольных пухлых, как муфты, и плюшевых плоских подушек!

В них, утопая локтями и слабыми спинами, сидели: хозяйка, сановитая немка, с тюрингенским певучим акцентом; новый ее постоялец, доктор Яммерлинг, умолномоченный от „Кельнской Газеты", и дочь ее, Геничка Шульц, двадцатипятилетняя.

Доктор Яммерлинг был католиком. Бритый, с ямочкой на подбородке, с коротким, прямым, над верхней губою приподнятым носом, с бесполым и чувственным ртом, от бритвы запекшимся язвочками в тонких и острых углах, с прямыми бровями над узко-зрачковым взглядом кошачьим.

Доктор Яммерлинг говорил о Европе. Голос его звучал глуховато:

— Мы накануне больших событий, фрау Шульц. Католической Церкви сейчас, как никогда, надлежит стать матерью христианского мира. Лет пятнадцать назад Чемберлэн, а теперь Оскар Шпенглер забили тревогу. Христианской культуре конец, если мы не спохватимся; нас осаждает в Европе растущая сила евреев. Надо с корнем рвать иудаизм отовсюду, куда он проникнул,—из догматики нашей, из безбожья научного метода, из социальных концепций, из церковных традиций, воспринимаемых ветхозаветно. Генетически связаны мы вовсе не с Библией, а с индийскими Ведами.

— Что-же вы станете делать с протестантами и с англичанцами?—спросила фрау Шульц, сановитая немка, любившая спорить.

— Вы затронули важный вопрос. Но видите ли, Папа думает (между нами, конечно), и Его Святейшество прав безусловно, что когда будет поставлен на карту принцип культуры, когда мы вплотную приблизимся к моменту раздела на своих и чужих, христиане сомкнутся и отпадут их взаимные расхожденья.

— Как же вы представляете себе будущее?—спросила красивая Геня, взглянув Яммерлингу на губы.

— Гегемонией папства над всей европейской культурой,—ответил католик, сухими губами, как червячком, извившись в улыбке над деснами:—В этом смысле мы должны даже радоваться русскому большевизму. Он наивен. Своею наивностью он замахнулся наотмашь и многих перепугал. Государство и собственность, иерархизм людских отношений, наука, искусство и право—все, устрашившись, прибегнет к ограде церковной. Ибо лишь внутренняя организация может Европу спасти от угрозы Интернационала.

— Значит, опять в подчинение к авторитету? Жечь еретиков, запрещать развиваться наукам,—средние века, аскетизм, монастыри, сочинения ad gloriam Dei?

— И могучий расцвет нашей пластики. Да. Что ж тут страшного в аскетизме? Почитайте-ка Фрейда. Сублимированный в могучие тиски неудовлетворенного творчества, пол, как электричество, двинет культуру опять к формованью, к дивному кружеву спекулятивного мышленья, к песне и к музыке. Лучше, ведь, два-три стиха гениальных, чем пара-другая ребят со вздутыми с голоду на рахитичных ногах животами. Как вы думаете, фрейлейн Геня?

Но Геня думала молча. Красивыми серыми с поволокой глазами глядела она на нервные пальцы руки своей, полировавшей о светлую юбку миндалевидные ногти.

За Геню ответила мать, сановитая немка:

— Вы очень односторонни, херр Яммерлинг. Вам кажется, будто в культуре борются только две силы, а я так думаю, что есть, ведь, и третья сила, разумно-умеренная, та, что зовется прогрессом.

— Одна из масок великого оборотня, семитизма!—воскликнул католик:—идея прогресса чужда арийскому духу!

. . . .

Перешли из гостиной в столовую слишком тихая Геничка и преувеличенно разговорчивый Яммерлинг. Сели не рядом, а в отдалении друг от друга, и тотчас же заняли руки игрой в бахроме от салфеток, перестановкой бесцельной тарелок, вилок и ложек.

Матильда Андревна открыла все окна и подняла полотняную штору, скрывавшую дверь на балкон. В комнату сухо повеяло душной июльскою ночью.

ГЛАВА XVIII.

Политика и мировоззрение.

Подними голову и гляди на бесчисленные миры над тобой.

Ты—песчинка. Ты, как тысячи пчел, переполняющих улей, носишь с собой тысячи планов организации мира. Улей гудит, пчела за пчелой вылетает, смена мыслей строит строжайшее зданье науки, где все соответствует опыту, а меж тем заменяется новым в положенный срок. Охотник за истиной, открывающий цепь соответствий,—ты обречен на него, на соответствие: разве не ты фокус все той же вселенной?

Так думал Яков Львович июльскою ночью, присев на скамейку городского бульвара. Он похудел и осунулся, веки, совсем восковые, лежали на отяжелевших от созерцанья глазах: долго, закинув голову, отражали глаза катившиеся меж ветвями широким потоком миры,—и устали. Он расстегнул воротник, прислонился к спинке скамейки.

Внизу, под ногами, шелестели изредка листья, не в пору упавшие с веток. Ветер лежал низко и, поворачиваясь на другой бок, дышал жаром отяжелевшего дня меж ногами редких прохожих. Встанет, покружится, шурша листьями, бросит горстью сухой и щебневой пыли в лицо замечтавшемуся, побежит полосой, закачав фонарем залитое пространство взад-вперед, то туша язычок фонаря, то его раздувая, а после вдруг сгинет, и нет его. Сухо, душно, нечем дышать.

Задев Якова Львовича платьем, прошла одинокая женщина. От платья ее потянуло пылью и гарью.

Одиночество торжественным сонмом звезд, расширяющихся в усталых глазах, как предметы, перед засыпающим человеком, сонное, светлое оплывало сознанье...

Вдруг кто-то сказал перед ним по-немецки, сквозь зубы, говоря сам с собой:

— Schon wieder!

И в шопоте Якову Львовичу послышался старый знакомый; он вскрикнул:

— Доктор Яммерлинг!

Спичка чиркнула, свет прошел по фигуре под деревом, привставшей со скамейки бульвара.

— Герр Мовшензон, поразительно!

Два старых соседа за столом табльдота в пансионе города Мюнхена, два бывших товарища по книге и выпивке, пораженные, остановились друг перед другом.

— Вот кого не ожидал я повстречать ночью в России! Вы на военной службе? Пришли с оккупантами?

— Я корреспондент.

Доктор Яммерлинг что-то хотел прибавить, но внезапно осекся. Он вышел согреть перед сном торопливой прогулкой холодную кровь,

дать успокоиться пальцам, как паутиной опутанным привычно-ползучими ласками. Он знал, что оставленная среди душных подушек, волнуясь, ждет его Геня, ненасытно наивная и не догадавшаяся еще о том, что она недовольна. И мысли его были смутны.

Стоявший сейчас перед ним Яков Львович тоже устал. От недоеданья и от бессонницы все время гудели у него лихорадочно вены, отдаваясь в мозгу комариною песней. Кровь била в них слабо, и от слабости сладко покруживалась голова. Истощенному Якову Львовичу хотелось заснуть, укачавшись от звезд; и, глаза от них отрывая, он думал, что это звезды жужжат, заплыв ему в вены. Тысячелетняя нежность, с какою еврей глядит на вселенную, к тысячелетней отверженности, налёгшей на плечи, прибавилась и стиснула сердце.

— Пойдемте, пройдемся.

Так они шли, разговаривая, около часу.

Меж Ростовом и Нахичеванью дорога идёт по степи. Слева скверы, летом пыльные, с киосками лимонада, сладких стручков и липкой паточной карамели в бумажках. Днём и вечером в них толпятся солдаты, шарманщики, франтоватые люди прилавка. По воскресеньям усердно гудит здесь марш „Шуми, Марица" и вальс „Дунайские волны". На запрещенье не глядя, налускано семячек по дорожкам несчётно, и дождь их сыплется, как из крана, из неутомимых ртов днем и ночью, заменяя скучную надобность речи.

Справа лежит дважды сжатая степь, уходя к полотну железной дороги. Исчертили ее колеи проезжих дорожек. П... ится она постоянно взметаемой из-под колес белой пылью, трещинами покрывается к осени, как сосок у небрежной кормилицы, и не дает ни влаги, ни тени.

Нет спасенья от духоты июльскою ночью! В Темернике над черной, миазмами полною лужей, стиснутые друг ко дружке закопченные стены домишек задыхаются от жары и от страшных вздохов близкой гостьи: холеры.

Напрасно измученные работницы, с трудом укачав грудного, изъеденного комарами и мухами и лежащего, обессилев, в поту на серой простынке,—открывают, что могут: дверь, окошко, печную заслонку. Воздух не хочет течь. Влаги у неба нет. Задыхается, иссыхая заразой, Темерницкая лужа.

А у соседа за стенкой топтанье: сосед бежит, что ни миг, в отхожее место. Потом и бегать не стал, рыгает и стонет. Кричит надрывно жена над ним:

- Жрал огурцы, окаянный! Говорила тебе, о Господи, мука моя...

Отвечает муж между стоном:

— Замолчи ты, что-нибудь жрать-то ведь надо!

На завтра свезут его, как и другого, и третьего, из Темерника, дышащего смрадною лужей, в холерный барак, а оттуда в могилу.

— Видите вы все это?—обводит перед Яммерлингом рукой Яков Львович—тут живут высшие созданья природы, люди, наделен-

ные разумом. Но у них нет даже силы на похоть, доступную зверю. Изглоданные, как ребра домов после пожара, слабые, словно травы по ветру, с истощенными своими детенышами у иссякших грудей, проходят они по жизни поденщиками, погоняемые кнутом. Они умирают раньше, чем поняли, что могли бы жить лучше. Я вас спрашиваю, это ли идеал вашей церкви?

Яммерлинг с насмешкой ответил:

— Удивительно любите вы и подобные вам сводить спор на мелочи. При чем тут идеал церкви? Только вы взбадриваете их, заставляете всем, что у них есть, жертвовать будущему, а устроить их лучше не можете и не умеете. Мы же даем им высшее утешение, ту бодрость, при которой идут они своею дорогой, с ней примиренные, и получают максимум, им доступного, счастья.

— Человекоубийцы! Вы не только в них убиваете то, что у них есть лучшего: способность борьбы за полноту человеческой жизни. Вы усыпляете совесть тех, кто родится хозяином жизни.

— Друг мой, в вас говорит сейчас бастард, помесь арийца с семитом. Не будь вы бастардом, вы поняли бы, а поняв, смели б признаться себе в одной страшной, может быть самой страшной, но и самой отчётливой правде: нет людей кроме тех, кто родится хозяином жизни. Породу вы наблюдаете на каждом шагу,—у домашних животных и у растений. Есть высшие виды и есть низшие; первые делают жизнь, а вторые служат тем, кто ее созидает. Служат они руками, ногами, туловищем, шкурой, кровью, костями. Что нужды кричать о справедливости, когда ее ежечасно отрицает природа? Быть может, высшая скромность для человека—спокойно принять свой скипетр хозяина и спокойно нести услугу раба, раз вы хозяин, а он подонок, подёнщик, рожденный рабами для рабства.

Яков Львович взглянул ему, при мерцании звезд, в глаза, узкозрачковые, зеленые, как у кошки. Он тихо сказал сам себе:

— Изжит идеализм христианства:

Опускается занавес над трагедией величайшей на свете. Опустелые гнезда слов евангельских! Ныне выпорхнули и улетели из вас белогрудые ласточки ласковой речи, нежно тронувшей совесть, но отточившей ее остро, как лезвие бритвы. Притуплённая совесть жрецов и вас, кто толпится в ограде, мужчины и женщины, с сонными мыслями о благополучии, прижимающие к себе свой достаток, изъеденный тленом,—вы умерли, осуждены. Врата Адовы одолели вас не снаружи,—и разве не видно вам, что мимо вас катится откровение новой любви?

— Вот что скажу я вам, доктор Яммерлинг,—после молчанья сказал Яков Львович,—ваши слова могут быть правдой, справедливости в природе нет. Но ни один из прекраснейших детей человеческих, кто, вдохновеньем двигает жизнь, не согласится на эту правду. Он скажет: пусть лучше сам я буду рабом, пусть проклято будет мое вдохновенье,

если мы неравны и я заранее осужден быть всем, а он—ничем. Посмотрите-ка, не вы, не я, не нам подобные средние люди, а цветы человечества, самые лучшие, самые мудрые, алкали о справедливости. Это вам не убедительно? Вы не хотите приспособлять свою душу к законодательной совести гения?

— Нет, положительно вы семит. Только уничиженному выгодна эта вечная апелляция к совести,—с раздраженьем ответил католик.

Он разгорячился от ходьбы и спора. То и другое он делал искусственно, как моцион. Кровь побежала быстрее по жилам, пальцы согрела, выжала капельки пота на бритые щеки духота тяжелеющей ночи. С подделкой под жизненность, живо, как мальчик, он оставил Якова Львовича на тротуаре, торопливо пожав ему руку.

— Пора, не то попадем на ночевку в комендатуру!

И, повернувшись, он зашагал к Нахичевани, туда, где в душных подушках, горячая, сильная, на цыпочках перейдя спальню спящей Матильды Андревны, поджидала его, терзаясь течением времени, красивая Геня.

И снова ночь, раскаленная, как деревенская банька, без росы, без капли крупного дождика из нависнувшей тучи, тяжкая, иссушающая.

И снова ласки, одни и те же, холодно расчетливые с перебоями отдыха, чтоб дать набраться по капле скудеющей крови к паутиной опутанным пальцам. И думает Геня с шевелящимся ужасом в нетерпеливом, стыдом обожженном сердце: это... вот, такое... любовь?

Улыбается чей-то рот, червяком извиваясь над дёснами. Улыбаются чьи-то пустые глазницы. Корчатся крылья огромной летучей мыши, перепончато опрокинутые над миром. Душно дышит отравою умирающий, но дни его сочтены.

Он бессилен дать семя.

ГЛАВА XIX.

Степная сухотка.

— Цык - цык - цык - цык—

заводит кузнечик музыку по шероховатым кочкам земли на убраном поле. Не всякий пойдет сюда босиком, да и в сапогах: земля оседает, оставшиеся колосья пребольно вонзаются в пятку или зайдут под подошву, неровные шрамы земли удесятеряют дорогу. Вольно кузнечику одному: цыкает, благословляя безводье.

Вот уже месяц, как не идет дождь. Станицы молотят хлеба.. Каждое утро на высоких повозках свозят с бахчей ребята арбузы и дыни. Казачки, повязанные по самую бровь, сидя в кружок на земле с детьми и соседками, длинною палкой колотят по чашкам подсолнухов, наваленных перед ними целою грудой. Чашки полны почерневших семян. Ребятишки грызут их сладкую мягкую корку. А поколотят палкой по чашке—и сыплются семячки прямо на землю, выскакивая все сразу и на земле буря от пыли.

Домовитые варят старухи из гущи спелых арбузов чёрную жижу: будет она по зиме к чаю итти вместо сахара.

А старики возятся с желтою жижей навоза: наваливают его перед домом, уплотняя лопатой, бьют по нём спинкой лопатной, обрызгивая проходящую курицу, и растёт вперемежку с соломой навозная куча,—понаделают из нее кизяку для топлива.

Носится в воздухе белая пыль молотящегося зерна. В ноздри заходит, в уши, на шею под воротник. Как у персика, лег ее пухлый налет на круглые щеки.

Но со степи приносит ветер нехорошие запахи, а из города привозит казак нехорошие вести. Фельдшер обходит станицу, расклеивая объявленье:

Не пейте сырой воды!
Не ешьте сырых овощей!
Перед едой мойте руки!
Истребляйте мух!

Истребишь их! У казачки Ирины поедом едят мухи умирающего ребенка. Мрёт ребенок от живота—что ни съест, вырывает. Жарко ему, голенький на клеенке, со вздутым, как резиновый шар, животом, с тоненькими, словно ленточки ножками, ручками, лежит и помирает. Где ж тут мух отогнать от младенчика в рабочую пору, когда бабьих рук на всякое дело не напасёшься. И мухи знай залепляют глазенки, ползают по лицу, по ноздрям, по слюнке, бегущей на подбородок, гнездятся под шейкой не много, не мало—десятками. Моргает дитя, раскрывая большие грустные глазки. Мухи взлетят и снова садятся, липкими ползунами охаживая беззащитное личико. И глаза, загноившиеся в углах мушиною слизью, смотрят с кроткою стариковскою мудростью и с безысходным терпеньем. Маленький, зря ты вышел из материнской утробы.

— Волчья утроба!—сердитый фельдшер сказал, наклоняясь над ребенком:—ведь первенький он у тебя, постыдилась бы! Чего суешь ему жеваный хлеб, когда говорю: кипяченого молока давай. Воспаление прямой кишки у него, тебе говорю или нет?

Но не отвечает Арина, да как грохнет ухватом в печь, ажно горшки затряслись и посуда на полках отозвалась-затеренькала. Высохла у Арины душа, высохло сердце. Выплакала глаза.

А из степи в станицу доносятся нехорошие запахи. И из города привозит казак нехорошие вести: бараки тут, на восьмой версте, стали строить. Городские-то, слышь, переполнены, фельшаров не хватает.

На барках по тихому Дону подвозят к Ростову арбузы. В этом году урожай: политая кровью земля ощерилась невиданным многоплодьем. С бахчей не собрать мелких дынь, полосатых арбузов и тыкву. Только цветом не вышли и формой: в иные года народится арбуз, как точёный, раскидистый, плотный, с малым желтеньким пятнышком на

отлежалой щеке. Такой арбуз покупайте без пробы—ломти в нём лягут складками алого бархата, а семячки черные и лакированные, как пуговицы на сапожках. Нынче же вышел арбуз ноздреватый, длинноголовый и мелкий; цветом внутри бледно-розовый, соком не сладкий; дыни загнили с боков, посреди не дозревши, а тыква пошла с пупырями.

Много товару идет на барках по Дону. Дешев товар, последнему нищему по карману. Возле тумбы, заклеенной белыми объявлениями о холере, выгружают арбузы и продают по десяткам.

На пристанях работают батраки, загорелые люди: грузят, чинят мостки, смолят лодки, волокут двадцатипудовые бочки. Дальше, на Парамоновой верфи, сотнями бегают муконоши. С мельницы прибегают, засыпанные мукой, белобровые бабы,—и все покупают арбузы.

По жаре, над распаренным Доном, подсыхающим у берегов, вьются тучи комариков и другой мошкары. Налетят, облепят, кожа чешется до царапин; комарики мелкокрылые жалят нещадно. По жаре, над распаренными, стеклеющими радужной плесенью лужицами, отдыхают рабочие. Скинут рубахи, ноги в воду, ножами взрежут арбуз и едят его. Длинноголовый арбуз внутри розов, соком не сладок, голода не утоляет. Горит у рабочего горло от сухости, от арбузного сока, пить бы его, пока не наполнишь утробы. А на жарком солнце, как из очага палящем, вдруг почувствует полуголый рабочий—холодок. Пробежит холодок по спинному хребту и ёкнет под сердцем. Сухостью обожжет гортань последний прикусок арбуза,—и уже валится корка из рук, мутно перед глазами, тошно под ложечкой, острая сосет тоска, словно вгрызлась во внутренности волчица,—и закричать бы от тоски на весь мир, закупоренный под колпаком духоты.

— Ты чего?

— Напиться пойду.

Встал рабочий, пошел неверной походкой и вдруг побежал за насыпь из бревен, где мальчишки устроили себе склад жестянок, обрывков каната и полусгнивших кадушек...

Повыше, к Нахичевани, идут огороды. Здесь кооператив „Мысль и хозяйство" устроил учительские трехаршинные грядки. Каждый арендовал себе несколько и работал с семейством. Математик Пузатиков в жаркое утро, с женою и дочкой, здесь тоже копает картошку. Сапоги математик Пузатиков пожалел,—снял их. Греют голую пятку теплые ломти земли. Лопата работала долго, с толстого педагога лил пот, на лысине выступавший крупными каплями; капли сливаясь бежали к глазницам и текли ручейками вдоль носа, откуда и смахивались энергичною тряской на землю. Потом, оставив работу, математик рыл картошку руками.

После заката, с мешками на таре, везомой прислугой, шли Пузатиковы домой, шли и беседовали о вздорожаньи продуктов. Как вдруг у педагога внезапно сотряслись друг о дружку зубы, стукнувшие в ознобе и перекусившие язык. В страхе он сел перед аптекой на тумбу.

Раскаленная мостовая еще пышет зноем. Небо кажется затянутым пылью. С тротуаров вечерний ветер сносил шумной стаей невыметенный сор,— бумажки, мешочки, окурки. Испуганная жена математика побежала в аптеку. И уже сипло стуча потёртой резиной по камням, без рессор, похожая на свалочный ящик, подъезжала к аптеке карета.

А когда повезут вас в карете скорой помощи, что передумаете вы в дороге? Сухо вам, сухо в горле и в мыслях. Жжет вас. Нехорошо сжавшемуся от сухотного страха бедному сердцу. Что вы видели на земле, что знаете и куда повезут напоследок тощие кони, которым на уши наденут бахрому и пышные перья? Пыльно накроет балдахин колесницу. Будут кони коситься, шагом ступая, на колыханье траурных перьев. И не крикнет покойник, встав со смертного ложа: други, сухо мне! Сухо, как ржавчина, шевелится мысль в пересохшем мозгу. Помогите! В юности я уповал на чистую радость. К зрелым годам послужил похотливой скверне. Все торопливей жизнь, все пестрее дни, я растерял себя по мелочам, не нахожу, не помню. Кто сей, кто был мной? Душно, сухотно, рассыпаюсь, соберите меня!

Но разве есть на земле друг? Разве есть любовь?

— Эй ты, придержи, куды едешь, видишь — дорога занята!

Видит Пузатиков, математик, из окна остановившейся кареты, что мимо, по Софиевской улице, везут гробы на подводах. Много гробов, по десятку на каждой, простые, из осиновых досок, некрашеные; дегтем проставлены на них имена. За подводами провожатых не видно, а возница сильно пьян, красен лицом, со вздернутым носом, без памяти перебирает вожжами:

— нно!

не сладко ему везти такую поклажу.

ГЛАВА XX.

«Всевеселое Войско Донское».

Приказ гарнизону Новочеркасска за номером восемьдесят от третьего сентября, параграф второй.

> Из донесений коменданта усматриваю, что из числа офицеров, задерживаемых в городе в нетрезвом виде, большинство приходится на долю находящихся на излечении в лазаретах. Больные офицера в лазаретах пользуются неограниченными отпусками во всякое время... Приказываю прекратить это безобразие, а кого поймают в нетрезвом виде,—на фронт.
>
> Начальник гарнизона Новочеркасска
>
> Генерал-майор *Родионов.*

Что за странности в нашем городе Новочеркасске? Город чистенький, черепичный. Смеются бульварчики, палисадники, ярко вычи-

щенные главки собора. Столица Всевеликого Войска Донского,— магазины полны, в гимназиях учатся, лихо гарцуют казаки перед дворцом атамана. А на стенах, что ни день налепляют победоносную оперативную сводку.

И все-таки,—что за странности в нашем городе Новочеркасске? Словно бой происходит не на полях, а на улицах, что ни день приводят больных офицеров в больницы с отпускными листами. Больницы особенные,— веселые, беленькие; сестрицы в них, словно цветы на окошке, день-деньской в ряд сидят на подоконниках в белых халатиках, загофрированные, улыбающиеся, с глазами в глубоких синих кругах, как у фиалок над черными чашечками,— должно быть от тяжкой работы. И губки припухли у сестриц, словно покусаны комарами. На улицах непочтительны к бедным сестрицам прохожие, так и сторонятся, как от паршивой собаки. И говорят, будто беленькая наколочка, красный крест на руке и пышная пелеринка над грудью стали модной одеждой: по вечерам, когда над кино-театром завертится колесо электрических лампочек, появляются в этих наколках и пелеринках разные странные женщины, привлеченные модой.—Видно в моде у нас милосердие,— говорят горожане.

А странности в городе Новочеркасске такие: привезут, значит, офицеров в палату, где сестрицы и медицинский персонал, в числе по военному увеличенном, их встретят, зарегистрируют и положат на койку. А он глядь-поглядь уж вскочил, ногу в галифэ или бридж, похожий на юбку и занесенный к нам англичанами, да и был таков. Ищи, лови его!

В Новочеркасске много улиц и много на улицах разных дверей, где за каждою можно найти биллиардную, ресторан и кофейню. Офицер, как пришел, сел и требует:

— Эй, подать мне того-сего! Поворачивайся, я тебя!

И подают половые, шуршащие, как тараканы подошвами по обшарканным комнатам, все, что нужно.

Офицер выпил раз и другой, он куражится, у офицера компания: всем известно, что доблестные защитники чести казачества от заразы большевиков и от жидо-масонов спасают Россию. Пей, герой, заглушай видение пьяной смерти в пустынных лагунах твоей затопленной памяти: нет там ни Бога, ни чорта, ни завтра и ни вчера, а только сегодня. Зуд в зубах от вина, от табаку, от дурного желудка, от чьих-то покусанных комарами и на лету взятых в плен липких губок. Зуд на теле, под чесучевым бельем. Гуляй, герой, пока не свалишься, защищая честь родины, в сифилисе под забором.

Однако открыты двери биллиардных и ресторанов не одним офицерам. Много есть именитых граждан с деньгами в кармане. Входит в двери сам Истуканов, купец первой гильдии, богатейший мужчина. Он ведет с собой дамочку, не жену, а другую. Дамочка прыскает, как из пульверизатора, глазками направо, налево; ножки идут заносясь

одна на другую, словно все дело дамской походки шагнуть правой на левое место, а левой направо. Переплетаются ножки, регулируемые всем телом и тою дамскою частью, что соответствует хвосту канарейки· Лёгкое зрелище, головоломное.

Сели напротив военной компании. Слово за слово. Дамский клювик в рюмочку деликатно, по-птичьи. Истуканов же тянет, как подобает мужчине. Разгорячились, перемигиваются, офицер в компании тост произносит. Что-то кому-то как-будто бы показалось (так потом вычитали в протоколе, не больше)—

— бац!—стреляет герой, защитник отечества.

Икнул Истуканов от страха. Полетели стаканы. Сдернута скатерть.

— Мерзавец-авва-ва — я защитник!

— Прохвост тыловой!

— Бац!

Ранили Истуканову ногу повыше колена. Нехорошее происшествие для хозяина биллиардной. Офицер и компания в комендатуре, власти заняты протоколом. И писарь, чей почерк похож на брызги из-под таратайки, инвалид германской войны, человек горячего духа, в сотый раз повторяет помощнику коменданта:

— Хушь бы выработали вы печатную форму на машинке, а не то ведь руку собьешь, отписывая одинакие вещи.

А странности города Новочеркасска перебросились в самый Ростов. Стыдно сказать, угрожают они городскому трамваю.

Кому мешает трамвай? Он ходит по рельсам. На углах останавливается, совершая пищеваренье: выпустит лишнюю публику с верхней площадки и снова наполнит утробу публикой с задней площадки. Дело простое, ясное. Так вот нет же! Вскакивает офицер вопреки положенью через переднюю, прыгает с задней, разворачивая трамваю утробу.

Этого мало. Едут в трамвае по собственной надобности рядовые казаки. Помнят они, если возрастом молоды, революцию и разные вольности; а старики, поместясь на скамейке, с седыми бровями, нависшими, как карнизы над окнами, вспоминают походы. И офицер, входя, рукою в перчатке тронул фуражку. Не ответил казак, зажмурены у старика под седыми бровями глаза, подрёмывает. Офицер толк в плечо старика:

— Во фронт! Как смел, ррзавец! В комендатуру за неотдание чести!

Разбуженный обозлился: молод больно кричать на седого, молоко не обсохло. Так вот нет же, не отдам тебе чести, да и всё. Притулился казак, будто снова заснул.

Офицер останавливает трамвай. Офицер в возбужденьи требует ареста казака, то-и-дело выхватывая из кобуры нарядный револьвер. У офицера дергаются посинелые щеки: мы жизнь отдаем, а тут в тылу

расползается злая зараза, большевизм на каждом углу, в каждом солдате. Дерзкие, неучтивые, непослушные, из-за угла предадут, подведут, чуть только дай им возможность, в спину нож всадят,—обезвреживайте их, ищите, уничтожайте!

Дергается офицер от давящей душу обиды. Ходят на нем галифэ или бридж, занесенный из Англии, прыгают губы от крика. Пожалейте его, дошел человек до крайней минуты. Нет у него в душе ни бога, ни чорта, ни завтра и ни вчера, укорачивается его сегодня, жалок он, загнанный в пустоту,—и не на чем отдохнуть душе от судорожной краткосрочности.

Всевеликое Войско обеспокоено истерикой офицеров. Есть у Войска свой соловей, сладкий Краснов, атаман. И Краснов увещает в газете:

„Отдание воинской чести есть акт вежливости. Дети мои, сыновья тихого Дона! Отдавайте честь молодые старым и старые молодым. За последнее время участились случаи, когда офицеры в грубой форме наскакивают на старых казаков. Не годится это, не хорошо, не в духе слова Христова. Помните, все мы братья. А если тебе не отдали, ты возьми да и сам отдай!"

Так учил Краснов, сладкогласый, красно́ говорящий. Читали его приказы в Ростове и Новочеркасске, хваля за литературную фор му И обыватели, наглядевшись на новый порядок, покачивали головами. пустив крылатое слово:

— Какое там Всевеликое!—
Всевесёлое Войско Донское!

ГЛАВА XXI.

Верто-прахи.

Завертелись дни и события. Большевики отступают. Юг России, организуется в Юго-Восточный Союз. Дон, Терек, Кубань и Юго-Восток покумились, с Украиной горячая дружба. А Украина толстеет: смотрит умильно на Крым, и Крым загляделся ей в рот, как галушка.

В парадном мундире со всеми регалиями к пану гетману в Киев приезжал генерал Черячукин для вручения ясновельможному пану верительных грамот. Договор подписали, узы дружбы скрепили между Украиной и Доном и за завтраком обменялись речами. Низко кланялся генерал Черячукин от тихого Дона. Благодарствовал ясновельможный от самостийной Украйны. Пили оба малороссийскую запеканку и, усы вытирая, осанились перед дулом фотографического аппарата.

А на юге своим чередом, мобилизуя запечного инвалида и ускоренного гимназиста, себе на уме, возрастал и укреплялся Деникин. Росли по стенам оперативные сводки. И думали обыватели, утомленные сводками: вот меняются времена! То политическая экономия да сходки, а то неэкономная политика да сводки. Экономничать, точно, у нас

не умели: фронтов было от пяти до шести, что ни станица, то фронт. И с каждого — сводка. Потом шли сводки Добровольческой армии, потом Малороссии, Терека и кубанских отрядов. Каждый имел свой штаб. В штабе хлеба даром не кушали, отрабатывали на бумажках· Бумажки печатались, писаря наслаждались.

И направо—налево говорили газеты о генерале Деникине, как о спасителе.

Только в Новочеркасске, где выходила газета Всевеликого Войска Донского, заговорили другое. В „Донских Ведомостях", за подписями начальников появлялись приказы, возбуждавшие смуту. Обыватель читал, что „на нашей донской земле ходят отряды, провозглашающие разные вещи. Пусть знает каждый донец, старый и молодой, что войсковое правительство тут ни при чем и слагает с себя ответственность за политические уклоны Добровольческой армии. Разделяя с нею главную цель, очищение земли русской от мерзости большевизма, оно однако расходится с нею по многим вопросам".

В Новочеркасске собрался парламент, — Большой Войсковой Круг. Сердится Круг, отмахиваясь от добровольцев, казачьею речью клеймит возвращенье царизма. Мы ли, кричит, не терпели от царя и его прихлебателей, нас ли они не обманывали, завлекая посулами и гоня воевать со студентами на перекрестках? Не от царя ли и стала срамною кличка „казак"?

Сердится Круг, бородами мотают казаки, словно в рот им, против их воли, напихали чего-то невкусного.

А на юге,—знай себе мобилизуя запечного инвалида и ускоренного гимназиста и на казачий характер внимания не обращая, духом своим возрастал и укреплялся Деникин.

Пошлó ходить по городам и местечкам призывное слово „Единая Неделимая, Великая Русь". Пошли ходить по родным и знакомым, ища квартиру и продовольствие, тучами понахлынувшие беженцы из Советской России.

— У вас-то тут, милые вы мои, а у нас-то там, милые вы мои...— посыпалось в каждом доме, как бисер.

Со скорым поездом, окруженный семьей и друзьями, в английском пальто, чисто выбритый, воротился Петр Петрович в особняк на Пушкинской улице. Много было побито в особняке стекол и стульев, срезана кожа с диванов, вывезены картины и книги. Но не пал духом Петр Петрович, получивший важный портфель у Деникина. Племянник, жена его, теща, кузен и старший приказчик — все получили места с хорошим казенным окладом.

Не во сне и не в сказке воротилось двадцатое. Стали в ряд, одно за другим, министерства. По ступеням, рукою раскачивая на ходу, пробегают чиновники. Даже угри на носу у них, отошедшие за революцию,— восстановились. Даже запах в углу, где на вешалке вешает

сторож одежду, стал чинуший, заедлый, такой, как при Гоголе в департаменте. И появились старушки с просьбой о пенсии.

Много в больших городах живет различного люду. Каждый имеет родственников, а те роднятся с другими. Вместе с детьми, от жены берут тестя и тёщу; а через мужа к жене переходит свёкр и свекровь. Каждого надо устроить, того на казенную службу, этому место, третьему то и другое, чтоб избавиться от военщины, четвертому, медику, вместо тифозного похлопотать в хирургический лазарет из боязни заразы,— словом, дел на семь дней недели. И выходит, что город опутывается, как телефонною сетью, незримою нитью, именуемой „связью". Эта связь тоже позванивает куда нужно и когда нужно. „Связь" плотно обтягивает учрежденье. Связи заняты тем, что готовят людей еще задолго до того, как они пригодятся. Так и сидели, как птицы у продавца на шесточках, приготовленные во благовременьи люди. Было у них, как у других, две ноги, две руки, голова и все остальное. Посадить их — сядут. И рассаживали незримые связи постепенно во все уголки, куда требовался человек, в министерство, на кухню, при штабе, в лазарет, в канцелярию, в совет обороны, в милицию, в отдел пропаганды и в тыловые военные части — крендельковых людишек, испеченных домашнею печью. Крендельковые люди, ручки, ножки держа наготове, фалдой взмахивали, галифэ расправляли, торсом гнулись, куда надлежало, и изящно садились. А уж сядут — попробуйте снять их. Вся покрылась страна учреждениями с крендельковым миндально-изюмистым людом.

В министерствах запахло духами. Дамы, падкие на миндаль, стали часто пощипывать из крендельков министерских,— там заденут, тут ковырнут. Называлось это влияньем. Анна Ивановна, Марья Семеновна и Анна Петровна открыли салоны.

Хмурятся самостийники, поглядывая друг на друга. Бородами мотают, как-будто им в рот напихали, против их воли, чего-то невкусного. Но уже, прокатившись по югу и Юго-Восточный Союз усеяв воззваниями Единой и Неделимой, без отдыху мобилизуя запечного инвалида и ускоренного гимназиста, целясь оком из-под опущенных век на учителей и учащихся, развернулся Деникин.

Он стоит ногами на крендельковых людишках,— нет их вернее для неподвижного дела,— и разворачивает на фронте отряды отчаянных, поливая их хмелем. Пьют герои в тылу, на фронтовика напирая. Пьет фронтовик, иссохший от ярости: один у него, потерявшего родину и сражающегося за пустые погоны, за ночевку в разграбленном доме с сестрицей на тюфяке, за сыпь под чесучовой рубашкой, за бессмысленность выбора, за роковую ошибку в важнейшую минуту столетья,— один завет: месть! Отомстить пьяно, удушливо, зубами, ногтями, заразой, бешеными зрачками, пулями, пушками, огнем, ураганом перекипающей ненависти жиду, большевику, комиссару. Впиваются, как бешеные собаки, юнкера и казачьи офицера в попавших

им пленных. Кожу сдирают с живых, ошпаривают кипятком, колют острым кинжалом пупок не раз и не два, десятки раз, наслаждаясь корчей живого. Потом под ногти вколачивают дощечки и гвозди.

Казак на фронтах Чирская—Пятиизбенская—Голубинская обезумел. За прошедший здесь опустошительный натиск красных, недавно разрушивший им дома и очаги, мстят казаки с лихвою. Своих же из сыновей-перебежчиков, из малоземельных казаков полосуют в полоску: лентами режет их штык, рубит фаршем, клочья мяса с кожей и волосом прилипают на платье. Вой стоит, не человечий — звериный над казачьим становьем. И оперативная сводка доносит: пленных нет, все перебиты.

Вой доносится до городов, где пируют, валясь под столы, тыловые.

— Слышали,—шопотом передают горожане,—посадили на кол комиссара, говорят—корчился на колу, как червяк, сам себе внутренности разрывая, а конец, вогнанный в зад ему, был гвоздистый; и помер не сразу, а так через сутки.

Смутился Войсковой Круг. Дрогнуло либеральное сердце. И соловей Войска Донского, Краснов, красно говорящий, в приказе за № 938 воскликнул:

> Приказ о творимых жестокостях над советскими войсками в районе фронта.
>
> „... Дошли до меня со всех сторон слухи о творимых зверствах. Вполне понимая силу казачьего озлобления в разграбленных советскими бандами местностях и еще раз отмечая единичные случаи жестокости с нашей стороны, я все же приказываю раз-на-всегда бросить месть по адресу жалких людей, именуемых советскими войсками и представляющих из себя не что иное, как громадное скопище Каинов и Иуд, ...возглавляемых евреем Подвойским“.

В Новочеркасске, столице Войска Донского, идут заседания Круга.

Большой Круг бурлит политической нервною жизнью. Надо ему управиться с краем, пройтись по браздам управления сохою парламентской, сговориться, послушать правых и левых. Подсиживает атамана Краснова генерал Богаевский; Большой Круг и сам не прочь подсидеть атамана, да выгоден сладкоголосый Единой и Неделимой, берегут его.

И что же делать другого Большому Кругу, когда в Ростове и Новочеркасске, за дамскими плечиками, что клопов за обоями, понасело их видимо-невидимо, вертопрахов миндальных, не подвижников, но зато неподвижных,—

что же делать Большому Кругу, как не вертеться в вермишели вопросов, не слишком горячих? Например, в вопросе о п р а х е.

Да, спасая тыловых вертопрахов, множатся у Войска Донского прахи героев. Куда девать их? Край привык к годовщинам, к орденам,

к славному имени на могильной плите, на знамени полковом, одним словом к истории. Исторический прах не должен погибнуть бесследно.

Жарко спорят на заседании Большого Круга. Разбирают проект по увековечению павших.

— В списке прахов нет Чернецова, первого партизана, полковника!— надрываются с места. Зал гудит. И взволнован докладчик безвыходностью положенья:

— Поймите же, за полгода Дон обогатился бесчисленными героями, сподобившимися венца. Прахи всех перенести в собор невозможно. Надо избранных, по чину и званию наивысших...

— Все прахи достойны!— бешено требует зала, теша склонность свою к демократическому уравнению.

Постановляет Войсковой Круг:

все прахи, невзирая на чин и на звание, будь то генерал иль хорунжий, уравниваются в правах.

А почитывая постановленье, ногами на крендельковых людишках, не подвижниках, но зато неподвижных, руками в карманах английского бриджа, из-под опущенных век нацеливаясь на новые мобилизации, враскидку растёт полегоньку над самостийниками „Главнокомандующий".

ГЛАВА XXII.

Оратор и оратай, что не одно и то же.

Когда, через десятилетия, досужий историк займется походом Деникина и русской Вандеей, не проглядит он редкого дара донцов,— красноречия.

Была у начальства одна только форма для печатного слова: приказ. По сю пору приказы изготовлялись приказными и считались казённой бумагой. А известно, что у казенной бумаги нет сердца и высушен синтаксис у нее, как гербарий. И вот, неожиданно для обывателей, загорелись перья начальственные вдохновением. Каждый начальник, усевшись за письменный стол, у плеча своего почувствовал музу. Эта лукавая и сокращенная в штате богиня (зане замолчали писатели и поэты) пристрастилась к военным.

Первым был ею обласкан храбрый вояка, гроза донских сотников, Фицхелауров, казачий Петрарка.

Вышел приказ, удививший читателей. Он начинался:

„Снова солнце поёт-заливается над Донскими степями! Братья казаки, враг подходил к нам огромными скопищами, но не дал Господь совершиться злу. Над степным ковылем, над простором родимым я с доблестным войском в девять дней отогнал его и очистил наш край!"

Фицхелауров.

Был приказ напечатан в „Донских Ведомостях“ 27-го августа. С него и надо считать вандейский период русской литературы. Полковники и генералы подпали влиянию Петрарки. Забряцали не шпорами,— струнами в казенных приказах. Пошли описания природы, молитвы, теплые слёзы, воспоминания детства.

Забыт был и сдан в архив маленький фельетон. Большой фельетон, спокойно живший в подвале, был выселен в двадцать четыре часа из подвала газеты, где расквартировались приказы. Приказов писалось не сотнями, а несчетно. Канцеляристы, приказные крысы, обижались на нумерацию. Писарь у коменданта, чей почерк похож на брызги из-под таратайки, инвалид германской войны, человек горячего духа,— не вытерпел, попросил перевода. „Лучше ж я,— так он сказал, не сморгнув, в лицо коменданту: лучше ж я поступлю банщиком тереть мочалкою спины“.

Но всех генералов и даже грозу храбрых сотников, Фицхелаурова, донского Петрарку, в красноречьи затмил атаман Всевеликого Войска Краснов, красно́ говорящий. Приказы его повторялись на улицах Новочеркасска и даже Ростова. Какой-нибудь еретик, правда, душил себя хохотом, затыкая платок меж зубами, когда повторял приказ в присутственном месте. Но давно уж известно, что еретиками бывают от зависти.

И процвело на Дону сладкогласие, духовному сану в убыток.

Пока же начальники, теплоте соревнуя, резвились приказами старый казак почёсывал поясницу. Вынес он на себе не мало сражений. Мобилизовали седого; за неблагонадежностью молодежи казачьей. За ставили слезть с печи и попробовать пороху, взамен пирога с потрохами. А за верную службу, за очищение области от банд большевистских, да за расправу над сборищем Каинов, в том числе и своих сыновей, обещали ораторы седоусому много земли,— всю землю богатых помещиков, пайщиков, вкладчиков, разных там председателей у которых земли по тысяче десятин и поболе. Эту самую землю давно приглядели казаки. Так бы и взять ее, мать честную, под озимя мужицкой толковой запашкой.

И оратай ждет, что обещано. Память его крепка, как орех у кокоса. Не разгрызешь ее никаким красноречьем, не перешибешь ни камнем, ни словом.

Ждет оратай и, наконец, в нетерпении сердца, засылает своих делегатов на Большой Войсковой Круг.

— Что это?— говорит Кругу Пшеничнов, крутой казак из станицы Луганской:— где земля? Мы кровь проливали. Мы порешили бесповоротно взять землю.

— Какая земля?— разводит руками Леонов, богатейший казак, красноречивый оратор:— сыновья тихого Дона, братья казаки, свободную землю отдали б мы вам без единого слова и без утайки. Да нет ее, такой земли. Святыня же собственности не должна быть нару-

шена. Учитесь, братья казаки, у французской революции, именуемой всенародно великой. Великая была, а собственности на землю не тронула. Почитайте брошюры, обострите ваш разум...

— Долой! — кричат в зале оратаи, разозлившись на сладкопевучих ораторов:— долой, не заговаривайте зубы, землю давайте!

Кружится Круг, как заколдованный. Резолюции об отчуждении частных земель принимает. Примечания о справедливой расценке и выкупе их у владельцев заслушивает. Речи обдумывает. Речи снова заводит. Не щадит ни сил, ни здоровья, ни казенного хлеба.

Трудится Круг, но заколдовано место. И глядишь — каждый день на первой странице „Донских Ведомостей" печатается жирным шрифтом:

„Большой Войсковой Круг

извещает всех владельцев земли, что в наступившем 1918—19 сельскохозяйственном году они спокойно могут заниматься на принадлежащих им землях полевым хозяйством, т. к. никаких мероприятий, могущих в какой-либо мере воспрепятствовать использованию ими своих земель в текущем сельскохозяйственном году

принято *не* будет".

Слушай, оратор, присказку: много ты можешь.

Но когда побежали войска твои, отступая, где ни попало, когда устремились отряды, бросая знамена, под красные большевистские флаги, когда, наседая конь на коня, хрипя вспенённою мордой, понесли тебя скакуны без оглядки в чужедальнюю сторону!

и ты ел хлеб у чужих,

и хлеб стал горек тебе,—

слушай, оратор, кто бы ты ни был:

Крепкая память, как орех у кокоса, у оратая. Многоветвисты руки у тех, кто идёт за сохою. Буен сок у земли, пьяный от крови:

Кому хлеб уродит, а кому — тёрн и волчец.

(Окончание следует.)

Павел Великий.

Четыре фрагмента.

Н. Огнев.

Часы.

— Семен Андреич. А ты мной недоволен, што я так ряжусь?

— Почто недоволен? Весьма... эм... доволен, токмо удивителен, государь цесаревич. Буколь ты приказал класть по семи... эм... рядов с каждой стороны; небывалое дело...

— L'amour fait des prodiges,—улыбнувшись гнилыми зубами, ввернул танцовщик Гранже.

— ...преж сего в большие праздники по пяти класть приказывал, и то... эм... с принуждением.

— Што ж ты тогда губы надул, как Федул?

— Я, ваше высочество, губы не надул. Напротив того... эм... говорю: в наряды одни все свое внимание устремлять отнюдь не годится. Особливо для такого... эм... человека, который на сем свете живучи, более что-нибудь сделать восхочет, как только по верхам глазеть да в зеркалы смотреться. Говорю...

— Ну, ну, пошел...

Цесаревич сбросил пудермантель, вскочил на малиновый стул, обдал Порошина душеной пудрой, оделаваном, стрекнул по лбу колючим обшлагом. Тряхнулась в воздухе шпажонка, цесаревич соскочил на пол и пошел чесать каблуками паркет, припевая:

— Ну - пошел, ну - пошел, ну - пошел - пошел - пошел...

— Рушки пляшки,—гадко улыбнулся Гранже.

Но цесаревич, заметив, что обиженный рукой трет лоб дядька,— да какой он дядька: блестящий и статный, весь золотой по этикету, кавалер, вот только эм мешает,—вновь взлетел к нему на шею:

— Прости, голубчик, оцарапал. Виноват, впредь не буду, вот рука моя. Только скажи скорей, сколько до маскараду осталось. Где часы? Так... Два часа и тридцать семь минут. Ждать-то еще до-олго! Чем бы еще заняться? А ты чего торчишь?—напустился цесаревич на парикмахера, и тот схватил щипцы, пудру, флаконы, пудермантель; с низкими поклонами, пятясь, засеменил к дверям.

— Стой, ду-рак, мужицкой ососок!—крикнул мальчик.—Ишь, как кривляется! Ты ходи рундом! Смир-рна! Руки п-швам! А ты знаешь, Семен Андреич, как рунды пароль отдают?

Закинув голову назад, мальчик вытащил шпажонку и взмахнул ногой. Сверкнул золоченый каблук, мальчик, не сдержав равновесия, грохнулся на пол, но уже вскочил, размял ножны, засунул в них шпажонку и принялся стряхивать пудру с лацканов мундира.

— А все -же, наследствовать престол всероссийской—не шутка, как думаешь, Семен Андреич? Надобно быть сурьезным. Надобно держать себя и таковые сентенции иметь, кои будущему государю подобают. Нутка, нутка, как ты это говоришь, да не это, а сие.... как ты сие говоришь, скажи-ка?

— А так и говорю: в вашем... эм... высочестве поведение несоответственное скорее примечается, нежели в другом. Потому: гораздо более глаз на ваше... эм... высочество смотрят, нежели на другого. Важным своим примером и других недостатки исправить можете и скорее на них... эм... оглянуться заставите.

— Ну пошел, пошел! Да скоро ль маскарад? Много ль осталось? Тьфу-ты, ну-ты, ножки гнуты, руки в боки, глаза в потолоки! Два часа и двадцать девять минут! А до маскараду што делать—никто о том неизвестен.

— Танцованию с господином Гранже предаться извольте.

— Есть охота. Также, как с Брюсшей танцованием заниматься. Какая, братец, она несносная харя. Она и ходить совсем не умеет, не токмо што танцовать. Очень похожа на верблюда, вроде Гранже. Granget, allez-vous en! Tout de suite! allez-vous en, monsieur Granget! Ну? Ать-два! Ать-два! Гляди-гляди, Семен Андреич, ха-ха-ха, у него все ухватки субреткины. Да ты не сердись, он мне, право, надоел.

— Сию поступку вашего... эм... высочества с господином... эм... Гранже его превосходительству Никите.. эм.. Иванычу изъяснить не премину.

— Не пре-мину! Надоел ты мне вместе с его превосходительством Никитой-эм-Иванычем. Я тебя самого...

И осекся, и замолчал. Из растворенной двери Никита Иваныч Панин глянул сверху вниз, скривил губы, сказал:

— Новоманерную вашего высочества поступку не весьма одобряю. Почто часы в руках вашего высочества пребывают?

— До маскараду время с сего-утра промеривать изволит,—ответил Порошин, маленький и худой в сравнении с грузным, барски-построенным Паниным,—и выдержал придворный поклон.—Еще вчерась тем генерально... эм... упражнен быть изволил.

— Тогда оные часы конфискации подлежат,—скрипуче произнес Панин. Для того что часто изволите смотреть на оные, ваше высочество. Пожалуйте их сюда.

— Не дам,—злобно крикнул цесаревич.—Мои часы, и не дам.

— А не дадите, государыня императрица о том известна будет.

Мальчик швырнул часы на стол, плюнул и вышел, хлопнув дверью так, что зеркальные стекла окон дрогнули, словно от испуга.

Бабка Голанка.

У поворота в зимний сад кто-то схватил за фалдочку, цесаревич оглянулся, увидел темную старуху в фиолевом куколе; что-то знакома показалась, с боярскими боярынями бабушки Елисаветы схожа; раньше, вместо Порошина и Панина, все такие-то в детской старого дворца вертелись.

— Ну, каков, каков, — покажиткось, осударь-батюшко. Да ты миленькой мой! Да ты хорошенькой мой!

— Не дергай за мундир, баба,—надменно молвил цесаревич.— Я тебя и не знаю, кто ты есть.

— Да ты прости стару старуху, смилосердствуйся! Аль бабку Голанку запамятовал? Да я ж тебя принимала, пеленала, да и пестовала! Да еще бабынька твоя царица Лизавета, успокой, господи, матушка, ее душеньку, во царствии твоем,—в нянях твоих указала быть. Ай не помнишь? А в никитишны игрывали! Ай позабыл? И чтой-то, весь в батюшку! Да ты курносенькай ты мой!

— Пошшшла ты...

И бегом от Голанки. Туда же, нос рассматривает! В батюшку! У разноцветных стекол остановился отдохнуть. Вспомнил вдруг, словно раскрашенные гравюры во французских книжках—и бабку Голанку, и синие изразцы, и тараканов за печкой, и игры: в никитишны, в рукобивку, в три-три; и страшного мертвого отца, и живого еще—худого и некрасивого. Так и затрясся от злобы. В батюшку! Курносенькой! А бабка—темная, в фиолевом своем куколе, опять над самых ухом:

— Задавили батюшку, силком прикончили. А все—немка, ейная работа. Ишь, мукой всего обсыпали, на голове цельный огород нагородили. Молитвословия читаешь ли? Молисьси боженьке-те? Покойная бабынька Лизавета Петровна всеее, бывало, наказывала: чаще внучек, молитовки прочитывай: господь, матушка, знает, кто его помнит и того награжает.

Мальчик нетерпеливо мотнул пудреным париком, но не посмел ругаться: о молитвах заговорила, о боге. А бога нужно любить, это и без Платона известно. Вспомнил, как давно-давно, с ласковой бабушкой Елисаветой, на коленях, глядя в темный, страшный кивот, твердил молитвы.

А Голанка все тарахтела:

— Сама немка, и царевича онемечить восхотела. Чему тя немцы ейные обучают? Небось, всякой капости, господи, матушка.

— Вовсе не капости, а механике,—вспыхнул мальчик.—Потом по-французскому, по-немецкому и по-английскому, потом арифметике. Платон закон божий преподавает. Потом танцованию учусь у Гранже.

А Голанка так и дохнула в лицо гнилыми огурцами и ладаном:

— А как родителев душить—учут? Великих персон давить—хто обучает?

Пхнул кулаками Голанку от себя — страшно стало и холодно в груди.

— А... а ты сама видела?

— Видеть не видела, а не по ндраву им, немцам-то, русской-то дух.

— А коли не видела, так и не смей говорить, не смей, не смей, Никите Иванычу скажу!

— Я и не говорю, осударь-батюшка, я и помалкиваю. Мое дело какое? Мое дело махонькое!

— И не смей говорить.

— А про петушков—ай позапамятовал?

Мальчик вздрогнул: про петушков было то тайное, что скрывалось ото всех. А Голанка:

— Всеее, бывало, петушка просил! Единожды дорвалси, ножичком по глотке петушковой—чирк! А ручкой—в петушкову кровушку. Ай запамятовал?

Да нет, конечно, помнил, помнил: приносила тайком Голанка петушков в детскую, своеручно их резал: кровь любил. И страшно, и противно было,—все как-то с тех пор переменилось, Порошин заслонил собой старое, явились фрейлины, любезная В. Н.,—да и давно это было, в незапамятные времена, как в сказке,—и хотелось подольше побыть с Голанкой,—только б не заметил Порошин.

— Ты глядиии, сударь, и самого так-то прирежут, аки петушка. Прирежут, да, как дяденьку Петра, мертвенького и обвенчают.

— А на ком его венчали?—глотая слюни, спросил мальчик.

— Долгоруковых тады сила была, на Наташке Долгоруковой и венчали. Кнезь-Иван разлетелси, на престол восхотел. Восхотел на престол, а попал под стол. Под стоол! Вот, куды, господи, матушка. А сестришка евонная Наташка, також не плошь нонешней немки... Ну как, ай скажешь про стару старуху дядьке свому?

Подумал. Вспомнил: „Никита Иваныч в превеликой конфиденции у государыни императрицы состоит“, слова Порошина. Ежели узнают, накажут старуху. А может и такое быть, что... казнят. Голову... вместе с фиолевым куколем—чик-чиририк! Как при Петре Великом... на площади... только посмотреть не пустят, как кровь потечет... А весьма любопытно всласть наглядеться...

— Скажу... так и знай... Государыне императрице скажу... так и знай.

Поглядел на кончик старухина носа: крюком загнулся и белый весь, как у мертвых.

— Голову тебе отрубят! Отсекут! Дрянь...

Сунул руки под парик, зажал уши, побежал. Бежал долго. Из галлерии в галлерею; Порошин, наверно, ищет. По приказу Панина. Пусть ищет. Зазнались!

А сзади кто-то обнял большими потными руками:

— Пунюшка любезной! Загляни в мою келейку.

Фрейлина Извольская; вечно пристает. Но покорно, забыв о Голанке, двинулся в мягких складках пушного роброна, прижимаясь к толстой руке; тревожно вспомнил:

— Порошин увидит.

А уж под букли парика склонилось красное, прыщеватое, душистое лицо:

— Цербера твово, Панина, к государыне вызвали. Идем, Февей-царевич, амуровым забавам предадимся. Венерины часы быстролетящи.

И совсем тихо, с нежной хрипотцой:

— Пу-нюш-ка!

Крыса.

— Ну тебя!—скорей с колен, прочь из жаркой, душной комнаты, в висках стучали молоточки, гораздо кружилась и болела голова; надоели пышные эти робронные девки; пошел по галлерее, всегда— то одна, то другая... поначалу ничего, а потом как пойдут соваться толстыми губами за воротник,—лучше бежать без оглядки. Добро бы та, В. Н., да она Дивиера любит. Неправда, што princes et rois vont vite en amour, pas comme autres particuliers. Эх, быть бы сейчас... императором! Вон, Порошин сколько наговорил препятствиев к тому, чтобы на любезной В. Н. тотчас жениться:—и леты неравные, и не царской фамилии невеста. А ежели быть императором, препятствиев не будет,—все, как дым, из трубы, улетят.

Сердце забилось сильно, неровно; прокравшись мимо своих аппартаментов, цесаревич подходил к заветному тайничку; Порошин, чай, посерживается, Панин матушке доложит, но все ничего: побранят и простят. Зато сколь любезно остаться одному, в прохладных потемках тайничка: одному, совсем одному. Любопытно известиться, много ль до маскараду, да тогда придержат, оставят, не пустят, дежурных кавалеров кроме Порошина вызовут...

В тайничке на полке нащупал вещицу, прижал к сердцу, поцеловал: любезная В. Н. на шейке носила, до сего времени ее духами пахнет; дудочка, блошничок костяной новоманерный, на ленточке; блошки любезной В. Н. прыгали по ней и на мед ловились. Подарила сию подарку прошлого четверга, на маскараде:—S'il vous plait, mon Seigneur,— сказала с реверансом, как только молвил, что нравится блошничок; Дивиера любит, а его за монсеньера только чтит.

Нашарил крысью ловушку: еще при входе догадался, что добыча есть. Приподнял, взвесил на руке, крыса завозилась—большая, тяжелая

Вытащил шпажонку, стал тыкать в проволоку; крыса завизжала: не укротив, нельзя было вешать: руки искусает. Еще яростней затыкал шпагой, вспомнив, как искусала одна крысища, когда занимался охотой с казачком Миклушкой, еще до Порошина. Крыса перестала визжать, странно захляпала, словно плакала.—Ааа, негодница, не куснешь, не куснешь! Снова поймал шпагой мягкое в углу ловушки, прижав крепче, жесточае, со всей силы: последний, почти человеческий, надрывный вопль—ну, как ребенок, после того, как зайдется, разом выпустит все отчаяние в вопле—и стихло.

Раскрыл ловушку, вытащил теплое, мокрое мясо,—крыса еще шевелилась. Вешать, вешать!

Схватил виселичку, ощупью вдел крысью голову в петельку; крыса дрогнула, заходила вся виселичка, також задрожала, значит—жива была, негодная крыса, притворялась, они всегда так.

Ну, качайся, качайся, лапищи вперед, голову закинувши, язычищще высунувши,-тьфу-ты, ну-ты, ножки-гнуты, руки-в-боки, глаза в-потолоки!

Полез за другой ловушкой—та была пуста, жалко; да, пожалуй, и некогда: рыщет, чай, Порошин по всему дворцу,—тотчас по времени долженствует быть ужина.

Вышел, прикрыл тайничок. Было сумеречно, канделабры еще не зажигали. В окна смотрел оранжевыми кружками огней синий С.-Петербург.

Подошел к окну—потное, каплями.

Вывел пальцем:

Павел Великой
самодержавец всеросийской
отец отечества.

И потом:

В. Н. любезноя душка.

Заметил, что пальцы в крови, обсосал, чтоб не увидели.

Ужина.

Порошин настигнул в аванзале, невдалеке от аудиенц-залы:

— Ваше высочество, к ужине следовать извольте.

Нехотя повернул, пошел. В умывальной топнул ногой на малиново-бархатного гайдука: нескладно брызнул оделаваном.

Ужина сервирована была в круглой гостиной; у стола уже ждали граф Александр Сергеич Строганов, старичок Любим Артемьич, блаженный во своем златом веке младенческом, лакей, Порошин. За ужиной подавали майонезы, индейку-шио, какие-то антрме, пулярд с труфелями, цыплячьи маринады, голубят с раковым соусом. От лакеев и арапов пахло нафталином, лежалым старьем. Под конец принесли большого фазана, фаршированного фисташками.

Цесаревич сидел молча, рассеянно, тыкал вилкой в итальянский хлебец, раскрошил его по скатерти. Негаданно маринад уронил; скатерть сменили лакеи, для того подымали кверху канделабры; желтые молитовки свечей заколебались отсветами на ботфортах Петра Первого на масляном портрете. Цесаревич глянул, вспомнил свое что-то, тайное:

— А што он великого содеял, што великим его зовут?

— Великое то опуская,—важно повернув парик к мальчику, ответил Порошин и поднял кверху вилку с куском птицы,—што для родины сей... эм... отец отечества содеял, уже из мелких деяний славную сего правителя натуру усматриваем.

Любим Артемьич забеспокоился, зашамкал:

— При ошударе Петре целый шуд шошылан на каторгу, и за то шошылан, што ошудил некоего гвардии шержанта не по законам, а по шобштвенному швому благоизобретению.

Порошин сердито глянул на старика:

— Однако, вить этих судей после того простил государь и приказал весьма скоро возворотить их: хотел только дать острастку.

— Хороша острастка,—буркнул цесаревич, расковыривая труфели в пулярке,—отобрать чины, да послать на каторгу.

Граф Строганов, чавкая, пустил басом:

— Государь, тям-ням,—Петр Великой—тям-ням, прощал,—да-с, прощал, понеже принесешь повинную. Но и того молчанием прейти невозможно,—да-с, невозможно, что государь сей, тям-ням, напивался часто до пьяна и бивал министров своих палкою. Да-с, палкою.

— Но государь сей, эммм,—волнуясь, с неудовольствием и запальчивостью возразил Порошин,—государь сей велик был и славен не токмо эммм—во всея России, а також и в других странах: Волтер его весьма выхваляет: пишет, что Карл Двенадцатый достоин—эммм... быть в армии Государя Петра Великого только лишь первым солдатом.

— Сие есть крайнее ласкательство, да-с, сударь, крайнее ласкательство. Через то в иных странах государь Петр известен, што писывал иногда в письмах своих: мин-гер адмирал, тям-ням,—да-с, мин-гер адмирал, а подписывал: Питер. Да-с: Питер. Только лишь, сударь, и известно государей-драчунов по истории, што Петр Первый, да покойный король прусской, нынешнего короля отец. Вот-с, тям-ням.

— Вы, граф, родному правнуку его величества, таковые... эмммм... сентенции внушать не извольте,—закипел Порошин, но старичок Любим Артемьич перебил:

— Бабке вашего вышочества, успшей царице Елизавете Петровне было шказано.—Старичок встал, отряхнул лицо клетчатым платком и, молитвенно глядя вверх: — Ты едина иштинная нашледница, ты дщерь мово прошветителя.

— Прошветителя,—залился цесаревич внезапно-серебристым детским смехом.—Прошветителя... Это, конешно, уже из сочинениев дурака Ломоносова.

Порошин забыл о еде, вспыхнул, тряхнул париком, сверкнул огнями канделабров в черных глазах:

— Милостивый государь, желательно, чтобы много таких дураков у нас было. А вам, мне кажется, неприлично таким образом о таком россиянине эммм—отзываться, который не токмо здесь, но и во всей Европе учением своим славен и во многие эмм—академии принят членом.

— Чуфарством своим славен,—дурашливо повторяя чьи-то чужие слова, как часто с ним случалось, сказал цесаревич, в тон Порошину:— мужицкой эммм—ососок, холмогорский эммм—телок.

Но Порошин, не слушая:

— Вы—великой князь российской! Какое для молодых учащихся россиян будет одобрение, когда они приметят или услышат, что уже человек таких великих дарованиев, как Ломоносов, пренебрегается?! Правда, что Ломоносов имеет много завистников! Но сие самое доказывает его достоинство. Великие дарования всегда возбуждают зависть! До того испорчено эммм—сердце человеческое, что по большей части хулят таких, кои хвалы достойны...

Разгорячившись речью, Порошин хватил залпом большой бокал: воды, отмяк и замолчал.

Лакей в белых гамашах быстро и мягко выхватил пустые блюда, другой—тарелки, ножи, вилки, гайдуки бережно водрузили среди канделабров севрские вазы с фруктами, кремовые турты, пирожные, бомбы, тартелеты.

Любим Артемьич икнул густо и сытно и сконфузился: закрылся клетчатым своим платком, так что остался один парик, нескладный, взбитый, как сливочный крем на турте.

Цесаревичем шалость завладела: влез на стул, воткнул в апельсин вилочку, закинул ногу в воздух, руку протянул вперед, крикнул:

— Je règne, je règne!

Из-за стола вскочили, выпрямились: Строганов медлительно протянул, словно говоря малому годовалому ребенку агунюшки:

— Взгляни, государыня-матушка, на сие зрелище преузорочное: амур, летящий в чертоги венерины.

Цесаревич соскочил со стула, подбежал к матери—матушкин любовник Григорий Орлов, отойдя в сторону, кашлянул,—чмокнул пухлую, большую руку.

— Нннну-с, Сэмэн Андреевитш,—с натугой произнесла императрица.—Как м-ми сего дня утшилис?

Порошин радостно подался вперед—куда и рассудительность, и эм, и Ломоносов девались:

— Из сочинениев сего дня примечательна шуточная речь турецкому посланнику, ваше величество.

На кивок императрицы вытянул из обшлага бумагу, развернул, прочел:

— „Господин посланник, понеже вы видом козлу, нравом медведю, а умом барану уподобляетесь; того ради повелел я всем оным животным собрався в конференцию дам вам аудиенцию. После того получите вы визиты от всех лошадей и быков здешнего столичного города. Теперь милости просим вон. Государь Павел Великой, наследник цесаревич всероссийской".

— Потшому—велликий?—смеясь спросила императрица.

— Тако подпись свою приложить его высочество изволил.

— Нно каков-во, каковво?—обратилась императрица к Орлову, и, взяв его под руку, двинулась к двери.—Allons, mon prince,—это Павлу.—Aujourdhui vous serez bien près de votre objet cheri.

Дверь распахнулась, из далеких зал рванулась музыка, караулрунд в галлерее брякнул ружьями, голос гайдука прокричал:

— Ее императорское величество государыня императрица с наследником цесаревичем на маскараду следовать изволит!

— Нннет, какофф насследник!—повторила императрица в дверях.

— Аммур, ваш-величество,—хрипло, по-генеральски, словно на параде, каркнул Орлов.

Былицы.

И. Соколов-Микитов.

Себе на гроб.

Лес валили повалом: казенный, помещичий и даже свой. В деревнях улицы и огороды завалены четырнадцативершковыми смоляными кряжами и гонким сосновым двенадцатериком. В лесу, облапив пень и мшавую землю, лежат невывезенные бревна и макуши,—так и погниют. За зиму лесов не узнать,—просветлели, ушел от топорного стуку зверь, разлетелась дремучая птица. И жутко глядело лесное порубище: пни, пни и протянутые к небу сучья-руки.

В те дни, чтобы придать законную подоплеку лесному разбою, деревня выдумывала „нужды" и мачтовые красавицы-сосны рубились— „на матицы", „на подоконники", „на закуты". Когда все „нужды" были удовлетворены, а лес еще остался, сход вынес постановление, а комитет утвердил:

> Каждый гражданин Кукуевской волости мужского и женского пола и всякого возраста имеет право взять из Брусовой казенной дачи—одну сосну на выбор себе на гроб.

Рыжие и вороные.

Фурсово—деревня отхожая, шахтеры, разбойный народ. Через речку—Бурмакино. Бурмакинцы не в пример кволым фурсовцам—народ артельный, кряжистый,—граборы. Фурсовская земля по левому берегу—желтый суглин и окромя картошки не родит ничего. Бурмакинская—черна, как вар. Фурсовские мужики рыжие, бурмакинские, как один, вороные.

Вражда между деревнями велась еще с крепостного. В мирное время сиделец казенный, Иван Андреич, не успевал у кабака ставить заборы: как сойдутся, все на колье порастащут, а земский фельдшер Устиныч знал точно, что нет в обеих деревнях и одного человека, чтобы наперечет были ребра.

И только в одном месте: на берегу реки, на фурсовской песчаной земле, где прикрытое березами, высилось общее обеих деревень клад-

бище, под крестами и холмиками, бок-о-бок тихо лежали навсегда помирившиеся враги. Лежали и не чуяли беды...

С началом революции вражда между деревнями обострилась до крайности: делили землю. Однажды для волости пришел на станцию вагон хлеба. Вороные узнали о хлебе прежде. Стакнулись тихо и, захватив по винтовке и по паре бомб, выехали на станцию на подводах. Рыжие схватились, послали в погоню верхового. Вороные, не будь плохи, верхового переняли и—дальше.

Рыжие решили отнять хлеб силом. Устроили на дороге засаду, выслали сторожевое, окопались. „Как будут ехать,—гадали рыжие,— так мы и накроем!" Но и тут надули вороные: объездом моховыми тропами, сделав двадцать верст кругу, вернулись и тихонько ссыпали хлеб. Трое суток прождали рыжие в засаде и вернулись с пустыми.

— Петуха красного!—кричали самые горячие на деревенском потолкуе.

— Петуха-то петуха,—ответили кто поумнее,—да как бы и по нашим крышам не пошел гулять самый этот петух.

И точно что осенило. Всей деревней сунулись рыжие к реке, где на песчаном бугру, прикрытое березами, высилось общее обеих деревень кладбище.

— Откапывай бурмакинских!—командовали первачи.

Одного за другим выкапывали рыжие закоренелых врагов своих и под гогот и мат спускали в реку:

— Плывите к— —матери!

Так отомстили рыжие: за крепостное, за ребра, за перехваченный хлеб.

Страшный карлик.

Разгромом Кужалихи руководил Онуфрик. На деревенском потолкуе предводителем выбрали единогласно. Вышли будто искать пулеметы. Дом подожгли по сигналу Онуфрика с крыши. И когда горел верхний этаж, внизу играла гармонь, плясали девки и бабы, ели варенье.

Добро тащили кто в чем, зарывали в снег, топили в реке. На дележ приехали из самых дальних селений.

Захудалому мужику из дальней Глотовки, Лепешке, опоздавшему к началу дележа, достались последки: кусок цинковой ванны, ночной горшок и бронзовый, величиною в кулак, буддийский божок, стоявший на письменном столе у самой Кужалихи.

Лепешка спрятал божка за пазуху и понес в деревню. Дома куском цинка он заменил вышибленную в окне шибку, горшок пригодился варить кашу, а божка Лепешка поставил на подполок рядом с расписной чашкой. Через три дня у Лепешкиной жены нога вспухла. Лежала она на печи, нога горой. Бегал Лепешка по бабкам, велели бабки парить ногу мочею, держать в печке—ничего не помогало. Ночью

привиделся Лепешкиной бабе сон: будто идет она берегом и обронила топор. Полезла доставать, ступила в реку. А уж ни реки, ни берега,— ничего нету. Сидит она в яме, а под нею глина ползет, ниже да глубже. Обернулась она, поглядела вниз: на самом на дне самый этот карлик и ясные зубы блестят... А глина ползет, ниже да глубже.

Утром Лепешка завернул карлика в тряпицу и понес к соседу.

— На-ка,—сказал соседу,—твоим ребятам лялька!

Тою же ночью заколотилась у соседа девочка—дочь.

Прогорела три дня и отдала Богу душу. Тут уж всем стало видно: карлик!

Всею деревнею понесли топить карлика под мельницей в бучиле. Бросили в воду—что за диво!—не тонет. И попритчилось кое-кому, что обернулась скуластая харя, смеется. Кто посмелее, остался,—выловили карлика и понесли от греха в лес. Там нашли самую большую мурашевую кучу и зарыли на самое дно.

Нынче многие леса повалом лежат и один лес нетронут стоит: в котором карлик. Сберег Куталихин лес карлик!

Дубки.

Иду с рыбы. В ведерке у меня полощутся два икряных щученка: в норота заскочили. Иду берегом—белое небо, желтое поле и серая, вобравшаяся в берега, река.

По полю, потряхивая синими портками, спускается к реке дед Аброська. Маленького меня он на своей ладони, как воробья, носил.

— С охоты?—спрашивает он, подходя.—Здравствуй!

— Плохая моя охота.

— Кончился ход ей,—говорит он, вынимая из ведерка трепещущего щученка и пальцем проводя по скользкому животу,—ишь не текет!

Мы стоим на крутом берегу, над заводью у Семи Дубков. В прошлом лете стояли здесь семь дубков,—семь обнявшихся братьев. В детстве я был уверен, что это те самые, на которых сидел Соловей Разбойник. А нынче зимою дубки схряпали и остались от них только пни да разбросанные по пригорку макуши и сучья.

— Закурим!—говорю я, присаживаясь на пенек.

— Поймали тех, то, что отца Николая зарезали,—говорит Аброська, садясь рядом и срывая былинку для чубука,—пятеро!

— Что ж с ними?

— Живьем закопали!

Он неспеша набивает трубку, прилаживает корявым ногтем трут и сечет огнивом. По пальцу его рассыпаются искры, и я слышу приятный на ветру запах махорки.

— Сперва по рукам-ногам связали и посередь дороги поклали,— говорит неспеша Аброська.—Народ подходил и в глаза харкали. Потом бить принялись. Какой-то говорит: „так убьете, ничего и не почув-

ствуют,—надо другое!". Вырыли большую яму, а их, голубчиков, рядком на дно. А землю горстями накидывали. Народу, может, тыща собралась, а каждому охота кинуть. Горстями скоро ли! Был с ними матросик молоденький, очень просил, убивался...

— Так и зарыли?—спрашиваю я.

— Закидали!—отвечает Аброська.

Мы сидим, курим и думаем—каждый о своем. Над полем того берега, припадая к межам, летит большая белая птица,—повернула к реке и, став столбом, камнем пала на воду. Мы видим в ее когтях серебро.—

— Леща!—говорит Аброська.

— Щука!—приглядываюсь я.

— Леща!—говорит Аброська,—дает же Бог и птице удачу!

Улетела белая птица, унося добычу. А мы сидим, курим и думаем: я о том, как стану жить на своей вольной воле, Аброська о леще.

— Разбойник народ,—говорит он, приподнимаясь и показывая рукой на пни и разбросанные вокруг макуши,—на что польстился: семь полозов!

Я смотрю на него, на его руки и жидкую бородку, и вдруг у меня мелькает догадка: дубки-то никто другой, Аброська и слямзил. Ищу на его лице глаз,—глаз нету, а под бровями так что-то безглазое мышит.

Китайские мужики.

Еще задолго до всего видели бабы и мужики всякие знамения и предвидения, от уха на ухо ходили по деревням слухи и толки.

Перед самою войною видели на небе огненный в дыму и крови крест. Лавочник Ракасуй, поехавший в город за товаром и заночевавший в пути, на рассвете увидел—сидит на дороге малая пташка. Стало Ракасую отчего-то жутко, захрапел его конь. И увидел Ракасуй—метнулся через дорогу зверек малый, горностайка, ударился о пень, обернулся человеком: огромный, высокий, усы торчком и сабелька на правом боку.

Уж поняли после: был то Вильгельм сухорукий, от того и сабелька на правом боку.

По началу революции было Корневне виденье: будто поднялся от захода великий вихрь, закрыл небеса, пригнул травы. Припала Корневна вместе с травою к сырой земле, а голос шепчет: „не гляди, не подымайся!". Не утерпела Корневна, оглянулась одним глазком: Господи-ж Боже-ж! несут по воздуху человека, правая ручка на левой схрестивши, ликом рыж—прогремело и на Москву.—„А был тот человек,—объясняла Корневна,—никто иной—был тот человек сам Ленин!"

По первому времени видели барина, прилетавшего на аэроплане с немецким офицером осматривать лесок. Видели человека—вышел из

лесу, ростом в сосну, прошел человек по дороге, мимо мужиков, обдал ветром—и опять в лес, только колыхалась голова над макушами...

Тогда же закружился по деревням слух о царевиче Японе. Будто царь Николай, еще царенком, по Японии ездивши с ихней скрутился и остался у него в Японии сын—Япон-царевич и будто идет этот Япон на Россию войною...

А всего смешнее легенда о „китайских мужиках".

Некий дотошный человек видел на станции эшелон китайцев-рабочих, и тотчас же окрылилась, полетела по деревне весть:—„пишет китайский царь нашему Ленину,—расплодилось у меня в китайской земле видимо-невидимо китайских моих мужиков, а в бабах большой недохват. У тебя же, говорит, в мужиках убыток, а бабов после войны холостых сколько хочешь, только хлеб зря жрут. Предлагаю тебе, говорит, такую мену: за каждых две твоих бабы дам тебе моего китайского мужика и очень будешь доволен. Так они и постановили: ждите значит, мобилизацию бабью".

Две недели выли бабы со страху.

Конокрад.

Вот что было—

Раз вышел Васька Артюшонок за ворота, глядь,—бежит вдоль улицы Князьков Кузьма, нараспашку рот:—

— Вали,—кричит,—вали, ребяты, собирайсь конокрада бить!

— За Князьковым Евменов Гришка:—

— Катись,—кричит,—катись!

За Гришкой сам Чугунок:—

— Туды твою...—этот хрипит только.

Васька, как был, шубейку на одно плечо,—туда! А уж там варится каша. Народ грудом. А из народа слышно: гак да гак!—будто колют дрова.

Узнал у мужиков Васька какое такое дело.

Было так: ходили мужики в лес, считать дрова. Оттуда шли,— зирк! а по лесу между деревьями черный метнулся человек. Чего доброму человеку в лесу? Сейчас мужики в круг, да по лесу, да в обрез,—часа через полтора двух из-под елового куста выволокли за пятки: оба—цыгане, от обоих конский дух.

А тому за неделю у Лысого Гаврика двух коней увели со двора. Уж тут всем понятно: никто другой, самые эти конокрады и есть. Подступили к ним: как да где? А те ни мур-мур, будто на пень. Только и сказали друг дружке пару слов на собачьем своем языке.

Связали им руки, повели в деревню.

Уж как там вышло, один с дороги—ать!—да через канаву, да в кусты, да по полю—только стрекочут пятки. У мужиков зады тяжелые—не догнать мужику цыгана в поле.

Сиганули было,— держи ветер!

Другого скрутили потуже и на деревню. Привели,— поклали поперек избы.—„Где кони, туды твою так?“ Молчит.—„Говори, убьем!“ Молчит.—„А-а!“ Размахнулся один,— р-раз! Молчит. Как каменный.

— Посылай за Лексой!

А Лекса это цыган; на деревне уж двадцать годов как угнездился,— свой! Лекса знает в округе всех конокрадов.

Пришел Лекса, расступился народ. Тот цыган на полу лежит, мордой вниз, на бороде красные пузыри. Подошел Лекса, ногой в бок:—

— Гыр, гыр, гыр!— по-собачьему.

Тот ему:—

— Гыр, гыр, гыр!

Лекса ему опять в бок:—

— Какой ты,— говорит,— есть цыган, коли выдашь своего брата! Какой ты есть цыган! Я молодой был — мне шкуру сдирали, пятки жгли, а я молчал. Да я,— говорит,— пришью тебя первый, хоть ты и цыган, мне брат.

Повернулся и вон.

Навалились мужики и уж чем кто во что — дотуль били,— из ушей руда. А цыган — молчит. И только пóд-вечер заговорил.

Толста цыганская шкура, крепка цыганская кость,— а не выдержал, к вечеру зашептал цыган:

— Отпустите душу.

— Говори, где кони!

— Отпустите, скажу.

Уж как это вышло,— сказал цыган: стоят кони в лесу, пара, привязаны к дереву, и место рассказал точно. Только в одном уперся: о сообщниках — кто да откуда?— не сказал ни единого слова. Замóк.

Кинулись мужики в лес и точно: на самом том месте стоят кони, поводами к дубу. Обглодана кора на дубу: не ели кони три дня — кожа да кости.

Привели мужики коней на деревню. Опять к цыгану.—

— С кем был?

Молчит.

— Убьем!

Опять молчит.

— Га-ак!

Заговорил цыган. И так заговорил чуднó:

— Пустите, братцы, я вам на гармоньи сыграю!

— На гармоньи?— у мужиков и рот поперек: виданое ли дело — полдни били человека.— На гармоньи!

— Га!— гекнули мужики,— шутник цыган!

— Чего будем, ребяты?

— Пущай играет!

— Неси гармонь!

Смотались за гармоньей. Принесли.

Играй!— говорят.

А Цыган:

— Самогоночки бы!

— Ах, туды твою... Влей ему!

— Поставили четвертную —„гусака".

— Пей!

Выпил цыган одну, вторую, кровь на морде ладонью протер, гармонь на коленку и по ладам — как серебром! И набежали слушать цыгана со всей деревни бабы. Лезли бабы валом. Играл цыган. Орали по избам в зыбках голодные ребята. Стояли мужики распахнувши рты — заезжай в рот с возом.

Играл цыган, а перед ним росла гора: несли бабы сало, несли бабы яйца, несли бабы пироги.

Играл цыган час, играл два — до поздней темной ночи. Три дня не отпускали цыгана бабы.

Выросла гора до самого до потолка.

Поднялся цыган, свалил кучу в мешок — здорово живешь!— взвалил на плечо и пошел.

Так и ушел цыган и не узнал никто, кто был и откуда. Ушел цыган, а помнили долго: эх, за такую игру и двух кобыл позабыть не жаль!

Маяковская галлерея.

В. Маяковский.

I.

Стиннес.

В Германии
куда ни кинешься
выжуживается
имя—
Стиннеса.

Разумеется,
резцу
Стиннеса не обрезáть,—
не достаточно
ни букв,
ни линий ему,—
со Стиннеса
надо
писать образа.

Минимум.
Все
и ряды городов
и сел
перед Стиннесом
падают ниц.
Стиннес
вроде
солнец.
Даже солнце
тусклей.
Пялит нá земь
оба глаза
и золотозубый рот.

Солнце
шляется
по земным грязям.
Стиннес—
наоборот.
К нему
с земли
подымаются лучики:
прибыли,
ренты
и просто получки.
Ни солнцу,
ни Стиннесу
нации узы.
„Интернационалист"!
Жрет:
и немца
и француза.
На Стиннесе
все держится—
сила.
Это
даже
не громовержец—
а громо-
-верзила.
У Стиннеса
столько их
частей тела—
что запомнить
немыслимое дело.
Так,
вместо рта
у Стиннеса рейхстаг.
Ноги
германские желдороги.
У нас
для пищеварения
кишочки узкие,—
не велика доблесть!
А у Стиннеса
целая
Рурская
область.

У нас
пальцы,—
чтоб работой пылиться.
А у Стиннеса
пальцы—
вся полиция.
Оперение.
Из ничего умеет оперяться.
Даже
из репараций.
Чтоб рабочие
Стиннесу
не вздели уздечки—
У Стиннеса
даже
собственные эсдечики.
Растет он—
как солнце.
Вырастает в горах,
и вот
нависает мало-по-малу.
Золотая россыпь
в мешке крахмала.
Стоит он.
В самое небо всинясь.
Галстуком
мешок
завязан туго.
Таков
Стиннес
Гуго.
Сиятельнейшего
не исчерпают
строки написанные.
Нужны бы
целые
школы иконописные!

II.

Пилсудский.

Чьи уши,—
не ваши ли?—
не слышали
о нем,
о грозном фельдмаршале?!

Склонитесь!
Забудьте суеты и суетцы!
Поджилки
не трясутся у кого?!
Мною
рисуется
портрет Пилсудского.
Пилсудский
никакого роста.
Вернее
росты у него разные:
маленький—
если бьют,
большой—
если победу празднует.
Когда
старается
вырасти рьяней,
К нему
красноармейца приставляют
няней.
Крохотный лоб.
Только для кокарды—
уместилась чтоб.
А под лобиком
сейчас же
идут челюстищи.
Зубов на тыщу,
или на две тыщи.
Смотри
чтоб им
не попалась работца,
а то
челюсть
еще разрастется.
Приоткроет челюсть
жря
или зыкая,—
а там
вместо языка
верста триязыкая.
Почему
уважаемый воин
так
обильно
языками благоустроен?

А потому
такое
языков количество—
что три сапога.
По сапогу на величество.
И иногда
необходимо,
чтоб пан
мог
вылизывать
единовременно
трое сапог.
Во-первых:
Фошевы
подошвы.
Френчу
звездочку шпорову.
Да туфлю
собственному
буржуазному борову.
А чтоб в глаза
не бросался
лизательный снаряд,
над челюстью
усищ переволосый ряд.
Никто
не видал
Пилсудчьи телеса.
Но думается
Пилсудский
под мундиром
лиса.
Одежа:
мундир.
В золото выткан.
А сзади
к мундиру
длинющая нитка.
Конец к сюртуку,
а конец второй,
дергаемый
Пуанкарой.
Дернет—
Пилсудский
дрыгнет ляжкой.

Дернет—
Пилсудский
звякнет шашкой.
Характер Пилсудчий—
сучий.
Хозяину
виляет хвоста выкрут,—
чужому
норовит в икру.
И вере
должен
дать дань я,
и убеждения
оттенить
до последних толик.
Пилсудский
был
социалистического вероисповедания,
но по убеждениям
всегда
иезуит-католик.
Не очень ли
портрет
выглядит подленько?
Возможно.
Но он
не хуже подлинника.

III.

Пуанкарэ.

Мусье,
нам
ваш
необходим портрет.
На фотографиях
ни капли сходства нет.
Мусье,
вас
разница в деталях
да не вгоняет в грусть.
Позируйте!
Дела?
Рисую наизусть.

По характеру глядя,
Пуанкарэ
такой дядя:
фигура
редкостнейшая в мире:
поперек
себя шире.
Пузо.
Ест до́-сыта.
Волос нет.
Лысый.
Небольшого роста.
Чуть больше хорошей крысы.
Кожа
со щек
свисает,
как у бульдога.
Бороды нет.
Бородавок много.
Зубы редкие.
Всего два.
Но такие,
что под губой
умещаются едва.
Физиономия красная.
Пальцы тоже.
Никак
после войны
отмыть не может.
С утра
дела подают ему.
Пересматривает.
Кровавит пальцами папки.
Потом отдыхает.
Ловит мух,—
и отрывает
у мух
лапки.
Поотрывав лапки и ножки,
едет заседать
в Лигу Наций.
Вернется.
Паклю
к хвосту кошки
привяжет,
зажжет
и пустит гоняться.

Затем обедает
как все люди.
Но жаркое
подают
живьем на блюде.
Нравится.
Пища пищит.
Ворочает вилкой медленной ленью.
Крови вид
разжигает аппетит
и способствует пищеварению.
Ссорится с кухаркой,
если ей
к самовару
не хватает
углей.
Орет
хмуро:
Сбегай
тут
недалеко до Рура.
Переваривая пищу
любит
гулять
по дороге к кладбищу.
Если похороны
идет сзади
и...
тихо похихикивает
на гроб глядя.
Так
норовит
подлезть
под любой кодак.
Вечер.
Ищет
развлечений потише,—
за́ день
уморен делами тяжкими.
Ловит
по очереди
своих детишек
и
хохоча от удовольствия
сечет подтяжками.

Похлестывая дочку
приговаривает
меж ржаний:
„Эх!
быть бы тебе
Германией
а не Жанной!“
Мусье!
Не правда ли,
похож до нити?!
Нет?
Извините!
Сами виноваты.
Вы же
не представились
мне
в мою бытность
в Париже.

IV.

Керзон.

Многие
слышали звон,
да не знают—
что такое Керзон.
В редком селе,
в редкость у города
имеется
карточка
знаменитого лорда.
Гордого лорда запечатлеть рад.
Но я
конечно
не фотоаппарат.
Что толку в лординой морде нам?
Лорда
рисую
по делам по лординым.
У Керзона
сногсшибательный вид.
Керзон богат.
Керзон родовит.
Лысина.
Двумя волосками припомажена.

Лица не имеется.
Деталь.
Не важно.
Лицо
принимает
какое модно.
Какое
английским купцам угодно.
Глотка здоровая,—
из этой
из глотки
Голос
не просто голос—
медь!
Но иногда
испускает
фальшивые нотки,
если на ухо
наступает
наш медведь.
На руках перчатки.
Вечно таскает.
Общеизвестная
манера шулерская.
В делах российских
его тактика
передернуть
парочку фактиков.
Напишет бумагу,
подпишется
„Раскольников"
и врет
на Н. К. И. Д.
как на покойников.
Одно из любимейших керзоновых занятий
ходить
к задравшейся английской знати.
Керзона
хлебом не корми
дай ему
задравшихся супругов.
Моментально водворит мир,
рассказав
друг про друга.

Мужу скажет:
— Не слушайте сплетни,
Не старик к ней ходит,
а несовершеннолетний.
А жене:
— Не верьте
сплетне о шансонетке.
Не от нее,
от другой у мужа детки.
Вцепится
жена
мужу
в бороду,
закручивает книзу.
Лафа Керзону
лорду
маркизу.
Керзон
похихикивает
подобающе сану:
— Ну и устроил я им Лозанну.
Не досчитавшись шиллингов двадцать,
любит
час
с кухаркой торговаться.
Ругается
так долго,
пока кухарка
не плюнет в глаза ему.
Этот
ни копейки не скинет с долга,
все проценты
взыщет
по ростовщичьему займу.
При взгляде
на карту С.С.С.Р.
Из ярко желтого
становится сер.
Пока
кулак
не расшибет о камень,
бьет кулаками.
Можно
и еще поописывать лик-то,
да не люблю я
этих
международных конфликтов.

V.

Муссолини.

Куда глаза ни кинем
газеты
полны
именем Муссолиньим.
Рисеро Муссолини я.
Точка в точку.
В линию линия.
Родители Муссолини—
не пыжьтесь в критике.
Не похож?
Точнейшая фотография политики.
У Муссолини
не голос,
а зык.
Вроде
большой шимпанзы.
Легко увидит
каждое зрячее,
что и одежа его—
шерсть зверячая.
Лица не видели,
не хвалимся зря мы:
слепит
подглазными фонарями.
И ноздрей
(много)
не ищи зря
у Муссолини
всего
одна ноздря.
Да и та
разодрана
пополам ровно,
при дележе ворованного.
В министерстве
первое выступление премьера
было
скандалом,
не знающим примера.
Чешет языком—
а не поймешь ни бельмеса.

Нашелся
один переводчик бесплатный
— Т ш ш ш —
пронеслось
как зефир средь леса
— это
язык блатный.
Министры выучились
и без труда особенного
меж министров
много народу способного.
Политикой не исчерпывается.
Не на век же весь ее!
Муссолини
не забывает
и основную профессию:
возвращаясь с погрома
или с развлечений иных,
не признает
никаких ключей дверных.
Демонстрирует министрам,
как быстро
и не громко
любую дверь
ломать фомкой.
Муссолини
славой
упился досыта,
до того
что можно
писать просто:
Roma,
главковерху погромов
и несут прямо
Муссолини в сени—
на этот счет
не бывает двух мнений.
Идеал Муссолини—
Петр.
Вглядываясь в лик его
говорит:
— Я выше
как ни кину,—
что там
дубинка у Петра Великого,

а я
держу
целую дубину.
По моему
портрет
удачный выдался.
Может
не похожа какая точьица,—
говоря откровенно,
я с ним
не виделся,
да собственно говоря
и не очень хочется.
Хоть шкура
у меня
и не очень пушистая,
боюсь,
не приглядется б какому фашисту я.

(Первоначальная редакция III и IV вещи напечатана в «Пламени» (Тифлис) и «Кр. Ниве»).

Трактор.

Пусть ветер ливнем в пруд осел,
Арканы молний вяжут дом,
Щедрей, чем летом, грозы все —
Колес разумный гром.

Колес тенистый шаг,
То трактор тешил высоту —
То выкликал на бой овраг
Мотор, как теплый тур.

Он шел над зыбью лет, ведя
Не перекаты палуб,—
Он шел в блаженный пыл дождя
Равнять равнины вал.

Как музыкант, неутомим,
Владея скрипкой — плугом,
Дразнил он блеском луг и дым,
Лазоревку над лугом.

Буксуя, воду вертит сом,
Под плавником отборным.
Буксуя в травах, колесо
Всех плавников упорней.

Ему без устали кричать
От неба до тычинки,
Что человек к лугам опять
Вернулся из починки.

Он здоровеет, он растет
Над ложью, хрипом, склокой
Европ, парламентов, болот —
В работу без упрека.

Как рулевое солнце — так
Сверяет шаг и ветер —
И трактор — новая мета
Через пролом столетья.

Ник. Тихонов.

Сон в лесу.

Север лесной весь на бегу.
Темен, угрюм, покат,
В сучьях запутал, развесил гул
Снова зажал в руках.

Дому не лечь, человеку не встать.
Задавит пней духота,
Душен и чуден его устав,
Корни старей татар.

Ночь. Снится соснам на весу:
Не через звезды будет суд,
Блестит рука, топор несут,
На волоса острят косу.

Был лесу звон коня смешон,
Вот конь смеясь кору грызет,
И в тучи, в тучи, как в мешок,
Ночных пожаров дымный ход.

И лес бежит, и лес, привстав,
Разжал усатые уста
И стаю криков отпустил
Из теплой пасти волчьих сил.

Ник. Тихонов.

Утро.

Лес криком утро отворил.
Окрасил стан,
Нырнули мускулы зари
В пену полян.

И вверх по ветвям вскачь.
Где сук раскос,
Деревьям снилось столько мачт,
Досок, колес.

А камни, плечи обнажив,
Темнее рун,
Как прежде приняли в ножи
Волн бунт.

И комната моя бела
Шумит в окно,
И солнцу семь часов пылать
Дано.

Как фоккер, крылья развернув
В иную стать,
Работ дневную глубину
Опять пора пытать.

Ник. Тихонов.

События в Красном море.

По радио зовя:—На помощь, друг!—
Но в смерти сохраняя дисциплину,
Идя в Россию, наскочил на мину
Британский броненосец „Айрон Дюк“.

И вот, сверля зелено-синий вал,
Пошли на дно, увенчанные славой,
Матросы влево, офицеры вправо,
Посередине ихний адмирал.

А в глубине среди медуз и звезд
Была в тот час такая буря прений,
Что у царя морского от волнений
Затмился взор и подкосился хвост.

Он только что забылся первым сном,
Как вдруг, от страха зеленее ила,
Какая-то селедка доложила,
Что в Красном Море—красный исполком,

Что рыбы, от акулы до ерша,
Под пение Интернационала
Поплыли вдоль Суэцкого канала,
Сторонников правительства круша,

Что даже здесь, под сводами дворца,
Кораллы, состоящие в придворных,
На красных, белых, розовых и черных
Разбились в ожидании конца.

Царь стал бледнее устрицы. Но вдруг
К нему во двор, мощенный жемчугами,
Глядит, идет железными шагами
Команда броненосца „Айрон Дюк“.

— „Я вижу флот. Откуда он и чей?“—
Промолвил царь, откашлявшись солидно,
Держа в руке, чтоб лучше было видно,
Светящуюся рыбу в сто свечей.

— „Британский флот! Конец моей беде:
Он под водой поможет мне с восторгом,
Как и его величеству Георгу
Он помогал при жизни на воде.

Он успокоит рыбий мой народ,
Возьмет за жабры подлую ораву“.—
Но слева из командного состава
Раздался низкий бас:—„Наоборот!“

И, отмахнув царя, чтоб не мешал,
Пошли в Суэц, веселые, как черти
(Они умнее стали после смерти),
Матросы, офицеры, адмирал.

Вот так произошел переворот,
И с этих пор (и это очень ясно)
И рыба лучшая зовется красной,
И красным — наилучший в мире флот.

Вера Инбер.

Бродяга.

Текут луга зеленой брагой,
Просторно мысли и глазам.
Охотно буду я бродягой
Свистать в два пальца по полям.

А тень моя по желтой ниве
Идет, ломаясь и скользя.
И жить я не хочу счастливей,
И не могу, да и нельзя.

В обнимку с ветром и дорогой
Иду, пока цыганка—тень,
От этой жизни быстроногой
Устав, не сядет под плетень.

От браги вольностью хмелею.
Душа, как поле, широка.
Ватаг разнузданных пьянее
Плетутся в небе óблака.

Но им с плетня в два пальца свистну:
— Ко мне!—И пусто над селом.
Лишь ветер в хмаре серебристой
Кадит обкошенным бугром.

В два пальца свистну,—и не чудо ль?—
Слетятся звезды к шалашу.
Как брагу, волжескую удаль
По деревням я разношу.

На красный свист придут ватаги
Лесов, озер и мутных рек,
И пахарь в дедовой сермяге
И мать убивший человек.

Я выведу их в край чудесный.
Куда?—Одно дано мне знать:
На том же месте даже лесу
Давно наскучило стоять.

Веселым посвистом рассею
Туман,—и дальше побегу.
Свист ветра—синь, мой свист краснее
Брусники спелой на снегу!

Петр Орешин.

Морока.

Ты меня задушила снегами
И туманом упала на грудь.
Опоен беспокойными снами,
Я иду, чтоб в снегах утонуть.

Проняла меня песней унылой,
Красным звоном, присядкой лихой,
Волжским гневом, тайговою силой,—
Вечным призраком ты предо мной!

Обняла володимеркой пыльной,—
Но с тобой, куда хочешь, пойду.
И недаром печально застыли,
Как глаза твои, звезды в пруду.

Вдруг в пути замаячат в тумане
Вихорьки придорожных костров.
Так и кажется: гикнут цыгане
И—в присядку под звон бубенцов!

Пусть летят с кистенями ватаги
Свистом по лесу,—я не боюсь.
Может быть, мне от выпитой браги
С опохмелья мерещится Русь?

Петр Орешин.

* * *

На речке вода убывает,
Ольхой розовеет погост
И день, как весной лишь бывает,
Встает по-утру во весь рост...

Как взбиток белеется пена,
В два пальца свистят кулики
И роща взошла по колена
В поемные воды реки...

Весна раскидала кладинки,
От моста лишь сваи торчат
И стукают льдинки о льдинки,
Как чарки в застольи стучат...

А солнышко!— Словно с разбегу
С холма из-за лысых ракит
Свою золотую телегу
Все выше и выше катит.

И редко, средь синего взгорья,
Привстанет под облако в тень
Вздохнуть, от зари да на зорю
Звеня бубенцами весь день...

Сергей Клычков.

Плачущие цифры.

С. Членов.

Известный английский статистик сказал как-то, что цифры не лгут. Эпитеты «бесстрастные», «холодные», «неумолимые» по отношению к цифрам стали уже трафаретом, достоянием газетного стиля.

Глядя иногда на шеренги и колонны цифр, в которых проходит перед современниками мировая история, начинаешь понимать, что хотел сказать А. Блок словами—«жар холодных чисел».

Бывший итальянский премьер, довольно известный экономист, Франческо Нитти, выпустил недавно книгу со зловещим заглавием—«Европа над бездной».

Свою предыдущую книгу, вышедшую в прошлом году, тот же автор озаглавил—«Европа без мира».

Этот переход—не случайный. Им автор хотел подчеркнуть, с какой быстротой Европа «шествует по пути прогресса».

Европа, или, вернее, вся капиталистическая цивилизация, повисла над бездной, которая разверзлась в грозе и буре мировой войны, и делается все страшнее и глубже под «благотворным» действием Версальского мира. Бездна уже поглотила Германию.

Но подобно тому, как Дантон, всходя на эшафот, кричал: «Я потащу тебя за собой, Робеспьер», так Германия влечет за собой в бездну победителей. Формула: «горе побежденным» дополняется новой формулой: «горе победителям».

Книгу Нитти следует прочитать каждому. Когда итальянские премьеры начинают писать то, что в ней написано, тогда, видимо, с Европой действительно неладно.

Позвольте привести наудачу несколько цитат, которые могут послужить хорошей интродукцией к теме нашей статьи.

«Версальский договор,—сказал Клемансо,—есть способ продолжать войну». И война продолжается. И Нитти вскрывает перед нами причину этой войны или, вернее, ее цели.

«Франция уже имеет под своим контролем Бельгию и, в особенности, Польшу. Эта страна, в большей своей части образованная из элементов не национальных, вынуждена прибегать к величайшим насилиям, чтобы не распасться. Она изнывает под бременем милитаризма и величайших насилий,

обслуживая иностранную плутократию. Если бы Франции удалось, как надеется ее тяжелая индустрия, включить Рурскую область во французскую таможенную территорию и таким образом монополизировать или, по крайней мере, контролировать все континентальное металлургическое и машиностроительное производство, то создалась бы одна из самых нелепых ситуаций. В самом деле, французская тяжелая индустрия стала бы контролировать таким образом все вооружение других стран.

«Это — грозная мечта о насилии и господстве, которая способна разжигать надежды бессовестной плутократии»...

И оказывается, что не «демократия», а именно «бессовестная плутократия» управляет Европой.

«Но как для древнего варвара мораль заключается в оружии, так в наше время новая эра заключается в интересах беззастенчивой плутократии».

А результаты политики просвещенной Антанты?—Нитти отвечает кратко:

«Вся эта совокупность насилий создает только ненависть.

«Падение победителей так же последует за падением побежденных, как крах континентальных валют был подготовлен разорением Германии».

И несколько дальше:

«Захваты, насилия, безумства и преступления совершаются во имя победившей демократии.

«Тем временем Европа приходит в упадок. Она перестала быть континентом, регулировавшим мировое производство и обмен: она присутствует при закате своего экспансионизма и своей умственной жизни... С каждым днем Европа падает и очень быстро».

Вся книжка Нитти посвящена красноречивому доказательству этих положений. Потрясающие картины «войны после мира», растерзанные Германия и Австро-Венгрия, торжествующая «демократия», стоны, нищета, насилия, разрушения, хаос, гибель... «danse macabre», пляска смерти западной цивилизации, кровавый закат Европы.

В книге Нитти приведены сотни цифр и фактов, из которых складывается эта картина.

Разрешите в виде примера только одну страничку и при этом помните, что факты, о которых идет речь, имеют место во время мира, а не на войне.

Вот что пишет Франческо Нитти:

«Я заботливо собрал все официальные издания, все германские ноты, все издания, выпущенные в Америке и в Англии по поводу Рейнской оккупации. Я прочел тысячи донесений, рапортов и протоколов, относящихся к совершонным насилиям. Никогда душа моя не испытывала большего порыва возмущения и ужаса.

«Я не думаю, чтобы в интересах цивилизации, больше того, человеческого достоинства, я должен был рассказать то, что вытекает из этих документов. Убитые женщины, подвергнувшиеся нападению и обесчещенные

девушки, старые женщины, которым даже возраст не послужил защитой, женщины, умершие вследствие насилия, изнасилованные мальчики, все это бледнеет перед холодной жестокостью, с которой потребовали, чтобы немецкие муниципалитеты поставляли немецких женщин для публичных домов, для обслуживания похоти негров. Сколько женщин было безнаказанно изнасиловано, и они должны были умалчивать о своем позоре из боязни худшего; сколько немецких городов должны были организовать за свой счет и снабдить немецкими женщинами публичные дома для белых, желтых и черных войск. Сколько насилий не завершилось судебным процессом, сколько изнасилований не повлекли за собой наказания».

Мудрено ли, что в конце своей книги, как бы подводя итоги своему повествованию, Ф. Нитти восклицает: «Мы присутствуем в Европе при явлениях, почти аналогичных падению Римской империи».

Это ощущение «теллурической катастрофы», как выражается Нитти, краха и конца капиталистической цивилизации распространяется все сильнее—овладевает сознанием наиболее чутких идеологов буржуазного общества.

В недавно вышедшем сборнике статей проф. Р. Виппера «Круговорот истории» есть статья с характерным заглавием — «Конец индустриальной системы».

Подводя итоги «успехам» капиталистической цивилизации, проф. Виппер пишет: «Индустриальная и империалистическая система, созданная великими завоевателями, Питтами, Наполеонами, Бисмарками, Рокфеллерами, Сесиль Родсами, до конца оставалась под управлением маленькой, энергичной и беспощадной аристократии. В конце концов, торжествовал даже не индустриальный капитал, а биржевой, спекулятивный, бесплодный, ростовщический. Вот каким отвратительным фарсом кончила новейшая европейская культура, кичившаяся своим демократизмом».

Но фарс кончается. История начинает менять декорации, наступает «конец индустриальной системы».

«Война в одно и то же время и крайнее напряжение империализма, индустриальной системы, и акт отчаяния, попытка выйти из-под ее давления героическим средством: расчет воюющих не состоял ли в том, чтобы, выбивши противника из строя, дать себе передышку, пожить на чужие запасы?

«Война—своего рода социальная революция, и в этом смысле социальный развал начался на западе».

И почти теми же словами только еще ярче и резче писал несколько лет назад покойный Вальтер Ратенау:

«Государства думают, что борются за господство и свое существование. На самом же деле сгорает старый экономический порядок, и близится время, когда запылает весь старый фундамент общественного строя». (В. Ратенау. «Новое хозяйство»).

Германское статистическое управление только что выпустило небольшую книжку, в которой сведены воедино экономические результаты—войны и Версальского мира для Германии, а косвенно и для мирового хозяйства.

Хотя материалом, идущим из германских официальных источников, надо пользоваться с некоторыми оговорками, которые мы в дальнейшем сделаем, но данные, приводимые в этой книге плачущих цифр, настолько интересны, что на них стоит остановиться.

Прежде всего, цифры рассказывают и четкие диаграммы иллюстрируют, какие экономические рессурсы Германия потеряла на основании Версальского договора.

10% населения и 13% территории отошло к победителям. Они забрали 25,9% угля, 75% железной руды и 68,3% цинковых руд.

Германия потеряла территорию, с которой получалось 15% хлебов и 18% картофеля, собираемых во всей Германии. Наконец, почти 90% тоннажа торгового флота пришлось передать Антанте, а с колониями Германию заставили целиком расстаться.

Суммируя стоимость всевозможного движимого и недвижимого имущества, уже переданного Германией победителям, и репарационные платежи наличными, наш источник приходит к выводу, что Германия до конца 1922 года передала победителям 42.78 миллиардов золотых марок, т.-е. десять миллиардов долларов.

В эту цифру не входит целый ряд расходов, тоже связанных с мирными договорами и тоже достигающих весьма солидных размеров.

Вот, напр., цифры показывающие, во что обошлось Германии содержание союзнических оккупационных войск и органов. Данные только до конца 1922 г., т.-е. до начала оккупации Рура. Они сведены в достаточно выразительную диаграмму. Расходы по оккупации составили до 1-го января 1923 г.—4,5 миллиарда золотых марок. Это больше, чем все военные расходы Германии за четырехлетие 1910—1913 г.г. (3,8 миллиардов) и больше, чем вся контрибуция в 4 миллиарда золотых марок, которую Германия взяла с Франци после войны 1870—1871 годов.

«В то время,—пишет цитируемый нами доклад,—как в Германии только очень немногие могут позволить себе купить что-нибудь из мебели, тысячи гарнитур мебели отправляются в оккупационный район для оккупационных войск.

С осени 1920 г. до лета 1922 г. Германии пришлось оплатить такую, например, мебель: 1.400 салонов, 2.600 кабинетов, 5.000 столовых, 10.300 спален, 4.600 кухонь со всей утварью, 180 гарнитур клубной мебели, 2.900 клубных кресел, 1.800 гарнитуров плетеной мебели, 6.300 плетеных кресел, 2.100 гарнитур мягкой мебели, 1.400 мягких кресел, 2.300 кроватей для взрослых, 3.500 детских кроватей, 3.900 платяных шкафов, 3.400 коммодов и 3.000 шез-лонгов».

С каким комфортом расположились за счет немецкого плательщика налогов в оккупационной зоне войска победоносной «демократии», об этом

свидетельствуют следующие цифры. «За тот же период в 1¾ года Германия должна была доставить: 800 дамских письменных столов, 500 дамских туалетных столов, 18.000 ковров, 175.000 салфеток, 69.000 столовых сервизов, 89.000 кофейных сервизов, 36.000 чашек для кофе, 4.300 чайных сервизов, 25.000 фарфоровых блюд, 72.000 бокалов для белого вина, 51.000 бокалов для красного вина, 15.000 рюмок для портвейна, 45.000 бокалов для шампанского, 58.000 рюмок для ликера, 26.000 пивных бокалов, 9.000 графинов для вина».

Не правда ли, веселые цифры? А теперь позвольте опять вернуться к серьезным. Ибо ни побежденным, ни даже победителям, несмотря на ликер и шампанское, совсем не до смеху.

Одним из важнейших результатов Версальского мира для Германии было «сужение базиса питания».

У нее отняли территорию, производившую значительное количество хлебных излишков. С другой стороны, германское сельское хозяйство лишилось значительной части химических удобрений, главным образом вследствие потери Лотарингии, что весьма сократило производство томасового шлака, и вследствие невозможности ввозить достаточное количество удобрений (чилийская селитра) из-за границы, так как этого не позволяла плохая немецкая валюта.

В результате наблюдается по всей линии довольно сильное падение средней урожайности.

Так, напр., в 1913 году на гектар приходилось 24,1 двойных центнера пшеницы и 19,3 двойных центнеров ржи.

(Двойной центнер—100 килограммов, т.-е. грубо—6¼ пудов).

В 1922 году на гектар приходилось всего 14,2 двойных центнера пшеницы и 12,6 ржи.

Овес дает соответственно цифры—22,0 и 12,5.

Т.-е. урожайность упала, примерно, на 40%.

Упало и количество мяса и жиров.

Так, например, в 1913 году на территории теперешней Германии проживало 22,5 миллионов свиней, а на 1 декабря 1922 года их оказалось всего 14,7 миллионов, т.-е. на 35% меньше.

Количество добываемого молока упало с 12 миллиардов литров до 7,8 миллиардов в 1922 году.

«В общем даже по отношению к сохранившемуся количеству населения Германия располагает значительно более узким питательным базисом, чем прежде. Поэтому она еще больше, чем до войны, должна ввозить предметы питания и для их оплаты усиливать работу своей промышленности».

Однако фундамент, на котором строилась последняя, сужен в сильнейшей мере.

Как мы уже указывали, германской металлургии, а вместе с ней и всей германской промышленности нанесен жестокий удар.

75% железной руды, 68% цинковой руды, 26% олова,—вот главнейшие потери Германии на металлургическом фронте.

Это сокращение собственных источников добычи металла заставило германское народное хозяйство обратиться к усиленному ввозу.

В 1913 году Германия ввезла 124 тысячи тонн сырого железа, а вывезла 782 тысячи тонн. Перевес вывоза над ввозом составлял 658 тыс. тонн.

В 1922 году ввоз поднялся до 294 тыс. тонн, а вывоз упал до 157 тыс. В результате вместо перевеса вывоза над ввозом получился излишек ввоза в 136 тыс. тонн.

Железные полуфабрикаты дают аналогичную картину.

В 1913 году ввоз составляет всего 11.000 тонн.

Ему противостоит громадный вывоз в 700 тыс. тонн.

В 1922 году соотношение резко меняется. Ввоз подымается до 325 тыс., вывоз падает до 102 тысяч тонн.

Пассивное сальдо—223 тыс. тонн (вместо активного в 689 тыс.).

То же самое и тоже в очень резкой форме с цинком.

Если обратиться к углю и не учитывать оккупации Рура, которая совершенно подорвала снабжение германской промышленности и транспорта углем и заставила форсировать импорт его до последних пределов возможного, то мы получаем такую картину. В 1913 году во всей Германии было добыто 190 миллионов тонн каменного угля.

В 1922 году области, дававшие в 1913 году 49 милл. тонн, уже отошли к победителям. 18 мил. тонн Германия отдала в форме репарационных поставок, на 22 миллиона тонн упала добыча угля в копях, оставшихся в распоряжении Германии (по сравнению с 1913 годом). В общем, в распоряжении Германии было в 1922 году—101 мил. тонн.

До войны Германия ежегодно вывозила 30 миллионов тонн угля. Для потребления в пределах теперешней Германии оставалось за вычетом потребления самих копей, около 12 миллионов тонн угля в месяц.

В 1922 году (вторая половина) вывоз упал до ничтожной величины, а для внутреннего потребления оставалось, учитывая и возросшую добычу бурого угля, неполных 10 миллионов тонн в месяц (9,8 мил.).

Таким образом еще до оккупации Рурской области Германии ежемесячно не хватало 2 миллионов тонн угля, и этот дефицит покрывался ввозом, который во второй половине 1922 года колебался (в грубых цифрах) между 1½ и 2-мя мил. тонн в месяц.

Итак, Германия превратилась в страну, ввозящую руду и уголь. Оккупация Рура заставила Германию ввозить уголь в колоссальных размерах.

Мартовский ввоз 1923 г. составляет 3,4 мил. тонн (в то время как средний месячный ввоз за весь 1922 г. составлял 1,05 милл.).

Германия за март 1923 г. ввезла 1 мил. 300 тыс. тонн угля из Англии и почти 2 мил. тонн из Польской Верхней Силезии.

Если взглянуть на экономическое положение Германии с точки зрения

состояния ее торгового и платежного балансов, то по сравнению с довоенным временем можно отметить три характерных момента.

1) Сокращение общей суммы оборотов германской внешней торговли. В 1913 году ввоз Германии составлял 10,8 миллиардов марок золотом, а вывоз—10,1 миллиардов. В настоящее время обе цифры резко упали, при чем вывоз упал значительно больше ввоза (несмотря на падающую валюту, которая форсирует экспорт), а ввоз тоже сильно сократился, хотя потребность Германии во ввозе иностранных товаров, как мы уже видели, сильно увеличилась.

Позволяем себе иллюстрировать эту эволюцию цифрами, приведенными в № 7 известного немецкого журнала «Wirtschaft und Statistik» за 1923 г.

Средняя месячная ценность товаров, ввезенных в Германию в 1913 г., составляла 934 миллиона золотых марок. Ей соответствовала месячная ценность вывоза за тот же 1913 г.—в 850 миллионов.

Для второй половины 1922 года месячный ввоз колеблется от 421 мил. (сентябрь) до 684 мил. (июль).

В среднем ценность ввоза за второе полугодие 1922 г. составляла около 60% довоенной. (В январе 1923 г. ввезено на 564 миллиона, в феврале—на 446,—последняя цифра, впрочем, без гарантии за точность).

Германский экспорт пострадал гораздо сильнее импорта. Во вторую половину 1922 года он при резких колебаниях из месяца в месяц составлял от 255 миллионов (август, ноябрь) до 428 (июнь). В среднем, за весь 1922 г. ценность вывоза по отношению к довоенной составляла всего 38%.

(Данные за январь и февраль 1923 года дают цифры 311 и 360 миллионов, что составляет по отношению к месячной средней 1913 года 36—42%).

Итак, на-ряду с абсолютным сокращением и вывоза и ввоза, мы можем отметить, как второй момент, резкое усиление пассивности германского торгового баланса. Он был пассивным и перед войной, но платежный баланс в целом был активен, напр., в 1913 году пассиву торгового баланса в 0,7 миллиардов золотых марок противостоял актив других статей платежного баланса в сумме 1¾ миллиарда (так называемый «невидимый экспорт»), так что, в общем, активное сальдо германского платежного баланса в 1913 году было около 1-го миллиарда марок золотом.

После Версаля Германия не только потеряла важнейшие опорные пункты своего платежного баланса, но вынуждена нести тяжесть целого ряда новых пассивных статей, о которых говорилось выше в связи с вопросом о репарациях, расходах, по содержанию оккупационных армий и т. д.

В общем и целом, германское статистическое управление оценивает общий пассив германского платежного баланса за четыре года (1919—1922 включительно) в 14 миллиардов золотых марок.

Эта тяжесть балансируется отливом за границу золота (платежи победителям): переходом к иностранцам германских недвижимостей и акций немецких предприятий и отливом за границу значительной части германских бумажных марок.

Наша статистическая иеремиада доходит здесь до наиболее скорбных, наиболее ярких своих страниц,—до бюджета и денежного обращения. Мы спускаемся в новый круг Дантова ада.

На всякий случай, просим читателя не забывать, что нашим Вергилием является германский государственный орган—статистическое управление, и он взял на себя эту роль не только из любви к истине. Ему нужно показать нам мрачную картину экономического упадка Германии.

И для этого ему не надо ничего сочинять.

Достаточно, слишком достаточно—показать то, что есть на деле. Но статистическое управление хочет не только показывать, но и убеждать. Ему надо убедить нас в том, что во всем виновата Антанта и ровно ни в чем не повинны ни германское правительство, ни немецкая буржуазия.

А это звучит далеко не всегда убедительно. Напр., обзору бюджета предшествует такая интродукция:

«Пассивность платежного баланса является основной причиной разрушения германского денежного обращения.

«Нарушение равновесия в бюджете и инфляция являются, в свою очередь, следствиями обесценения денег (но позволительно думать, что инфляция не столько следствие, сколько одна из важнейших причин обесценения денег. *С. Ч.*). Обесценение денег уничтожает, следовательно, бюджет, и с железной необходимостью влечет за собой перевес расходов над доходами, т.-е. дефицит».

Мы предоставляем читателю судить, насколько прочна эта цепь умозаключений. Боимся, что она не выдерживает самой снисходительной критики. Но она нужна авторам для опровержения следующего тезиса: «В противность этому,—жалуется статистическое управление,—постоянно слышатся утверждения, что германское правительство само виновато в обесценении марки, ибо оно во все растущих размерах покрывает свои нормальные финансовые потребности не налогами, а инфляцией, т.-е. путем учета в государственном банке казначейских обязательств».

Этот упрек сильно беспокоит германское правительство. И так как здесь мы подошли к проблеме, весьма интересной и для российской экономики, позвольте остановиться на развиваемой немецким официозным источником версии, несколько подробнее.

Прежде всего, основные цифры. В 1920 бюджетном году было учтено казначейских обязательств на 74,9 миллиарда, в 1921 на 105,6 миллиардов и в 1922—на 6.329,2 миллиарда.

Как видите, счет пошел на триллионы.

Однако германская статистика производит подсчет, из которого выясняется, что учетом казначейских обязательств в 1920 году было добыто 5.178 мил. зол. марок, в 1921 году—4.513 мил. золот. марок, а в 1922 году всего 3.035 миллионов.

Другими словами, громадный рост инфляции все же далеко не поспевает за быстротой обесценения марки.

Растущие горы бумажек представляют все меньшее и меньшее количество золота.

По мнению германского официозного источника, это доказывает, что не инфляция виновата в обесценении марки, а обесценение марки в инфляции. На самом же деле, конечно, вопрос много сложнее, и его решение не колеблется между этими двумя противоположными элементарными тезисами.

Но, во всяком случае, составителям обзора вполне удалось показать, что состояние германского бюджета за последние полгода дает картину нового резкого ухудшения.

Если мы возьмем для сравнения апрель 1922 года и февраль 1923 года, то получаются следующие весьма характерные цифры:

Все расходы мы делим для наглядности на две группы: расходы на нужды самой Германии и «версальские», т.-е. всякого рода платежи победителям.

Доходы разбиваем на две группы: от нормальных поступлений и за счет роста задолженности государственного казначейства, т.-е. за счет эмиссии.

Для апреля 1922 года расходы первой группы составляют 7,3 миллиарда марок (государственные предприятия фигурируют здесь только в той сумме, в какой они потребовали доплаты из государственного бюджета). Расходы по Версальскому договору составляли 16,2 миллиарда, а всего 23,5 миллиарда марок. Доходы составляли 14,5 миллиардов. Путем увеличения текущего долга пришлось покрыть 9 миллиардов, которые целиком пошли на «версальские» расходы. Сама Германия, следовательно, покрывала свой внутренний бюджет без помощи эмиссии.

Однако с августа 1922 года картина начинает меняться, и утверждение, что Германия может покрывать свои расходы (без версальских), не прибегая к помощи печатного станка, отходит в область преданий.

Вот неумолимые цифры: «внутренние» расходы за один февраль 1923 г. составляют 1.604 миллиарда марок (из них—735 миллионов дефицит государственных предприятий), версальские расходы—423 миллиарда, а всего 2.027 миллиардов.

Доходы покрывают только 521 миллиард. Печатный станок должен за месяц дать 1.506 миллиардов, из которых 423 миллиарда идут на покрытие расходов, связанных с мирным договором, а 1.083 миллиарда покрывают месячный дефицит во внутреннем германском бюджете.

Февральские цифры отнюдь не носят случайного характера: это—неуклонно развивающаяся тенденция, начиная с августа 1922 года.

О германской налоговой политике придется говорить дальше в связи с утверждением, что немец платит самые большие налоги в Европе, а потому отнюдь не виноват в том, что дефицит и эмиссия неуклонно растут.

Какой немец, действительно, изнемогает под бременем налогов, а какой платит позорно мало, это, к сожалению, — секрет полишинеля. Позорнейшее пятно в политике германской республики, которое создает известное оправдание для действий французских империалистов.

Пока отметим, что государственные доходы Германии (выраженные в золоте) почти неуклонно падают.

За первое полугодие 1921 года они колебались от 600—700 миллионов золотых марок в месяц (перечисление сделано по индексу оптовой торговли, а не по курсу доллара; это меняет абсолютные цифры, но для выявления тенденции более показательно. *С. Ч.*).

К началу 1922 года цифры колебались вокруг 400 миллионов золотых марок в месяц и после некоторого под'ема весной начали стремительно падать, опустившись к концу года до уровня в, примерно, 200 миллионов марок золотом в месяц.

Наш официозный обзор утверждает, что выход из создавшегося положения возможен только в порядке фиксации обязательств Германии по отношению к Антанте на уровне фактически выполнимого и путем предоставления Германии иностранных кредитов, которые дадут ей возможность ликвидировать дефицит и стабилизировать свою валюту.

Эту точку зрения германское правительство, как известно, выразило в своей ноте союзникам от 2 мая 1923 года.

В этой точке зрения есть доля истины.

Однако характерно, что писал, напр., 27 апреля с. г. один из органов американской буржуазии—«New-York Times»:

«Немецкая надежда на международный заем в настоящий момент—химера.

«Сами немцы проявили так мало доверия к кредитоспособности своего государства, что они не пожелали даже покрыть займа на сравнительно маленькую сумму в 50 миллионов долларов.

«Кто же захочет, предоставив заем Германии, сделать себе финансовое харакири? Германия не пользуется доверием мира. Она утратила это доверие, напечатав массы бумажек вместо того, чтобы урегулировать свой бюджет путем налогов, и разбросав свои золотые резервы в бессмысленной попытке «стабилизировать» марку. О международном займе для Германии можно будет говорить только тогда, когда она признает свои обязательства и приведет в порядок свой бюджет».

А теперь разрешите очень беглую экскурсию в область денежного обращения.

Здесь мы сталкиваемся с исключительно интересными явлениями, освещение которых потребовало бы, однако, специальной статьи.

Поэтому ограничимся данными о развитии эмиссии.

К середине 1914 года все денежное обращение германской империи—металлическое и бумажное—составляло около 6 миллиардов марок.

К концу декабря 1922 года номинальная ценность выпущенных бумажных денег равнялась 1.295,3 миллиардов, т.-е. с округлением—1,3 триллиона. К концу февраля 1923 г. эмиссия достигла цифры в 3.536,5 миллиардов, т.-е. свыше трех с половиной триллионов. (Мы не приводим последних абсолютных цифр. За время, прошедшее с конца февраля, эмиссия успела пере-

валить за 7 триллионов; за этими цифрами угнаться в журнальной статье невозможно.)

Таким образом, отбрасывая все усложняющие факторы и, в частности, не учитывая роли банковых депозитов и чекового обращения, мы можем сказать, что номинально денежное обращение возросло в 590 раз.

Однако эта цифра сама по себе совершенно неинтересна. Журнал «Wirtschaft und Statistik», который мы неоднократно цитировали, произвел ряд вычислений, которые показывают степень обесценения марки, его эволюцию и влияние на экономическую жизнь. Путем деления фактического курса доллара в Берлине на его золотой паритет по отношению к марке получается коэффициент обесценения марки по отношению к мировым деньгам или золоту.

Отбрасывая дроби и беря самые грубые цифры, мы получаем следующую картину:

В 1920 году марка была обесценена в среднем в 15 раз, в 1921 году—в 25 раз, в 1922 году—в 450 раз.

При чем для 1922 года средняя эта носит чисто арифметический характер. Фактически в начале 1922 года марка была обесценена в 45 раз, а в декабре в 1.808 раз.

В январе 1923 года мы имеем обесценение марки в 4.281 раз, а в феврале в 6.650.

Здесь начинается действие знаменитой «стабилизации».

Рейхсбанк покупает и выбрасывает на рынок золотые девизы.

Доллар искусственно сдерживается на уровне 21.000—22.000 марок. Коэффициент обесценения марки фиксируется на 5000 (паритет: 1 доллар= 4,2 марки).

Несколько сот миллионов золотых марок из запасов Рейхсбанка выбрасываются на эту затею. Дешевые золотые девизы, которые разбазаривал Рейхсбанк, скупили акулы крупного капитала во главе со Стиннесом. С конца апреля началось новое падение. Сейчас (22 мая) доллар дошел снова до небывалого уровня в 57.000 марок, т.-е. марка обесценена в 13.570 раз.

Но вопрос о пресловутой «стабилизации», которая была бы классическим образцом экономической безграмотности, если бы не была актом «самоснабжения» крупных капиталистов за счет золотого запаса,—нам здесь приходится оставить в стороне.

Отметим, следовательно, что на конец февраля 1923 г. мы имели денежное обращение, возросшее меньше, чем в 600 раз, и марку, обесцененную в 6.650 раз.

Обесценение больше, чем в десять раз обогнало рост количества обращающихся денег.

В высшей степени катастрофическим симптомом является неуклонное падение золотой ценности выпущенной бумажно-денежной массы.

Если в 1920 году стоимость этой массы в золоте составляла 81% до-

военной стоимости денежного обращения, то для 1922 г. средняя цифра была уже 27%, при чем к декабрю она упала до 11,8%.

Комбинированное действие непрекращающейся эмиссии (увеличение количества бумажек) и искусственного взвинчивания курса подымает ненадолго ценность выпущенной бумажно-денежной массы до 13% довоенной стоимости денежного обращения.

Как известно, кардинальным фактом не только денежного обращения в Германии, но и всей германской экономики была резкая разница между степенью обесценения марки на мировом денежном рынке (по отношению к доллару) и степенью падения ее покупательной силы внутри страны, т.-е. степенью роста цен. Рост цен, в виде правила, сильно отставал от скачущего курса доллара, т.-е. от обесценения марки по отношению к золоту.

Однако теперь цены устремились в погоню за долларом и «стабилизация» весьма помогла им в этом отношении.

Берем два характерных индекса: индекс оптовой торговли и индекс прожиточного минимума.

Первый—значительно выше последнего, ибо в последний входят решающими факторами нормированная квартирная плата, хлеб, за который платится, в известных пределах, искусственно уменьшенная цена и т. д. Цифры показывают уровень цен в золоте по отношению к ценам 1913 года.

Индекс оптовой торговли был в январе 1922 г.—80, в декабре 1922 г.—81, в феврале 1923 г.—84, в начале марта—94.

Индекс прожиточного минимума скакнул с 23—25 в октябре—ноябре 1922 г. на 53 в начале марта 1923 г.

Специальный индекс расходов на питание дал еще более резкий скачок. Если в ноябре 1922 г. расходы на питание, вычисленные в золоте, составляли 32% довоенных, то в марте 1923 г. они поднялись с головокружительной быстротой до 68%.

Германские цены равняются по ценам мирового рынка. Главный источник дутого экономического благополучия катящейся в пропасть Германии иссякает.

Послушаем, что пишет об этом германское статистическое управление:

«Неуклонно повышающиеся цены вызвали мнимый расцвет хозяйства, который у поверхностного наблюдателя создает впечатление, что Германия оправилась от последствий войны и даже идет к новому под'ему. Номинально-высокие цены возбуждают усиленную деятельность в некоторых отраслях хозяйства. Магазины полны товарами, в ресторанах множество посетителей, театры работают с аншлагами, словом, кажется, что дела идут, как в лучшие довоенные годы».

Однако статистическое управление справедливо утверждает, что это—одна видимость. Все это оживление в больших центрах создается иностранцами, да еще немецкими «нэпманами», известными здесь под обиходной кличкой—«шиберов» и под официальным обозначением—«Konjuncturgewinner»,—«использователи кон'юнктуры», т.-е. разбогатевшие от военных поставок,

подрядов, спекуляции, биржевой игры и прочих почтенных занятий джентльмены. (Кстати, надо заметить, что немецкий язык тоже знает глагол «нэппен» и отглагольное существительное—«нэпп». Они означают надувательство, обираловку, об'егоривание. Совпадение, поистине, удивительное, ибо в немецкий язык это слово попало совершенно независимо от новой экономической политики Р. С. Ф. С. Р. Между прочим, берлинские остряки называют Kurfürstendamm—главную цитадель российской эмиграции—«Нэпский проспект».)

Что же касается громадного большинства населения, то, по утверждению статистического управления, «его жизненный уровень по отношению к удовлетворению важнейших потребностей упал теперь несравненно ниже довоенного».

Мы сейчас попытаемся проверить это утверждение некоторыми цифрами. Но, быть может, раньше будет небезынтересно выслушать еще одного свидетеля—берлинского обер-бургомистра Бёсса, который только что выпустил брошюру под заглавием—«Нужда в Берлине».

Берлинский городской голова утверждает, что доходы широких слоев населения далеко отстают от все растущих цен на предметы первой необходимости.

Если взять,—говорит он,—ту сумму, которую должна ежемесячно тратить на удовлетворение основных потребностей берлинская семья из пяти человек в январе 1923 г., то эта сумма в 1.120 раз больше месячных расходов той же семьи в 1913 г. (Расходы на питание возросли даже в 1.366 раз.)

Между тем заработная плата неквалифицированного рабочего возросла в 888 раз, а квалифицированного—только в 643 раза. Жалованья чиновников возросли: низших в 702 раза, средних в 463, а высших только в 373 раза.

По отношению к довоенным нормам мы получаем следующие процентные соотношения: чиновники, занимающие более высокие должности, получали в январе 1923 года одну треть своего довоенного оклада, для низших чиновников цифра подымается до 62%.

Квалифицированные рабочие получали 57% довоенных ставок,—не квалифицированные до 80%. Банковские служащие — 47—48%.

Это означает понижение реальной заработной платы для всех групп рабочих и служащих и соответственное ухудшение их «Standart of life». Характерно в этом отношении следующее вычисление статистического управления: на свой однодневный заработок средний чиновник или служащий мог купить в 1913 г. 43 килогр. хлеба, а в декабре 1922 г. только 7. На тот же заработок он мог приобрести 7 клгр. мяса, а теперь его хватит только на три.

За этот же однодневный заработок можно было купить 9 клгр. свиного сала, а теперь его еле хватает на 1 клгр.

Достаточно убедительно.

Но как раз после января началась в связи с оккупацией Рура новая

волна дороговизны, на которую весьма мало повлияла «стабилизация» марки.

Разрешите для полноты картины привести некоторые данные, которые охватывают всю первую треть 1923 года.

Если в январе индекс прожиточного минимума был 1.120 (т.-е. комплект предметов первой необходимости вздорожал по сравнению с 1913 годом в 1.120 раз), то для апреля мы имеем уже цифру—2.950. Если брать вздорожание только предметов питания, то вместо уже известной нам январской цифры—1.366, мы получаем в апреле цифру—3.500. Расходы на отопление и освещение сделали скачек с 1.612 на 5.514, расходы на необходимые приобретения по части одежды были в январе в 1.682 раза выше довоенных, а в апреле в 4.182 раза.

О положении групп населения с «твердыми» доходами в марках при таком росте дороговизны говорить много не приходится (мы его коснемся несколько ниже). Но как обстоит дело с движением заработка рабочих и служащих?

Принимая прожиточный минимум 1913 года за 100 мы получаем для марта 1923 г.: для необученных рабочих цифру 98 (почти без изменения), для квалифицированных рабочих—74 (т.-е. ухудшение жизненного уровня на одну четверть), для низших чиновников и служащих—64 (т.-е. ухудшение на одну треть), для средних—42 (т.-е. ухудшение на три пятых), для высших 34 (т.-е. потеря двух третей реального заработка).

Очень любопытны, как показатель процесса упадка немецкого чиновничества и ухудшения положения квалифицированных рабочих, и абсолютные цифры.

Необученный рабочий получал в 1913 году 101 марку в месяц. В марте 1923 года он зарабатывал 282 тысячи марок. Квалифицированный рабочий, зарабатывавший 145 марок, т.-е. почти в полтора раза больше не квалифицированного, получал в марте 1923 года 305 тысяч марок, т.-е. всего на 8% больше не квалифицированного. Чиновник, занимающий ответственную должность, получал в 1913 году—608 марок, т.-е. в 6 раз больше чернорабочего. В марте 1923 г. его оклад равнялся 595 тысячам, т.-е. был только вдвое выше заработка чернорабочего.

Если принять во внимание, что реальный заработок чернорабочего не возрос (в феврале он был на 25% ниже довоенного), то перед нами процесс генерального равнения по низу, универсализация нищеты.

Этот процесс нивеллирующего обнищания можно проследить в любой отрасли труда.

Возьмем, например, железнодорожников.

В 1913 году недельный заработок квалифицированного рабочего был 34,5 марки, а не квалифицированного 23,7.

В декабре 1922 г. соответствующие цифры в «товарных» марках были 20,1 и 19,1.

Разница почти исчезла: обученные рабочие получают теперь меньше того, что в 1913 году получали необученные.

Возьмем металлистов. В 1913 году квалифицированный металлист зарабатывал 36,2 марок в неделю, а необученный рабочий 23,5. Теперь цифры:—22,5 для первого и 20,5 марок для второго.

Совершенно такую же картину дают все крупные отрасли промышленности.

Но больше всего процесс бьет по верхам служащей интеллигенции.

Государственный чиновник на ответственной должности получал в 1913 г. 603 марки, а низший чиновник только 165 марок в месяц.

Теперь первый получает 202 реальных марки в месяц, а второй—103.

Еще гораздо резче выявляется эта картина в банках. Служащий со специальным стажем получал в 1913 году, в среднем, 294 марки в месяц.

Служащий без специальной подготовки—180 марок. Теперь цифры почти сошлись: 127 и 119 марок, и обе они на треть ниже того, что получал до войны неквалифицированный служащий.

Но больше всего пострадали от всеобщей переоценки ценностей те слои населения, которые не могли добиться даже относительного приспособления своих доходов к растущей дороговизне.

Инвалиды войны, живущие на пенсию, инвалиды труда и все другие лица, получающие пенсии или социальное обеспечение, в том числе вдовы и сироты убитых на войне, мелкие рантье и т. д.,—все эти люди, по выражению берлинского обер-бургомистра,—давно уже «испытывают горькую нужду, и часто их жизнь сводится к безнадежной борьбе с абсолютной нищетой и голодной смертью».

По данным того же обер-бургомистра, общее количество лиц, получающих в той или иной форме пенсии и пособия, составляло в 1922 году 9 миллионов человек, из которых 6 миллионов не имели, кроме этого, никаких или почти никаких других доходов.

Если вам интересно знать, каковы размеры оказываемой государством этой громадной массе людей помощи, к вашим услугам официальные цифры, настолько зловещие, что их не приходится комментировать.

Лица, застрахованные на случай инвалидности и старости (государственное страхование) получали в 1922 году ренту *в 63 довоенных марки в год.* (Это вычислено по индексу прожиточного минимума. Если перевести по курсу доллара, получится еще гораздо меньше.)

Итак, пять марок в месяц, вот во что превратилось в демократической республике государственное страхование трудящихся от инвалидности и старости, которым так гордилась со времен Бисмарка германская «социальная монархия».

Вдова убитого на войне во славу фатерланда получает 50 марок в год, а сирота—28 марок—в год.

На панелях сидят и просят милостыню безрукие и безногие герои великой войны, украшенные железными крестами.

Правда, кое-где висят лицемерные об'явления какого-то «амта» о том, что эти инвалиды «не настоящие», а настоящие-де получают от государства достаточную помощь и не должны просить милостыню.

А неумолимые цифры говорят нам, что самый «настоящий» инвалид мировой войны, утративший 100% трудоспособности, получает со всякими добавками 13 марок и 70 пфеннигов (довоенных) в месяц, т.-е. в семь раз меньше того, что получали такие же инвалиды до последней войны.

Об обнищании громадных масс потребителей свидетельствуют весьма убедительно и другие цифры, это — данные об упадке питания, о сокращении потребления самых необходимых продуктов.

В 1913 году в Пруссии на голову населения потреблялось 49 килограммов в год мяса. В 1921 году эта цифра упала до 33-х килограмм, т.-е. на одну треть.

В 1913—14 году на каждого немца приходилось в год 249 клгр. хлеба. В 1921—22 г. только 181 клгр., т.-е. на 27% меньше.

Потребление картофеля на голову населения упало с 700 клгр. в год до 340, т.-е. больше, чем вдвое.

Потребление пива упало почти в 3 раза, приобретение одежды и обуви стало почти недоступно.

В больших городах на население обрушился еще бич жилищного кризиса, вызванный параличом строительной деятельности.

За период с 1914 по 1921 год (включительно) для удовлетворения потребности в жилище нужно было 2.020.000 новых квартир. Путем ремонтов, перестроек и т. д. удалось создать 625 тыс., но потребность в сумме 1.400.000 квартир осталась неудовлетворенной.

Как один из показателей обеднения широких слоев «среднего сословия» можно привести цифры, характеризующие движение вкладов в германских сберегательных кассах. В конце 1923 года сумма вкладов во всей Германии достигала цифры в 13,1 миллиардов марок. В 1922 году—52,9 миллиардов бумажных марок, что в переводе на довоенные марки (по индексу оптовых цен) дает около 750 миллионов марок, т.-е. меньше 4-х % довоенной цифры. Правда, эти цифры нельзя без дальнейших считать показателем пропорционального обеднения Германии. Надо быть очень непрактичным, чтобы при непрерывном падении курса марки держать свои сбережения в бумажных марках на книжке сберегательной кассы.

И совсем уже неубедительны рассуждения и цифры, с помощью которых германская официальная статистика старается убедить нас в «обнищании» немецкой крупной буржуазии.

Для этого приводятся три рода цифр. Во-первых, в 1923 году в Германских банках было вкладов и текущих счетов на сумму 30—35 миллиардов золотых марок.

А в ноябре 1922 года—800 миллиардов бумажных марок, что при перечислении по курсу доллара дает 460 миллионов марок золотом.

Но уж крупная-то буржуазия, конечно, не держит своих капиталов в немецких банках и в германской валюте.

Не мешало бы статистическому управлению сделать пробный подсчет, сколько миллиардов золотом немецкие капиталисты перевели за границу, сколько вложено в «реальные» ценности.

И совсем напрасно статистическое управление так горько плачет о бедных, обнищавших германских акционерных обществах.

В 1912—1913 году немецкие акционерные общества дали в среднем 8¾% дивиденда, а в 1922 году 25½%.

Однако наш статистический официоз исчислил абсолютную величину выплаченных акционерными обществами дивидендов и пришел к заключению, что бедные акционеры получили в 1922 году всего 25 миллионов золотых марок дивиденда, т.-е. в 50 раз меньше, чем в мирное время.

«Бедные» акционеры и директора акционерных о-в, конечно, отлично понимают, что если правительство исчисляет их доходы в 25 миллионов, то, значит, и налоги надо платить только с этой суммы. (Фактически они и. этого не платят.)

Остальная прибыль расписывается под всевозможными рубриками. Львиная доля попадает учредителям, но и на акционеров льется золотой дождь привилегированных и бесплатных акций и т. п. благодеяний, в которых только «гехеймраты» из министерства финансов и статистического управления не умеют или не хотят разглядеть капитализированные прибыли.

Об «обнищании» крупной буржуазии дают недурное представление цифры эмиссии новых акций *в золотых* марках.

Цифра 1913 года—724 миллиона.

Она уже превзойдена цифрой 1920 года—728 миллионов.

1921 год дает, вообще, небывалую цифру в 1.396 миллионов золотых марок, которая, впрочем, в 1922 году падает до 705 миллионов.

Но и эта цифра капиталов, вложенных в новые акции «обедневшей» крупной буржуазией, немногим ниже цифры 1913 года и гораздо выше цифры 1919 года (412 миллионов).

Надо еще иметь в виду, что до последнего времени курс акций, хотя и поднимался неуклонно, но сильно отставал от под'ема курса доллара.

Так называемый «индекс акций», т.-е. отношение среднего курса всех котируемых на германских биржах акций к среднему курсу 1913 года, давал еще в декабре 1922 года очень небольшую цифру—около 90.

Так что на громадные суммы вновь вложенных золотых марок можно было скупить колоссальное количество акций.

А затем началась скачка «индекса акций», продолжающаяся бешеным темпом и сейчас.

Если в декабре 1922 года курсы стояли на уровне в 90 раз выше уровня 1913 года, то в январе эта цифра была—224, в феврале 452, в марте (в связи с падением курса доллара и со стабилизацией марки)—336.

Сейчас (конец мая) газеты, сообщая о движении котировок акций на бирже, прибегают к замечательному термину—«катастрофическое повышение».

«Бедные» германские капиталисты, которые к великому огорчению официозных статистиков остались почти без вкладов в немецких банках, знали, куда вкладывали свои деньги. И совсем смешно разговаривать о величине дивидендов, когда биржевой бюллетень отмечает в «хорошие» дни скачки курса акций на 100 тысяч процентов в день. (Если, напр., акции Гарпенского О-ва стоили 25 мая 1923 года в 5.100 раз выше номинала (510.000%), а в следующий биржевой день—28 мая—в 6.500 раз, то это значит, что они скакнули на 140 тысяч %.)

Если в 1922 году курс доллара неуклонно обгонял курс акций, то в 1923 целый ряд акций (специально горно-металлургические) обгоняют доллар (см. о движении курсов акций очень интересные сопоставления в последнем (февральском) статистическом сборнике «Франкфуртер Цейтунг»).

Чрезвычайно показательно не только в экономическом, но и в международно-политическом смысле следующее обстоятельство:

Рурская область — центр горно-металлургической промышленности — занята французами.

По области прокатывается волна забастовок и голодных бунтов. На улицах Бохума, Гезелькирхена и Эссена льется кровь.

О дивидендах в этом году нечего и думать.

А акции предприятий тяжелой индустрии, расположенных в Рурской области, идут впереди всех других бумаг в отчаянной скачке курсов.

«Тяжелые» акции обогнали не только все «легкие» промышленные акции, не только акции всех банков, но и скачущие обычно впереди всех иностранные девизы: доллар, фунты, гульдены.

За завесой международно-политических осложнений творится мистерия крупного капитала.

Что-то с чем-то об'единяется, консолидируется; подготовляется (а, может быть, уже готов) грандиозный франко-германский горно-металлургический концерн—диктатура угля и железа, беспощадная олигархия «железной пяты» над всей Европой.

Грозная нота «союза немецкой промышленности» правительству Куно, торжественно опубликованная 29 мая во всех газетах, показывает, что крупный капитал сбросил маску и об'являет борьбу за открытую диктатуру.

А за кулисами творится что-то, о чем еще рано знать «общественному мнению», но на что уже проскальзывают намеки в печати.

Вот, напр., отрывок из статьи в газете «Welt am Montag» от 28 мая с. г.:

«Французам и бельгийцам ничего не продается». Каждая мелочная лавочка украсила свои двери и окна этой патриотической надписью...

А в то же время на берлинской бирже акции западно-германских горных предприятий каждый день подымаются на 50 тысяч, даже на 100 тысяч

процентов. Коммерческая пресса говорит о «покупках за иностранный счет». В то же время из Парижа сообщают, что там развилась неофициальная, но очень оживленная торговля немецкими промышленными акциями. Очевидно, забыли написать на конторках маклеров на немецких биржах:

«Французам и бельгийцам ничего не продается». Было тягчайшей ошибкой, что в борьбе против насилий Франции рассчитывали на германский финансовый капитал, как на надежный в национальном смысле фактор, и не смотрели в оба за движениями его пальцев».

Но, пожалуй, лучше всего о патриотизме «бедного» немецкого капитала свидетельствует картина поступления налогов.

Мы уже не раз цитировали обзор, выпущенный германским статистическим управлением и посвященный экономическому положению Германии.

Там, между прочим, утверждается, что все германское население без различия слоев и классов обременено всевозможными налогами больше, чем население любой другой страны.

На бумаге это, пожалуй, верно; фактически же только население, живущее на трудовые доходы, задавлено налогами.

Крупный капитал и аграрии почти ничего не платят.

Вот официальные цифры.

За 1922—1923 бюджетный год (он начинается 1 апреля 1922 года и кончается 31 марта 1923 года) поступило всего налогов, пошлин и сборов— на 1.545.328 миллионов марок; в том числе 429 миллиардов дали пошлины и косвенные налоги, среди которых выделяется налог на уголь, давший 238 миллиардов.

Налоги с «владения и оборота» (сюда входят все прямые налоги) дали 929 миллиардов, из них больше 533 миллиардов дал подоходный налог.

Подоходный налог дал за 1922 год 34,5% всех поступлений и его доля все возрастает. В марте 1923 года она дошла до 37,3% всех поступлений.

Между тем, подоходный налог в Германии почти целиком и исключительно уплачивается трудящимися. Это, собственно говоря, не подоходный налог, а налог на жалованье и заработную плату.

Марка непрерывно обесценивается.

Поэтому премудрое министерство финансов обязало все учреждения и предприятия взыскивать подоходный налог с рабочих и служащих путем вычетов из каждой получки. Налог автоматически приспособляется к росту номинальных заработков.

Для прибылей, ренты и других доходов ничего подобного не существует.

Помимо фактической возможности скрывать свои доходы, нетрудовым классам дана легальная возможность уплачивать налог обесцененными марками и нагревать государство на курсовую разницу.

Ошеломляющие результаты этих «маленьких недостатков налогового механизма» на-лицо. Они превзошли самые пессимистические ожидания.

Умеренные и аккуратные «Sozialistische Monatshefte» опубликовали перепечатанные несколькими газетами и никем не опровергнутые данные.

По этим данным в феврале 1923 года рабочие и служащие заплатили 94,2% всего поступившего подоходного налога.

Все остальные классы и группы населения (все виды капиталистов, землевладельцы, свободные профессии) соблаговолили внести остальные 5%.

В марте 1923 года картина та же. Рабочие и служащие заплатили 179 миллиардов марок подоходного налога. Все фракции буржуазии, землевладельцы и пр. заплатили 9½ миллиардов, т. е. 5% всего поступивших от этого налога сумм.

Итак, подоходный налог, составлявший в марте свыше 60% поступлений от прямых налогов и почти 40% всех поступлений, уплачивается рабочими и служащими. Ими же, конечно, платится львиная доля косвенных налогов на предметы первой необходимости.

А что платит капитал и землевладение?

Налог с оборота составил за весь бюджетный год 14,8% всех поступлений, но его доля непрерывно падает и в марте 1923 года составляла всего 8,3%.

Специальный налог на доходы с капитала в марте дал 505 миллионов бумажных марок (против 179 миллиардов, которые за этот же месяц были вычтены из заработной платы рабочих и служащих).

Налог с имущества представлен в отчете министерства финансов замечательной цифрой в 1 миллион бумажных марок, налог на наследство—746 миллионов бумажных марок, налог с автомобилей—184 миллиона.

В переводе на золото это дает гроши.

Имущие классы предоставляют трудящимся честь платить налоги, так же, как и расплачиваться за эмиссию.

Это уже не только плачущие,—это кричащие цифры.

Они говорят не только о том, что трудовые массы Германии платят самые тяжелые налоги в Европе (прожиточный минимум, свободный от обложения, в Германии ниже, чем где бы то ни было—кроме Италии), но что Германия имеет самую скверную и несправедливую систему налогов в мире.

Крупный капитал не платит.

Разговоры об «ущемлении реальных ценностей» остаются разговорами.

А об'единенная индустрия в своем послании от 29 мая даже заговорила об изменении налогового законодательства и о создании системы налогов, «содействующей накоплению».

А государство нищает.

Освобожденная от бремени милитаризма Германия все-таки не сводит концов с концами.

Элементарные культурные потребности остаются неудовлетворенными.

Высшая школа, которой справедливо гордилась довоенная Германия, сейчас переживает тяжелый кризис. Чтобы не останавливаться долго на этом вопросе, позвольте привести краткую характеристику положения в этой области, принадлежащую тому же статистическому управлению:

«Положение немецкой науки поистине безотрадно. Университеты, научные институты и лаборатории, библиотеки и музеи по большей части уже не жизнеспособны, так как у государства и местных самоуправлений нет средств, чтобы поддерживать эти очаги науки и культуры. Очень плохо обстоит дело с научными изданиями.

Существующие издавна журналы должны прекращать свое существование, другие еще держатся с помощью общей поддержки научных учреждений.

Так же скверно обстоит дело с носителями науки и куьтуры.

Они, подобно всем другим квалифицированным силам, страдают от уже невыносимого понижения их жизненного уровня».

Положение обрисовано здесь сухо и немногими словами, за которыми скрывается трагедия развала научных учреждений и нищеты ученых.

Очень грустно обстоит дело и с низшей и средней школой.

Весьма симптоматична, напр., такая газетная заметка:

«Школы без чернил.

Положение в берлинских школах, вследствие плохого финансового положения города, из месяца в месяц ухудшается. Как мы неоднократно сообщали, как в народных школах, так и в учебных заведениях более высокого типа, дело обстоит так, что их руководители не могут приобрести самых необходимых пособий... Классы не получают чернил и мела...

В целом ряде учебных заведений положение вещей таково, что вряд ли может быть речь о правильной обучении».

Так пишет газета Стиннеса—«Deutsche Allgemeine Zeitung».

А уже цитированный нами берлинский обер-бургомистр в главе своей брошюры, посвященной страданиям детей, говорит, напр., следующее:

«Потрясающие доклады органов общественного призрения и попечения о малолетних освещают распространные бедствия, жертвой которых являются дети: множество детей, даже в самом нежном возрасте, никогда не получают ни капли молока; дети в школе без теплых завтраков—только кусок сухого хлеба; тяжелые психозы среди матерей на почве лишений;— ни мяса, ни жиров;—дети часто приходят в школу без белья и без верхнего платья или из-за отсутствия белья и платья совсем не могут ходить в школу. Часто нет ни кроватей, ни постельного белья. На кроватях без белья спят вповалку три-четыре ребенка или дети со взрослыми — часто дети спят вместе с лицами, больными чахоткой,—часто дети спят на голом и грязном полу.

Всяческие моральные опасности—венерические болезни среди детей. Нужда убивает всякое чувство порядка, стремление к чистоте и порядочности,—остается место только для мыслей о борьбе против голода и холода».

Так пишет о жизни детей Берлина его городской голова.

А сидящие в Берлине российские «литераторы» снискивают себе пропитание похвалами демократическому благополучию Германии, а, главное, клеветой на Россию, в которой одним из любимых лейтмотивов является развал русской школы и страдания русских детей.

А немцы, глядя на этих россиян, никак не могут решить мудреной задачи:—где кончается «патриот своего отечества» и где начинается «мерзавец собственной души».

А пока благополучные россияне вместе с немецкими «шиберами» наслаждаются гостеприимством берлинских кабаков, под землей уже слышатся глухие раскаты.

«Подземный пожар», о котором говорил покойный Вальтер Ратенау, тлеет в толще измученных народных масс.

Акции на бирже несутся в вакхическом танце.

В шантанах «шибера» танцуют фокс-трот, гремит музыка, льется «сект».

А в Бохуме течет кровь, а в Эссене стреляют, а в Гельзенкирхене громят магазины, а в Дрездене голодные толпы требуют регулирования цен, а новая грозная волна дороговизны надвигается...

Выхода не видно!

Махатма Ганди[1].

Ромэн Роллан.

Перевод М. Козловой.

> Стране славы и рабства,
> Эфемерных империй и вечных мыслей;
> Народу, бросающему вызов времени,
> Воскресшей Индии,
> В годовщину осуждения ее Мессии.
> (18 марта 1922 г.)

Библиография.

Mahatma Gandhi Joung India (1919—1922). С предисловием Бабу Раджандра Прасад. I том, in 16, 1200 стр., 1922 г. С. Ганезан, Мадрас (Собрание статей Ганди, напечатанных в его журнале: „Joung India"). Готовится французское издание. Очерк, который мы печатаем здесь, послужит предисловием.—Mahatma Gandhi Hind Swaraj (Индусский гомруль). 1921 г. С. Ганезан.—Heethi Dharma (Ethical Religion) с предисловием Д. Х. Холмс. С. Ганезан.—A guide to Health (Пути к здоровью). 1921 г. С. Ганезан.—Prof. Kaulkar, The Gospel of Swadeshi (Евангелие Свадеши), 1922 г. С. Ганезан.—J. H. Holmes, Mohandas Karamchand Gandhi (предисловие к Ethical Religion).—Satyandra Ray Mahatma Gandhi (ноябрь 1922 г.).—W. W. Pearson. The Dawn of a new Age. 1922 г. С. Ганезан.—C.-F. Andrews. To the students, 1921 г. С. Ганезан.

Издатель С. Ганезан в Мадрасе сконцентрировал все издания, относящиеся к Ганди и к движению молодой Индии.

---

[1] От редакции. Редакция считает полезным помещение перевода статьи Ромэн Роллана о Ганди, напечатанной в последних книжках французского журнала „Europe" за 1923 г. Статья принадлежит писателю, завоевавшему мировую известность, хорошо известному русскому читателю, и посвящена жизни и деятельности вождя героической борьбы Индии за свою национальную независимость. Редакция, однако, считает необходимым оговорить свое несогласие с расплывчатым сочувствием толстовству и религиозности Ганди, которым проникнута статья. Религиозный мистицизм Ганди является реакционным привеском, тормозящим великое дело освобождения Индии из когтей английского империализма.

Не мешает познакомиться с двумя сборниками: 1. „Joung India", журнал Ганди, продолжающий выходить в Ахмедабаде (сын Ганди в настоящее время состоит там заведующим типографией и изданием). 2. „The Modern Review", издаваемый в Калькутте Рамундрой Чаттерджи, орган Рабиндранат Тагора.

Журнал „Unity" в Чикаго с горячей симпатией следит за движением, организованным Ганди. Редактор этого журнала Джон Хайн-Холмс написал предисловие к индусскому изданию „Ethical Religion".

В начале этого очерка я обращаюсь с глубокой благодарностью к моему другу Калидасу Нагу, большие знания и неустанная помощь которого часто направляли мои неверные шаги в чаще индусской мысли.

Я извиняюсь перед ним за ошибки, которые могут встретиться еще в этом очерке. Но я его рассматриваю, как первый набросок, необходимый для европейской публики, который я впоследствии дополню.

Одинаковую благодарность я приношу издателю в Мадрасе С. Ганезану, любезно предоставившему в мое распоряжение бо́льшую часть своих изданий.

„Великая душа" [1]. Человек, который стал подобен божеству.

Спокойные темные глаза. Небольшого роста, тщедушный человек с худым лицом, с большими оттопыренными ушами. В одежде из грубой белой материи, босой, на голове белая шапка. Питается рисом, фруктами. Пьет только воду. Ложится на полу, спит мало. Работает беспрерывно. Он не считается с плотью. Вначале в нем поражает только «выражение великого терпения и великой любви». Пирсон, который его видел в 1913 г., в Южной Африке, сравнил его с Франциском Ассизским. Ганди кроток и вежлив, даже со своими противниками. Скромного о себе мнения. Добросовестен до такой степени, что всегда готов сказать: «Я ошибся»; никогда не скрывает своих ошибок, не идет на компромисс, лишен всякой хитрости; избегает ораторских успехов, вернее вовсе о них не думает; не любит манифестаций в его честь, где его тщедушная фигурка не раз могла бы быть раздавлена без помощи его друга Малана Шафкад Али, который буквально прикрывал его своим атле-

---

[1] Буквальное значение этого слова, данного индусским народом Ганди в виде прозвища: „Maha" - великий, „atma"—дух. Слово это взято из „Упанишад", где оно обозначает Всевышнее существо и тех, кто, приобщившись знанию и любви, уподобляется Ему:

Светлое существо, создатель мира, Махатма,
Всегда находящийся в сердцах людей,
Открытый сердцем, созерцанием, мыслью,
Тот, кто его знает, становится бессмертным.

(„Упанишады", стих 17).

Эти прекрасные слова цитировал, применяя их к апостолу, Тагор, посетивший в минувшем в декабре Ашрам (любимое убежище Ганди).

тическим телом; буквально болен от толпы, которая его обожает [1]; в глубине не доверяющий и чувствующий отвращение к «Mobocracy»—лишенной узды черни; он чувствует себя удобно только в немногочисленном обществе, счастливым в одиночестве, слушая «still small voice», тихий голос, который повелевает [2].

Вот человек, который поднял трехсотмиллионное население, поколебал Британскую империю и создал самое могущественное в истории последних двух тысяч лет движение.

* * *

Настоящее имя его Мохандас Карамчанд Ганди. Родился в маленьком полунезависимом государстве на северо-западе Индии—в Порбандаре на Оманском заливе 2 октября 1869 года. Отец его Карамчанд Ганди был премьер-министром страны. Он происходит из богатой, интеллигентной и культурной, но не принадлежащей к высшей касте семьи. Его родители принадлежали к школе джаинов, одним из главнейших принципов которой является «Ahimsa» [3], которую Ганди победоносно проповедывал миру.

Джаинисты считали, что любовь более, чем ум, ведет к богу. В семье постоянно читался «Рамайана». Его первоначальное воспитание было доверено брамину, который заставлял его повторять тексты из Вишну. Но впоследствии Ганди жалел, что не изучил как следует санскрит. Он ставит в упрек английскому воспитанию, то, что благодаря ему он не познакомился с богатствами родного языка. Тем не менее, он очень сведущ в древней индусской литературе, хотя «Веды» и «Упанишады» читает только в переводе [4].

Женившись еще ребенком [5], он двадцати лет уехал в Англию пополнить свое образование в Лондонском университете и в школе правоведения. Перед от'ездом, его мать, очень набожная женщина, заставила его дать три джаинистских обета, требовавших воздержание от вина, мяса и половых сношений. Из его речей [6] видно, что в Европе он изучил и другие религии, которые его настолько заинтересовали, что он одно время колебался между индуизмом и христианством. Но он пришел к убеждению, что для него возможно спасение только в индусской религии. Он вернулся в Индию в 1891 г., где стал адвокатом при Бомбейском суде.

---

[1] 2 марта 1922 г. Все даты, указанные внизу страницы, относятся к статьям Ганди, напечатанным в сборнике.

[2] 2 марта 1922 г.

[3] А—отрицание, himsa—делать зло. Не причинять ущерба жизни, отрицать насилие. Один из древнейших принципов индусской религии, в частности проповедываемый Махавирой, основателем джаинизма, Буддой и также поклонниками культа Вишну, который имел большое влияние на Ганди.

[4] Он рассказывал о своем детстве в речи, произнесенной в семейном кружке на конференции касты парнев, 13 апреля 1921 г.

[5] Впоследствии он боролся против браков детей, видя в этом гибель расы.

[6] 13 апреля 1921 г.

Несколько лет спустя, он отказался от своей профессии, находя ее безнравственной. Даже в то время, когда он исполнял обязанности адвоката, он выговорил себе право отказаться от процесса, если он найдет его несправедливым.

Уже в эту эпоху выдающиеся индусы пробудили в нем предчувствия его будущей миссии. Бомбейский «король без короны» парс Дадабхай и профессор Гохаль—оба горели религиозной любовью к Индии. Гохаль—один из лучших государственных людей своей родины и один из первых восстановителей индийского образования; Дадабхай—основатель индусского национализма (по свидетельству Ганди) [1]; оба они являются учителями мудрости и кротости. Наблюдая за юношеским пылом Ганди, Дадабхай дал ему в 1892 г. первый практический урок «Ahimsa» в общественной жизни: героическая пассивность, если можно совместить эти два слова, страстный душевный порыв, который противится злу не злом, а любовью. Мы вернемся к этому магическому слову, которое является высоким вестником, посланным Индией миру.

С 1893 года начинается индусская политическая деятельность Ганди. Она делится на два периода. С 1893 по 1914, когда полем деятельности была южная Африка, и с 1914, когда он работает в Индии.

То обстоятельство, что двадцатилетняя деятельность Ганди в южной Африке не нашла должного отклика в Европе, доказывает невероятную узость горизонта наших политических деятелей, историков, философов и даже людей религии; ибо это была целая эпопея души, не имеющей равной в наши времена не только по силе и постоянству жертвы, но и по окончательной победе.

В 1890—1891 г.г. в южной Африке, главным образом в Натале, находилось до 150.000 индусов. Наплыв чужеземцев вызвал в белом населении ненависть к иностранцам, которая в правительстве проявилась в виде принятия мер остракизма. Оно запретило иммиграцию индусов и хотело изгнать тех, которые уже поселились в стране. Систематическими гонениями оно создало им нестерпимую жизнь: обременительные налоги, унизительные полицейские обязательства, публичные оскорбления и вскоре грабежи и разорение, суд Линча под эгидой белой цивилизации. В 1893 г. африканские индусы обратились к Ганди за помощью, и он поспешил.

Тогда открывается эпическая борьба совести с мощью государства и черни. Будучи в то время адвокатом, он доказывает с юридической точки зрения незаконность акта изгнания выходцев из Азии и одерживает верх, несмотря на самую ядовитую оппозицию. Далее он хочет обеспечить своим соотечественникам достойный режим в Африке; чтобы легче их было защищать, он становится похожим на них; в Иоганнисбурге у него была бо-

---

[1]) Эти предтечи, чья политическая смелость была превзойдена в дальнейшем, явились жертвами неблагодарности и забвения новых поколений. Но Ганди остался им верен, и несколько раз он стремился внушить уважение молодой Индии к их именам (См. Hind Swaraj письма к париям 23 марта 1921 г. и Profession de foi 13 июля 1921 г.).

гатая клиентура; он ее бросает, как Франциск, чтобы сочетаться с бедностью. Он ведет общую жизнь с гонимыми, несчастными индусами; он разделяет их испытания и освящает их, ибо он их учит закону непротивления. Он основывает около Дурбана земледельческую колонию по плану Толстого, которому он поклонялся [1]). Он собирает там индусов, наделяет их землей и заставляет их дать торжественный обет бедности. На себя он берет самые рабские обязанности. Итак, в течение нескольких лет молчаливый народ противится правительству. Он уходит из города, где поэтому совершенно замерла промышленная жизнь. Это была забастовка, носящая религиозный характер, о которую разбивается всякое насилие, как в Римской империи оно разбивалось об упорство первых христиан. Но немногие из этих христиан могли бы довести доктрину прощения и любви до такой степени, чтобы прийти на помощь своим гонителям, когда им грозила опасность, что сделал Ганди.

Каждый раз, когда южно-африканскому государству приходилось бороться с опасностями, Ганди прерывал неучастие индусов в общественной работе и сейчас же предлагал свою помощь. В 1899 г., во время войны с бурами, он организовал индусский Красный Крест, о котором дважды упоминалось в приказе с похвалой его храбрости, проявленной под огнем. В 1904 году вспыхнула в Иоганнисбурге чума. Ганди организует госпиталь. В 1906 году в Натале восстали туземцы. Ганди принимает участие в войне и стоит во главе санитаров, за что правитель Наталя принес ему публично благодарность.

Но эти рыцарские слуги не обезоружили ксенофобской ярости.

Заключенный несколько раз в тюрьму (даже вскоре после благодарности за Натальскую войну), осужденный к отсидке, посаженный в клетку, прикованный руками и ногами к брусьям, оскорбляемый, избиваемый яростной толпой, иногда до полусмерти, Ганди узнал все муки, все унижения. Но ничто не подорвало его веры. От испытаний она только увеличилась. В 1908 году в ответ на течение, проповедующее насилие, в южной Африке он написал свою знаменитую книжку: Hind Swaraj (Индусский Гомруль), Евангелие героической любви [2]).

Тяжелая борьба продолжалась в течение двадцати лет. Осенью 1913 г. Ганди снова организовал непротивление на протяжении от Наталя до Трансвааля и был снова арестован вместе с тысячами индусов. За отсутствием достаточно больших тюрем, они были заключены в рудники. Но на этот раз

[1]) Наш друг Павел Бирюков прислал нам длинное неизданное письмо Толстого к Ганди, писанное в сентябре 1910 г. „незадолго до смерти“. Толстой читал южно-африканский журнал Ганди „Indian opinion“ и радовался, когда узнал об индусском непротивлении. Он одобрял это движение и говорил, что „непротивление является законом любви, т.е. стремлением к соединению человеческих душ“. Этот закон провозглашен Христом и мудрецами всего мира.

Бирюков писал мне недавно, что он нашел в Архиве Толстого в Москве другие письма Толстого к Ганди. Он их опубликует в ближайшем будущем вместе с другими документами под общим заглавием „Толстой и Восток“.

[2]) К этому я вернусь впоследствии.

возмутилась вся Индия. Даже вице-король, уступая общественному мнению, протестовал против южно-африканского правительства.

Неукротимое упорство и обаяние «великой души» сделали свое дело: сила склонилась перед героической кротостью. Самый ожесточенный противник индусского дела, генерал Смутс, который в 1909 г. об'явил, что никогда не вычеркнет из книги постановлений оскорбительного для индусов пункта, спустя пять лет был счастлив, что мог его уничтожить [1]). Лорд Гардинг поддержал индусское дело, и императорская комиссия удовлетворила Ганди почти по всем пунктам. В 1914 г. был отменен трехфунтовый налог, и дана свобода жительства в Натале всем индусам, которые пожелали там остаться в качестве свободных рабочих. После двадцати лет жертв непротивление победило.

* * *

Ганди вернулся в Индию с престижем вождя.

Движение в пользу национальной независимости определилось там еще в начале века. Лет тридцать тому назад несколькими интеллигентными англичанами был организован национальный Индийский Конгресс: А. О. Юм, сэр Вильям Виддерборн, либералы, одержавшие победу, долгое время поддерживали в нем дух лояльности, стараясь примирить интересы Индии с английской властью. Победа Японии над Россией пробудила азиатскую национальную гордость, а провокации лорда Керзона оскорбили индусских патриотов.

В Конгрессе образовалась крайняя партия, агрессивный национализм которой нашел отклик в стране. Однако старая конституционная партия оставалась до начала мировой войны под влиянием Ж. К. Гохаля, искреннего, но преданного патриота Англии; национальное чувство, охватившее членов Представительного Собрания Индии, привело к требованию Гомруля (Swaraj), но о нем не у всех было одинаковое представление; одни хотели сотрудничества с англичанами, другим хотелось изгнать европейцев из Индии; одни ставили образцом Канаду и южную Африку, другие—Японию; Ганди принес свое решение, имеющее более религиозный, чем политический характер и по существу более радикальное, чем все остальные (Hind Swaraj). Но чтобы приспособиться к практической действительности, ему не хватало точного знакомства со средой, ибо если его долгая деятельность в южной Африке дала ему удивительное знакомство с индусской душой и неотразимым оружием «Ahimsa», то не надо забывать, что в течение двадцати трех лет он был вдали от своей родины. Он отошел в сторону и стал наблюдать.

Ганди был еще далек от мысли поднять восстание против империи, когда вспыхнула война, и в 1914 г. он отправился в Англию, чтобы там образовать отряд санитаров.

«Он искренно думал (писал он в 1921 г.), что он гражданин империи». Он много раз напоминал об этом в письмах 1920 г. «всем англичанам Ин-

---

[1]) Ганди вспоминает этот факт в своей статье от 12 мая 1920 г.

дии»: «дорогие друзья, ни один англичанин не работал более деятельно на пользу империи, чем я в течение двадцатидевятилетней общественной деятельности. Я четыре раза рисковал жизнью за Англию... До 1919 года я ратовал с искренним убеждением за сотрудничество».

Он не был один. В 1914 г. вся Индия поддалась лицемерному идеализму «войны за право». Прибегая к помощи Индии, английское правительство прельщало ее большими надеждами.

Столь желанный Гомруль был представлен, как одна из ставок войны. В августе 1917 г. умный государственный секретарь Индии Е. С. Монтегю обещал ей ответственное правительство; в июле 1918 г. состоялось совещание представителей Индии, и вице-король лорд Чельмсфорд вместе с Монтегю подписал официальный доклад о конституционной реформе. Союзные армии находились в большой опасности в первые месяцы 1918 г., 2 апреля Ллойд-Джордж обратился с воззванием к индусскому народу, и на военной конференции, созванной в Дели в конце этого же месяца, был сделан намек, что Индия скоро станет независимой. В ответ Индия поднялась, и Ганди еще раз оказал Англии верную помощь. Индия поставила 985.000 человек; она принесла огромные жертвы и доверчиво ждала награду за свою верность.

Пробуждение было ужасно. К концу года опасность миновала; миновало также воспоминание об оказанной услуге. Заключив перемирие, правительство не считало нужным более притворяться. Не только не были дарованы обещанные свободы, но были отняты уже существовавшие в Индии. Билль Ровлата, представленный в Государственном Законодательном Совете в Дели в феврале 1919 г., свидетельствовал об оскорбительном недоверии к стране, которая дала столько доказательств лояльности. Этот билль продолжил постановления органа обороны Индии, изданные во время войны, восстановил тайную полицию, цензуру, всю тиранию настоящего осадного положения.

В обманутой Индии вспыхнуло негодование. Началось возмущение. Ганди его организовал.

В течение последних лет он окопался в социальных реформах, занявшись, главным образом, улучшением условий рабочих-земледельцев. И прежде чем могли принять меры, он сделал успешный опыт с грозным оружием, которое он вскоре применил в национальной борьбе: «страстное непротивление», свойственное ему, которое мы будем далее рассматривать под данным Ганди названием «Satyagraha».

Но Ганди оставался до 1919 г. на втором плане и был немного в стороне от национального индусского движения, передовые элементы которого, об'единенные в 1916 г. миссис Анни Безант (вскоре оставшейся позади), признали своей главой великого индуса Локаманья Баль Гангадар Тилак. Человек с огромной энергией, соединявший величие ума, воли и характера, с более обширной мыслью, чем Ганди, более глубоко усвоивший старую азиатскую культуру, ученый математик, очень образованный, принесший все требования своего гения в жертву делу родины и лишенный, как и Ганди, често-

любия, он ждал только победы своего дела, чтобы снова вернуться к своей научной работе. Пока он жил, он бесспорно был главой Индии. Что бы произошло, если бы преждевременная смерть не унесла его в августе 1920 г. Ганди, преклонявшийся перед превосходством его гения, глубоко отличался от него в политических методах, и бесспорно, если бы Тилак остался жив, Ганди сохранил бы только религиозное руководство движением. Как был бы велик народный порыв под этим двойным руководством! Ничто бы не устояло перед ним, ибо Тилак обладал способностью управлять действием так, как Ганди внутренним миром. Судьба решила иначе. Это было несчастье как для Индии, так и для Ганди. Так как быть главой меньшинства, отборной части индусского общества больше подходило бы к натуре Ганди и отвечало бы его тайным желаниям. Он охотно предоставил Тилаку руководить большинством. Он никогда не верил в большинство: наоборот, Тилак, математик в действии, верил в число. Тилак был прирожденным демократом. Он был решительным политиком, не обращавшим внимания на требования религии. Он говорил, что политика не для святых мужей (Sadhis). Этот ученый, по его же словам, готов был принести даже истину в жертву свободе своей страны. И будучи неподкупным, с незапятнанной жизнью, не задумываясь уверял, что в политике все справедливо.

Можно подумать, что между подобными людьми и московскими властителями имеется идейное родство, но эта близость немыслима для Ганди. Споры между Тилаком и Ганди подчеркнули, с одной стороны, их взаимное уважение, с другой—разницу в их способах действий, т.-е. разницу в императивах, которые диктовала им их жизнь, обоим, людям исключительно искренним, у которых образ действий вытекал из образа мыслей.

В противоположность Тилаку, Ганди об'явил, что в случае необходимости выбора—он принесет свободу в жертву истине и, как бы велика ни была его религиозная любовь к родине, он свою веру ставит выше родины:

«Я соединен с Индией и я ей всем обязан. Я верю, что у нее есть своя миссия. Если она ее не исполнит, это будет для меня часом испытаний, но я надеюсь, что я не сойду со своего пути. Моя вера не имеет географических границ. Если моя вера жива, она превзойдет даже мою любовь к Индии» [1]).

Великие слова, придающие человеческий смысл борьбе, которую мы сейчас опишем: ибо они делают апостола Индии апостолом мира, нашим всеобщим гражданином [2]). Та борьба, которую начал четыре года тому назад Махатма, нужна нам всем.

* * *

Следует заметить, что с того момента, как он стал во главе революционного движения, направленного против Акта Роулата, он стремился от

[1]) 11 августа 1920 г. Ганди восстает против „доктрины меча".

[2]) „Человечество одно. Есть различные расы. Но чем выше раса, тем больше у нее обязанностей" (Ethical Religion).

вратить движение от насилий [1]). Во всяком случае, раз революция начата, надо ею руководить.

Чтобы лучше понять последующие события, необходимо вспомнить, что мировоззрение Ганди имеет глубокий религиозный фундамент; на этом невидимом основании он построил общественные действия, применяясь к современным возможностям и желаниям страны. Ганди религиозен по натуре. Политиком он стал по необходимости. По мере того, как ход событий и исчезновение других вождей нации заставили его взять на себя обязанность управлять кораблем во время бури, определяется практический характер его политических действий. Но главным центром его внутреннего мира остается все-таки всегда религиозный фундамент. Он обширен, глубок и рассчитан на постройку лучшего храма, чем на-спех построенного. Он один прочен; все остальное временно и предназначено к переходной эпохе.

Необходимо познакомиться с этим подземным храмом, где обретается главным образом мысль Ганди. Туда он удаляется всегда, чтобы набраться сил для работы наверху.

Ганди с жаром верил в религию своей страны, индуизм. Но не как ученый, привязанный к тексту, и не как ханжа, который слепо поклоняется традициям. Его религия находилась под двойным контролем: совести и разума.

«Я не делаю фетишем религию и не прощаю во имя ее зла [2]). Я не желаю никого увлекать за собой, если этого ему не подскажет разум. Я готов отвергнуть божество самых древних «Шастра», если они неприемлемы для моего разума» [3]).

С другой стороны, что очень существенно, он не признает за индуизмом исключительности:

«Я не признаю за Ведой исключительной божественности. Я верю, что Библия, Коран и Зенд-Авеста одинаково божественны. Индуизм не миссионерская религия. Он дает возможность поклоняться всем пророкам мира... Он позволяет поклоняться богу, согласно с собственной верой или дхармой; таким образом, он живет в мире со всеми религиями» [4]).

Он не мог не видеть всех ошибок и недостатков, которые в течение века были в индуизме, и он их порицал. Но...

«... Свое чувство к индуизму я могу сравнить с чувством к моей собственной жене. Ни одна женщина в мире не может так волновать, как она. Не потому, чтобы у нее не было недостатков. Я осмелюсь сказать, что у нее

[1]) 5 ноября 1919 г.

[2]) 27 октября 1920 г.

[3]) Июль 1920. Моя вера не требует, чтобы все стороны свящ. писания считал божественно вдохновленными. Я не могу быть связанным никакими толкованиями, как бы они научны ни были, если они не отвечают разуму и моральному чувству (6 октября 1921).

[4]) Там же. „Все религии представляют собой различные дороги, ведущие к одной цели" (Hind Swaraj). „Все религии основаны на одинаковых моральных законах. Моя этическая религия основана на законах, связывающих людей всего мира" (Ethical Religion).

их, быть может, больше, чем я их вижу; но тут замешано чувство нераст жимой связи. Точно такое же чувство у меня к индуизму, не взирая на недостатки и ограниченность. Ничто меня так не восторгает, как музы стиха Гиты или Рамайяны—две книги индуизма, с которыми я только з ком... Я знаю пороки, которые омрачают великие индусские святилища; все же я их люблю, несмотря ни на что... Реформатор до конца, я все не отвергну ни одного из главных верований индуизма» [1]).

Что представляют из себя существенные истины, к которым он при единяется? Он их специально перечисляет в статье от 6 октября, кото является его общественным credo:

«1. Я верю в Веды, в Упанишады, в Пураны и в то, что называется и дусским писанием, и следовательно, я верю в Аватаров и в возрождение;

2. Я верю в Варнашрама Дхарма [2]) (Дисциплину каст), но в строго дическом, а не в современном грубом и народном смысле;

3. Я верю в покровительство коровы, но в гораздо более широк смысле, чем народное понимание;

4. Я не отрицаю поклонения идолам».

Всякий европеец, который, читая это credo, остановится на этих стр ках, решит, что мировоззрение, выраженное в нем, настолько отличает от нашего, так тесно втиснуто в рамки религиозных и общественных д ктрин, так чуждо нам по времени и пространству, настолько чуждо наше пониманию, что напрасно продолжать чтение. Но пусть он все-таки пр должает. Он найдет несколькими строками ниже то, что ему будет бол близко.

«Я верю в индусский афоризм, говорящий, что тот, кто не достиг с вершенства невинности (Ahimsa), в истине (Satya), во владении собо (Brahmacharya) и кто не отказался от желания обладать богатством, т никогда не узнает «Шастры».

Здесь слова индуса напоминают слова Евангелия. Ганди сознавал э сходство. Один английский миссионер спросил у Ганди, какие книги ок зали на него самое большое влияние. Он сперва ответил: «Новый Завет» [3] Его «Ethical Religion» заканчивается словами Христа [4]). Не надо забыват что этот верующий азиат находился также под влиянием Толстого [5]), чт

---

[1]) 6 октября 1921 г.

[2]) Этимологически: Varna—цвет, класс или каста, Ashrama—место дисциплины Dharma—религия. Общество представлено, как дисциплина классов. Это основани индуизма.

[3]) 25 февраля 1920. Ганди прибавляет во второй строке: Рескин и Толстой.

[4]) „Прежде всего ищите царствия небесного, остальное приложится к вам".

[5]) Брошюра «Hind Swaraj» в конце содержит составленный Ганди список сочи нений Толстого, которые он советует читать (именно „Царство Божие внутри нас", „Чт такое искусство", „Что делать"). На вопрос, который ему задали: „В каких отношения вы были с графом Толстым...", Ганди ответил в „Joung India", 25 октября 1921 г.: „Ка набожный почитатель, который ему многим обязан в жизни". В журнале Ганди „Joun India" от 10 ноября 1920 г. напечатано письмо Толстого к либералам о методах борьб с правительством.

он перевел Рескина и Платона [1]), что он находит опору в Торо, увлекается Мазини, читает Эдварда Карпентера, и что его ум пропитан лучшими мыслями европейских и американских ученых.

Стало быть нет оснований для европейца, который только пожелает хотя бы немного с ним познакомиться, считать себя чуждым его мировоззрению. Тогда он узнает глубокий смысл пунктов credo Ганди, во время чтения которого он так поражается. Но два пункта в особенности ставят непреодолимую преграду между религиозным духом Индии и Европы: культ коровы и система каст [2]). Но вот что они обозначают с точки зрения Ганди:

Ясно, что для него эти пункты не являются второстепенными в целом доктрины. Культ коровы очень характерен для индуизма. Ганди видит даже в нем высшее подтверждение человеческой эволюции. Почему? Потому, что этот культ является символом всего мира, стоящего ниже человека, с которым человек заключает союзный договор. Он обозначает единение человека с животным и, по прекрасному выражению Ганди, «он переносит человеческое существо за границу его вида и осуществляет идентичность человека с тем, что живет». Если из всех животных для культа выбрана корова, то это потому, что она в Индии считается лучшим товарищем, источником изобилия; и Ганди видит «в этом кротком животном поэму сострадания». Но в культе, который он ей воздает, нет ничего идолопоклоннического, и никто так строго, как он, не осуждает фетишизм индусского народа, в котором нет доброты и который, ограничиваясь словами, на практике не проявляет сострадания к «немым творениям божиим». Стоит только понять его (и кто бы мог лучше понять, чем Ассизский «poverello»?), чтобы не удивляться той важности, которую придает Ганди этому культу. Он ничуть не заблуждается, когда говорит, что культ коровы в том смысле, в каком он его понимает, является «даром индуизма миру», ибо к евангельскому изречению «Люби ближнего, как самого себя», он прибавляет: «Все живущее есть твой ближний» [3]).

Система каст еще менее приемлема для европейского понимания, по крайней мере для Европы современной: ибо Бог знает, что нам готовит в будущем эволюция, которая демократична только по имени. Я не льщу себя надеждой, что, приведя об'яснения Ганди, я достигну того, что эта система будет понята. Да я и не хочу этого. Но мои пояснения ясно укажут, что это верование создалось не на почве гордости и социального главенства, но на чувстве долга, связанного с мыслью о том, что ему предназначено.

---

[1]) Книга „Защита и смерть Сократа", переведенная Ганди, была в числе запрещенных правительством Индии.

[2]) На поклонении идолам не стоит останавливаться. „Я не питаю к ним особенного уважения,—пишет Ганди,—но это составляет часть человеческой натуры". Он смотрит на это, как на необходимость убогого человеческого разума, который часто должен материализировать свою веру, чтобы лучше ей поклоняться.

Не то же ли мы видим в наших католических церквах?

[3]) Относительно культа коровы см. в „Joung India" статьи от 16 марта, 8 июня, 29 июня, 4 августа 1920 г., 18 мая, 6 октября 1921 г. (относительно каст—8 декабря 1920 г., 6 октября 1921 г).

«Я пришел к убеждению,—говорит Ганди,—что закон наследственности вечен и всякая попытка его изменить приведет к полнейшей путанице... Варнашрама присуща человеческой натуре, а индуизм просто выразил его научно...»

Но он делит классы только на четыре касты. Брамины (класс интеллектуальный и образованный), кшатрии (военный и правительственный), вайшии (коммерческий) и шудры (рабочие и прислута). Он не допускает никаких разделений на ранги высшие и низшие. Деление должно отвечать определенным способностям и—ничего больше. Одни обязанности. Никаких привилегий [1]).

«Когда человек ставит себя в высший ранг или другого ставит в низший, это является противным духу индуизма. Все рождены для того, чтобы служить Божьему созданию. Брамины, своим знанием, кшатрии своей силой, вайшии своей коммерческой ловкостью, шудры физическим трудом. Это не значит, что брамин должен быть освобожден от физического труда,—просто он больше подходит для научной работы, или что шудра не может достигнуть знаний, а только то, что он лучше может служить своей физикой и что он не должен желать других функций. Тот брамин, который будет претендовать на главенство, благодаря своим знаниям, должен быть лишен своего ранга и признан не имеющим истинных знаний... Варнашрама является основанием для сбережения социальной энергии (ее правильным распределением) и здоровым принуждением воли над личностью...»

Таким образом деление на касты основывается на отречении, а не на привилегиях.

Не забудем к тому же, что, при веровании в перевоплощение душ, природа путем последовательных существований, восстанавливает равновесие, делая из брамина шудру и обратно.

Вопрос о париях не имеет ничего общего с вопросом о четырех различных, но равных кастах. Мы увидим, с какой горячей страстью борется Ганди против этой социальной несправедливости; это—самая трогательная сторона его миссии. По его мнению, парии являются позором для индуизма, гнусным извращением истинной доктрины, пятном, и он нестерпимым образом страдает от этого:

«Я бы хотел лучше быть растерзанным в клочки,—пишет он,—чем не признавать моих братьев из гонимых классов... Я бы не желал снова родиться, но если это будет, я бы хотел родиться среди тех, к кому нельзя прикасаться, чтобы разделить их обиды и работать для их освобождения» [2]).

Он усыновил одну маленькую парию и говорит с нежностью об этом прелестном маленьком чертенке семи лет, который принес в его дом и горе, и радость.

---

[1]) Упанишады протестовали, когда с течением времени первобытные классы вылились в гордые касты

[2]) 27 апреля 1921 г.

Я сказал достаточно, чтобы показать, что credo индусского вождя скрывает великое евангельское сердце. Он—Толстой более нежный, более умиротворенный, если можно сказать, более «христианин» в широком смысле, ибо Толстой был им скорее по собственному желанию, чем по природе.

Где больше всего сказалось сходство между этими двумя людьми или, вернее, где реальнее всего сказалось влияние Толстого—это в осуждении, высказанном Ганди по отношению к европейской культуре.

Со времени Руссо осуждение цивилизации совершалось самыми свободными умами Европы, и пробужденная Азия черпала свои обвинения, чтобы составить из них огромный обвинительный акт против своих завоевателей. Ганди не замедлил воспользоваться этим, и его Hind Swaraj дает список этих обвинительных книг, большое число которых написано англичанами. Но книга, на которую нельзя возразить, это та, которую написала сама европейская цивилизация в крови притесняемых, разоренных и заклейменных рас во имя ложных принципов; и в особенности подавляющим было разоблачение этого обмана, этой жадности и зверств, бесстыдно выставленных на показ войной,—так называемой «войной за цивилизацию»; Европа была настолько несознательной, что пригласила народы Азии и Африки посмотреть на ее напоклоняется Мамоне» [2]).

«Последняя война показала сатанинскую [1]) натуру цивилизации, которая в настоящее время господствует в Европе. Все законы общественной нравственности были разбиты победителями во имя добродетели. Не было лжи, которую бы не использовали, как бы гнусна она ни была. Всеми преступлениями руководил материальный интерес. Европа не христианская. Она поклоняется Мамоне» [2]).

В течение последних пяти лет подобные мысли раз двадцать высказывались в Индии и Японии. Даже у тех, кто был слишком благоразумен, чтобы выражать их громко, это убеждение твердо вкоренилось в мозгу. Это является не последним гибельным результатом Пирровой победы 1918 г.

Но Ганди не нужно было ждать 1914, чтобы увидеть истинный облик цивилизации. Она являлась ему без маски в течение двадцати лет в южной Африке. В своем «Hind Swaraj» он указывал на «современную цивилизацию», как на «великий порок».

«Цивилизация,—говорил Ганди,—является цивилизацией только по имени. Она. по выражению индуизма, является «черным веком», «веком мрака». Единственной целью жизни она ставит материальное благо, душевным же благом она не интересуется. Она сводит с ума европейцев и порабощает их деньгами; она делает их неспособными поддерживать мир и даже внутреннюю жизнь. Она—ад для слабых и для рабочих классов. Она подрывает жизненность рас. Эта сатанинская цивилизация разрушит сама себя. Истинный враг Индии—это она, больше чем англичане, которые индивидуально не злы, но

---

[1]) Этот термин часто выходит из под пера Ганди: „запрещение прикасаться" (верование, имеющее отношение к париям) есть изобретение сатаны.

[2]) 8 сентября 1920 г.

больны своей цивилизацией. Ганди также боролся с теми согражданами, которые хотели изгнать англичан, чтобы сделать из Индии «цивилизованное» государство на европейский образец. Это было бы,—говорил он,—«природой тигра, без тигра». Нет, единственное верное средство—это изгнать западную цивилизацию».

Есть три класса людей, против которых Ганди восстает с особенной резкостью. Судьи, врачи и профессора.

Нелюбовь к последним об'яснима, так как они отучили индусский народ от собственного языка и собственной мысли; они лишали детей национального чувства. Кроме того, они интересовались только умственными способностями, не обращали внимания на душу и характер. Наконец, они обесценили ручной труд. Было истинным преступлением давать исключительно литературное образование людям, 80% которых земледельцы и 10% промышленники.

Профессия судьи безнравственна. Суды в Индии являются орудием британской власти. Они разжигают смуту среди индусов и, главным образом, распространяют и увеличивают во всех странах распри и ссоры. Суд—выгодная эксплоатация дурных инстинктов. Что касается врачей, Ганди признается, что его сперва привлекала их профессия; но вскоре он убедился, что их профессия—недостойная профессия. Западная медицина стремится только вылечить тело от болезней и никогда не интересуется причиной болезни, которая в большинстве случаев является пороком; можно даже сказать, что она культивирует эти пороки, предлагая порочные средства, которыми они могут пользоваться с наименьшим риском. Таким образом, она способствует деморализации народа; она его расслабляет своими рецептами «черной магии» [1]), которые лишают его героического воспитания духа и тела. Ложной медицине, которую Ганди часто сверх меры порицает, он противопоставляет истинную предупредительную медицину, которой он посвятил один из своих популярных трактатов: «A Guide to Health» (Пути к здоровью), плод двадцатилетнего опыта. Это столь же моральный, сколько терапевтический трактат, ибо «болезнь есть результат не только наших поступков, но и наших мыслей», и его правила предупредить болезнь весьма просты: «все болезни одного происхождения: люди не следуют естественным законам здоровья. Тело служит местопребыванием Бога, поэтому его надо сохранять чистым». Впрочем, в этих предписаниях Ганди (хотя он упрямо отрицает испытанные средства) есть много здравого смысла, но и много крайнего нравственного ригоризма [2]).

Но душой современной цивилизации (железный век, железное сердце) является машина. Это—чудовищный идол. Его надо отбросить. Горячим желанием Ганди было бы вырвать современную технику из Индии. Свободной

---

[1]) Не надо забывать, что одной из главных причин недовольства Ганди европейской медициной является то, что она прибегла к вивисекции—„самое темное преступление человека“.

[2]) В частности в том, что касается половых сношений. Его строгая доктрина напоминает учение святого Павла.

Индии, но наследнице английской техники, он предпочитает Индию, порабощенную английским рынком.

«Лучше покупать ткани Манчестера, чем создать в Индии фабрики Манчестера. Индусский Рокфеллер не будет лучше другого. Техника—большой грех, она порабощает народ... Деньги—такой же яд, как разврат...»

Но, спросят индусы, побежденные современными идеями, что станет с Индией без железных дорог, трамваев, крупной промышленности?

— Но существовала ли она раньше?—ответит Ганди.—В течение тысячи лет Индия оставалась непоколебимой среди проходивших волн различных империй. Все они исчезли. В течение тысячи лет она научилась владеть собой и создала науку счастья. Она не хотела техники и больших городов. Старинные плуг, машины, старое индусское воспитание обеспечили ее мудрость и благосостояние. Нам нужно вернуться к простой старине не сразу, конечно, но постепенно, терпеливо, каждый подавая пример... [1]). Это его основная идея, что очень важно. Она предполагает отрицание прогресса и даже европейской науки [2]). Подобная средневековая вера может легко столкнуться с вулканическим проявлением разума и быть разбитой на куски, но прежде всего, быть может, правильнее было бы говорить не вообще о человеческом разуме, но об известном направлении человеческого ума, ибо если верить (а я верю)—в единую симфонию мирового разума, то симфония эта состоит из различных голосов, из которых каждый знает свою партию; и наш молодой Запад, увлеченный своим ритмом, не думает о том, что не всегда он играл первую партию в симфонии, что его прогресс подвержен затмениям, обратным вновь возобновляемым движениям, что история человеческой цивилизации есть точнее история цивилизаций, и если в каждой цивилизации наблюдают прогресс (изменчивый, хаотический, разбитый, часто остановленный), то все же нельзя быть уверенным, что прогресс одной цивилизации перейдет в другую.

Но, не оспаривая здесь европейский догмат прогресса и просто считаясь с тем, что современное движение идет против желаний Ганди, все-таки не надо думать, что это разобьет веру Ганди. Думать так, значит плохо знать восточную психологию. Гобино сказал: «Азиаты во всем много упорнее нас. Они ждут веками, когда это нужно. И их идея, несмотря на долгий сон, никогда не стареет и не теряет своей силы. Столетиями не запугаешь индуса. Ганди ждет успеха год. Но он его будет ждать и несколько столетий. Он не форсирует время. И если время замедлит, он замедлит вместе с ним, а если он найдет во время своей работы, что Индия недостаточно подготовлена, чтобы понять и воспользоваться радикальными реформами, которые он хочет ей

[1]) Hind Swaraj, passim.

[2]) Ганди старается доказать помимо европейской науки необходимость научных изысканий и их строгой дисциплины. Он преклоняется перед усердием и жертвами европейских ученых, которых он часто считает выше индусских подвижников. Он уважает разум; он оспаривает только избранный им путь. Но—вопреки всему этому—антагонизм слишком очевиден. Тагор, как мы увидим далее, справедливо протестует против средневековья Ганди.

предложить, он сумеет применить свое действие к возможностям. И мы поэтому не удивимся, что этот непримиримый враг техники говорил в 1921 г.

«Я не буду оплакивать исчезновение машин, но у меня нет (в настоящее время) никакого замысла против них» [1]).

Или:

«Закон совершенной любви (без исключений и ограничений) — закон моей силы. Но я не буду проводить в жизнь этот конечный закон политическими мерами, которые я предлагаю... Действовать так, значит заранее обречь себя на неудачу. Ждать, когда масса будет внимать этому закону, неблагоразумно... [2]). Я не мечтатель, а практический идеалист» [3]).

Определение вполне точно; он всегда просит у людей только то, что они могут дать. Но он у них просит все, что они могут дать. И это все—много, когда дело идет о таком народе, как индусы.

Народ грозный по своей численности [4]), по своему долгому существованию и глубине души. Между этим народом и Ганди при первом же контакте установилась связь; они понимают друг друга без слов. Ганди знает, что можно ждать от народа, и народ ждет, что от него потребует Ганди.

Между ними обоими установилось вначале следующее формальное соглашение: «Swaraj» [5]) (Гомруль Индии).

«Я знаю,—пишет Ганди,—что цель нации есть Swaraj, а не несопротивление».

И он готов даже произнести следующие слова, удивительные в его устах:

«Я предпочитаю видеть Индию свободной путем насилия, чем рабой, прикованной насилием завоевателей».

Но, тотчас он поправляется,—думать так, значит желать невозможного, ибо насилие не может освободить Индию. Swaraj не может быть достигнут без духовной силы, которая является собственным оружием Индии, оружием любви, силой истины—Satyagraha [6]). Гений Ганди проявил себя, когда он открывая ему его истинную натуру и скрытую мощь, проповедывал их своему народу.

Термин Satyagraha был придуман Ганди в южной Африке, чтобы отличить свое действие от пассивного сопротивления. Надо особенно настаивать на этом различии, так как именно термином пассивное сопротивление (или «непротивление») европейцы определили движение Ганди. Это заблуждение.

---

[1]) 19 января 1921 г

[2]) 9 марта 1921 г.

[3]) 11 августа 1920.

[4]) Пятый по народонаселению на земном шаре.

[5]) Этимологически: Swa—сам, Rai—управление, автономия. Это слово так же старо, как Веды. Оно было извлечено и введено в политический словарь Дадабхаем, первым учителем Ганди.

[6]) Этимологически: Satya—справедливый, правый, Agraha—попытка, это слово применялось специально к неприятию несправедливости; Ганди определил его (5 ноября 1919 г.) так: „Стоять за истину, сила истины, сила любви, или сила души"; и, наконец, „триумф истины силой любви и души".

Никто в мире не питал такого отвращения к «пассивности», как этот неутомимый борец, который является самым героическим типом «сопротивляющегося». Душой его движения является «активное сопротивление» пылкой энергией любви, веры и жертвы. Эта тройная энергия выражена в слове Satyagraha.

Пусть трусы не вздумают спрятаться за спину Ганди. Ганди прогонит их из своей общины. Лучше насильник, чем трус...

Там, где нужно выбирать между трусостью и насилием, я предпочту последнее... [1]). Я вырабатываю спокойное мужество умереть, не убивая. Но, у кого нет этого мужества, я хочу, чтобы он лучше выработал в себе искусство убивать и быть убитым, чем позорно бежать от опасности. Ибо тот, кто бежит, мысленно совершает насилие, он бежит, потому что у него нет мужества быть убитым, убивая... [2]). Я тысячу раз рискну применить насилие, чем лишить мужества всю расу [3]). Я предпочту видеть Индию, принужденную прибегнуть к оружию, чтобы защитить свою честь, чем остаться трусливым свидетелем собственного бесчестия... [4]).

Но, прибавляет он, я знаю, что не-насилие бесконечно выше насилия, как прощение более мужественно, чем наказание. Прощение есть украшение солдата. Но воздержание от наказания является прощением только тогда, когда существует возможность наказания. Оно не имеет никакого смысла со стороны бессильного существа.

Я не думаю, что Индия бессильна. Сто тысяч англичан не могут запугать триста миллионов населения... И, кроме того, мощь не в физической силе, она в неукротимой воле... Не-насилие не есть добровольное подчинение злу. Не-насилие противопоставляет всю силу души воле тирана. Один человек может бороться с целой империей и вызвать ее падение...

Но какой ценой? Ценой своего страдания. Страдание «великий закон»...

Отличительный признак человеческого рода... [5]). Необходимое условие существования. Жизнь исходит из смерти. Чтобы семя пустило ростки, надо, чтобы оно погибло. Никто не вырос, не пройдя через огонь страданий... Никто не может избежать этого... Прогресс заключается только в том, чтобы очистить страдание, избегая причинять страдание... Чем чище страдание (личное), тем больше прогресс... [6]). Не-насилие есть сознательное страдание... Я позволил себе представить Индии древний закон самопожертвования, закон страдания. Риши (Rishis), открывшие закон не-насилия

---

[1]) 11 августа 1920.

[2]) 20 октября 1921.

[3]) 4 августа 1920.

[4]) 11 августа 1920 г. Одним из правил школы Satyagraha Ashram, основанной Ганди, является „отсутствие страха", душа, освобожденная от страха перед царями, народами, кастами, семьями, людьми, дикими животными и смертью. Это также является четвертым условием не-насилия в „Hindra" (Три остальных: целомудрие, бедность и истина).

[5]) 9 марта 1920 г.

[6]) 16 июня 1920 г.

среди эпохи худших насилий, были бо́льшими гениями, чем Ньютон, и бо́льшими воинами, чем Веллингтон. Они показали бесполезность оружия, которое им было известно. Религия «не-насилия» не только религия для святых, но и для всякого человека. Она — закон нашего рода, как насилие — закон грубости. Ум спит в грубости. Достоинство человека требует более высокий закон: силу ума... Я хочу, чтобы Индия применила этот закон, чтобы у нее явилось сознание своей власти. У нее душа, которая не может погибнуть. Такая душа может не бояться материальных сил всего мира [1]).

Великая гордость и его гордая любовь к Индии хочет, чтобы она отказалась от позорного насилия и принесла себя в жертву. Не-насилие — признак ее благородства. Если она от него откажется, она падет. Ганди не может вынести даже мысли об этом:

«Если Индия сделает насилие своей верой, я не останусь больше жить в Индии, она перестанет внушать мне гордость. Мой патриотизм зависит от религии. Я прижимаюсь к Индии, как ребенок к материнской груди, так как я чувствую, что она дает мне духовную пищу, в которой я нуждаюсь; когда этой пищи не будет, я буду чувствовать себя сиротой... Я удалюсь в уединение в Гималаи, чтобы укрыть там свою обливающуюся кровью душу... [2]).

* * *

Но он не сомневается. Он верит в Индию, когда в феврале 1919 г. он решается открыть кампанию Satyagraha, оружие, силу которого он уже испробовал в аграрном движении 1918 года.

В начале никакого признака политического переворота. Ганди все еще лоялен. Он останется таким, пока сохранит луч надежды на лояльность Англии. До января 1920 года он защищает, в чем индусские националисты горько его упрекают [3]), принцип сотрудничества с империей. Он вкладывает туда убеждение в своей правоте. И в первый год оппозиции правительству Индии он мог искренно утверждать лорду Гунтеру, что он видит в адептах Satyagraha лучших конституционных подданных правительства. И нужно было ограниченное упрямство правительства Индии, чтобы моральный вождь Индии порвал контракт лояльности, которым он считал себя связанным.

---

[1]) 11 августа 1920 г.

[2]) 6 апреля 1921 г.

[3]) За несколько месяцев до заключения в тюрьму Ганди отвечал на резкие упреки в „нелогичности" его поведения. С насмешкой вспоминалась та помощь, которую он оказывал часто англичанам южной Африки и во время мировой войны. В этот момент он еще нечего не отрицал из своего прошлого поведения. Он искренно считал,—говорил он,—что он гражданин империи. Не его дело осуждать правительство. Он находил нежелательным, чтобы каждый считал себя судьей правительства. Он верил в английский ум и честность так долго, как мог. Аберрация правительства уничтожила его доверие. Пусть правительство несет за это ответственность (17 ноября 1921 г.).

Таким образом Satyagraha представлялась вначале, как конституционная оппозиция, вежливое требование, пред'явленное правительству. Правительство издало несправедливый закон. Сатьяграи, в обычное время преклоняющиеся перед законом, сознательно не подчиняются позорящему закону; если этого недостаточно, чтобы восстановить справедливость, они оставляют за собой право неподчинения и другим законам до тех пор, пока они не откажутся от сотрудничества с государством. Но как отличается характер этого неповиновения от того, что под этим словом подразумевается на западе! Какой необыкновенный оттенок религиозного героизма.

Так как сатьяграям запрещено действовать на противника насилием,—ибо надо допустить, что противник также будет искренен, и так как то, что кажется для одного истиной, для другого может показаться ошибкой, а насилие никогда ничего не доказывает [1]),—они должны побеждать противника сиянием своей любви, исходящей из их убеждения, своим самоотречением, своими страданиями, свободно и радостно принимаемыми [2]). Это неотразимая пропаганда. Ею Христос и его паства завоевали империю.

Чтобы осветить этот религиозный порыв народа, предлагающий себя в жертву для вечных благ справедливости и свободы, Махатма начал движение, назначив для всей Индии 6 апреля 1919 г. днем молитвы и поста. Это было его первым действием.

И это действие глубоко затронуло сознание его народа. Оно имело неслыханный успех. В первый раз все классы Индии об'единились в одном порыве. Индия нашла себя.

Спокойствие царило почти повсюду. Только в Дели произошли некоторые беспорядки [1]). Ганди отправился туда, чтобы об'яснить народу его обязанности. Но правительство распорядилось арестовать его по дороге и препроводить в Бомбей. Слух об аресте поднял в Пенджабе народные волнения. В Амритсаре произошли убийства и грабежи. Генерал Диер прибыл с войсками в ночь на 11 апреля и занял город. Все было приведено в порядок. 13 был большой индусский праздник. Толпа отправилась на празднование к месту, называемому—Джальянвалла Баг. Толпа вела себя тихо и насчитывала много женщин и детей. Генерал Диер накануне запретил всякие собрания, но никто еще не знал об этом запрещении. Генерал прибыл к Джальянвалла Баг с пулеметами. Никакого предупреждения не было сделано. Спустя тридцать секунд по прибытии войск был открыт огонь по беззащитной толпе; он длился десять минут, пока не иссякли патроны. Место было обне-

---

[1]) Оно делает хуже. Оно унижает того, кто его употребляет. Результатом насилия союзников над Германией, говорит Ганди, явилось то, что они стали подобны немцам, чьи поступки они так в начале войны порицали (9 июня 1920 г.).

[2]) Как бы ни была груба натура, она растает от огня любви. Если она не тает—это потому, что огонь не был достаточно силен (9 марта 1920). Принадлежащие к Satyagraha берут на себя обязательство отказываться от повиновения дурным законам, на, которые им укажет комитет Satyagraha, верно следовать по истинному пути и воздерживаться в жизни от насилия над личностью или собственностью.

[3]) 23 марта 1919 г.

сено высокой стеной, бегство было невозможно. 500—600 индусов было убито, еще большее количество ранено. О раненых и убитых никто не заботился. В стране было об'явлено военное положение. Террор навис над Пенджабом. Аэропланы бросали бомбы в безоружную толпу. Самых уважаемых граждан тащили в военный суд, били кнутами, заставляли ползать на животе и переносить всевозможные постыдные унижения. Точно волна безумия нахлынула на английских владык. Точно закон не-насилия, провозглашенный Индией, привел в бешенство всех европейских насильников. Для Ганди это не было неожиданностью. Он не обещал своему народу вести его к победе по светлому пути. Он обещал ему кровавую дорогу. И день Джальянвалла Баг был днем крещения...

Мы должны быть готовы к тому, что, прежде чем Индия достигнет в мире такого ранга, который не будет превзойден, мы увидим не только тысячу трупов невинных мужчин и женщин, но многие тысячи. Пусть каждый смотрит на виселицу, как на обыкновенное в жизни явление... [1]).

Военной цензуре удалось помешать проникновению за границу слухов об ужасах в Пенджабе [2]). Но когда слух о них разнесся в Индии, по стране пронеслась волна негодования, и даже смутилась Англия. Комиссией под председательством лорда Гунтера было открыто следствие. В свою очередь индусский национальный конгресс сформировал подкомиссию, чтобы открыть контр-следствие. Ясно, что в интересах правительства (все интеллигентные англичане понимали это) было строго наказать виновников убийств в Амритсаре. Ганди даже этого не просил. В силу своей удивительной умеренности, он отказался потребовать наказания генерала Диера и других виновных офицеров, хотя и очень их порицал. Он не хотел мести. Он не был злопамятен... «Не может быть злобы против сумасшедшего. Но нужно отнять у него возможность делать зло...» Он требовал только отставки Диера. Но «quos vult perdere»... Перед окончанием следствия правительство Индии поспешило издать закон о ненаказуемости (Indemnity Act) чиновников, и преступные офицеры не только были оправданы, но даже вознаграждены. Индия все еще находилась под впечатлением этих потрясений, как произошло второе событие, еще более важное, чем первое,—и вопиющее нарушение торжественных обещаний, данных главой английского правительства, разрушило остаток доверия к европейцам и подняло великое возмущение.

Европейская война поставила перед совестью мусульман трудную проблему. В них боролись чувство лояльности к Английской империи и чувство верности главе их религии. Они остались верны англичанам только после того, как последние дали обещание не посягать на верховную власть Султана или Халифа. Мусульмане требовали, чтобы турки оставили европейскую Турцию, и чтобы султан, вместе с контролем над святыми местами

---

[1]) 7 апреля 1920 г.

[2]) Со своей стороны Ганди, 18 апреля 1919 г., прервал движение, чтобы успокоилось волнение, вместо того, чтобы использовать его, как это бы сделал всякий другой революционер.

Ислама, сохранил верховную власть над Аравией в той мере, в какой ему укажут мусульманские ученые, и земли в Месопотамии, Сирии и Палестине. Ллойд-Джордж вместе с вице-королем Индии дали формальные обещания. Но когда кончилась война, от этого обещания ничего не осталось.

Летом 1919 г. среди мусульман Индии, обеспокоенных угрожающим миром, начался ропот. Это было началом агитации в пользу халифата (Khalifat).

Оно началось 17 октября 1919 г. (день халифата—Khalifat Day) внушительной мирной демонстрацией, за которой последовало, месяц спустя, 24 ноября, открытие в Дели конференции халифата всей Индии. Ганди председательствовал. Живым умом он быстро понял, что мусульманский вопрос—лучшее оружие борьбы за индусское единство. Это был важный вопрос. Англичане всегда учитывали естественную вражду между мусульманами и индусами. Ганди даже считал, что в большей части она—дело рук англичан. Во всяком случае, последние ничего не сделали, чтобы уменьшить ее. Адепты обеих религий, как дети, провоцировали друг друга. Индусы не пропускали случая петь, проходя мимо мечети, где по правилам должна соблюдаться тишина. Мусульмане, в свою очередь, дразнили индусов культом коровы. В результате происходили бесконечные ссоры и столкновения, что поддерживало вражду. Между обоим слоями населения не было общения. Браки между ними и общая трапеза были запрещены. Правительство Индии мирно почивало, уверенное в этой вечной розни. Голос Ганди провозгласивший на конференции халифата единение, разом разбудил его. С искренним великодушием, тем более удачным, Ганди об'явил, что для дела мусульманства индусы должны стать одним целым с магометанами.

«Кто бы мы ни были, индусы, парсы, христиане, евреи, если мы хотим жить одной нацией, у нас должны быть одни интересы. Единственно, что может играть роль, это—справедливость дела».

Кровь магометан уже смешалась с кровью индусов на поле резни в Амритсаре. Теперь нужно было бы скрепить союз. Союз без условий. Мусульмане—самый смелый элемент населения Индии. Они первые на конференции халифата решили отказаться от сотрудничества с правительством, если оно не удовлетворит их требований. Ганди их поддерживал. Но в то же время, верный своему принципу умеренности, он отказался от бойкота английских товаров, потому что в этом он усматривал и месть, и знак слабости. Вторая конференция халифата в Амритсаре в конце декабря 1919 г. решила послать депутацию в Европу и пред'явить вице-королю угрожающий ультиматум,» в случае. если условия мира будут противоречить желаниям Индии. Третья конференция в Бомбее в феврале 1920 г. выпустила мусульманский манифест, который порицал английскую политику и предвещал бурю.

Ганди видел ее приближение. Далекий от желания ее призвать, он сделал все, чтобы ее задержать.

Казалось, что в Англии наконец поняли опасность. Запоздавшими уступками старались остановить ее приближение. Акт индусских реформ, основанный на докладах Монтегю Чельмсфорда давал больше прав народу

Индии и возлагал больше ответственности на центральное правительство и провинциальную администрацию. Своим манифестом от 24 декабря 1919 г. король дал согласие на этот акт, призвал индусский народ и чиновников содействовать ему и просил вице-короля дать амнистию политическим заключенным. Всегда чувствительный к великодушию, Ганди был тронут и, видя в этих шагах молчаливое желание Англии быть справедливой к Индии, согласился принять эти реформы; он считал их неполными, но думал, что они могут послужить точкой отправления для дальнейших больших и законных завоеваний, и что к этому должны свобóдно присоединиться. После горячих дебатов на Национальном Конгрессе всей Индии мнение Ганди одержало верх.

Но и эта последняя надежда была разбита, как и все другие. Вице-король не обратил внимания на призыв к его милосердию. Тюрьмы открылись для казней, которые крайне раздражили Индию. Стало очевидным, что все обещанные реформы останутся лишь на бумаге.

В это время (14 мая 1920 г.) Индия узнала условия гибельного для Турции мира. Посóл вице-короля признавал, что эти условия отзовутся больно в сердцах мусульман, но все же призывал их к покорности. Наконец, опубликованное в эти же дни с опозданием, официальное донесение следственной комиссии по поводу убийств в Амритсаре окончательно пробудило сознание страны. Дело было сделано. Связь—нарушена.

Комитет халифата, созванный в Бомбее 28 мая 1920 г., принял предложенный Ганди отказ от сотрудничества. Мусульмано-индусская конференция в Аллахабаде 30 июня 1920 г. единодушно приняла ее: комиссия дала вице-королю месячный срок для ответа на ультиматум.

Ганди сам написал вице-королю. Он сообщил ему о движении в пользу отказа от сотрудничества, об'яснил, почему он к нему прибегнул; причины, на которые он указывает, очень любопытны, ибо даже в эту серьезную минуту он высказывал желание не рвать с Англией и надежду путем законного возмущения привести ее к раскаянию.

«У меня остаются,—говорил он,—два выхода, или отделиться от Англии, или, если я верю еще в то, что английские конституции выше других, то я должен заставить правительство воздать нам справедливость.

Я верю еще в преимущество британских конституций. И вот почему я предлагаю не-подчинение».

Мы видим из этого, какого великого гражданина не сумела сохранить слепая гордость империи.

(Окончание следует).

Дифференциация крестьянства.

Ю. Ларин.

I.

Дифференциация, т.-е. расчленение, крестьянства на классовые группы в дореволюционный период и затем судьбы ее в период военного коммунизма достаточны изучены и известны. Установлено, что уже до войны имущественные различия между крестьянскими хозяйствами далеко превосходили ту величину, какая могла бы быть об'яснена различием в количестве членов семьи отдельных дворов. Имущественная разница между отдельными дворами давно уже достигла того размера, когда количество переходит в качество, и знаменовала расчленение крестьянства на отличные по самому классовому типу группы.

Бедняки, середняки, зажиточные, кулаки,—связанные между собою целой сетью постепенных переходов, они представляли собой уже до войны тем не менее ясно отграниченные слои с различными интересами и различным строением хозяйства. Эти экономические различия внешне затемнялись и скрадывались общей оппозицией против барина, против помещика, против дворянина, но тем не менее существовали и должны были в конце концов сказаться и политически.

Ограничимся только одной иллюстрацией имевшегося уже на-лицо расслоения—данными земской переписи Старобельского уезда, Харьковской губ., одной из последних перед войной (1910 г.) и подробно разработанной А. В. Чаяновым. Возьмем четыре группы: I—сеющие менее трех десятин на двор, II—сеющие свыше трех до семи с половиной десятин, III—сеющие свыше 7½ и до 15 десятин на двор, IV—сеющие более 15 десятин (двором называется хозяйство одной вместе живущей неразделившейся семьи). Получим, что на одно хозяйство каждой группы в среднем приходится:

	I	II	III	IV
Число душ в семье	4,35	6,28	9,37	11,41
Лошадей и волов	0,59	1,89	4,32	7,08
Коров	0,35	0,89	1,24	2,0
Мелкого скота	0,7	4.5	10,2	19,0
Всего скота в переводе на крупный	1,1	3,9	8,1	13,7

	I	II	III	IV
Всего скота в переводе на крупный на 1 десят. посева .	0,9	1,3	1,4	1,2
% хозяйств со сложными машинами	5,9%	12,2%	24,0%	90,6%
Вся цена инвентаря.	23 р. 37к.	69 р. 48 к.	110 р. 76 к.	228 р. 17 к.
Число построек (изба, сарай, амбар, овин, погреб и т. д.)	4,16	6,21	7,62	10,2
Площадь построек (кв. саж.) .	28,9	45,9	58,5	97,1
Цена построек (зол. руб.) . . .	200,6 р.	316,0 р.	504,8 р.	699,0 р.
Предметов потребления (одежда, утварь и пр.) на сумму (зол. руб.)	109,7 р.	243,6 руб.	351,6 р.	656,4 р.
Скота и птицы на сумму (зол. руб.)	57,3 р.	238,3 „	556,9 р.	985,1 р.
Наличных денег и вкладов (зол. руб.)	21,4 р.	23,4 „	22,3 р.	46,6 р.
Всего имущества на сумму (зол. руб.	412,4 р.	920,8 „	1546,4 р.	2615,3 р.
Всего имущества (зол. руб) на 1 душу	94,8 р.	146,6 „	165,0 р.	229,2 р.
Годовой денежный приход от продажи продуктов своего хозяйства	13 руб.	73 „	203 р.	403 р.

Эта иллюстрация дает столь достаточно материала для всевозможных очевидных показательных сопоставлений, что можно здесь на ней не останавливаться, а подчеркнуть лишь один важный для дальнейшего пункт. Именно, ничтожна роль 1-ой группы (низшей) в продаже на рынок. Если середняцкое хозяйство продавало своих продуктов до войны ежегодно на несколько десятков золотых рублей, а зажиточное хозяйство—даже на несколько сот золотых рублей, то хозяйство 1-й группы «торговало» лишь *на три рубля в год на душу,* а потому весьма мало заинтересовано было *в росте цен на хлеб,* ибо оно было хозяйством почти чисто потребительским, а не предпринимательским. А так как таких хозяйств было решительное большинство, то поэтому размеры посевов в России в общем расли даже вопреки наступавшему временами понижению уровня хлебных цен. Ибо они сообразовались не с уровнем цен (так как продукты не продавались), а с потребностью крестьян увеличивать производство вследствие прироста населения и с возможностью расширения его по наличности посевного материала, рабочего скота и т. д. Эти материальные возможности возрастали при хорошем урожае, который одновременно приводил, конечно, к понижению хлебных цен. Так возникал на первый взгляд парадоксальный факт, что крестьянские посевы в общем особенно энергично расширялись как раз в годы низких хлебных цен. Не удивительно, что теперь, в 1923 г., когда преобладание потребительского характера в крестьянском хозяйстве еще более ярко выражено, чем до войны,—факт роста посевов при понижении хлебных цен имел особо крупные размеры.

Для того, чтобы представить себе, насколько крупную часть деревни

охватывает указанная выше 1 группа, мы тут же, забегая вперед, скажем, что в 1922—1923 хозяйственному году к ней относились около 80% всех крестьянских дворов, т.-е. четыре пятых русской деревни. И только одна пятая часть нашего крестьянства (значит, одна шестая часть всего населения государства) заинтересована в повышении цен [1]).

Если взять Великороссию (об Украине ниже), то крестьянские дворы могут быть по основному признаку—посеву—разбиты на пять основных групп:

1. Полупролетарские—вовсе не имеющие посева или имеющие его менее одной десятины на хозяйство. Средний размер семьи около четырех человек. Соответствует первым двум продналоговым разрядам, т.-е. имеющим менее полудесятины пахотно-сенокосной площади на душу [2]).

2. Маломощные—имеющие более одной, но менее двух десятин посева на хозяйство. Средний размер семьи около пяти человек. Соответствует третьему и четвертому продналоговым разрядам, т.-е. имеющим более полудесятины и менее одной десятины пахотно-сенокосной площади на душу.

Первую (полупролетарскую) и вторую (маломощную) группы обычно об'единяют в один слой беднящких хозяйств (почти сплошь не имеющих своего рабочего скота и находящихся в кабальной зависимости от зажиточной верхушки деревни).

3. Середняки—имеющие не менее двух, но не более четырех десятин посева на хозяйство. Средний размер семьи около шести человек. Соответствует пятому и шестому продналоговым разрядам, т.-е. имеющим более одной, но менее двух десятин пахотно-сенокосной площади на душу.

4. Зажиточные—имеющие более четырех, но не свыше восьми десятин посева на хозяйство. Средний размер семьи более шести человек. Соответствует седьмому и восьмому продналоговым разрядам, т.-е. имеющим более двух, но менее трех десятин пахотно-сенокосной площади на душу.

5. Кулаки—имеющие более восьми десятин посева на хозяйство. Средний размер семьи более семи человек. Соответствует девятому продналоговому разряду, т.-е. имеющим более трех десятин пахотно-сенокосной земли на душу.

---

[1]) Первые пять групп по продналогу 1922—1923 года соответствуют 1 группе Старобельск. уезда с посевом до 3 десятин на двор., т.-е. с пахотно-сенокосной площадью до $7^1/_2$ дес. на хозяйство или до $1^1/_2$ дес. на душу при нынешнем числе человек в среднем дворе и нынешнем среднем процентном отношении посева ко всей пахотно-сенокосной площади.—См. ниже подробнее.

[2]) Сопоставление группировки по посеву с группировкой по продналогу (производимой по всей пахотно-сенокосной площади, а не только по посеву,—эта же группировка сохранена без изменений и для сельхозналога —это сопоставление возможно путем выяснения, какую часть всей облагаемой продналогом (т. е. пахотно-сенокосной) площади составляет посев. В работе А. Торопова „Система и основания единого с.-х. налога" (№ 2 „Продовол. и Револ"., стр. 8—42) приведены данные по 24 губерниям (около 20 милл. десятин посева), показывающие, что в среднем эта часть составляет 42%. Это дает почти точно указанное в тексте сопоставление группировок по посеву и по пахотно-сенокосной площади (по продналогу), которое пригодится при оценке группировки по продналогу в 1922—1923 году.

Четвертая и пятая группы могут быть также об'единяемы вместе для некоторых сопоставлений в качестве деревенской верхушки.

Ко времени октябрьской революции 1917 г. великорусское крестьянство [1]) распадалось согласно указанному делению на такие четыре части:

Бедняки	40,2%	всех дворов.
Середняки	28,9%	" "
Зажиточные	22%	" "
Кулаки	9%	" "

При этом из приходившихся на долю бедняцких хозяйств 21,8% относится к 1 группе («полупролетарской») и 18,4% ко 2 группе («маломощной»).

После революции одна за другой следуют две волны, понижающие роль деревенской верхушки («зажиточных» и «кулаков») в общей массе крестьянских дворов. Во-первых, в ноябре н. ст. 1917 г. возвещается и после таяния снегов в 1918 г. осуществляется конфискация помещичьих земель, распределяемых между деревенскими низами. Между тем раньше большая часть посевов на помещичьей земле арендовывалась крестьянами, при том преимущественно именно деревенской верхушкой [2]). Потому конфискация помещичьих земель фактически означала передачу беднякам части тех посевов, которые ранее находились в руках крестьянской верхушки. Поэтому 1918—1919 хоз. год должен был дать уже существенно иное распределение крестьянских дворов между разными слоями, которое и обнаружила сел. хоз. перепись 1919 г. Вот данные о распределении крестьянских дворов по указанным выше 25 губерниям:

	В 1917 г.	В 1919 г.	+ или —
Бедняки	40,2%	49,4%	+ 9,2
Середняки	28,9%	29,3%	+ 0,4
Верхушка	31,0%	21,3%	— 9,7

Мы видим, что процент бедняцких хозяйств прибавился на ту же величину, на какую сохранился процент верхушечных, а доля середняцкого слоя

---

[1]) Сведения за 1917 и за 1919 г. г. по сельско-хозяйственным переписям этих годов (изд. ЦСУ—„Экономическое расслоение крестьянства в 1917 и 1919 г. г."),—а сведения за 1920 г. по выборочной переписи этого года (цитир. тов. В. Соколовым в „Правде" от 1 июня). В изданное ЦСУ сопоставление вошло 25 губ.: Астрахань Витебск, Владимир Вологда, Вятка, Екатеринбург, Казань, Калуга, Кострома, Курск, Москва, Новгород, Олонец, Оренбург, Пенза, Пермь, Петербург, Рязань, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тверь Тула, Череповец, Ярославль. За 1917 г., за 1919 г. и за 1920 г. группировки по площади посева. Данные за 1922—1923 хоз. год по отчетам о сборе продналога (см. нашу статью „Сельхозналог и беднота") и обнимают как эти губернии, так и прочие (см. ниже),—группировка по пахотно-сенокосной площади.

[2]) Всего перед войной крестьяне арендовывали свыше 25 милл. десятин не-крестьянской земли (в том числе свыше половины приходилось на посев. А у самих помещиков не сдававшегося ими в аренду посева оставалось лишь около 7 милл. десятин (по Европ. России без Кавказа и Польши).

осталась без изменений [1]). Но перераспределение пользования одной только помещичьей землей (ранее арендованной, а затем конфискованной) не удовлетворило деревенскую бедноту и середняка. Бельмом на глазу стояло господствующее положение внутри деревни собственной крестьянской верхушки. И вот после первой—противопомещичьей—аграрной революции прокатывается волна второй революции внутридеревенской, противокулацкой. Во второй половине 1918 г. начинают появляться «комитеты бедноты», которые в течение 1919 г. проделывают работу внутридеревенского распределения производственных возможностей. Потому в 1919—1920 хоз. году налицо имеется уже значительно иное распределение крестьянских дворов по основным группам, которое обнаруживается переписью 1920 года:

	1919 г.	1920 г.
Бедняки и середняки	78,7%	91,8%
Верхушка.	21,3%	8,2%

При этом в составе верхушки сходит почти на-нет кулачество, охватывавшее в 1917 г. всего 9% дворов, в 1919 г. еще 3,7% и в 1920 г. только 1,7%.

Что основной причиной перегруппировки крестьянских дворов является именно наличность двух последовательно прокатившихся по деревне аграрных революций (против помещиков и против кулаков), а отнюдь не особое специфическое влияние продразверстки—лучше всего показывается дальнейшей историей внутрикрестьянского расслоения. В самом деле, 1920—1921 хоз. год был годом наиболее тяжелой продразверстки, следующий 1921—1922 хоз. год был годом большого неурожая—и тем не менее оказывается, что установившиеся к 1920 г. соотношения между основными группировками остаются в общем почти без перемены. По данным группировки крестьянских хозяйств в связи с взиманием продналога в 1922—1923 хоз. году имеем сравнительно с 1920 г.:

	1920 г.	1922 г.
Бедняки и середняки	91,8%	92,1%
Зажиточные и кулаки	8,2%	7,9%

Наметился зато очень интересный процесс внутри самой деревенской верхушки: в ней стала расти явно кулацкая группа (к чему вернемся еще ниже в связи с обстановкой нэпа):

	1920 г.	1922 г.
Зажиточные	6,5%	5,5%
Кулаки.	1,7%	2,4%

[1]) Следует отметить, что эта перемена наступила при первой же сел.-хоз. кампании, целиком проведенной крестьянством при советской власти (1918—1919 хоз. год), т.-е. тогда, когда не могло еще сказаться в решающих размерах влияние продразверстки или гражданской войны, и тем более неурожая ненаступившего еще 1921 г. Между тем, часто все внимание обращается на эти дополнительные условия с забвением основного влияния, какое должны были иметь на перераспределение дворов сначала противопомещичья и затем противокулацкая революции.

Определенно кулацкая группа настолько окрепла за последние годы «первого периода нэпа», что приближается уже к аннулированию того разгрома, какой создала для нее вторая аграрная революция (внутридеревенская) и приближается (а в 1923 г., возможно, уже приблизилась) к восстановлению того положения, какое она занимала в деревне после первой революции (противопомещичьей). Вот относящиеся сюда сравнительные данные за 1919 г. и за 1922 г.:

	1919 г.	1922 г.
Бедняки	49,4%	52,4%
Середняки	29,3%	39,7%
Зажиточные	17,6%	5,5%
Кулаки	3,7%	2,4%

В этом сравнении впечатление ослабляется еще тем, что для 1919 г. взяты только указанные выше 25 великорусских губерний, а для 1922 г. вся Великороссия (точнее вся РСФСР без азиатских территорий). Общее обнищание в пострадавших от голода 1921 г. областях сдвинуло несколько в сторону малоимущих всю картину, хотя и не изменило ее существенно. Если же взять сравнимые по территории цифры (опубликованные уже в «Правде» т. Соколовым), то результат будет еще более наглядным:

	1919 г.	1922 г.
Бедняки и середняки	78,7%	87,5%
Зажиточные	17,6%	9,0%
Кулаки	3,7%	3,5%

Следовательно, за два года нэпа процент кулачья поднялся вдвое (с 1,7% в 1920 г.), а процент зажиточных—почти на половину (с 6,5% в 1920 г.).

Такое быстрое возрождение деревенской верхушки тем более меняет всю социально-политическую обстановку современной деревни, что, во-первых, экономическое могущество этой верхушки далеко превосходит ее численность, а во-вторых, мы имели со времени сбора приведенных данных еще один нэповский год (1922—1923 хоз. год) и скоро вступим в следующий подобный же (1923—1924 хоз. год). Поэтому, чтобы из рук у нас не уплывала постепенно и политическая и экономическая власть в деревне, надо практически иметь в виду два пункта:

Во-первых, стихийному при нэпе росту зажиточно-кулацкого производства противопоставить сознательную производственную политику государства, направленную к производственному под'ему на общественных началах близких нам элементов деревни («коллективизация бедняцкого хозяйства»).

Во-вторых—тщательно изучать фактический характер тех или иных принимаемых ради смычки с деревней мер для установления, кому они идут на пользу, верхушке или низам, и для такого направления нашей кредитной политики, политики хлебных цен, налоговой политики в деревне и т. д., чтобы они *служили смычке с бедным большинством,* а не с зажиточным меньшинством деревни:

«Курс на комбеды»—вот правильное в наших нынешних условиях направление для господствующего пролетариата, чтобы держать крепко деревенский тыл, чтобы не дать бедное большинство деревни политически использовать зажиточному меньшинству (а с ним вместе и буржуазии), чтобы вести под'ем сельского хозяйства в стране не дорогой кулацкой, а дорогой общественно-кооперативной его перестройки.

Разумеется—«курс на комбеды» не в смысле рабского копированья организационных форм и приемов действия, практиковавшихся на рубеже 1918—1919 г., а в смысле яркой характеристики идей, какая должна проявляться в содержании всех наших деревенских мероприятий. Решительная, твердая и ясная ставка на политическую и экономическую смычку именно с бедняцкой половиной деревни—вот смысл «курса на комбеды» в настоящее время. А дойдет ли дело, как на Украине, до существования «бедняцких комитетов» или же дело ограничится замещением председательских и секретарских мест в волисполкомах коммунистами, опирающимися на производственные коллективы бедняцких хозяйств, на ярко бедняцкую кредитную и налоговую политику советской власти и т. д.—это уж организационная подробность, обсуждать которую здесь сейчас не приходится. Но бедняцкая половина деревни теперь, после двух лет нэпа, должна достаточно веско и определенно почувствовать, что она не забыта, что ее интересы в деревне первенствуют, что на-лицо имеется действительно союз с *«беднейшим крестьянством»*, а не какими-либо другими кандидатами—этого требуют жизненные интересы самосохранения пролетариата и политического и экономического [1]).

II.

Значение крестьянской верхушки определяется не количеством зажиточно-кулацких дворов, а той частью деревенской продукции, какую они сосредоточили в своих руках, и той экономической зависимостью, в какую они поставили от себя остальные части крестьянства. В обоих этих отношениях дело зашло достаточно далеко уже в настоящее время. Начнем с продукции.

Отчетные данные о сборе продналога в 1922—1923 хоз. году обнимают 49 губерний и областей Великороссии (точнее—всю РСФСР без азиатских территорий). По этим данным оказалось:

	Из всех дворов.	Из всей пах.-сенок. земли.	Из всего налога.
Полупролетариат. . . .	17,9%	6,2%	2,3%
Маломощные.	34,5%	25,9%	18,5%
Середняки	39,0%	47,9%	51,1%
Зажиточные	5,5%	10,6%	15,3%
Кулаки.	2,4%	9,4%	12,8%
	100%	100%	100%

[1]) Кстати сказать, низший реальный предел заработка городского промышленного транспортного пролетариата (именно, заработок неквалифицированного рабочего) опре-

При этом надо иметь в виду, что по размеру налога можно судить приблизительно о размере продукции с тою поправкою, что обычно у состоятельных групп (зажиточно-кулацкая верхушка) процент продукции даже несколько выше процента налога. Мы видим, что менее 8% дворов, какие входят в состав верхушки, имеют 20% всей пахотно-сенокосной земли. Но зажиточные, имеющие инвентарь и скот, легче могут обратить под посев и при том более значительную часть всей своей пахотно-сенокосной площади, чем малоимущие. Потому процент из всего деревенского посева у них всегда значительно больше, чем процент из всей деревенской пахотно-сенокосной площади. Вот, напр., результаты специального обследования типичной волости Самарской губ., произведенного особой комиссией ЦКРКП в начале 1923 г. (см. «Материалы по обследованию деревни к XII с'езду партии», изд. «Кр. Нови»). Здесь на деревенскую верхушку (зажиточные и кулаки) приходится 15% дворов, у которых 20% всей земли и 30% всего посева. Наоборот, у деревенской бедноты (полупролетарии и маломощные) имеется в этой волости почти 36% всей земли, но только 22% всего посева. Беднота оказывается в силах держать под посевом только 20% своей земли, тогда как зажиточные засевают почти 50% их земли [1]).

Подобно этому и по всей Великороссии: если у верхушки, как мы видели, 20% всей пахотно-сенокосной площади, то посева она имеет в своих руках не менее 30% и платит свыше 28% налога. Но уровень среднего урожая с десятины у состоятельной верхушки обычно несколько выше, чем у середняков и бедняков. Состоятельные часто имеют возможность раньше и лучше обрабатывать почву, больше удобрять и т. п.—словом, они естественно попадают в разряд тех «старательных хозяев», которым закон о налоге предоставляет льготы за улучшения в хозяйстве [2]). Потому, если у них 30% посева,

---

деляется как раз уровнем быта бедняцких низов. Всякое существенное улучшение их положения не останется без благоприятного влияния и на положение наемных рабочих в стране, в частности, более значительно расширяет спрос на промышленные изделия чем равный прирост дохода у зажиточных.

[1]) Из этого видна, между прочим, особая выгодность для государства в целом направления кредитной помощи именно на коллективизацию бедняцких хозяйств, раз этим путем на уже имеющейся земле можно увеличить площадь посева более чем в два раза. А так как бедняцкие хозяйства занимают в среднем 32% всей пахотно-сенокосной площади, то это одно означало бы увеличение валовой продукции русского сельского хозяйства почти на 10%.

[2]) Материалы обследования деревни комиссией ЦК вообще дают неблагоприятную в классовом отношении картину практического проведения налогов в деревне—неблагоприятную с точки зрения союза и именно с беднотой. Вот некоторые выдержки: „Налоговые мероприятия, хотя и сопровождаемые неурядицами, выгоднее для зажиточного и середняка" (стр. 78, Тамб. губ.) „Наиболее аккуратным плательщиком всех налогов являются группы зажиточная и середняцкая, они и получают существующие проценты скидки (с налога) за своевременный взнос" (стр. 68, Псковской губ.). Любопытно, что при разработке сел.-хоз. налога на 1923—1924 г. Наркомзем не выступил с предложением об освобождении от налога хотя бы самых низших беднейших групп, забыв правильные традиции донэповских лет. Крайне характерно, что по отчетам Укрнаркомпрода в некоторых губерниях деревенская верхушка платит даже меньше налога, чем на нее

то надо считать, что несколько выше—не менее трети—приходится на их долю всей сельско-хозяйственной продукции крестьянства. *Третья часть всего валового производства деревенского сельского хозяйства в руках горсти зажиточно-кулацких дворов*—таково положение уже в настоящее время.

Фактически, роль этой верхушки еще больше, ибо помимо собственного хозяйства она держит еще *в кредитной* зависимости от себя значительную часть бедняцкого хозяйства и в *торговой* зависимости—и бедняков и середняков. У нас имеется меньше чем по одному кооперативу на каждые десять деревень, и почти вся торговля деревни находится в руках этой верхушки, как показала в частности и опубликованная в июне анкета Комвнуторга. Торговля находится в руках верхушки не только как единственной в деревне обладательницы необходимых для этого *оборотных средств*, но и как преимущественной поставщицы на рынок основной массы деревенских продуктов, в частности хлеба.

В самом деле, если верхушке принадлежит треть сельско-хозяйственной продукции, то это не значит, что и в продаже продуктов крестьянского хозяйства ей тоже принадлежит только треть. Ведь бедняцкому хозяйству (полупролетарии и маломощные, вместе половина деревни, имеющая менее одной десятины пахотно-сенокосной площади на душу) вообще не хватает своего хлеба, и оно его не продает, а покупает. Затем у середняков избытки настолько невелики, что их хватает только на сдачу натуральной части продналога (сельхозналога), но не на продажу. В итоге хлеб могут продавать и действительно продают *почти исключительно верхушечные* хозяйства. В изданных комиссией ЦК РКП «Материалах по обследованию деревни» имеются подробные сведения по типичным волостям четырех губерний (Псковская, Курская, Московская, Самарская) о том, какая доля дворов вообще продает или отдает в обмен хлеб, а равно о распределении всех дворов между различными слоями крестьянства. Каждая из этих губерний в свою очередь характеризует какой-либо целый район России, да и вообще находится в согласии со всеми имеющимися по этому вопросу сведениями. Вот эти характерные данные, при чем первый столбец показывает, какая часть всех дворов данного района (в процентах) вообще продавала хлеб в 1922—1923 хоз. году, а второй—какая часть дворов данного района относится к разряду деревенской верхушки (зажиточные и кулаки):

	Продают хлеб.	Верхушечные дворы.
Псковская губ.	5,7%	2,0%
Курская губ.	22,5%	31,3%
Московская губ.	7,0%	19,3%
Самарская губ.	47,7%	15,0%

пришлось бы даже при простом пропорциональном пахотно-сенокосной площади распределении (не говоря уже о прогрессивном). Так, по Одесской губ. у зажиточных и кулаков 50% всей пахотно-сенокосной площади, а платят они только 42,6% налога. Освежить нашу налоговую политику в деревне с точки зрения классового анализа ее таким образом совершенно необходимо.

Данные по Самарской губ. расходятся с общей картиной по той причине, что она относится к району преимущественно хлебному, где продажа его охватывает и середняков. А середняков вместе с верхушкой по Самарской губ. 55% всех дворов. Надо иметь в виду еще при этом, что приведенные данные охватывают решительно все дворы, продававшие в обмен хлеб, хотя бы эти же самые дворы и принуждены были затем покупать хлеб позже. Таких дворов, которые сначала продают хлеб для уплаты денежных налогов, а потом сами принуждены покупать его для собственного потребления—раздобыв тем временем откуда-нибудь необходимые для этого средства,—довольно много. В частности, по Самарской губ. таких дворов четыре пятых из числа всех продающих хлеб, по Московской—одна пятая, и т. д. Такие хозяйства нельзя, разумеется, без оговорок занести в разряд заинтересованных в повышении хлебных цен. Таким образом число крестьянских хозяйств, без сомнения заинтересованных в высоких ценах (т.-е. продающих хлеб, но не покупающих его—иначе сказать, продающих от действительных избытков) на деле даже меньше той средней величины по РСФСР в 20%, какая выше указана.

Конечно, по отдельным районам (областям) страны этот процент колеблется ввиду различной степени классового расслоения крестьянства в разных областях. Если сравнить распределение пахотно-сенокосной площади между различными группами крестьянства (по данным о продналоговом обложении в 1922—1923 году), то между всей РСФСР (без азиатских территорий) и всей Украиной окажется следующая разница (как известно, в РСФСР не входят ни Украина, ни Закавказье, ни Белоруссия:

	Украина.	РСФСР.
Полупролетарии	13,8%	6,2%
Маломощные	28,3%	25,9%
Середняки	31,4%	47,9%
Зажиточные	17,0%	10,6%
Кулаки	9,5%	9,4%
	100%	100%

Таким образом на Украине классовая дифференциация, хозяйственное расслоение деревни ушло гораздо дальше, чем в Великороссии. Из всей пахотно-сенокосной площади *середняки* занимают в Великороссии почти половину, а на Украине—менее *трети*. Наоборот, крайние группы противостоят друг другу на Украине гораздо внушительнее, отношения между ними должны быть обостреннее. Из всей пахотно-сенокосной земли имели:

	Украина.	РСФСР.
Бедняцкие хоз.	42,1%	32,1%
Верхушечные хоз.	26,5%	20,0%

Именно потому, что крайние крылья деревни противостоят друг другу на Украине более обнаженно, чем в Великороссии—именно потому сохранилось на Украине до сих пор и «комнезаможи» (комитеты бедноты) и более энергично начинает подымать вновь голову дело коллективизации бед-

няцких хозяйств. С другой стороны, именно в силу большего экономического могущества в украинской деревне зажиточно-кулацких верхов, чем в Великороссии, эти верхи умеют на практике добиваться на Украине более значительных налоговых льгот, чем в РСФСР. Так, по данным Укрнаркомпрода и Наркомпрода РСФСР на каждый один процент всей пахотно-сенокосной площади падает процент всего взысканного в 1922—1923 хоз. году продналога:

	В Великороссии.	На Украине.
У бедняков	0,51%	0,82%
У середняков	1,00%	1,09%
У верхушки	1,40%	0,87%

Из этого легко видеть, что на Украине налоговое обложение середняков и особенно бедняков значительно тяжелее, чем в РСФСР,—зато обложение состоятельной верхушки, наоборот, значительно легче. Так учитывается в жизни и политически большее экономическое влияние зажиточно-кулацких элементов на Украине, если внутрикрестьянские классовые отношения не встречают *достаточно энергичного вмешательства* со стороны пролетарского государства в «бедняцком» направлении в силу некоторого ослабления внимания к этой стороне деревенской жизни в первые годы нэпа (1921 и 1922 г.г.). Партийный с'езд 1923 г. послужил в этом отношении, очевидно, весьма полезным рубежом, и вновь привлечет внимание к внутридеревенским процессам, вновь усилит здоровую классовую струю в нашей деревенской политике.

Само собой, что районные отличия в степени расслоения крестьянства имеются не только между Украиной и РСФСР, но и между различными областями самой Великороссии. Можно думать, что сравнительная слабость зажиточно-кулацкого слоя как раз в прилегающих к Москве и Петрограду губерниях, особенно на виду находящихся у сосредоточенных в столицах масс пролетариата, — содействовала сравнительному ослаблению внимания к происходящим внутри деревни процессам за последние годы. Вот данные о распределении всех крестьянских дворов между различными хозяйственными слоями по каждому району в отдельности (на основании отчетных сведений о продналоговом обложении в 54 европейских губерниях РСФСР в 1922—1923 хоз. году) (см. таблицу на стр. 182).

При оценке этих порайонных[1]) колебаний надо иметь в виду, конечно,

[1]) Состав районов: Волжско-Камский—Вятская, Вотская, Татарская, Марийская, Чувашская; Юго-Восток—Донская, Кубано-Черноморская, Ставропольская, Терская, Кабардинская, Горская, Крым; Урал—Пермская, Екатеринбургская, Тюменская, Челябинская, Башкирская, Уфимская; Центр.-Земледельч.—Рязань, Тула, Тамбов, Орел, Курск, Воронеж; Петроградский—Череповец, Новгород, Псков, Петроград, Карелия; Центр.-Промышленный—Москва, Кострома, Иваново-Вознесенск, Брянск, Рыбинск, Ярославль, Тверь, Владимир, Нижний-Новгород, Смоленск, Калуга; Западный—Витебск, Гомель, Белоруссия; Северный—Архангельская, Зырянская, Северо-Двинская, Вологодская; Поволжье—Пенза, Симбирск, Саратов, Самара, Царицын, Астрахань, Немкоммуна.

Район.	Число дворов в тысяч.	Из них в процентах.			
		Полупро-летар-ских.	Мало-мощных.	Серед-няцких.	Верху-шечных.
Волжско-Камский	1.228	8,0%	29,6%	50,2%	12,2%
Юго-Восток	971	28,0%	26,0%	30,5%	15,5%
Урал	1.533	44,6%	20,4%	31,6%	3,4%
Центр.-земледельч.	2.566	3,2%	31,0%	62,9%	2,8%
Петроградский	777	20,0%	39,0%	37,0%	4,0%
Центр.-промышленн.	2.531	19,5%	46,3%	31,2%	3,0%
Западный	778	28,0%	50,5%	16,7%	4,8%
Северный	404	34,8%	44,7%	19,7%	0,8%
Поволжский	2.351	5,1%	15,4%	61,5%	18,0%
Итого	12.597	17,9%	34,5%	39,7%	7,9%

два обстоятельства. Во-первых, не вполне одинаковое значение одной десятины в разных районах в хозяйственном отношении. Во-вторых, то обстоятельство, что среди дворов, относимых по площади посева или всей пахотно-сенокосной земли к полупролетарским и маломощным — в жизни встречаются иногда дворы торговцев, мельников и т. п. лиц, почти не ведущих земледельческого хозяйства, не по бедности, а по всецелому перенесению центра тяжести своей хозяйственной деятельности в торгово-промышленную область. Но эти частные поправки не меняют сколько-нибудь существенно общей картины, вырисовывающейся из приведенной таблицы. Они только побуждают считать, что в жизни экономическая роль зажиточно-кулацкой верхушки еще больше, чем представляется по официальным цифрам.

Украина по относительному значению в крестьянстве верхней (зажиточно-кулацкой) группы также резко распадается на две части: южную и северную. В южную входят губернии—Одесская (с Николаевской), Екатеринославская (с Запорожской) и Донецкая (с вошедшей в них частями бывшей Кременчугской губ.) с общей площадью крестьянской пахотно-сенокосной земли в 12.716 тыс. десятин.

В северную входят прочие украинские губернии (Киев, Харьков, Полтава, Волынь, Подолия, Чернигов и остальная часть бывшей Кременчугской губ.) с общей площадью крестьянской пахотно-сенокосной земли в 14.067 тыс. десятин (все по отчетным данным о продналоговом обложении в 1922—1923 хоз. году). Из всей пахотно-сенокосной площади каждой губернии зажиточно-кулацкие дворы занимают по северной полосе только от 5,2% (Подольская) до 18% (Полтавская), а по южной полосе в несколько раз больше—от 37,5% (Екатеринославская) до 50,1% (Одесская).

III.

Материалы по обследованию деревни комиссией ЦКРКП (изданные в апреле 1923 года) не дают чего-либо нового тому, кто и раньше следил за.

фактическим развитием отношений в деревне и понимал значение непланового, недостаточно регулировавшегося государством развития нэпа. Но эти материалы хороши тем, что они доставляют общественному мнению пролетариата сведения, *проверенные* и осененные авторитетом такого ответственного учреждения, как специальная, на местах работавшая комиссия ЦКРКП. Потому, оставляя в стороне другие и более обширные имеющиеся сведения о том же, дополним общую картину дифференциации деревни и удельного веса зажиточно-кулацких верхов теми существенными чертами, какие имеются в «Материалах» комиссии ЦК относительно социально-политических следствий хозяйственной роли кулацких и полукулацких верхов в современной деревне.

Относительно налоговой политики мы уже приводим выдержки и сведения, ясно показывающие необходимость пересмотра ее под классовым углом зрения [1]). В этом отношении последний закон о едином сел.-хоз. налоге (от 10 мая 1923 г.) внес некоторую поправку сравнительно с законом 1922 г., поскольку он осуществляет усиление обложения деревенских верхов (защищавшееся автором этих строк в печати с некоторой настойчивостью, см. нашу книжку «Итоги, пути, выводы новой экономической политики»). Но и закон о сел.-хоз. налоге оставил пока без внимания вопрос о необходимости освобождения деревенской бедноты. На таком освобождении мы теряем очень мало в финансовом отношении и выигрываем очень много в политическом и социальном. Кроме того, имеется полная возможность переложить на зажиточный элемент без разрушения его хозяйства и ту долю налога, какую сейчас обязана платить беднота. Поэтому весь даваемый комиссией ЦК материал о необходимости исправления налоговой практики относительно деревенской бедноты заслуживает полнейшего внимания. Вопрос этот должен быть решен до начала сбора нового сел.-хоз. налога, т.-е. до августа [2]).

Весьма интересны также материалы комиссии ЦК по вопросу об аренде. В другом месте («Коллективизация бедняцкого хозяйства») привожу официальные сведения Укрнаркомзема о безобразном отношении в первые годы нэпа местных земельных органов к интересам об'единений крестьянской

---

[1]) Вот еще выдержка из „Материалов Ком. ЦК“ о Смоленской губ.: „Налоги для маломощных тяжелы. Более тяжелы, чем для зажиточных. Налоговый пресс более всего мешает маломощному хозяйству подняться и, наоборот, относительная слабость налогов у зажиточных содействует им. Уравновесить тяжесть налогов, разложить их в большем, чем теперь, соответствии с платежеспособностью хозяйств—основной вопрос для маломощного хозяйства“ (стр. 95).

[2]) Интересен живой отклик деревенской бедноты. „Для врагов Советской власти,—пишет в „Бедноте“ от 12 июня крестьянин Перепухов по поводу наших статей,—разрешение этого вопроса явится сильным ударом. Это мероприятие облегчит и улучшит положение миллионов крестьян-бедняков. Это значит завоевать и укрепить у этих миллионов людей преданность и любовь к Советской власти и сделать еще более прочной смычку крестьян-бедняков с властью, с коммунистической партией и с рабочими. Слушайте, крестьяне-бедняки. О вас власть думает, чтобы сделать вам облегчение в налоге. Разоблачают нас и мы должны подтянуться“.

бедноты. В этом же роде, судя по материалам комиссии ЦК, оказывается и *арендная* практика земорганом Великороссии.

По обследованной комиссией типичной области *Тамбовской* губ. у крестьян было *до революции* 1917 г. своей пашни 3.419 дес. и арендованной—2.985 дес., а всего 6.404 дес. *пашни*. Сверх того в волости было 3.741 дес. такой пашни, которую помещики в аренду не сдавали. В волости имеется более тысячи крестьянских дворов, и можно было бы полагать, что революция принесет им расширение землепользования. Между тем, оказывается в 1923 г., что у крестьян пашни и *усадебной и сенокосной* площади вместе только 6.565 дес.,—а если считать одну пашню, так *даже меньше*, чем было в их пользовании до революции. Остальная имеющаяся в волости пашня, кроме скромной площади совхозов, оказывается (стр. 70) «отошла в государственный земельный фонд, *сдаваемый в аренду* Uземуправлением». При чем Uземотдел сдает землю или только верхам или иногда союзу верхов и середняков с исключением бедноты. Напр., в деревне Никольской 103 домохозяина арендовали из «госфонда» 375 десятин на 3 года, с уплатой по 4 пуда ржи с десятины в год. При этом в деревне имеется 102 домохозяина зажиточных и середняка и несколько десятков бедняцких дворов. И вот—в числе 103 арендаторов поголовно все 102 зажиточных и середняка и только 1 маломощный (стр. 82).

Таких примеров «Материалы» приводят целый ряд с той разницей, что за аренду пашни из госфонда земорганы берут иногда не по 4, а только по 3 пуда ржи с десятины в год. Значит, сразу достигается три результата:

1) Вместо прирезки земли крестьянам из бывших помещичьих владений, *не отошедших под совхозы*, земорганы заставляют крестьян арендовать ту же землю, какую они арендовали и до революции при помещиках. Это безобразие комиссия описывает таким эпическим слогом: «арендовали землю до революции преимущественно у помещиков, немного у односельчан, теперь более мощные хозяйства арендуют землю из госфонда и частично у односельчан» (стр. 71). Перемена, как видим, сногсшибательная.

2) У помещиков арендовала землю и беднота. Предполагая себя действующим, вероятно, в духе «хозяйственного расчета», земорган упрощает дело таким образом, что арендный фонд достается только верхам и отчасти середнякам. Забота о снабжении бедноты инвентарем выразилась в том, что по словам комиссии ЦК «попавший маломощным через комитет бедноты и другим путем помещичий сел.-хоз. инвентарь был отобран (после упразднения комбедов. *Ю. Л.*) и сдан в совхозы, и теперь лежит там в неисправном состоянии почти без использования» (стр. 71). Эту операцию легко было провести, ибо в те годы, как известно, «значительная часть бедноты находилась на фронтах» (стр. 71). А когда вернулась, то, будучи без инвентаря, должна была либо «за пользование лошадью и инвентарем отдавать часть собранного хлеба» на определенно грабительски-кабальных условиях (стр. 93, Смол. губ.), либо предлагать зажиточным свои земли «за продналог» (стр. 74), либо, наконец, передавать зажиточным в аренду для использования

на издельных более выгодных зажиточным условиях» (стр. 71). Таково происхождение упоминаемой выше внутридеревенской аренды у односельчан. Резюме комиссии Ц. К.: «господствует кабала и тяжелые условия отработки (бедными на богатых. *Ю. Л.),* за истекший 1922 г. в волости не расторгнуто ни одной кабальной сделки, хотя таковые были» (стр. 74).

3) Наоборот, зажиточная часть деревни расширяла в первые годы нэпа свое землепользование на более выгодных условиях, чем при помещиках. Арендная плата при помещиках была в 5 или 6 раз выше, иногда даже больше, чем земорган берет теперь с деревенской верхушки за передачу ей «госфонда», проявляя таким путем на-ряду с недостатком заботы о бедноте избыток усердия перед верхами (за счет государства, увеличения эмиссии, и т. д.). С другой стороны, и по отношению к бедноте, пишет комиссия—«зажиточные, пользуясь своим преимущественным положением, берут за работу на своих лошадях для бедноты или обработку его пашни чрезвычайно высокую плату, а за сдаваемую им в аренду землю, наоборот, платят низкую, и все же площадь засева у бедноты очень мала» (стр. 60, Самарск. губ.). В итоге, резюмирует комиссия по Тамбовской губ.,—«условия эксплоатации труда и аренды земли из госфонда и из совхозов благоприятствуют процессу нарастания новой буржуазии. Последняя возникает благодаря дешевизне земли и рабочих рук, т.-е. за счет советского государства и бедноты» (стр. 82).

Таким образом, арендная практика земорганов безусловно нуждается в пересмотре и с точки зрения площади тех «госфондов», какую они удерживают за собой вместо прирезки крестьянам разных «лужков» и пашни, так и с точки зрения оказания преимущества беднякам и бедняцким коллективам и прекращения благотворительного понижения арендной платы за счет государства для деревенских верхов. *Со стороны Наркомзема необходимо твердое инструктирование местных земорганов* в надлежащем классовом духе и беспощадная чистка от людей, не понявших разницы между новой экономической политикой и пренебрежением к бедноте, и превратившихся в игрушку и орудие подымающихся буржуазных элементов деревни. К сожалению, в общей печати деятели Наркомзема, не мало уделяющие внимания улучшенным породам коров и свиней, не уделяли еще достаточно внимания улучшению классовой линии местных земорганов. Надо полагать, обнародованные ЦКРКП материалы его комиссии могли бы послужить поводом обратить внимание на эту сторону дела.

На-ряду с тем, что мы знаем о почти «наплевистской» иногда практике первых нэповских лет относительно производственных коллективов крестьянской бедноты, и на-ряду с приведенным выше относительно налоговой и арендной практики—материалы комиссии ЦК обращают внимание еще на одну сторону: на снабжение крестьян сел.-хоз. машинами путем продажи их из госсельскладов. «Общее количество машин и инвентаря увеличилось» (стр. 39, Моск. губ.). Но оказывается «какими-то путями», в особенности после нэпа, машиной овладел зажиточный и середнячок, а бедняк попал

в арендаторы этой машины. На каких условиях он арендует машину у зажиточного и середняка—не трудно догадаться» (стр. 39).

«При нашей политике продажи за наличные тому, кто желает купить себе машину»,—говорит комиссия,—она делается «могущественным орудием закабаления маломощного и даже середняка» (стр. 40). Между тем, комиссия установила «стремления бедноты как-нибудь вырваться из кабалы зажиточного и приобрести себе машину», а именно, «группы бедняков и середняков, которые соединяются вместе для приобретения машины, напр., сеялки» (стр. 40, Моск. губ.). Вывод комиссии: «надо пойти навстречу только маломощному и середняцкому крестьянству и совершенно пресечь возможность захватывать машину в свои руки зажиточному кулацкому элементу» (стр. 40).

Средства для движения в этом направлении заключаются, конечно, в надлежащем регулировании условий сбыта, *во внесении классового принципа и в дело продажи сел.-хоз. машин крестьянам*. Подобно тому, как новое жилищное законодательство за ту же самую жилую площадь вводит в несколько раз большую плату с буржуазных элементов, чем с рабочих, а в целом обеспечивает поддержание домов—так и за одну и ту же машину надо много брать с отдельного покупателя и мало с бедняцкого коллектива, обеспечивая в общем промышленности получение средней цены и предоставляя бедняцким коллективам также кредит, рассрочку и прочие облегчения. В этом отношении также необходимо надлежащее инструктирование Наркомземом госсельскладов, следов которого в общей печати, а судя по «Материалам» и в практике, последнее время не было видно. И в этом отношении надо обдумать и пересмотреть постановку снабжения деревни с точки зрения не одного сомнительного в данном случае «хозрасчета», а с точки зрения сочетания его с общим необходимым направлением классовой политики в деревне.

Мы не касаемся в данной статье специально политики хлебных цен с точки зрения производственных и классовых интересов пролетарского государства (совпадающих в данном отношении по нашему мнению). Замечание комиссии в этом отношении совершенно бесспорно: «экономическая зависимость бедноты от зажиточного элемента усугубляется отсутствием подчас хлеба, который она вынуждена занимать у имущих (стр. 61). Но остановимся несколько на наблюдениях этих «материалов» относительно практики землеустройства в нынешней деревне.

«Пред'являемые в настоящее время льготы при расселении есть льготы зажиточным, вернее сильным хозяйствам»,—говорят «Материалы» (стр. 90). В тех же случаях, когда маломощные пробуют перегнуть палку в свою сторону и добиться равенства—наличные условия в деревне оказываются неблагоприятными для них и в этом отношении.

Так, в дер. Рытьково (Смол. губ.) на одного зажиточного приходится почти 3 десятины пахотно-сенокосной площади на душу, и на одного маломощного—две трети одной десятины, т.-е. почти в 5 раз меньше, и «примеров

таких—куча» (стр. 89). И вот, рассказывает комиссия—«побуждаемые налоговым прессом маломощные в истекшем 1922 году перешли в решительное наступление с целью добиться уравнения. Но уже не те времена. Кое-где борьба не закончилась, результат ее выяснится только в настоящем году. А там, где закончилась—не победой маломощных, а компромиссом с зажиточными (стр. 89). Между тем, казалось бы при наличности советской власти в стране комиссии ЦК не пришлось бы писать меланхолически «не те времена», если бы местные органы Наркомзема твердо инструктировались в классовом духе в своей землеустроительной практике. Для того, чтобы оказать путем землеустроительных работ справедливую поддержку бедняцкому большинству против зажиточного меньшинства—для этого у нас и теперь времена должны быть «те», и это обязан внушить Наркомзем всем своим органам. Но для этого он сам должен ясно сознавать *необходимость классовой окраски* нашей деревенской линии, всегда отдавая себе отчет, как надо ставить конкретно смычку в том или другом отношении, чтобы она оказывалась водой на мельницу не кулака, а бедняка [1]). Ибо последнее выгоднее советскому государству как в общих социально-политических интересах, так и в смысле более значительного прироста сельско-хозяйственной продукции теперь же.

Сильные экономические позиции зажиточно-кулацкой верхушки благоприятствовавшие росту их со стороны стихийных нерегулируемых процессов нэпа, недостаточная определенность классовой окраски (в пользу бедноты) проводившейся на практике государственными органами в деревне линии—все это ведет и к общественно-политическим последствиям, весьма красочно описанным «Материалами» комиссии ЦК. В 1921 г. автор этих строк в «Правде» утверждал, что свобода торговли должна будет стихийно вести к росту буржуазного влияния в деревне и проторять для него путь и политически, а потому, вводя хозрасчет и методы рынка, необходимо одновременно ярко обозначить и усилить нашу классовую линию. Необходимо понять, что если при «военном коммунизме» недостаток внимания к плановому подходу к жизни приносил преимущественно лишь экономический вред, то при нэпе пренебрежение государственным регулированием стихийных процессов сверх того прокладывает еще дорогу к «Учредительному Собра-

---

[1]) По поводу Московск. губ., находящейся у самого центра, „Материалы" комиссии ЦК говорят о постановке землеустроительных работ земорганами следующее:

„До сих пор в Яропольской волости, благодаря нашему попустительству, есть бывшие владельцы купчих земель, которые умеют какими-то „неведомыми" путями проходить все инстанции и отсуживать в свою пользу купчую землю, не давая ее в уравнительное распределение.

В селении Васильевском мы познакомились с таким явлением, когда бывшие собственники купчей земли тянут процесс четыре года в высших инстанциях и каждый год засевают землю, а бедняки и малоземельные только посматривают, да, посвистывая, говорят: советская власть, советская власть...По вине и слабости наших партийных аппаратов на местах и отсутствия суровой карающей руки в центре, которая еще, кажется, не добралась до земельных комиссий. А сделать это давно пора" (стр. 41—42)—у самых ворот Москвы особенно, добавим мы.

нию». Эти замечания рассматривались в то время некоторыми, как простой полемический выпад против начавшегося тогда процветать «разбазаривания», но опыт двух лет показывает наличность более требующих внимания фактов.

Вот что пишет в своем обследовании комиссия ЦК: «Группа зажиточных теперь к советской власти относится более дружественно, чем это было до нэпа. Конечно, бесспорно, что все они в душе остаются ярыми противниками существующему строю и при удобном случае не прочь будут свести свои счеты. Однако эта верхушка сейчас с особым удовлетворением старается всюду перед маломощными резко выразить свое одобрение Советскому правительству. При оценке существующего положения крестьянского хозяйства, вот это яркое выражение зажиточными группами внешней симпатии современным законам порождает в умах маломощных колеблющее настроение и неуверенность в возможности восстановить свои хозяйства. Бедняцкая же группа уже блокируется иногда с зажиточными, как бы выторговывая себе с их стороны авансом хозяйственную поддержку. Беднота себе в оправдание перед нами приводит факты, говоря: что же, когда государственная помощь отсутствует, кооперироваться между собой—нет средств, единственный выход—идешь на поклон к Тит Титычу» (стр. 68). Верхушка, держащая в руках торговую смычку с городом, всячески подчеркивает свои благодеяния по части снабжения деревни промышленными изделиями—и разыгрывает целые политические симфонии против нас на этой почве: «ведется агитация среди населения за облегчение налогов на торговцев» (стр. 81). Таким путем «дружественное настроение двух крайних групп устраняет между ними борьбу, и это опасно для партии. Две крайние группы, как бы на время забыв свои классовые противоречия, имеют внешний политический блок» (стр. 68). Комиссия очень метко подмечает, что причиной такого противоестественного «блока» является отсутствие в годы нэпа активного вмешательства государства в пользу бедноты—«связь по административной линии с уездгородом поддерживается, но фактически на деле она кроме сбора налогов ни в чем не выявляется» (стр. 82). В результате в ряде мест три четверти крестьян «политически пассивны», при чем «половина из них даже не принимает участия при выборе в Совет, т.-е. совершенно не ходит на сход, а половина принимает участие в голосовании» (стр. 26, Киевск. губ.).

Перед нами яркая картина того, как предоставленная самой себе деревня подпадает постепенно под политическое руководство зажиточно-кулацкого меньшинства, небольшого по численности, но влиятельного по своей хозяйственной мощи. И когда временами бедноте становится невтерпеж, тогда, лишенная помощи городского пролетариата, она не находит дороги систематической общественной борьбы, использующей факт господства в стране диктатуры труда. Вместо того, она принуждена прибегать к одной из двух давно известных деревне традиционных отдушин для недовольства. Или она начинает мечтать о повторении когда-нибудь аграрной революции, не понимая ненужности этого при изменившихся условиях: «классовая борьба в деревне ощущается довольно остро,—пишет комиссия непосредственно

перед замечаниями о политической пассивности,—безлошадные вынуждены сдавать свою землю в аренду на испол, за отработки, враждебно косятся на середняков, и не скрывают свои мечты еще раз отобрать излишки и даже устроить черный передел» (стр. 25, Киевск. губ.).

Или же начинаются так называемые «свои средствия», т.-е., как деликатно выражается комиссия,—«классовая борьба далеко выходит за границы словесных битв. Угрозы, всевозможное экономическое воздействие, использование местных властей, схватки в колья, единичные случаи убийств, сознательной порчи посевов и т. п.» (стр. 94, Смол. губ.). Это, разумеется, лучше политической пассивности и реальнее разговоров о «черном переделе». Но все же показывает полную неизвестность деревенской бедноте того обстоятельства, что существующая в стране власть пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством может сыграть весьма полезную и решающую роль во взаимоотношениях бедноты с противостоящей ей деревенской верхушкой.

Сделать это обстоятельство бедноте широко известным, понятным и очевидным всей совокупностью наших практических мероприятий в деревне и каждым из них в отдельности—вот задача. Вот та смычка,—политическая и производственная смычка беднацкого большинства деревни с городскими рабочими,—какая ставится на очередь дня всем внутренним и международным положением Советского Союза.

«Нужно использовать оживление классовой борьбы, связать маломощных с местной властью, втянуть их в политическую и культурную работу, и направить их силы на под'ем земледельческого хозяйства» (стр. 94, Смол. губ.),—такой вполне правильный вывод делают «Материалы» комиссии ЦК, открыто подчеркнувшей во введении как «частичную потерю ряда наших позиций в деревне», так и то обстоятельство, что мы имеем здесь дело не с каким-либо случайным подбором отдельных фактов: «по данным всего обследования обнаружились общие для самых разнообразных районов процессы, протекающие в зависимости от местных условий с разной интенсивностью, но в том же направлении (стр. IV).

При показанном в первых главах (на основании массовых общерусских данных) серьезном и значительном классовом расслоении—и российского крестьянства—наличность таких иллюстраций, как наблюдения комиссии ЦК в разных губерниях, сама по себе не удивительна. Удивительно тут другое—удивительно в изданных комиссией «Материалах» отсутствие хотя бы одного противопоказания. Это лучше всего показывает, насколько необходимо подвергнуть критической классовой переоценке деревенскую практику «первого периода нэпа» и определенно на практике проводить излагаемую нами линию «смычки».

12 июня 1923 г.

Великая историческая проверка.

А. Мартынов.

(Продолжение).

ЧАСТЬ 3-я. ИСПЫТАНИЕ МЕНЬШЕВИЗМА.

ГЛАВА I.

Война.

На Штутгартском Конгрессе Интернационала принято было дополнение к резолюции о войне, предложенное русско-польской соц.-демократической делегацией—Розой Люксембург, Н. Лениным и Л. Мартовым. Эта поправка гласила: «В случае войны надо бороться за ее скорейшее прекращение и в то же время «подымать массы, использовать созданный войной кризис для ускорения краха всего капиталистического строя».

Как видно было уже из дебатов на конгрессе, эта резолюция не разрешила, а лишь замазала те внутренние противоречия, которыми в одинаковой степени страдали позиции как французской, так и германской делегации, ибо каждая из них, обвиняя в империализме свое правительство, тем не менее не скрывала, что станет на защиту своего отечества, когда на него нападут. В резолюции, однако, об этом ни слова не говорилось, ибо это означало бы развязать руки империалистам. При таких условиях резолюция имела значение пустой угрозы.

Но русско-польская делегация, внося свое дополнение к резолюции, относилась к нему весьма серьезно, рассматривала его как обязательство, которое должен взять на себя Интернационал, и Роза Люксембург, защищая эту поправку на конгрессе, поясняла, что наша делегация под ней понимает призыв следовать примеру русской революции, которая «не только вышла из войны, но сама также послужила к тому, чтобы прекратить войну» [1]).

Как же русские соц.-демократы выполнили взятое на себя обязательство, когда разразилась мировая война? Большевики, оставаясь верными штутгартской резолюции, с самого начала выдвинули лозунг—«На империалистическую войну мы ответим подготовкой к гражданской войне»! У меньшевиков же после об'явления войны начался полный распад. Из руководящих элементов меньшевизма только эмигрантская группа Загран. Секр. Организ.

[1]) См. Г. Зиновьев, „Второй Интернационал и проблема войны". Сборник „Против течения", стр. 493, 494.

Ком. Р. С.-Д. Р. П. (П. Аксельрод, Мартов, Мартынов, Астров, Семковский), непосредственно наблюдавшая, как западно-европейские правительства при содействии соц.-патриотов обманывали свои народы, как в зап.-европейской кухне стряпались освободительные легенды, заняла определенно интернационалистскую позицию. Мартов, находившийся в Париже в день об'явления войны, был до глубины души потрясен взрывом шовинистических страстей под влиянием охватившей всех паники и повальным ренегатством социалистов и сразу же решил, как я убедился из его письма ко мне, написанного под непосредственным впечатлением убийства Жореса, что, когда патриотический угар пройдет, пролетариат возьмет страшный реванш за свое поражение. Соответственно с этим он писал 8 октября 1914 г. в парижском «Голосе»: «Задача завоевания политической власти властно встанет на очередь дня в час «ликвидации» нынешней войны. И в свете этой ослепительно яркой задачи расплывутся смутные очертания и созданных народным воображением мифов, и высиженных кабинетным путем маленьких утопий» [1]). Соответственно с этим он же писал: «С первых же дней кризиса для меня нет «слева» политических противников, а имеются лишь единомышленники по основному принципиальному вопросу, с которыми возможна и часто необходима борьба и жестокие споры по вопросу о методах отстаивания основных принципов. В этом отношении катастрофа создала повсюду новое положение, показав всем, для кого конечные цели и основные задачи демократии не стали звуком пустым, что в рядах рабочей демократии в продолжение текущего момента внутренний враг помещается *лишь направо* и что задаче борьбы с этим внутренним врагом должны быть при всех обстоятельствах подчинены задачи размежевания и идейной борьбы с «соседями слева». Кто этого не понял и дает себя смутить криками о «максималистской, синдикалистской и т. п. опасности», рискует никогда не выйти из невеселого положения сидящего между двумя стульями»... [2]).

Так смотрел на дело Мартов, и соответственно с этим он вел себя *в начале* войны. Такова же была точка зрения и моя, и Астрова; приблизительно такова же была точка зрения Семковского. Но полного единства и в редакции «Известий Загр. Секр. О. К.» не было, ибо П. Б. Аксельрод с самого начала и до конца чувствовал себя в этой коллегии, как пленник. Он неоднократно заявлял нам, что, несмотря ни на что, ему Плеханов более близок, чем Ленин. Отождествление поведения бельгийских и французских социалистов с поведением германских соц.-демократов он считал «не марксизмом, а цинизмом». Относясь отрицательно к шовинизму бельгийских, французских и германских социалистов, к тому, что они *вполне* солидаризировались со своими правительствами, к тому, что они поддерживают легенду об освободительном характере войны, к тому, что они все готовы вести войну до «победного конца», П. Аксельрод тем не менее восставал против тех, которые усматривали непосредственную причину распада Интернацио-

[1]) См. Л. Мартов. „Против войны!" Сборн. статей (1914—1916). Москва 1917, стр. 22.
[2]) См. ibid., стр. X, XI.

нала в «измене вождей» и в оппортунизме соц. партий. «Причину распада 2-го Интернационала,—говорил он,—нужно искать глубже, не в его оппортунизме, а в настроении народных масс, в «тысячелетиями» воспитанной привязанности людей к своей родине, к своему отечеству. Изжить этот патриотизм можно,—говорил он,—не «бунтарскими» методами, не «разрушением» своего «отечества» (кивок в сторону большевиков!), а постепенной интернационализацией, т.-е. об'единением повседневной будничной борьбы рабочего класса разных стран, интернационализацией той самой борьбы, которая и до войны велась социалистическими организациями, но лишь в национальных рамках». Соответственно с этим он задачей момента считал не борьбу со 2-м Интернационалом и не подготовку гражданской войны, а попытки соглашения и примирения ныне враждующих партий 2-го Интернационала при содействии социалистов нейтральных стран, после чего возможно будет общее согласованное «давление» восстановленного второго Интернационала на буржуазные правительства в целях заключения демократического мира [1]).

П. Аксельрод занимал по отношению к войне точно такую же позицию, как Каутский, Гаазе, Бернштейн, как весь правый болотный центр циммервальдийцев. В его интернационализме не было ни одного атома революционности. Это был чистейший пацифизм (миротворчество), приблизительно такой, как пацифизм английских буржуазных демократов Норманна-Анджелла и др., с той разницей, что П. Аксельрод шел с пальмовой веткой мира к социалистам, которые предали свое дело, которые изменили ему, между тем, как Норманн-Анджелл обращался со своими пацифистскими увещаниями к буржуазным правительствам, которые всегда были и остались себе верны в своем хищничестве.

Такова была позиция П. Аксельрода. Она, как читатель видит, очень сильно отличалась от позиции Мартова. Тем не менее и Мартов и мы, разделявшие его взгляды, худо или хорошо, все время работали с П. Аксельродом в одной тесной коллегии, и если П. Аксельрод имел мужество один раз, в Кинтале, отмежеваться от позиции Мартова, то Мартов, наоборот, во имя единства, во имя сохранения меньшевистской спайки, никогда публично не отмежевывался от П. Аксельрода. Уже это одно показывает, что и лучший из меньшевиков, Мартов, не был в состоянии последовательно и до конца выполнить ту задачу, которую он сам себе поставил в начале войны—содействовать завоеванию власти пролетариатом уже «в час ликвидации нынешней войны» и третировать как «внутренних врагов лишь тех, которые помещаются направо».

Но если у живших за границей Мартова и его единомышленников, наблюдавших события с международной вышки, было хотя бы преходящее настроение в пользу равнения налево, в пользу тесного сближения с большевиками, то руководящие элементы меньшевизма, жившие в России, находившиеся в окружении отечественной буржуазной стихией и наблюдавшие события с

---

[1]) Paul Axelrod, Die Krise und die Aufgaben der internationalen Socialdemokratie, Zurich 1915.

отечественной колокольни, наоборот, лишь укрепились во время войны в своем меньшевистском оппортунизме, и одни вслед за другими капитулировали перед буржуазией. Сначала капитулировала первая серия видных меньшевиков, открыто «приявших войну», а потом капитулировала вторая и последняя серия меньшевистских вождей, которая в принципе продолжала высказываться против войны, а на практике приняла участие в организации обороны.

Под чьим влиянием капитулировали меньшевики в России? Под влиянием «отечественного» пролетариата или под влиянием «отечественной» буржуазии? Зиновьев писал в 1915 г. «Эволюция ликвидаторства к социал-шовинизму теснейшим образом связана с эволюцией русского либерализма к национал-либерализму. Мы всегда рассматривали ликвидаторство, как продукт буржуазного влияния на некоторые круги интеллигенции, соприкасающиеся с пролетариатом, и на тонкий слой рабочих, предрасположенных к восприятию буржуазных идей» [1]. Зиновьев был прав, и Мартов в то время (в 1915 г.) высказался в том же смысле, хотя и с оговорками: «В тех шатаниях и колебаниях, которые проявились в начале нынешней войны среди части (?) «ликвидаторов» в России, несомненно, сказалась отрыжка тенденции 1909—1911 г.г. строить заранее будущее российского рабочего класса на *исторической победе* российской буржуазии в ее попытке через империализм—помимо коренного преобразования—итти к европеизации России» [2]. Что соц.-шовинизм меньшевистских вождей, «приявших войну» и скромно называвших себя «оборонцами», питался не настроением русских пролетарских масс, а настроением буржуазии, утверждали не только большевики и не только заграничные меньшевики-интернационалисты. Это подтверждали и корреспонденции из России, которые рядовые меньшевики посылали в 1915 г. нам в «Известия Загр. Секр. О. К.». Вот что, напр., писал корреспондент из Петербурга в № 4 «Известий»: «Как общее правило относительно всей России можно, не боясь ошибиться, сказать, что среди интеллигенции, в частности, литераторов, преобладает оборончество. То же самое,—и даже еще в более сильной степени, к сожалению, и среди самой верхушки наиболее развитых, об'интеллигентившихся, рабочих (они же как раз и наиболее квалифицированные и хорошо оплачиваемые). Но в широкой массе меньшевиков оборончество совершенно отсутствует и вызывает к себе самое озлобленное отношение [3]. Наконец, сами социал-шовинисты (А. Потресов и др.) подтверждали этот факт своими горькими жалобами на то, что русские рабочие «еще не доросли до патриотизма» [4].

Связь между обнаружившимся во время войны социал-шовинизмом меньшевиков-ликвидаторов, т.-е. правых меньшевиков, и национал-либерализмом

---

[1]) См. Г. Зиновьев, „Российская соц.-демократия и русский соц.-шовинизм,“ 1915 г. Сборн. „Против течения“, стр. 185.

[2]) См. Л. Мартов, „Против войны“. Сборн. статей (1914—1919 г.), „Война и росс. демократия“, стр. 59.

[3]) См. Л. Троцкий. „Война и революция“, т. II, стр. 186.

[4]) См. А. Н. Потресов, „О патриотизме и международности“, „Самозащита“, 1916.

нашей буржуазии не подлежит сомнению. Но этого мало. Можно с точностью установить полную зависимость тактики всего нашего меньшевизма в целом во время войны от тактики нашей либеральной буржуазии. Можно точно установить как колебания в тактике буржуазии сейчас же вызывали колебания в тактике тех или иных руководящих групп российского меньшевизма.

В истории нашей либеральной буржуазии за время войны можно отметить два периода: первый—от начала войны до осени 1915 г., т.-е. до первых крупных поражений русской армии, второй—от осени 1915 г. до февральской революции. Первый—был период наибольшего упоения империалистическими мечтами, наибольшего разгара хищнических аппетитов российской буржуазии и наиболее подлого, наиболее безоговорочного единения российского либерализма с царским правительством. Поведение российских либералов в первый год войны было только логическим выводом из той империалистической, «велико-державной» позиции, которую они заняли уже в 1907 г., с начала 3-июньского, столыпинского режима, когда они, окончательно поставив крест на революцию и на демократическую аграрную реформу, стали активно поддерживать царское правительство в его агрессивной политике на ближнем Востоке в расчете, что за эту патриотическую поддержку царизма *в кредит* либералы будут вознаграждены приобщением к власти.

Когда первые крупные поражения русской армии и обстановка этих поражений с очевидностью доказали, что царская бюрократия абсолютно неспособна будет довести страну до «победного конца», либеральная буржуазия, на этот раз возглавляемая крупным капиталом, несколько опохмелилась, изменила свою тактику и выдвинула лозунг—мобилизация общественных сил для содействия делу обороны страны. Так возникли земский союз, союз городов, военно-промышленные комитеты и т. д. Призывая общество к самодеятельности, либеральная буржуазия преследовала двойную цель: во-первых, увеличить обороноспособность страны, во-вторых, создать опорные пункты для борьбы с насквозь прогнившей царской бюрократией. Постепенно сосредоточивая в руках общественных организаций дело снабжения армии, либеральная буржуазия рассчитывала таким способом привлечь на сторону буржуазного «общества» симпатии армии или, точнее, ее командного состава и тем самым получить сильное средство для политического давления на царское правительство. Правительство это хорошо понимало, и конфликт между ним и между буржуазией не заставил себя долго ждать.

Какие же размеры и какие пределы имели оппозиционные оказательства буржуазии во второй период войны? Уже с самого начала видно было, что наша либеральная буржуазия в то время уже окончательно и бесповоротно изжила свои старые «демократические иллюзии» 1905 года. Милюков откровенно заявлял, что если б перед ним стоял выбор—поражение России или новая революция, он предпочел бы первое. О том, чтобы опереться на движение народных масс в своем конфликте с царской бюрократией, и речи не могло быть тогда у нашей либеральной буржуазии. Соответственно с этим

у них не было ни малейшей охоты переложить на свои плечи хотя бы часть тяжелого экономического бремени, которое война навалила на рабочих и крестьян. Напротив того, усиленно приглашая рабочих участвовать в военно-промышленных комитетах и усиленно пропагандируя необходимость установления «социального мира» на время войны, капиталистическая буржуазия, руководимая Гучковым, тут же на деле доказала, что она хочет использовать этот «социальный мир» не только в интересах обороны страны, но не в меньшей степени для выколачивания из рабочих военной «сверх-прибыли». Недаром она ходатайствовала об отмене на время войны всех ограничений в отношении пользования трудом женщин и подростков, в отношении продолжительности рабочего времени и сверхурочных работ. Недаром донецкие углепромышленники требовали отмены праздников и привлечения в возможно большем количестве дешевых рабочих рук—китайцев и военнопленных [1]).

Наша национал-либеральная оппозиционная буржуазия была настроена определенно враждебно к демократии и определенно контр-революционно. Несмотря на это ее конфликт с высшей бюрократией и с «темными силами», окружавшими престол, в конце 1916 г. и в начале 1917 г. выливался подчас в весьма острые формы. Оппозиционная буржуазия не только говорила резко-обличительные речи в Думе; она не прочь была прибегнуть к оружию террора в борьбе с придворной камарильей (убийство Распутина было симптоматично); она готовилась даже под конец к совершению дворцового переворота. Но все это делалось исключительно во имя «организации победы над немцами»; острие стрелы оппозиции направлялось исключительно против государственных изменников, или подозреваемых в измене, или сторонников «сепаратного мира» с Германией, против Мясоедовых, Сухомлиновых, Манусевичей-Мануйловых, Штюрмеров, Распутиных и т. п. Кампания против «темных сил» велась не в расчете на ее поддержку народом, а в расчете на ее поддержку, с одной стороны, Антантой, с другой, русским генералитетом или частью его.

Политическая программа оппозиции была до крайности мизерна. Буржуазная оппозиция, правда, не ограничивалась задачей устранения определенных лиц: она говорила о необходимости «изменения всей системы». Но под этими громкими словами—«изменение всей системы» понималось даже нечто меньшее, чем замена бюрократического правительства правительством, ответственным перед Думой. Когда на совещании оппозиционных членов Думы с Протопоповым, состоявшемся на квартире у Родзянки 19 октября 1916 г., Милюков заявил: «Теперь нужны чрезвычайные средства, чтобы внушить народу доверие», и когда Протопопов его оборвал: «Ответственное министерство? Ну, этого не добьетесь!», то в ответ раздались голоса: «Нет, министерство доверия!» [2]). Неудивительно, что, когда Штюрмера заменили Треповым, думский «прогрессивный блок» усмотрел в этом «победу оппозиции» (!) и, когда социал-демократы и трудовики устроили в Думе этому

[1]) См. А. Шляпников, „Канун семнадцатого года", часть I, стр. 86, 87.
[2]) См. А. Шляпников, „Канун семнадцатого года", часть II, стр. 106.

новому премьеру, столь прославившемуся своими контр-революционными подвигами, враждебную демонстрацию, «прогрессивный блок» смутьянов исключил на восемь заседаний [1]). Ясно, что ссора между либеральной буржуазией и высшей бюрократией, или между современной земщиной и опричниной, какие бы она острые формы ни принимала моментами, была ссора семейная. Это был «скандал в благородном семействе», который пролетариат мог интересовать лишь, насколько он вносил разноречие в правительственные сферы. Таковы были две фазы, две смены в тактике российского национал-либерализма во время войны, и они-то имели решающее значение для тактики российских меньшевиков: первая—определила поведение правых меньшевиков-ликвидаторов в первый год войны, вторая—более левых, име новавших себя во время войны «циммервальдийцами», во второй год войны. И те, и другие ровнялись по либеральной буржуазии.

Когда разразилась война и когда наша национал-либеральная буржуазия спустила с цепи всех своих борзописцев, которые, скромно умалчивая про деяния Николая Кровавого, отводили душу на травле германского «кайзера» и под флагом борьбы с «кайзером» разжигали шовинистические страсти у мещанства, на их удочку прежде всего поймались меньшевики-ликвидаторы—главный штаб редакторов и сотрудников «Нашей Зари» и «Нашего Дела», большинство которых впоследствии участвовали в составлении пресловутого сборника—«Самозащита». Тут были и А. Потресов, и В. Засулич, и Н. Череванин, и П. Маслов, и Левицкий, и Е. Маевский, и К. Дмитриев (Колокольников), и Э. Смирнов, и Батурский, и Б. Богданов, и Гвоздев и т. д. Все они в России пели в унисон тому, что за границей пели оголтелые социал-патриоты Г. Плеханов и Алексинский. Большинство меньшевистских литераторов и почти все меньшевистские деятели открытого, легального рабочего движения сразу и целиком капитулировали перед буржуазной стихией.

Свою позицию они определили уже осенью 1914 г. в своем ответном письме на телеграмму Вандервельде, пропущенную русской военной цензурой, в котором они писали: «Министру Вандервельде. Дорогой товарищ!.. В этой войне ваше дело есть правое дело самозащиты против тех опасностей, которые грозят демократическим свободам... Независимо от тех целей, которые ставили и ставят себе великодержавные участники этой войны, об'ективный ход событий поставит на очередь дня вопрос о самом существовании той цитадели современного милитаризма, какой является прусское государство... Но, к сожалению, пролетариат России не находится в том положении, в каком находится пролетариат других стран, воюющих с прусским юнкерством... Международное положение осложняется тем, что в настоящей войне с прусским юнкерством участвует другая реакционная сила—русское правительство... Пролетариат России лишен всякой возможности выражать свое коллективное мнение и осуществлять коллективную волю... Печать уничтожена, тюрьмы переполнены. Это лишает соц.-демократию России возможности занять в настоящий момент ту позицию, которую заняли социалисты Бельгии, Фран-

[1]) См. ibid., стр. 28.

ции и Англии и, активно участвуя в войне, взять на себя ответственность за действия русского правительства... Но, несмотря на наличность всех этих условий... мы заявляем всем, что в своей деятельности в России мы не противодействуем войне»... [1]). Смысл этого письма был ясен: война Антанты с Германией есть война справедливая, освободительная. Если б мы, меньшевики, не жили под пятой царя, если бы мы были на месте французских, английских или бельгийских социалистов, мы бы тоже взяли на себя ответственность за действия правительства, т.-е согласились бы взять министерские портфели. Теперь же мы ограничиваемся тем, что «не противодействуем войне», т.-е. на время войны отказываемся и предлагаем русскому пролетариату отказаться от революционной борьбы с царизмом в надежде, что, когда Ллойд-Джордж, Мильеран и Пуанкаре доведут войну до «победного конца», они уничтожат «цитадель милитаризма» и освободят угнетенные народы, давая таким образом и нам возможность чем-нибудь поживиться на празднике свободы. Чем эта позиция меньшевиков-оборонцев отличалась от позиции наших национал-либералов, тоже рассчитывавших через победоносную империалистическую войну притти к либеральной «конституции»? Только тем, что меньшевики-оборонцы не стремились водрузить крест на св. Софии, и тем, что они горько жаловались на гнет царского самодержавия. Но эта «гражданская скорбь» и эти благие намерения никому не были опасны (благими намерениями, как известно, устлан ад). На деле же, поскольку они обязывались удерживать пролетариат от революционной борьбы, они помогали царскому правительству в деле завоевания Константинополя, Галиции и т. д., и т. д. и вместе с тем помогали укреплению царской монархии. Только этого и требовали от них господствующие классы: аргументами более понятными и более доступными рабочим (на то они социал-демократы!) побуждать пролетариат делать то, что идет на пользу его классовым врагам.

Взгляды, которые были высказаны в письме к Вандервельде, меньшевистские социал-патриоты впоследствии всесторонне раз'ясняли, уточняли и пропагандировали. Череванин, как меньшевистский «политик», специализировался на пропаганде умной теории, об'ясняющей (с запозданием на сто лет) мировую войну XX века борьбой западной буржуазной демократии против прусского феодализма и юнкерства; Маслов, как теоретик в области «народного хозяйства», специализировался на пропаганде идеи, что русский пролетариат во имя своих классовых интересов обязан вести войну с Германией ради заключения выгодного торгового договора и сохранения высоких таможенных ставок, подобно тому, как все Зюдекумы и Кольбы германского оппортунизма доказывали, что германский пролетариат должен вести «колониальную политику». А. Потресов, наконец, как специалист по части «идеологии и социальной психологии», прикрасил и увенчал все эти оппортунистические пошлости новой теорией патриотического интернационализма. «Интернационализм,—писал он с пафосом,—является дальнейшим развитием патриотизма, приложением в большем масштабе тех же мыслей и чувств...

[1]) См. А. Шляпников, „Канун семнадцатого года", часть I, стр. 53, 54.

через патриотизм—иного пути нет—в международное царство братства и равенства»... В Зап. Европе пролетариат, как показала война, «теперь только подошел к порогу международности». Там «национально-государственная гражданственность» есть сейчас «левиафан», а «международная гражданственность» пока что «пигмей-эмбрион». Что же касается России, то нам и мечтать еще рано об интернационализме. «Мы с своей стороны не дошли до черты патриотизма, как массового общественного явления... И потому дорваться России до патриотизма значит дорваться до Европы, стряхнуть с себя мертвые об'ятия азиатчины» [1]). А. Потресов, как я уже показал в 1916 г. в своей полемической брошюре, направленной против него, твердил старые буржуазно-демократические зады. Он опоздал со своим «новым словом» для западных социалистов на полвека, а для русских—лет на сто! Западный социализм он тащил назад ко времени возникновения Первого Интернационала, а нас он тащил назад (к Пушкину и Рылееву). Было, действительно, время на Западе, когда «международность» непосредственно выросла из патриотизма. Это было время буржуазных революций и национально-освободительных войн от конца XVIII до средины XIX века. Но то была другая «международность» и другой патриотизм. Во-первых, та «международность» была не пролетарская, а буржуазно-демократическая; ее лозунг был не союз пролетариев всех стран, а братский союз национально-обособленных государств, связанных свободной торговлей, союз. который, кстати говоря, буржуазия никогда не в состоянии была осуществить. Во-вторых, то был патриотизм революционный, который толкал народы на борьбу со своими угнетателями, а не на мир между волками и овцами и вместе с тем патриотизм космополитический, а не зверино-националистический, не шовинистический. В отличие от того старого, революционного патриотизма современный социал-патриотизм был глубоко реакционный по своим последствиям и глубоко оппортунистический по своему происхождению. Никакие потресовские румяна не могли сделать Зюдекумов и Альбертов Тома́ похожими на Дантона или Гарибальди, ибо характерной чертой для наших современных социал-патриотов была их нечистая совесть: они знали, что война была империалистическая, они знали, какую задачу она поставила перед Интернационалом, но они не смели, не имели мужества ее выполнить, ибо задача была очень велика, а в их груди жили две души—пролетарская и мещанская [2]).

Как мы, заграничные меньшевики-интернационалисты, реагировали на то, что меньшевики в России по всей линии капитулировали перед буржуазной стихией?

Мы с самого начала мировой войны определенно утверждали, что конец ее будет началом эпохи социалистических революций в Западной Европе. что, если в минувшую эпоху завоевание политической власти пролетариатом Интернационалу рисовалось как более или менее отдаленная конечная цель, то теперь, после мировой войны, борьба за пролетарскую власть станет прак-

[1]) А. Потресов, „О патриотизме и международности", „Самозащита".

[2]) См. А. Мартынов, „Международность на Западе и на Востоке", Издательство „Книга", 1916.

тической задачей дня на Западе. Под этим углом зрения мы смотрели и на грядущую русскую революцию, которая, по нашему мнению, должна была вспыхнуть в результате войны и подготовляться уже во время войны. Мы, правда, считали по-прежнему, что в отсталой России революция будет буржуазно-демократическая и уже с начала второго года войны мы в нарастающем конфликте между нашей буржуазией и гнилой феодально-бюрократической властью усматривали симптомы приближения этой революции, ибо мы видели, как этот конфликт подтачивает силу и авторитет правительства. Тем не менее мы были убеждены, что во второй русской революции пролетариату с первых же шагов придется вести борьбу не в союзе с либеральной буржуазией, а против нее, что против народной революции, которая неизбежно расстроит империалистические планы отечественной и союзнической буржуазии, последние выступят единым контр-революционным фронтом и что полная и окончательная победа русской революции возможна будет только в том случае, если она послужит прологом к социалистическим революциям на Западе. Соответственно с этим мы призывали меньшевиков, учитывая новое историческое положение, созданное мировой войной, по новому ориентироваться в своей тактике. Мы не только предостерегали их против вступления в военно-промышленные комитеты в целях «использования» «патриотической» оппозиции буржуазии против бюрократии, но вообще предостерегали их против выставления, хотя бы временами, общих с либеральной буржуазией политических лозунгов, как меньшевики это делали во время 1-ой и 2-ой Государственной Думы во имя единства общенациональной оппозиции. Наша позиция того времени нашла себе очень верное отражение в сборнике переизданных в России статей Мартова за 1914—1916 г.г.—«Против войны!». В напечатанном там письме Мартова к редакторам и сотрудникам «Нашей Зари» от декабря 1914 г. мы читаем: «Более или менее длительная, более или менее мучительная новая фаза развития международного капитализма становится отныне неизбежной: фаза, которой об'ективная тенденция будет заключаться в создании мировой, сверх-капиталистической империи, грандиозного всемирного треста, господствующего над народами путем частью «приручения» крохами с пира империалистской наживы... но, главным образом, путем доведенного до высшего совершенства и в этой войне испробованного аппарата истребительных средств... Для демократии (читай: соц.-демократии. *А. М.)* эта перспектива означает наступление периода решительной непосредственной борьбы за овладение властью в развитых капиталистических государствах, как единственного выхода из тупика, в который загоняет общество империализм. Между прочим, для русских марксистов, поскольку Россия не участвует непосредственно в борьбе за капиталистическую гегемонию и поскольку пролетариат российский непосредственно не затронут противоречиями переходного момента, разбившими единство европейского пролетариата (это писалось еще в конце 1914 года! *А. М.)*—для русских марксистов является вопросом и теоретической и политической чести не только отстоять, так сказать, свое политическое целомудрие во всеобщем хаосе, но и действовать своим примером на западно-европейскую демокра-

тию (читай: соц.-демократию. *А. М.)*, показывая ей в момент всеобщей растерянности и отступлений с классовых позиций лицо действительно непримиримого марксизма. С этой точки зрения уже многое сделано (меньшевиками в России! *А. М.)* для нашего скомпрометирования... [1]). В таком же духе писал Мартов через 10 месяцев, в октябре 1915 года: «Всемирная война открывает собой эпоху мировых общественных потрясений, которых логически предвидимым конечным пунктом должно, очевидно, явиться крушение капиталистического производства и переход власти над общественными производительными силами в руки наследника—буржуазии... Ни широким слоям имущих, ни миллионным массам пролетариата уже не знать того «покоя», который характеризовал собою предыдущую эпоху... Свою борьбу в своей стране она (русская рабочая демократия) должна рассматривать, как часть международной борьбы демократии (читай: пролетариата. *А. М.)* против международной империалистической реакции... Исходным пунктом общественного кризиса в России является вызванное неудачами столкновение имущих классов, опирающихся на недовольство масс, с привилегированными группами. Выросшее из этого столкновения движение об'единено идеей национальной обороны. Демократия (читай: соц.-демократия. *А. М.)* должна, конечно, поддерживать это движение, поскольку оно расшатывает господство Марковых... Но поддерживать руководимое буржуазией движение не значит—итти у него на поводу. Поддерживая данное движение, как движение против реакции, демократия не поддерживает его лозунгов. Она критикует одни из них, как половинчатые и недостаточные (общественное министерство); она выступает прямо против других, как враждебных интересам демократии («война до конца!», «борьба с немецким засильем!», «никаких выступлений!» и т. д.)... Все движение рабочей демократии должно быть воодушевлено и об'единено идеей борьбы за ликвидацию мирового катаклизма и коренную ликвидацию общественного зла. Организовывать свои силы и укреплять свои позиции она должна поэтому не примазываясь и не приспособляясь к руководимому буржуазией национально-оборонческому движению, а противопоставляя ему свои международные задачи и рассчитанные на международную классовую солидарность методы действия»... [2]).

Из этих цитат видно, что мы, заграничные меньшевики-интернационалисты, в постановке политических задач принципиально расходились не только с оборонцами-ликвидаторами, но и с теми, проживавшими в России, меньшевиками, которые именовали себя циммервальдийцами. Из этого расхождения нужно было сделать определенные практические выводы, но... мы их делать не решались. В первый год войны, когда под оборонческим флагом выступили ликвидаторы, мы утешали себя тем, что грехопадение совершила только часть меньшевиков, определенно ликвидаторская (социал-патриот

---

[1]) См. Л. Мартов, „Русский марксизм и война", Сборник „Против войны", стр. 43, 45 и 46.

[2]) См. Л. Мартов, „Война и российская демократия", ibid., стр. 53, 69, 70. Нужно иметь в виду, что обе цитируемые статьи из сборника „Против войны" написаны были эзоповским языком, применительно к русской цензуре.

Плеханов был не в счет; он, качнувшись сначала влево, уже до войны порвал с нами); в первый год войны мы утешали себя тем, что и меньшевистская думская фракция, и инициативные группы, и ряд видных меньшевистских деятелей в России высказались за Циммервальдийскую платформу. Мы, поэтому, в то время считали себя вправе, как заграничные представители О. К., отстаивать свою интернационалистскую позицию от имени меньшевизма в целом. Когда же возник вопрос об участии в военно-промышленных комитетах и когда выяснилось, что в этом принципиальном вопросе все русские меньшевики-циммервальдийцы не с нами, а с оборонцами, мы почувствовали, что Заграничн. Секр. Орг. Ком. повис в воздухе. Если бы мы имели мужество смотреть правде в глаза, мы должны были себе сказать: не только определенные ликвидаторы, но и меньшевизм в целом обанкротился так же, как обанкротился весь Второй Интернационал; отныне наши пути с ними расходятся; отныне нам по пути только с большевиками. Но на этот разрыв с меньшевизмом, а стало быть и со своим собственным прошлым, мы не решались итти. В результате мы заняли двусмысленную позицию: в надежде, что меньшевики-циммервальдийцы в России рано или поздно на опыте убедятся в нашей правоте и образумятся, мы весьма мягко и осторожно критиковали их тактику в своей переписке с ними, и в то же время, в своих выступлениях перед зап.-европейскими товарищами, всячески старались благожелательно истолковать их поведение, сглаживая углы и скрашивая факты. Эта наша оппортунистическая политика по отношению к русским меньшевикам и особенно по отношению к нашей думской фракции, эта политика, которая, кстати говоря, вызвала резкие нападения на нас не только со стороны большевиков, но и со стороны Троцкого, окончательно разошедшегося на этой почве с Мартовым, побудила нас и в западно-европейских группировках, на Кинтальской конференции, примкнуть к болотному центру, из которого впоследствии вылупился 2½ Интернационал.

Мертвый хватает живого, как гласит французская поговорка. Наше меньшевистское прошлое лишало нас способности последовательно проводить в жизнь свои интернационалистские взгляды. Но меньшевизм был у нас не только пережитком прошлого. Он наложил свой отпечаток и на наши современные взгляды на войну и революцию. Это выразилось особенно ясно в нашей программе мира.

В Циммервальде выдвинут был лозунг, приобревший большую популярность,—«Мир без аннексий и контрибуций»! Мы, заграничные меньшевики-интернационалисты, в «Известиях Загр. Секр. О. К.» дали этому лозунгу своеобразное толкование: война должна быть ликвидирована так, чтобы не было ни победителей, ни побежденных, а это будет достигнуто восстановлением того положения, которое было до войны, восстановлением statu quo ante. Мы знали, что империалистская война подняла, или, вернее, воскресила ряд больных национальных вопросов, которые властно требуют своего решения. Тем не менее мы упорно настаивали на том, чтобы решение всех этих сложных и спорных вопросов было отложено на будущие времена, чтоб

в настоящее время все внимание было сосредоточено на скорейшей ликвидации войны на основе восстановления того неустойчивого международного равновесия, которое было нарушено войной. Нашу программу мира подвергали критике и социал-патриоты, и большевики, и Троцкий, который еще в 1914 г. в своей немецкой брошюре, посвященной вопросу о банкротстве Второго Интернационала, доказал невозможность восстановления довоенной карты Европы, и, в частности, неизбежность распада лоскутной Австрийской империи [1]). В чем же были причины расхождения по этому вопросу между нами и нашими критиками слева? И мы и они одинаково были убеждены, что радикальное решение больных национальных вопросов возможно будет только в результате победоносной социалистической революции, что империалистическая война сможет дать только фиктивную независимость маленьким угнетенным нациям. Но мы расходились во взглядах на пути от войны к революции. Мы говорили: *Раньше мир, хотя бы и гнилой, под «давлением» народов, а потом социалистическая революция.* Когда народы убедятся, говорили мы, что кровопролитная война ничего не изменила, что она была совершенно бесплодна, то у них неизбежно возникнет возмущение против виновников этой бесплодной войны, и это возмущение тем легче выльется в форму революции, что народы в условиях восстановленного мира не будут иметь основания опасаться, что неприятель разгромит их отечество. Наши противники слева (большевики и Троцкий) говорили наоборот: *Раньше революция, а потом мир, но зато мир не гнилой, а прочный, на основе радикального решения национальных вопросов.* История показала, что правы были не мы, а наши противники слева. Именно потому, что мир ни в чью лишил бы войну с ее бесчисленными жертвами всякого оправдания в глазах одураченных народов, виновники этой войны, поскольку они имели хоть малейший шанс победить, не могли с таким финалом примириться и, как мы знаем, более сильная сторона действительно довела свое кровавое дело до конца. При таких условиях, пролетариат, желавший демократического мира, мог в каждой данной стране добиться его только, сломив предварительно силу своего империалистического правительства, т.-е. совершив революцию, а чтоб он был готов ее совершить, нужно было выставить великую цель, нужно было выдвинуть неурезанную программу революции, и, в частности, неурезанную национальную программу, тем более, что постановка национального вопроса в странах со смешанным населением являлась очень сильным революционным фактором. Почему же мы, меньшевики-интернационалисты, тоже державшие курс на социалистическую революцию, откладывали на будущие времена решение национальных вопросов? Только потому, что мы, страдая меньшевистской боязнью разрухи и «анархии», серьезно не верили или боялись развития революции уже в условиях войны. Поэтому наше преимущество перед другими меньшевиками сводилось в конце концов к тому, что мы, выражаясь словами Мартова, «хранили свое политическое целомудрие во всеобщем хаосе», что мы не грешили, не высказывались за

[1]) См. L. Trotzky, „Der Krieg und die Internationale".

«защиту отечества», не высказывались за вхождение в военно-промышленные комитеты, не высказывались за коалицию с либеральной буржуазией, но, не греша, мы оставались более или менее пассивными зрителями стихийно развивающихся событий. Неудивительно поэтому, что на ход событий влияли не мы, а оборонцы—в одном направлении и большевики—в противоположном. Такова уже была судьба всех членов 2½ Интернационала! В результате нас и во время войны, и во время февральской революции ругали и меньшевики, от Потресова до Дана, справа, и большевики слева,—и те, и другие не без основания...

Грехопадение ликвидаторов в первый год войны не захватило всего меньшевизма в целом. Меньшевистская Думская фракция, как известно, демонстративно ушла с заседания, когда голосовались военные кредиты, и даже исключила Манькова из своего состава за то, что он остался и воздержался при голосовании. Вся думская фракция, за исключением Чхенкели, была настроена антиоборонческй. Еще более отрицательно относились к оборончеству меньшевистские «инициативные группы», ведшие нелегальную работу среди рабочих. Так же был настроен ряд видных меньшевиков, сохранивших преемственную связь со старой партией. Когда в 1916 году появился боевой оборонческий сборник—«Самозащита», упомянутые элементы меньшевизма (кроме дипломатов—членов думской фракции) заодно с заграничными меньшевиками-интернационалистами опубликовали в № 27 самарского «Нашего Голоса» «открытое письмо» с протестом против оборонческого сборника. Под протестом значились подписи: П. Аксельрода, Л. Мартова, А. Мартынова, Ф. Дана, И. Церетели, И. Бэра, С. Семковского, Астрова, Ю. Ларина, В. Звездина, Т. Морана, Ст. Горловского, В. Майского, Г. Осипова, С. Далина, С. Ратового, А. Рыбакова, Раф. Григорьева, А. Ерманского, Л. Соломина, В. Ежова, Е. Львова. Случайно пропущены были подписи З. Олова и Спектатора. Письмо протестовало против «реакционно-эклектического круга идей», обосновываемых в сборнике «Самозащита», и в особенности против «попыток отклонить думскую фракцию от верной линии». Письмо заканчивалось словами: «Мы знаем, что *окончательные выводы из идейного блуждания в части меньшевистского лагеря смогут быть сделаны лишь впоследствии, когда зафиксируется позиция этой части* (курсив мой. *А. М.*)... но появление сборника «одиннадцати» обязывает каждого уже теперь гласно определить свое отношение к идейному расхождению в меньшевизме. Мы приглашаем, поэтому, единомышленников отозваться на наше выступление без излишней боязни скомпрометировать уже не существующее единство направления, без попыток затушевать действительную глубину расхождения. Пусть каждый сделает свой вывод» [1]).

Это было формальное отмежевание, но серьезных практических последствий оно не имело. Коллективный протест против «оборонцев», инициатива которого исходила от заграничных меньшевиков-интернационалистов, был,

[1]) См. „Известия Загр. Секр. Орг. Ком. РСДРП" № 5, 10 июня 1916: „Протест против Самозащиты".

во 1) формулирован недостаточно решительно, во 2) явился слишком поздно. Уже задолго до его опубликования все жившие в России меньшевики-«циммервальдийцы» и в том числе те, которые подписались под протестом скатились, если не в теории, то на практике, в то самое болото, в котором копошились оборонцы-ликвидаторы. Это случилось, как я уже говорил, в связи с переменой позиции нашей национал-либеральной буржуазии, которая после поражения на фронте решила мобилизовать общественные силы, решила, что «общественность» должна самостоятельно, независимо от бюрократии, взяться за обслуживание армии. Когда с этой целью были организованы военно-промышленные комитеты и когда организаторы их стали зазывать рабочих исполнить свой патриотический долг и, «отложив свои счеты» с буржуазией, принять участие в работе комитетов, на зов этих «Мининых и Пожарских» откликнулись не только меньшевики-«оборонцы», но и меньшевики-«циммервальдийцы». И те и другие решили пойти в военно-промышленные комитеты. Разница была лишь в мотивировке. Первые шли для участия в «обороне» России, вторые—в целях «использования» «легальной возможности», для организации пролетариата. Первые меньшевики-«циммервальдийцы», сообщившие нам за границу, в редакцию «Известий Загр. Секр. О. К.», что они считают целесообразным принять участие в военно-промышленных комитетах, были Ф. Дан и И. Церетели, находившиеся в то время в ссылке в Сибири. Это были первые ласточки того направления, которое впоследствии, во время февральской революции выступило под флагом так назыв. «революционного оборончества». После этого мы получили две декларации—одну, подписанную «петербургской с.-д. инициативной группой» и «московской группой с.-д. меньшевиков», вторую,—подписанную «петербургской организацией с.-д. меньшевиков», т.-е. той же «инициативной группой». В обеих этих декларациях ход мысли и практические выводы были совершенно такие же, как и в сибирском письме Ф. Дана и Церетели, и сотканы они были из тех же противоречий. Мне неизвестно, столковались ли авторы столичных деклараций с авторами сибирского письма, или самостоятельно пришли к тем же выводам,—но столковаться им было во всяком случае не трудно, ибо позиции тех и других вытекали из самой природы меньшевизма. Неудивительно поэтому, что, когда Мартов от нашего имени, т.-е. от имени Загр. Секр. Орг. Ком., в письме подробно раз'яснил им, какое роковое значение будет иметь вхождение меньшевиков в оборонческую организацию военно-промышленных комитетов, его голос прозвучал, как глас, вопиющий в пустыне.

Обширная декларация петербургских и московских меньшевиков [1]), дает ключ к пониманию тактики центрального ядра меньшевизма не только во время войны, но и во время февральской революции. Поэтому на ней стоит подробнее остановиться. В первой части декларации обстоятельно обосновывается интернационалистская позиция и всесторонне критикуется позиция западно-европейских и российских «оборонцев». Там доказывается, что «разра-

---

[1]) См. „Петербургские и московские меньшевики о войне" „Извест. Загр. С.О.К." № 5.

зившаяся война есть империалистическая и только империалистическая», что «ее исторический смысл в угнетении, а не в освобождении наций», что в настоящее время нигде в Европе нет на-лицо «материальных демократических гарантий» для соблюдения чисто оборонительного характера войны, что и в демократической Франции «военная панама... показала, что народ не знал не только политической, но и простой фактической правды о военных делах». Там доказывается, что неизбежный «практический вывод из позиции обороны» есть—«голосование за военные кредиты, гражданский мир, священное единение, отказ от классовой борьбы», что эта позиция «обязывает низшие классы к максимальному политическому воздержанию и исключает всякую борьбу за демократизацию страны». Там рассеиваются страхи, распространяемые «оборонцами», будто «России угрожает экономическое порабощение и политическое расчленение», будто «будущий русско-германский договор, понизив наши ввозные пошлины, превратит Россию в германскую колонию и убьет русскую промышленность». Там правильно по этому поводу говорится: «повторять сказки об экономическом порабощении России—значит лить воду на мельницу экономической демагогии, исходящей из среды русских синдикатчиков». Из всех этих и подобных рассуждений делается вывод: «не оборона, а только борьба за мир отвечает интересам международного пролетариата и интересам каждого из воюющих народов. Эта борьба за мир... становится уже реальным фактом... Очередной задачей провозгласила ее и социалистическая конференция в Циммервальде».

Эти все хорошие вещи говорятся в принципиальной, парадной части декларации, но... вслед за принципиальной частью идет тактическая, специфически меньшевистская, и тут-то сводится к нулю все, что раньше говорилось.

Вторая часть декларации, тактическая, ни в какой логической связи не стоит с первой, она вытекает не из нее, не из Циммервальдской платформы, а из следующего многозначительного положения: «Главнейшей из этих бед, которые обрушились на Россию, является та экономическая разруха, то политическое разложение, к которому правительство привело страну уже до войны и которое с развивающимся мировым кризисом приняло особенно угрожающие размеры... Этот развал—вот самая подлинная и реальная опасность, стоящая перед нами. *Ее устранит только организационная и созидательная деятельность демократии*». В этих строках заключается вся квинт-эссенция меньшевистского оппортунизма. Из них вытекают и практические выводы декларации и вся дальнейшая политика так наз. «революционных оборонцев» во время февральской революции. Если б авторы декларации поставили во главу угла «борьбу за мир», они бы ради этого должны были об'явить революционную, гражданскую войну всем тем классам в нашем отечестве, которые стояли за империалистскую войну «до победного конца», т.-е. и царскому правительству, и помещикам, и капиталистической буржуазии, а этого нельзя было осуществить *без непосредственного увеличения разрухи* в стране, ибо безболезненных революций на свете никогда не было, как не было безболезненных родов. Наоборот, ставя во

главу угла борьбу с разрухой, порожденной войной, путем «организационной созидательной деятельности демократии», т.-е. путем штопания дыр в существующем строе, они должны были притти к сотрудничеству с буржуазией в оборонческих организациях, а, стало быть, и к косвенной поддержке войны, и вместе с тем к принижению своих политических лозунгов применительно к лозунгам наших национал-либералов, и они к этому пришли уже в цитируемой мною декларации. Вот, что мы, например, читаем в ее заключительной части: «Война широко развернула уже процесс организации в России общественно-политических сил. Буржуазная оппозиция... вступила, наконец, на путь собирания распыленных общественных сил. В интересах пролетариата поддерживать организационно-политическую работу оппозиции, влить в эту работу силы широкой демократии»... «Его очередные организационные планы должны быть направлены по пути намечающихся общих организационных процессов в стране через продовольственные ячейки, военно-промышленные комитеты, через всякого рода общественные организации, служащие собиранию народных сил»... «Поскольку в ряде требований это содержание (национально-общественного строительства) будет сближать пролетариат с другими классами и политическими группами, постолько он не должен отказываться от коалиции оппозиционных сил... Свои первые удары он должен обратить не на противников будущей полной демократизации России (т. о., не на буржуазию. *А. М.)*, а на сторонников нынешней дворянско-бюрократической диктатуры. *Стремясь* к созыву Учредительного Собрания, пролетариат в интересах организации демократии и мобилизации творческих сил страны должен поддерживать буржуазию в ее требованиях смены власти, перемены правительственной системы, демократизации самоуправления, свободы коалиции, свободы печати». Итак, борьба за Учредительное Собрание и полную демократизацию России должна быть отложена на будущие времена, оставаясь пока лишь «стремлением»; сейчас же нужно ограничиться «поддержкой буржуазии» в ее борьбе с «дворянско-бюрократической диктатурой» в ее требовании «смены власти», которая в лучшем случае могла означать смену бюрократического правительства ответственным думским министерством, которая фактически до февральской революции никогда не шла дальше требования назначения министерства, пользующегося «доверием общества», т.-е. не шла дальше требования замены Штюрмера Гучковым. Вот к чему свелась «борьба за демократизацию страны» в декларации меньшевиков-«циммервальдийцев», стремившихся во что бы то ни стало примазаться к «общенациональному движению»! А к чему свелась их программа борьбы за мир? Это видно из следующих заключительных слов декларации: «Вопрос о мире должен быть поставлен сейчас в выступлениях с думской трибуны (оно уже было), в требованиях к господствующим классам открыто и точно формулировать мыслимые ими условия будущего прочного мира, в формулировке самой с.-д. этих условий— самоопределение национальностей, отказ от аннексий, международный представительный орган для улаживания международных отношений («Лига наций»!? *А. М.)*—и в требовании признания за народным представительством

верховных прав в области внешней политики». Итак, вся «борьба за мир» должна свестись к тому, что соц.-демократия сформулирует свои требования и предложит господствующим классам открыто и точно формулировать свои условия мира, после чего, надо полагать, между обеими сторонами произойдет нечто вроде парламентской дискуссии. О революционной борьбе с теми классами и силами, которые развязали войну и которые продолжают ее вести с остервенением, в декларации не говорится ни слова, и это молчание тем более красноречивое, что авторы декларации одновременно с пред'явлением своей программы мира предлагали рабочим вступить в военно-промышленные комитеты, которые были созданы специально для облегчения ведения войны и в которых даже для парламентских дискуссий о прекращении войны не могло быть места. Вот оно, что значит, «организационная и созидательная деятельность» в такое время, когда нужно делать революцию, т.-е. заниматься в первую очередь «разрушительной» деятельностью!

Таковы были декларации. За декларациями последовали дела. 27-го сентября 1915 года состоялись выборы в Центральный Военно-Промышленный Комитет представителей от рабочих Петрограда. Выборы были двухстепенные: выбирались уполномоченные, которые должны были выбрать из своей среды членов комитета. В выборах участвовали 250 тыс. рабочих. Результат выборов на первой стадии был такой: из 212 уполномоченных 90 высказались определенно против участия в дальнейших выборах в военно-промышленный комитет, т.-е. за его бойкот, 81 уполномоченных высказались определенно за дальнейшие выборы, а 41 никакой позиции не заняли. Значительное большинство первой группы (90 уполномоченных) были большевики, затем левые эс-эры и несколько меньшевиков-интернационалистов. В состав второй группы (81) входят почти все меньшевики, все сторонники О. К. и «августовского блока», начиная от крайних «оборонцев» и кончая «циммервальдийцами», стоявшими за «использование» военно-промышленных комитетов; сюда же входили правые эс-эры. Выборы на первой стадии показали, что большинство сознательных петербургских рабочих, т.-е. рабочих, занявших определенную политическую позицию в вопросе о войне, высказалось решительно против участия в военно-промышленых комитетах. Но меньшевики с этим ни за что не хотели примириться. И вот, меньшевик-«оборонец» Гвоздев, председатель собрания уполномоченных, воспользовавшись тем, что большевики совершили неосторожность, что они провели на собрании по бумагам одного из выборщиков-рабочих своего агитатора, публично это разоблачил (т.-е. учинил донос!) и на этом основании потребовал кассации решения собрания. Не желая, однако, рисковать вторично апеллировать к массам и устроить вторичные выборы на заводах, Гвоздев добивался от Центрального военно-промышленного комитета и добился вторичного созыва прежней коллегии уполномоченных, и на этом вторичном собрании, состоявшемся 29 ноября 1915 г., ему удалось, благодаря отсутствию предвыборных совещаний и после демонстративного ухода интернационалистов, путем соответствующей «обработки» выборщиков, не занявших на первом собрании никакой определенной позиции, сколотить отно-

сительное большинство (95 из 212) в пользу вхождения в комитет. Таким образом, в Петербурге была сфальсифицирована, подтасована воля сознательного пролетариата [1]). В Москве выборы прошли более удачно для «оборонцев»: там только ¼ уполномоченных высказались за бойкот военно-промышленных комитетов. Но и московская «победа» оборонцев была совершенно фиктивная, в чем сами оборонцы вынуждены были признаться. Вот что, напр., о московских выборах писала социал-патриотическая «Народная Газета»: «Московские рабочие выбирали своих представителей в учреждение, о котором ровно ничего не знали. Никакой предвыборной кампании в Москве не было... Наконец, в самых выборах уполномоченных принимало участие поразительно ничтожное количество рабочих... Примеры: у Шрадера, где 1.105 рабочих, уполномоченный получил 59 голосов, у Жиро, где 3.268 рабочих, уполномоченный собрал 198 голосов и т. д... Московская рабочая масса, читая о первых шагах своих мнимых представителей в военно-промышленном комитете, может сказать лишь одно: без меня меня женили»... [2]).

Петербургские выборы наглядно показали, к какому «единству» и к какой «организации сил» стремились руководящие элементы меньшевизма в России. После того, как большинство петербургского пролетариата высказалось против участия в военно-промышленных комитетах, петербургские меньшевики стояли перед выбором: либо отказаться от «национального единения» с буржуазией ради сохранения единства и сплоченности пролетарских рядов, либо, наоборот, пойти на раскол пролетарских сил, на нарушение воли большинства сознательных рабочих, ради сплочения рядов «общенациональной оппозиции». Как мы видели, они избрали второй путь. Чтобы судить о том, как меньшевики, вступивши на этот путь, работали в военно-промышленном комитете на благо пролетариата и революции, достаточно внимательно прочитать хотя бы историю рабочего представительства при Центральном военно-промышленном комитете, составленную видным меньшевистским деятелем того времени, оборонцем Ев. Маевским [3]).

Рабочие, выбранные в Центральный Военно-Промышленный Комитет, сконструировались там в «самостоятельную» Рабочую Группу, избравшую своим председателем К. Гвоздева. Зная хорошо, какое возмущение вызвала в широких кругах рабочих фальсификация выборов в Петербурге, и не желая с первых же шагов натолкнуться на большие затруднения, Рабочая Группа в первой своей декларации, изданной 3-го декабря 1915 г., старалась замаскировать свое настоящее лицо. Декларация еще не выдвигает задачи «защиты отечества»; вместо этого там выдвигается более общая и более туманная задача—«спасение страны от внешнего и внутреннего разгрома». Мало того, там указывается, что в настоящее время, в условиях царящей в России реакции, пролетариат «не может брать на себя ответственности за

---

[1]) См. Л. Троцкий, „Война и революция", т. II, стр. 139—158.

[2]) См. ibid., стр. 158, 159.

[3]) См. „Канун Революции". Из истории рабоч. движения накануне 1917 г. с предисловием Ев. Маевского, Петроград 1918 г.

оборону страны», точно также, как он «не может взять на себя ответственности за работу Центрального Военно-Промышленного Комитета» ввиду того, что предпринимательские организации, которые он об'единил, «во время войны только прикрывались флагом обороны, а на деле питали завоевательные планы», ввиду того, что «рабочая политика Военно-Промышленных Комитетов направлена была единственно к привлечению дешевого труда и к отмене и без того скудных и плохо соблюдавшихся законов по охране труда» [1]). На этой неопределенной позиции Рабочая Группа, однако, не долго стояла. В феврале 1917 г. состоялся 2-й с'езд военно-промышленных комитетов. Представители рабочих, с'ехавшиеся на этот с'езд, составили «самостоятельную» рабочую делегацию с'езда, устроившую ряд совещаний, на которых, в качестве сведущих лиц, приглашены были, между прочим, представители меньшевистского Орг. Ком., представители меньшевистской «Инициативной группы» и члены меньшевистской Думской фракции—М. Скобелев, И. Туляков и В. Хаустов, т.-е. все руководящие элементы меньшевизма, находившиеся в Петербурге. Участник совещаний Е. Маевский рассказывает нам, как на них вырабатывалась новая декларация, которую Гвоздев огласил на с'езде: «Проект декларации был подготовлен и предложен Петроградской Рабочей Группой. Намечая проект, Группа высказалась за то, чтобы декларация носила возможно более определенный характер, *чтобы из нее была устранена всякая туманность и неопределенность и чтобы в основу ее была положена позиция самозащиты страны* (курсив мой. *А. М.)*. «Первоначальный текст проекта декларации (проект Ев. Маевского), представленный Группе, не мог об'единить всей Группы. Он был принят 8-х голосами против 5-ти, при одном воздержавшемся. Чтоб проект мог об'единить всю Рабочую Делегацию, «Петроградская Группа (в согласии с автором проекта) решила передать его для переработки», в результате которой получился «компромиссный» проект декларации, принятый совещанием почти без возражений [2]).

Что же говорилось в этой «компромиссной» декларации, которой не опротестовала ни одна из меньшевистских организаций, участвовавших в совещании, ни представители О. К., ни представители Петр. Инициативной Группы, ни представители Думской фракции? А вот что: «Стремясь к миру, обеспечивающему свободное развитие демократии, мы действуем в полном согласии с идеей защиты народов от военных нападений и насильственных подавлений, являясь сторонниками энергичного участия пролетариата в самозащите тех стран, для которых война создает опасность разгрома... Но в то время, как для наших французских и бельгийских товарищей открыт путь к свободному участию в защите их родины, русский рабочий лишь стоит перед глухой стеной крепостнического строя, не допускающего его к осуществлению самозащиты. Стремясь к защите страны от внешнего вторжения и разгрома, рабочий класс России должен освободить себя от петли,

---

[1]) См. ibid., стр. 17 и 18.

[2]) См. ibid., стр. 25, 26, 27.

затянутой на его шее полицейским режимом» [1]). В этой «компромиссной» декларации, как мы видим, нет уже и следа «циммервальдийской» платформы. Меньшевики-«циммервальдийцы», участвовавшие в составлении этой декларации, всецело капитулировали перед «оборонцами». Задача разрушения «глухой стены крепостнического строя» здесь *подчиняется* задаче «осуществления самозащиты», как средство подчиняется цели. Соответственно с этим авторы декларации ищут союзников для своей борьбы с русским «крепостническим строем» и «полицейским режимом» не в международном пролетариате, а среди тех, кто заинтересован в доведении войны с Германией до «победного конца», т.-е., с одной стороны, среди «союзных государств», с другой—среди «буржуазно-прогрессивных слоев русского общества»: «Выступая с этой трибуны, рабочее представительство апеллирует не только к своей стране, к народам России и русской армии, но оно считает своей обязанностью обратить на преступления режима внимание народов и демократии союзных с Россией стран. Подавляющий и удушающий всякое проявление самодеятельности русского народа, он тем самым совершает преступление не только в отношении своей страны, но и в отношении своих союзников». Это поклон в одну сторону, а вот поклон в другую: «Мы, рабочие представители, вступая в военно-промышленные комитеты, имели в виду, что остро поставленная задача самозащиты создает более, чем когда-либо, удобные условия для координирования усилий пролетариата с усилиями буржуазно-прогрессивных слоев русского общества в целях решительной борьбы против всего того, что связывает усилия народа в его стремлении к самозащите» [2]). Стремясь координировать действия пролетариата с действиями государств Антанты, с одной стороны, с действиями русской национал-либеральной буржуазии—с другой, авторы декларации не могли себе, конечно, ставить целью толкать страну на путь революции, ибо этот путь был одинаково ненавистен и французской и русской буржуазии, а в условиях войны они бы это считали государственной изменой; поэтому они поставили себе весьма скромную, весьма невинную политическую цель, осуществление которой не требовало никаких потрясений. Резолюция о Государственной Думе, выработанная Совещанием Рабочей Делегации и вынесенная на с'езд военно-промышленных комитетов, заканчивается следующими словами: «В интересах осуществления поставленных выше целей, Государственная Дума должна решительно стать на путь борьбы за власть и создание *ответственного правительства*, опирающегося на организующиеся силы всего народа» [3]). Это старое, хорошо знакомое нам кадетское требование! Таковы были решения Совещания, которые Е. Маевский называет «компромиссными». Можно себе представить, какие решения приняла бы Петроградская Рабочая Группа, если бы она дала себе волю и ни с кем ни в какие компромиссы не вступала бы!

---

[1]) См. ibid., стр. 28, 29.

[2]) См. ibid., стр. 31.

[3]) См. ibid., стр. 36.

Меньшевики, идя в военно-промышленные комитеты, отказывались от революции; но они рассчитывали, что, поскольку они предлагают свое сотрудничество буржуазии, поскольку они будут оказывать ей поддержку в ее борьбе с бюрократией, буржуазия будет прислушиваться к их голосу, как к «голосу народа», и согласится хоть сколько-нибудь умерить свои империалистические и эксплоататорские аппетиты. Это были маниловские мечты. Уже через несколько дней после с'езда военно-промышленных комитетов А. Гучков в письме к К. Гвоздеву пояснил, как он представляет себе будущее сотрудничество представителей рабочих и буржуазии. «Я твердо верю,— писал он Гвоздеву,—в государственный смысл и деятельный патриотизм рабочих масс, всегда думал, что пораженческие идеи чужды рабочему классу, и потому еще раз взываю к вам. *Помните, что каждый безработный день есть тяжелый удар по боевой мощи армии, есть косвенная—но самая, быть может, действительная помощь ополчившемуся на нас врагу...* Вполне понимаю, что накопилось много счетов и что многое наболело, но сводить эти счеты и *врачевать эти недуги придет свое время.* Обращаюсь к вам с горячей, дружеской просьбой внять моему слову убеждения. Обращаюсь к вам потому, что знаю, что у вас и ваших товарищей, избранных в Центральный Комитет, есть достаточный авторитет среди рабочих. Обращаюсь к вам потому, что *до сих пор мы всегда умели находить общий язык»...* [1]). Гвоздев, которому не мало досталось за его знаменитую беседу с Штюрмером, на этот раз от иудина поцелуя Гучкова вежливо уклонялся. В ответном письме к Гучкову, он ему пояснил, что заботы буржуазии о «многострадальной» родине» не обязывают их стремиться к завоеваниям и военным авантюрам, что «социальный мир», если б он осуществился, обратился бы «в патриотическую ширму для беспощадной эксплоатации народных масс», что Рабочая Группа тоже стоит за «большее или меньшее урегулирование экономических взаимоотношений между противоположными по своим интересам общественными классами», что она тоже против «стихийности в массовом движении», но как раз промышленники толкают на этот путь рабочих и т. д. и т. д. [2]). Гвоздев в письме к Александру Ивановичу Гучкову вел социал-демократическую пропаганду, но Александр Иванович оказался почему-то совершенно невосприимчивым к этой пропаганде и уже в резолюции «о взаимоотношении Рабочей Группы и Центрального Военно-промышленного Комитета», принятой 20 июня 1916 г. на совещании Рабочих Групп, мы находим горькие жалобы рабочих представителей по поводу их разбитых надежд. Резолюция жалуется, что, когда против Рабочих Групп начались полицейские гонения, Военно-Промышленные Комитеты и не думали заступаться за них; наоборот, многие Комитеты, идя навстречу полиции, со своей стороны стали сокращать компетенцию и самостоятельность рабочего представительства. Резолюция жалуется, что Центральный Военно-Промышленный Комитет всячески препятствует сношениям Рабочей Группы с ее избирателями—рабо-

[1]) См. ibid., стр. 42 (Курсив везде мой. *А. М*).
[2]) См. ibid., стр. 43—46.

чими, что Центральный Комитет рассматривает Рабочую Группу, как свой «служебный орган», что он подвергает ее письма и обращения к рабочим строжайшей цензуре. Когда, например, Рабочая Группа в одном документе выразилась непочтительно о «стародумцах», назвав их «реакционной группой», а их деятельность в Петроградской Думе «разрушительной», Комитет вычеркнул эти опасные выражения; когда Рабочая Группа в другом документе высказала свое убеждение, что «боевые союзы предпринимателей.. фактически содействуют прикреплению рабочих к местам», комитетская цензура отменила это место, как «недопустимое»; точно также комитет не разрешил Рабочей Группе огласить свое мнение, что «о-во фабрикантов и заводчиков относится определенно отрицательно к проведению примирительных камер в жизнь» и т. д. и т. д. [1]). Но Центральный Военно-Промышленный Комитет подвергал строжайшей цензуре не только обращения Рабочей Группы к рабочим-избирателям; он точно также не позволял ей высказывать свои суждения представителям «дружественных держав». Когда социал-патриот Альбер Тома приехал в Петроград и когда Военно-Промышленный Комитет решил устроить торжественное заседание с участием «французских гостей», Рабочая Группа выработала заявление, которое Гвоздев должен был прочитать на заседании Альберу Тома. В этом заявлении Рабочая Группа жалуется «французскому гостю» на то, что наше реакционное правительство своим поведением губит общее дело союзников:

«И Франция и Россия поставлены в положение законной самообороны... Общность забот... возлагает на нас обязанность... ознакомить через ваше посредство пролетариат и демократию Франции... как русское правительство насильственно отстраняет свой народ от дела обороны... Русская реакция, враждебная народу... при удобном случае не задумается нарушить всякие договоры и соглашения, не задумается совершить еще одно клятвопреступление, изменить и предать своих союзников, лишь бы не апеллировать к своему народу, лишь бы не лишиться своей власти и привилегий». Негодование по поводу того, что придворная камарилья готова заключить сепаратный мир с Германией, об'единяла всех российских патриотов от оппортунистов социал-демократов до октябристов и националистов, от Гвоздева до Шульгина, это был главный козырь думского «прогрессивного блока» в его борьбе с «темными силами», об этом Милюков весьма прозрачно говорил с думской трибуны. Но quod licet Jovi, non licet bovi; что подобает говорить профессору Милюкову, то не подобает говорить рабочему Гвоздеву, и потому Военно-Промышленный Комитет запретил Рабочей Группе прочитать свое заявление Альберу Тома и «предложил ей присутствовать на торжественном заседании молча», в качестве статистов! [2]). Вот какую оплеуху получили меньшевики в награду за то, что они предупредительно предложили национал-либеральной буржуазии свое сотрудничество.

---

[1]) См. ibid., стр. 53—59.

[2]) См. ibid., стр. 72, 73, 74.

Работа меньшевиков в Военно-Промышленных Комитетах абсолютно никакого влияния не оказала на поведение буржуазии; но зато буржуазия их в полной мере использовала для своих целей. Рабочая Группа с усердием, достойным лучшего дела, творила волю Гучковых, и если она все же достигла мизерных результатов, то это об'яснялось лишь строптивостью рабочих масс, которые чем дальше, тем меньше склонны были действовать, согласно указке гвоздевцев. Когда в октябре 1916 г. в Петрограде и в провинции вспыхнуло стачечное движение, Рабочая Группа, памятуя цитированное мной выше письмо Гучкова к Гвоздеву, поторопилась подать в Центральный Военно-Промышленный Комитет заявление, что «неотложно необходимо немедленно созвать общее собрание выборщиков в Военно-Промышленный Комитет от рабочих Петрограда, которое могло бы по поводу теперешнего стихийного движения сказать свое веское слово». Чтобы у Центрального Военно-Промышленного Комитета не было сомнения насчет того, о каком «веском слове» идет речь, Рабочая Группа уже заранее в заявлении, т.-е. в обращении к буржуазии, формулировала свою точку зрения: «Считая стачку одной из вполне законных форм рабочего движения (как либерально! *А. М.*), Рабочая Группа, однако, не забывает о том, что прибегающий к этому орудию защиты своих интересов рабочий класс не может не учитывать в каждый данный момент всех обстоятельств окружающей обстановки. Обстоятельства же, сложившиеся вокруг настоящего движения, определенно неблагоприятны для рабочего класса. Разрозненные, изолированные от движения рабочих других городов и от движения всех других прогрессивных слоев общества, попытки борьбы в форме стачечных протестов отдельных частей рабочего класса создают положение, при котором подобные стихийные вспышки лишь ослабляют и разбивают нарастающий конфликт всего русского общества с властью». Когда в то же, приблизительно, время в связи с продовольственными затруднениями по фабрикам и заводам Петрограда стали все чаще и все настойчивее распространяться слухи, что в России то там, то тут вспыхивают восстания, Рабочая Группа поторопилась выпустить воззвание к рабочим, предостерегающее их не поддаваться провокации и призывающее их к мирному организационному строительству: «Всякому понятно, что возбудить массу, бросив в нее искру, в настоящее тяжелое время не стоит большого труда. Но всякий сознательный рабочий, отдающий себе ясный отчет в том, каково положение в настоящее время и чего требуют от него его классовые интересы и интересы страны, понимает, что стихийная вспышка дезорганизованной, раздраженной тяжестью жизни народной массы, вспышка, которую враги народа будут пытаться перевести в погром... будет на руку только врагам рабочего класса... Рабочая Группа обращается ко всем т.т. рабочим с призывом к энергичной общественно-организационной работе. Вопрос о планомерном организованном участии рабочих масс в общественной жизни становится при таких условиях единственно верным средством отвести от рабочей массы грядущую опасность» [1]).

[1]) См. Ibid., стр. 59, 60, 61, 62.

Так вели себя меньшевики в Военно-Промышленных Комитетах. Той же тактики придерживалась меньшевистская думская фракция. В июле 1916 г. в Нижней Имеретии возникают волнения на почве дороговизны. Черносотенцы, по обыкновению, стараются превратить народное волнение в хулиганское погромное движение, и им это отчасти удается. Тогда местное население вызывает своего социал-демократического депутата Чхеидзе. Он приезжает в местечко Самтреди. В церковной ограде устраивается народное собрание. На собрании выступают с речами полковник. Микеладзе, священник Хундадзе и Чхеидзе. Чхеидзе красноречиво говорит о вредности эксцессов для народа, призывает население к «самодеятельности», к учреждению «касс взаимопомощи и кооперативов» и в заключение предлагает собранию резолюцию, порицающую всякого рода насилия и погромные выступления и *«призывающую население к спокойствию»*. Единогласно принятая собранием резолюция, как сообщали газеты, «встретила полное одобрение г. губернатора, который рекомендовал не чинить никаких препятствий к дальнейшему устройству собраний депутатом Чхеидзе», и Чхеидзе с таким же успехом провел собрание в г. Поти. Л. Троцкий, давший критическую оценку поведению Чхеидзе в Нижней Имеретии, совершенно правильно указал, что Чхеидзе, судя по резолюции и по отзыву о ней губернатора, не исполнил своего соц.-демократического долга, что он спрятал в карман свою «циммервальдийскую платформу», что он выступил, как обыватель, жаждущий покоя, что он, очевидно, и попытки не сделал установить связь между дороговизной и войной, и направить народное недовольство в сторону борьбы за мир—иначе губернатор не высказал бы «полного одобрения» его выступлению [1]).

В общем и целом можно сказать, что *руководящие элементы меньшевизма в России в 1916 году,* накануне февральской революции, *систематически занимались гасительством революционного духа народных масс, их успокоением* и что главную роль в этой почтенной работе выполняла Рабочая Группа при Центральном Военно-Промышленном Комитете, в которой гегемония принадлежала «оборонцам». Оппортунистическая политика Рабочей Группы вызывала, чем дальше, тем большее раздражение среди петербургских рабочих, у которых революционное настроение быстро нарастало под влиянием дороговизны, военных тягот и большевистской агитации. Это настроение, хотя и с запозданием, передалось тем меньшевикам-«циммервальдийцам», которые стояли ближе к массе, в результате чего петербургская «Инициативная группа» уже летом 1916 года решила отозвать своих представителей из Центрального Военно-Промышленного Комитета. Но те отказались подчиниться этому решению. Петроградская Рабочая Группа в ответ на «отзовистскую кампанию», вынесла резолюцию, в которой «решишительно отвергается анархистское или максималистское, особенно в русских условиях, противопоставление рабочего класса всей остальной, без различия отдельных слоев и групп, буржуазной России» и в которой заявляется, что

---

[1]) См. Л. Троцкий, „Поездка депутата Чхеидзе" и „Еще о поездке депутата Чхеидзе"—„Война и революция", т. II, стр. 204—211.

«Петроградская Рабочая Группа, никогда не зарекаясь от возможности выхода из Ц. К., считает, однако, что в данный момент в интересах рабочего класса—национальных и интернациональных—ее долг... оставаться на своем посту» [1]. После долгих пререканий со своими делегатами Петроградская Инициативная Группа решилась, наконец, в августе 1916 года, т.-е. *спустя год после начатой кампании за выборы в Военно-Промышленные Комитеты,* заявить в прокламации к рабочим, что «комитетчиками... знамя Интернационала, знамя международной классовой солидарности сдано к Гучкову в архив, как устаревшая и негодная ветошь»... и что поэтому мы «1. Всякую ответственность за деятельность Рабочей Группы при Центральном Военно-Промышленном Комитет с себя слагаем, 2. Ни в какие сношения по вопросам рабочего движения с ними не входим и 3. Об'являем их застрельщиками нового раскола» [2]. Наконец-то!

Рабочая Группа, потеряв почву под ногами и чувствуя, что назревают крупные революционные события, беспомощно заметалась. Историю этих последних судорог Рабочей Группы с простодушной наивностью повествует нам оборонец Ев. Маевский: «Большевики и тянущиеся за ними меньшевики-антиоборонцы, учитывая растущее возбуждение среди рабочих, решили вылить этот под'ем настроения в забастовку, приуроченную к 9 января 1917 года. Рабочая Группа, принимая во внимание традиционность 9 января и условия момента, решила на этот раз не препятствовать такому призыву (какое великодушие! *А. М.)* и лишь обратить своим вмешательством готовность рабочих забастовать в однодневную стачку-протест (!), противопоставив пораженческим лозунгам большевиков свои лозунги, направленные против царского самодержавия во имя обороны и спасения страны» [3]. Протест 9-го января вылился в чрезвычайно широкую, всеобщую забастовку в Петрограде. Но это было только начало. Революционное настроение нарастало: престиж правительства быстро падал. Правительство, готовясь к решительному бою, поджидало момент, чтобы придушить, между прочим, и Рабочую Группу, как единственную легальную в то время рабочую организацию. Ввиду такого положения «Рабочая Группа оказалась», как рассказывает нам Е. Маевский, «*в трудном, почти трагическом положении.* Терпеливо ожидать того, пока ряд предварительных тактических шагов убедил бы массы в революционном значении организованного их вмешательства в столкновение буржуазного общества с самодержавием, значит пропустить в такое роковое для страны время момент»... Поэтому Рабочая Группа решилась на героический шаг. Она поставила и утвердительно решила вопрос «о вызове Рабочего Петрограда на улицу к Государственной Думе. Это движение должно было стать с одной стороны публичной демонстрацией, так охотно воспринимаемой рабочей массой, с другой—своего рода петиционным движением, мирным, но с революционными лозунгами во имя спасения страны,

---

[1] См. „Канун революции" с предисловием Е. Маевского, стр. 50, 51, 52.

[2] См. „Известия Загр. Секр. О. К." № 9: „Петр. меньшевики и группа Гвоздева".

[3] См. „Канун революц.", стр. 8.

что могло встретить сочувствие со стороны широких не-рабочих слоев населения...» [1]). После этого решения, которое для предосторожности не было проведено официально через группу, издано было соответствующее «Письмо к рабочим всех фабрик и заводов Петрограда» за подписью—«организованные рабочие с.-д.» [2]). Плану Рабочей Группы не суждено было осуществиться. Рабочая Группа была 27 января 1917 года арестована, а рабочий Петроград вместо того, чтобы пойти с петицией в Думу, повторяя в новой вариации старый наивный опыт мирного хождения к Зимнему Дворцу, устроил восстание, по примеру декабрьского московского, но на этот раз победоносное. Так меньшевистская Рабочая Группа закончила свою бесславную историю «трагическим», но бесплодным жестом, об'явленным к тому же «провокацией» той самой «прогрессивной» буржуазией [3]), на которую Рабочая Группа возлагала столько надежд!..

В острые моменты кризиса невозможно топтаться на месте; тут приходится либо решительно итти вперед, либо далеко покатиться назад. Таким моментом была мировая война. Она, нарушив полувековое равновесие в Европе, создала ситуацию, об'ективно весьма революционную, но на пути от войны к революции лежали большие препятствия суб'ективного свойства, заложенные в оппортунистических навыках мысли, умонастроении и психике социалистических партий 2-го Интернационала. Меньшевизм не в силах был справиться с этими препятствиями и далеко покатился назад, под гору. Большевики, наоборот, руководимые Лениным, нащупав главнейшее из этих препятствий и направив против него свои удары критики, вывели передовые слои пролетариата на широкий путь революции.

Мировая война отличалась от прежних империалистических войн—колониальных—не только своими чудовищными размерами; она отличалась от них еще тем, что она велась на самой территории Европы, угрожая домашнему очагу европейских народов и их величайшим национальным ценностям—экономическим и культурным. Это порождало тот страх перед поражением своего отечества, который оппортунистическая буржуазия в каждой стране умело использовала при содействии оппортунистических социалистических партий для того, чтобы приковать пролетариат к своей военной колеснице. Социалисты в каждой стране знали, что единственное действительное средство против войны есть революционное выступление масс. Но где гарантия, спрашивали они себя, что нас поддержит сейчас же пролетариат неприятельского государства. А если это не случится, нашему отечеству грозит неминуемое поражение со всеми его ужасными последствиями. Вот этот-то страх прежде всего парализовал волю социалистов-оппортунистов, которые из-за деревьев леса не видели, которые из-за непосредственной, ближайшей опасности, угрожающей их отечеству, трусливо закрывали глаза на все будущее социализма. Когда в 1910 году на Копенгагенском с'езде Интернационала

---

[1]) См. ibid., стр. 10.

[2]) См. ibid., стр. 94—100.

[3]) См. ibid., стр. 11.

французская делегация предложила вынести резолюцию, обязывающую социалистов всех стран ответить на войну всеобщей забастовкой, германская делегация отказалась связать себе руки определенным обязательством, и Плеханов в то время довольно правильно об'яснил мотивы отказа германской делегации: Жоресу, писал он, легко было выносить такую резолюцию—социалистическая партия во Франции не пользуется у себя дома таким влиянием, как германская социал-демократия в Германии; если б обе партии призвали пролетарские массы к забастовке, можно было ожидать, что в Германии пролетариат откликнется на этот призыв, а во Франции—нет, а это привело бы к поражению Германии [1]). Когда разразилась война, все партии Второго Интернационала рассуждали про себя, как немцы в Копенгагене, и в результате *получился заколдованный круг: никто не решался начинать.*

Ленин уже в 1914 году правильно рассудил, что разговоры о борьбе за мир останутся пустой фразой, если не удастся смелой постановкой вопроса разорвать этот заколдованный круг, и он это сделал. Он осмелился сказать правду, «высказать то, что есть», как говорил Лассаль. Кто хочет серьезно бороться против войны, кто хочет серьезно взять курс на революцию, тот должен не бояться, а желать поражения своему правительству. В статье «О национальной гордости великороссов», написанной в декабре 1914 года, он писал: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину... Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что эта страна выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика... «Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы»... и мы великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной демократической Великороссии, строящей свои отношения к соседям (читай: к Польше, Финляндии, Украине и т. д. *А. М.)* на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий. Именно потому, что мы хотим ее, мы говорим: нельзя в XX веке в Европе, хотя бы и в дальне-восточной Европе, «защищать отечество» иначе, как борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего отечества, т.-е. *худших* врагов нашей родины; нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как *желая поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла* (курсив мой. *А. М.)* для $^{9}/_{10}$ населения Великороссии, ибо царизм не только угнетает эти $^{9}/_{10}$ населения экономически и политически, но и деморализует, унижает, обесчещивает, прости-

[1]) См. Г. Зиновьев, „Второй Интернационал и проблема войны“, Сборник „Против течения“, стр. 503, 504, 505.

туирует его, приучает к угнетению чужих народов»... [1]). Это была защита «пораженчества» в связи с нападением на российскую великодержавную идеологию.

«Пораженческая» позиция большевиков подверглась критике со всех сторон. Ее критиковали не только социал-патриоты, но и меньшевики-интернационалисты и даже стоявший весьма близко к большевикам Троцкий. Меньшевики-интернационалисты и Троцкий доказывали, что «желать поражения России значит желать победы Германии», что это социал-патриотизм на изнанку, что это «ничем не... оправдываемая уступка политической методологии социал-патриотизма, который революционную борьбу против войны.. подменяет крайне произвольной в данных условиях ориентацией по линии наименьшего зла» [2]). Поскольку эта критика большевистского «пораженчества» была направлена против *мыслей*, высказанных Лениным, а не против некоторых неосторожных *выражений* его, которые могли подать (и действительно давали) повод к лже-толкованиям, она била мимо цели; она свидетельствовала лишь о том, что критики Ленина слишком упрощенно, недостаточно диалектически представляли себе процесс превращения затяжной мировой войны в мировую революцию. Что поражение России вовсе не означало в конечном счете победы Германии, показал дальнейший ход событий. Россия потерпела частичное поражение; это вызвало революцию, которая *непосредственно* еще усугубила ее поражение; но на этом история не остановилась; вслед за Россией—Германия, в свою очередь, потерпела поражение, после чего революция, хотя и половинчатая, вспыхнула там и унизительные для нас условия Брестского мира с Германией были аннулированы. Мировая война закончилась поражением Германии, дальше которой сложное взаимодействие между поражениями и революциями пока не пошло; но ведь история еще далеко не сказала своего последнего слова... Всю неосновательность критики большевистского «пораженчества» Ленин весьма убедительно доказал еще в июле 1915 года в «Соц.-Демократе»: «Революционная борьба против войны,—писал он там:—...есть пустое бессодержательное восклицание... *если* под ним не разуметь революционные действия против «*своего*» правительства... А революционные действия во время войны против своего правительства несомненно, неоспоримо означают не только желание поражения ему, но на деле и содействие такому поражению (для «проницательного читателя»: это вовсе не значит, что надо «взрывать мосты», устраивать неудачные военные забастовки...) ...Революция во время войны—есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами («поражением») правительств, а с другой стороны—невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействуя тем самым поражению» [3]). Но косвенно содействовать военному поражению своего правительства не значит ли содействовать оконча-

[1]) См. Ленин, „О национальной гордости великороссов", ibid., стр. 32, 33.

[2]) См. сборник „Против течения", стр. 108.

[3]) См. Н. Ленин, „О поражении своего правительства в империалистской войне", ibid., стр. 108, 109.

тельной военной победе правительства чужого? Отнюдь не значит в обстановке затяжной мировой войны и распространяющейся из страны в страну революции, отвечает Ленин: «Кто серьезно хотел бы опровергнуть «лозунг» поражения своего правительства в империалистской войне, тот должен был бы доказать, что невозможно соответствие и содействие друг другу революционных движений во *всех* воюющих странах... Спросите любого именующего себя интернационалистом социал-демократа, сочувствует ли он соглашению с.-д. разных воюющих стран о совместных революционных действиях против всех воюющих правительств... Многие ответят, что сочувствуют. И тогда мы скажем: если это сочувствие не лицемерное, то смешно думать, что на войне и для войны требуется соглашение «по форме»... Соглашение о революционных действиях даже в *одной* стране, не говоря о ряде стран, осуществимо *только* силой *примера* серьезных революционных действий, *приступа* к ним, *развития* их. А такой приступ опять-таки невозможен без желания поражения и без содействия поражению. Превращение империалистской войны в гражданскую не может быть «сделано», как нельзя «сделать» революции,—оно вырастет из целого ряда многообразных явлений... последствий империалистской войны. И такое вырастание невозможно без ряда военных неудач и поражений тех правительств, которым наносят удары их собственные угнетенные классы» [1]. Итак, речь идет лишь о революционном *почине* пролетариата одной страны в расчете, что его примеру последует пролетариат другой страны, воюющей с первой, но поскольку в первом случае революция связана была с поражением или военными неудачами можно ожидать, что она с ними будет так или иначе связана и во втором случае.

Кто же должен был взять на себя почин в революции? На этот вопрос Ленин без колебания отвечал — Россия! «Россия это — самая отсталая страна, в которой социалистическая революция непосредственно невозможна», но «ни один публично высказавшийся за последнее десятилетие социалист не сомневался», что «возможно соответствие и содействие революционного в буржуазно-демократическом смысле движения в России и социалистического на Западе». «Именно поэтому русские с.-д. должны были первыми выступить с теорией и практикой «лозунга поражения» [2]. Смысл этих несколько небрежно сформулированных мыслей, как можно догадаться, таков: Ввиду того, что Россия — самое отсталое из великих государств Европы, тесно связанных друг с другом, возможная в ней пока лишь буржуазно-демократическая революция в обстановке империалистской войны послужит прологом к социалистической революции на Западе; это случится не только вследствие заразительности ее примера, но также потому, что отсталая, но великая Россия, окруженная сильными врагами для самосохранения и для спасения своей революции вынуждена будет прилагать все силы к тому, чтобы раздуть, и сможет раздуть пламя социалистической революции на Западе; именно Россия должна, поэтому, взять на себя почин революции, ибо русская революция будет иметь сугубо интернациональное значение. Но

[1]) См. ibid., стр. 109, 110.
[2]) См. ibid., стр. 109

Россия должна была, по мнению Ленина, взять на себя почин революции еще потому, что ей легче было ее сделать, ибо государственный аппарат в ней более слабый (отсталый), ибо пролетарские массы в ней менее отравлены оппортунизмом: «Именно пролетариат самой отсталой из воюющих великих держав должен был, особенно перед лицом позорной измены немецких и французских с.-д., в лице своей партии выступить с революционной тактикой, которая абсолютно невозможна без «содействия поражению» своего правительства, но которая одна только ведет к европейской революции, к прочному миру, к социализму и т. д.» [1]). Теперь мы видим, в чем заключался истинный смысл слов Ленина—мы должны желать поражения царизма в войне, «как меньшего зла». Они значили, что в интересах развития мировой социалистической революции, почин революции должен исходить именно из отсталой России и что мы должны взять на себя этот почин, пользуясь поражениями, которые терпит Россия, и не смущаясь тем, что это непосредственно, в ближайшее время, будет содействовать дальнейшим ее военным поражениям. Только это хотел оказат Ленин и ничего больше. Голая, вырванная из цепи аргументации, фраза—«поражение России есть меньшее зло», могла, конечно, подать повод к демагогическим нападкам на большевиков, и мы знаем, что правительство Керенского действительно пользовалось этим крылатым словом, чтобы инсинуировать: большевики ведут себя так, как если бы они были агентами немецкого кайзера. Но большевикам не стоило большого труда доказать всю лживость и злостность этого навета. Это видно из того, что наши солдатские массы, которые еще весной 1917 года были настроены весьма «революционно-оборончески», не взирая на инсценированную социал-патриотами травлю против большевиков, весьма внимательно прислушивались к речам последних, а осенью того же года всецело перешли на их сторону...

Те же мотивы, которые побудили большевиков высказаться за «пораженческие» лозунги вообще, побудили их, в частности, высказаться за «братание» солдат на фронте, несмотря на то, что это «братание» далеко неравномерно вносило разложение в разные армии, поскольку оно не успело стать стихийным, массовым явлением, и потому *первоначально* увеличивало шансы победы одних и шансы поражения других. Вот что по этому поводу писал в марте 1915 года Ленин: «представьте себе, что Гайндман, Гэд, Вандервельде, Плеханов, Каутский и другие, вместо того пособничества буржуазии, которым они сейчас заняты, составили бы международный комитет для агитации за «братание» и за попытки сближения между социалистами воюющих стран, как «в траншеях», так и в войске вообще. Каковы были бы результаты через несколько месяцев, если теперь, через шесть месяцев после начала войны, *против* всех предавших социализм вождей, главарей... растет повсюду оппозиция и военное начальство грозит смертью за «братание»!—Практический вопрос один: победа или поражение собственной страны, писал слуга оппортунистов Каутский... это неверно; есть другой практический вопрос: по-

---

[1]) См. ibid., стр. 112.

гибать ли в войне между рабовладельцами, оставаясь слепым и беспомощным рабом, или погибать за «попытки братания» между рабами в целях свержения рабства?» [1]).

Везде и всюду Ленин, чтобы разбить заколдованный круг, созданный страхом социалистов разных стран, за целость их «отечеств», чтобы уничтожить главнейшее психологическое препятствие для развязывания революции, беспощадно бичевал предателей дела социализма, призывал массы через головы обанкротившихся вождей к смелому революционному почину, призывал их начать революционную борьбу, не оглядываясь на соседей, не считаясь с тем, как это непосредственно отразится на стратегическом положении их страны, апеллировал к их классовому инстинкту, приучал угнетенные классы к мысли, что выгоды от победы революции в будущем значительно перевесят тяжелые последствия военного поражения, особенно чувствительные в настоящем. Но особенной революционной смелостью и дальновидностью отличалась его постановка национального вопроса во время войны, рассчитанная на то, чтобы разбить ту великодержавную идеологию, которая больше, чем что бы то ни было, питала страх перед военным поражением «отечества» и возможным его распадом на его национальные составные части или отпадом от него его колоний. В данном случае Ленин блестяще сумел то оружие, которое империалистская буржуазия выковала для одурачения масс, для создания освободительных легенд, обратить острием против нее же и превратить в одно из сильнейших оружий революции.

Но тут Ленину пришлось предварительно побороть предрассудки, которыми были заражены как раз интернационалисты и даже наиболее близко стоящие к большевикам; тут Ленину пришлось преподать уроки марксистской диалектики тем, которые давали слишком упрощенное, слишком абсолютное толкование формуле, что современная мировая война есть война империалистическая, и вследствие этого вообще игнорировали революционное значение национального вопроса в настоящей войне. В статье, написанной в октябре 1916 года против брошюры Юниуса (Розы Люксембург), Ленин очень метко критиковал положение автора, что в настоящую эпоху «больше не может быть национальных войн»: «Что данная империалистская война 1914—1916 г.г. превратится в национальную,—писал Ленин,—это в высокой степени невероятно, ибо классом, представляющим развитие *вперед*, является пролетариат, который об'ективно стремится превратить ее в гражданскую войну против буржуазии, а затем еще потому, что силы обеих коалиций разнятся не очень значительно, и международный финансовый капитал создал повсюду реакционную буржуазию. Но невозможным такое превращение об'явить нельзя: *если бы* пролетариат Европы оказался лет на двадцать бессильным, если бы данная война *кончилась* победами вроде наполеоновских и порабощением ряда жизнеспособных национальных государств; *если бы* внеевропейский империализм (японский и американский в первую голову) тоже лет двадцать продержался бы, не переходя в социализм, напр., в силу

[1]) См. Н. Ленин, „К иллюстрации лозунга гражданской войны" ibid., стр. 76.

японо-американской войны, тогда возможна была бы великая национальная война в Европе. Это было бы развитие Европы назад на несколько десятилетий. Это невероятно. Но это не невозможно, ибо представлять себе всемирную историю, идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно»... [1]). Случай, который здесь рассматривал Ленин, был в 1916 году чисто гипотетическим, и теперь он таким остался, ибо если порабощение Германии и приостановка в развитии мировой революции нас чуточку приблизили к такой реакционной перспективе, то, с другой стороны, укрепление Российской Советской Республики нас от нее еще более отдаляет. Но рядом с гипотетическими, возможными национальными войнами Ленин в упомянутой статье указывал также на «неизбежные в эпоху империализма национальные войны со стороны колоний и полуколоний»: «В колониях и полуколониях (Китай, Турция, Персия) живет тысяча миллионов человек, т.-е. больше половины населения земли. Национально-освободительные движения здесь либо уже очень сильны, либо растут и назревают... Продолжением национально-освободительной политики колоний неизбежно будут национальные войны с их стороны против империализма» [2]). Исходя именно из этих перспектив, Ленин выступил в 1915 году против лозунга—«Соединенные Штаты Европы», который защищал Троцкий и который первоначально, как политический лозунг выставил также большевистский ЦК, при условии «революционного низвержения монархии германской, австрийской и русской». Возражая против этого лозунга, Ленин писал: «Если лозунг... Соединенные Штаты Европы, поставленный в связи с революционным низвержением трех реакционнейших монархий Европы... совершенно неуязвим, как политический лозунг... то с точки зрения экономических условий империализма, т.-е. вывоза капитала и раздела мира «передовыми» и «цивилизованными» колониальными державами, Соединенные Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны... Соединенные Штаты Европы, при капитализме, равняются соглашению о дележе колоний. Но при капитализме невозможна иная основа, иной принцип дележа, кроме силы. Миллиардер не может делить «национальный доход» капиталистической страны с кем-либо другим иначе, как в пропорции: «но капиталу»... нельзя делить иначе, как «по силе». А сила изменяется с ходом экономического развития»... И «чтобы проверить действительную силу капиталистического государства, нет и быть не может иного средства, кроме войны». Отсюда невозможность осуществления этого лозунга. «Конечно, возможно временное соглашение между капиталистами и между державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы», но только как соглашение европейских капиталистов... о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять ограбленные колонии против Японии и Америки»... Но «по сравнению с Соединенными Штатами Америки, Европа в целом означает экономический застой», поэтому «на современной экономи-

[1]) См. Н. Ленин, „О брошюре Юниуса“, ibid., стр. 432.
[2]) См. ibid., стр. 432, 433.

ческой основе, т.-е. при капитализме, Соединенные Штаты Европы означали бы организацию реакции для задержки более быстрого развития Америки»[1]). Вся приведенная выше аргументация Ленина направлена была против С. Штатов Европы «на основе капиталистической». Их можно было бы, однако, мыслить на основе социалистической. Но весь ход развития мировой революции, как он гениально предсказывался Лениным во время войны в 1914—1916 г.г. и как он в действительности разворачивается сейчас на наших глазах, показывает, что этот лозунг (социалистические Соединенные Штаты Европы) не имеет под собой почвы, ибо та европейская страна, которой суждено было взять на себя почин социалистической революции, должна была предварительно вступить в союз со вступающими на путь революции колониями или полуколониями *Азии*, для того, чтобы разбить сопротивление буржуазии в тех западно-европейских странах, где капитализм еще сравнительно крепок: Союз социалистической России с азиатским Востоком предшествует ее союзу с западно-европейскими государствами. Поэтому прав был Ленин, когда он в той же статье писал: «Соединенные Штаты Мира (а не Европы) являются той государственной формой об'единения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом,—пока полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого... государства. Как самостоятельный лозунг, лозунг С. Штаты Мира был бы, однако, едва ли правилен и т. д.»[2]).

Ленин, как мы видим, уже в 1915 году приписывал очень большое революционное значение будущим национально-освободительным войнам колоний и полуколоний; но он считал их вероятными лишь при условии победы революции, хотя бы в одной европейской великой державе, например, в России. Соответственно с этим редакция большевистского центрального органа писала в октябре 1915 года в одном из выработанных ею тезисов: «На вопрос, что бы сделала партия пролетариата, если бы революция поставила ее у власти в теперешней войне, мы отвечаем: мы предложили бы мир всем воюющим на условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов. Ни Германия, ни Англия с Францей, не приняли бы при теперешних правительствах их этого условия. Тогда мы должны были бы подготовить и повести революционную войну, т.-е.... систематически стали бы подымать на восстание все угнетенные великороссами народы, все колонии и зависимые страны Азии (Индию, Китай, Персию и пр.), а также и в первую голову—поднимали бы на восстание социалистический пролетариат Европы...»[3]). Читая эти строки, нельзя не удивляться исторической прозорливости большевистского Ц. О., который уже в 1915 году твердою рукою намечал ту линию поведения, которая лежит в основе всей современной внешней политики РСФСР...

Те национальные вопросы, возбужденные Лениным в 1914—1916 г.г., о которых мы до сих пор преимущественно говорим (освобождение народов

[1]) См. Н. Ленин, „О лозунге—Соединенные Штаты Европы", ibid., стр. 128—130.
[2]) См. ibid., стр. 130.
[3]) См. сборник „Против течения"—„Несколько тезисов", „От редакции", стр. 304.

Азии и вообще колоний), имели хотя огромное принципиальное значение, но касались больше будущего. Поэтому Ленин в то время уделял больше внимания другим национальным вопросам, касавшимся угнетенных наций в самой Европе. Эти вопросы имели уже очень актуальное значение в начале войны и революционное значение их постепенно увеличивалось в следующие периоды—февральской, а затем октябрьской революции. И в данном случае постановка вопроса Ленина изобличала в нем чрезвычайную политическую прозорливость и чрезвычайную смелость революционной мысли.

Империалистическая буржуазия обеих военных коалиций для одурачения народов создала легенду, что мировая война ведется во имя освобождения угнетенных наций, при чем каждая из коалиций, конечно, вносила в свою программу только «освобождение» тех наций, которые угнетаются великими державами враждебной коалиции, благоразумно умалчивая про тех, кого она сама угнетает. Большинство интернационалистов ограничивались тем, что разоблачали эту ложь, раз'ясняя, что хищническая, империалистическая война никому никакой свободы не несет, или несет свободу лишь мнимую, фиктивную, за которой скрывается стремление к экономическому порабощению «освобождаемых» народов и к их превращению в орудие своей империалистической политики [1]). К этому присовокуплялось, что в нашу империалистическую эпоху вообще «больше не может быть национальных войн». Ленин, как мы уже говорили, оспорил это последнее положение и решительно отверг чисто отрицательную, так сказать, нигилистическую позицию в национальном вопросе значительной части интернационалистов. Национальные войны, говорил он, и теперь, в империалистическую эпоху, возможны, и не только со стороны колоний, но при *известных условиях* и на территории старой Европы, со стороны малых угнетенных наций, и он точно определил, каковы эти условия. В прямую противоположность *реакционной* программе империалистической буржуазии, которая требует мнимого «освобождения» наций, угнетаемых *чужим*, враждебным государством, пролетариат каждой *великой* державы, говорил он, должен выдвинуть революционную программу действительного освобождения угнетенных наций и, прежде всего, тех, которые угнетаются *собственным* государством, а для этого пролетариат должен выставить ясный и недвусмысленный лозунг—«право наций на самоопределение, *вплоть до отделения*». «Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», говорил он, цитируя Маркса и Энгельса, и на этом основании он уже в декабре 1914 года в цитированной мною выше статье—«О национальной гордости великороссов» доказывал, что великорусский пролетариат должен требовать «право на самоопределение, вплоть до отделения» наций, угнетаемых Великороссией и эту мысль он неоднократно и со всей энергией защищал во все время войны. Так, например, в статье, написанной им в феврале 1916 года, *когда Польша была оккупирована немцами*, и когда вследствие этого царизм и русская буржуазия особенно печалилась о судьбе

[1]) См., наприм., А. Мартынов, „Благочестивая легенда": „Наше Слово" 1915 г., №№ 72, 73, 77, 78, 80, 83.

ее «независимости», Ленин писал по адресу русских соц.-демократов: «Все, кто *нелицемерно,* не по Зюдекумски, не по Плехановски, не по Каутскиански, хочет признать свободу народов, право наций на самоопределение, должны быть *против* войны из-за угнетения Польши, — *за* свободу отделения от России тех народов, которых Россия теперь угнетает: Украины, Финляндии и пр.» [1]). В том же 1916 году он писал в другой статье. «Признание самостоятельности наций можно считать нелицемерным лишь тогда, когда представитель угнетающей нации и до войны и во время ее требовал свободы отделения нации, угнетенной его собственным «отечеством». Это требование одно только соответствует марксизму. Маркс выставлял его, исходя из интересов британского пролетариата, когда требовал свободы Ирландии, *допуская при этом вероятность федерации после отделения, т.-е. требуя свободы отделения не ради раздробления и обособленности, а ради более прочной и демократической связи* (курсив мой. *А. М.).* Во всех случаях, когда есть угнетенные и угнетающие нации, когда нет на-лицо особых обстоятельств, выделяющих революционно-демократические и реакционные нации (такие обстоятельства были на-лицо, напр., в 40-х годах XIX века), политика Маркса по отношению к Ирландии должна стать образцом пролетарской политики. А империализм есть как раз та эпоха, когда существенно и типично деление наций на угнетающие и угнетенные, а различение реакционных и революционных наций в Европе совсем невозможно» [2]). Ленинская формула—«право самоопределения наций *вплоть до отделения*» смущала многих интернационалистов тем, что этот лозунг может поощрять маленькие нежизнеспособные нации к отделению, может содействовать разрушению больших государств, представляющих крупные хозяйственные единицы, может сыграть экономически реакционную роль и вместе с тем может содействовать раздроблению пролетарских сил. Ответ на эти возражения Ленин дал уже в вышеприведенной мною цитате, в строках, напечатанных курсивом. Более подробно Ленин отвечает на это в полемической статье, направленной против взглядов на национальный вопрос польских социал-демократов. В этой статье он, между прочим, говорит: «Где же основание думать, что большая нация, большое государство, перейдя к социализму, не сумеет привлечь маленькой угнетенной нации в Европе посредством «бескорыстной культурной помощи»? Именно свобода отделения... и привлечет к союзу с большими государствами малые, но культурные и политически-*требовательные* угнетенные нации Европы, ибо крупное государство при социализме будет значить: на столько-то часов работы меньше, на столько-то *заработка* в день больше. Трудящиеся массы, освобождающиеся от ига буржуазии, всеми силами *потянутся* к союзу и слиянию с большими и передовыми социалистическими нациями, ради этой «культурной помощи», лишь бы вчерашние угнетатели не оскорбляли высоко-развитого демократического чувства самоуважения долго угнетавшейся нации, лишь бы предоставили ей равенство во всем, в том числе и в государственном строительстве,

[1]) См. Н. Ленин, „О мире без аннексий и о независимости Польши, как лозунгах дня России“. Сборн. „Против течения“, стр. 342.

[2]) См. Н. Ленин, „О программе мира“, ibid., стр. 346, 347.

в опыте построить «свое» государство. При капитализме этот «опыт» озн чает войны, обособления, замкнутость, узкий эгоизм привилегированных ме ких наций (Голландия, Швейцария). При социализме трудящиеся массы са не согласятся нигде на замкнутость по чисто экономическим вышеуказанн мотивам, а разнообразие политических форм, свобода выхода из госуда ства, опыт государственного строительства—все это будет, пока не отомр всякое государство вообще, основой богатой культурной жизни, залог ускорения процесса добровольного сближения и слияния наций» [1]). Идеи, ра витые Лениным в этой статье в октябре 1916 г., легли в основу национальн политики, которую Ленин и большевики стремились проводить в жизнь все время февральской и октябрьской революции; правильность этих ид в полной мере подтвердилась историей взаимоотношений Великороссии Украины за все время революции, и необходимость их еще более последо тельного проведения в жизнь подчеркнута была еще недавно, на XII С'ез Р.К.П. Сначала—право на отделение, а потом добровольное об'единение—т кова суть Ленинской национальной политики, а из этой двухсторонней пр граммы вытекала, по мнению Ленина, двоякая позиция, которую должны з нять в национальном вопросе социалисты, принадлежащие к нации угнета щей или угнетавшей, с одной стороны, социалисты угнетенных наций, с другой: «Член угнетающей нации должен быть «равнодушен» к вопр о том, принадлежат ли маленькие нации его государству *или соседнему*, и сами себе, смотря по их симпатиям: без такого равнодушия он *не* соци демократ... наоборот, социал-демократ маленькой нации должен центр тя сти своей агитации класть на втором слове нашей общей формулы: «Доб вольное *соединение* «наций». Он может, не нарушая своих обязанностей, к интернационалиста, быть и за политическую независимость своей нации за ее включение в соседнее государство X, Y, Z. и пр. Но во всех случаях должен бороться против мелко-национальной узости, замкнутости, обос ленности, за учет целого и всеобщего... [2]). Принцип «права нации на са определение вплоть до отделения» Ленин считал руководящим для настоя империалистической эпохи, за одним редким исключением: «Если конкр ная ситуация, перед которой стоял Маркс в эпоху преобладающего влия царизма в международной политике, повторится, напр., в такой форме, несколько народов начнут социалистическую революцию... а другие нар окажутся главными столпами буржуазной реакции,—мы тоже должны б за революционную войну с ними, за то, чтобы «раздавить» их, за то, чт разрушить все их форпосты, какие бы мелко-национальные движения з ни выдвигались» [3]).

Национальный лозунг, который Ленин дал в начале мировой войны и торый большевики проводили в жизнь, имел в России огромное, всесторон революционное значение. Он, во-первых, уничтожал у нас тот великодерж ный гипноз, тот страх, что поражение России в войне разрушит, расчле

[1]) См. Н. Ленин, „Итоги дискуссии о самоопределении", ibid., стр. 412.

[2]) См. ibid., стр. 418.

[3]) См. ibid., стр. 414.

нашу великую державу, который больше всего сковывал массы и удерживал их от революционных выступлений во время войны. Он, во-вторых, дал великорусскому пролетариату революционных союзников в лице наших угнетенных национальностей. Он, наконец, развязывая национальную борьбу, непосредственно содействовал разрушению царской монархии, которую нужно было во что бы то ни стало разрушить, чтобы «новый мир построить», чтобы на развалинах монархии создать великую федеративную социалистическую республику.

Подводя итоги тактике меньшевиков и большевиков во время войны, мы прежде всего должны сказать, что она логически вытекала из всего прошлого меньшевизма и большевизма. Меньшевики, цепляясь за то, что наша революция буржуазная, что она должна привести к власти буржиазию и открыть простор для пышного капиталистического развития, во всю эпоху первой революции избегали того, что могло хотя бы временно ослабить русский капитализм, и соответственно с этим охотнее шли об руку с «экономически-прогрессивной» буржуазией, чем с «бунтарским» крестьянством. В полном соответствии с этим они и во время мировой войны тянулись за национал-либеральной буржуазией и избегали всего того, что может хоть сколько-нибудь, хоть временно увеличить экономическую разруху и «анархию» в стране. В результате всего они во время войны играли фактически роль гасителей революции.

Большевики, наоборот, ставившие себе и в предыдущую, довоенную эпоху задачу—довести революцию до логического конца, не останавливаясь перед теми экономическими жертвами, которые для этого стране придется принести в переходное время, той же тактики придерживались и во время войны и тем самым они в огромной степени содействовали превращению нашей войны в победоносную революцию.

Из этого вытекает, что господствующее среди меньшевиков и обывателей убеждение, что февральская революция была «меньшевистская», а октябрьская—«большевистская»,—в корне ложное: и февральскую революцию подготовляли лишь большевики, в то время как меньшевики в огромном большинстве своем занимались штопанием дыр на старо-режимном кафтане.

(Продолжение следует).

Старые свидетели нового спора.

С. Бессонов.

(К теории Розы Люксембург, Маркс и Ленин.)

I.

«Habent sua fata libelli, книги имеют свою судьбу».

Так начинает в своей «Антикритике» покойная Роза Люксембург грустную повесть о судьбе своей книги «Накопление капитала». И действительно, трудно подобрать другой пример судьбы более странной. Широкая популярность автора, принадлежность его к революционному крылу ортодоксального марксизма, глубина и оригинальность замысла, блестящее изложение, казалось, должны были обеспечить книге радушный и теплый прием. И тем не менее появление «Накопления капитала» было встречено в марксистской среде с холодностью поистине необычайной.

За исключением старика Меринга, отозвавшегося на книгу Р. Люксембург с чувством горячей симпатии [1]), почти весь западный марксизм встретил «Накопление капитала» со сдержанной враждебностью. «Специалисты» от марксизма, правда, снизошли до критики, но лишь затем, чтобы очень скоро сменить враждебную критику более или менее всеобщим заговором недружелюбного молчания.

Для молчания, впрочем, были серьезные основания. Подобно тому, как в 60-х годах молчание буржуазной науки перед лицом «Капитала» Маркса было красноречивым testimonium pauperitatis вульгарной экономии, свидетельством ее трусливого и злобного бессилия, так и молчание официального марксизма, оказавшегося при первых раскатах военной бури по ту сторону баррикады, было лишь красноречивым подтверждением того, что книга Розы Люксембург действительно и прежде всего ударяла именно по соглашательству.

---

[1]) „Ближе всех к прообразу,—говорит Меринг, разумея под прообразом „Капитал" Маркса, — по обширности сведений, блеску языка, логической ясности исследования, независимости умственной работы, выходящей за пределы простого научного изучения вопроса, подходит труд Розы Люксембург „Die Akkumulation des Kapitals". Резкие нападки, которым подверглась эта книга со стороны так называемых марксистов австрийской школы (Экштейна, Гильфердинга и т. п.), служат блестящим проявлением марксистского поповства" (Меринг—„Карл Маркс", русск. перев., 1920 г., стр. 434).

Со свойственной ему житейской мудростью официальный, соглашательский марксизм предпочел не замечать брошенной ему перчатки теоретического спора, тем более щекотливого, что он таил в себе возможность разоблачения теоретической подоплеки Burgfrieden'a.

Молчанием была встречена блестящая отповедь Розы Люксембург своим «критикам»—отповедь, в сдержанно-страстных словах которой читатель не раз чувствует печать германской тюрьмы, за решетками которой писалась «Антикритика». В молчании прошли «критики» и мимо смерти автора «Накопления капитала»,—смерти, глубокий трагизм которой заключался между прочим и в том, что едва ли кто из «критиков» может быть освобожден от тяжелого обвинения в молчаливом, по крайней мере, соучастии в кровавой расправе над покойным товарищем.

В этом своеобразном и исключительном сочетании обстоятельств кроется до известной степени разгадка того факта, что теория накопления капитала стала в руках немецких коммунистов боевым знаменем в идеологической борьбе с соглашательством. Измена социал-демократических вождей во время войны, измена, стоявшая в несомненной связи с их упорным теоретическим отрицанием закономерности империализма, с одной стороны, безупречное доказательство непримиримости империалистических противоречий покойной Розой Люксембург, с другой,—вот полюсы тех причин, которые в своей совокупности превратили в глазах германских коммунистов отрицание теории Розы Люксембург в синоним теоретического оправдания соглашения с буржуазией.

Запечатленная этим своеобразием германских условий, теория накопления Розы Люксембург предстала, наконец, перед IV конгрессом Коминтерна, претендуя на высокую честь стать основой и стержнем его программы [1]). Тем самым были раздвинуты и рамки теоретического спора. Вопрос состоит не столько или даже совсем не в том, приводит или нет отрицание теории накопления к оправданию соглашательства, как ставят или пытаются ставить этот вопрос немецкие товарищи. Вопрос состоит в том, действительно ли и правильно ли теория Розы Люксембург отражает, выявляет и формулирует тенденции развития современного капитализма? Правильны ли или неправильны по существу дела теоретические предпосылки и практические выводы этой теории? Иначе и не может быть поставлен вопрос там, где, говоря старыми словами вождя, «критерием доктрины ставится соответствие ее с действительным процессом общественно-экономического развития» [2]).

Немецкие товарищи ждали ответа на эти вопросы, по соображениям вполне понятным, в первую очередь от того крыла революционного марксизма, которому принадлежит идейное руководство в Коминтерне. Они ждали и приглашали ответить прежде всего русских товарищей. Как же обстояло дело с ответом *здесь?*

Если на Западе теории накопления, после десятилетнего почти замалчи-

---

[1]) См. „Bülletin d. IV Kongresses etc." № 13—14. Доклад т. Тальгеймера.

[2]) Н. Ленин—„Что такое друзья народа и т. д.", М. 1923 г., стр. 70.

вания, суждено было быть вовлеченной в самую гущу революционной борьбы, то в России, напротив, книга покойной Розы Люксембург прошла почти незамеченной.

Пара презрительных строк, вышедших из-под пера маститого отца российского ревизионизма М. И. Тугана-Барановского [1],—вот все, чем откликнулась российская официальная наука на появление «Накопления капитала» в немецком издании. Пять лет спустя г. Финн-Енотаевский, вообще очень близкий по своим построениям к Розе Люксембург, посвятил теории накопления пару-другую скупых недоверчивых слов по случайному поводу [2]) и затем вплоть до появления русского перевода «Накопления капитала» мы не имеем в русской литературе ничего, или почти ничего, что свидетельствовало бы об интересе к теории Розы Люксембург [3]). Но и появление «Накопления» на русском языке не вызвало значительного движения воды. Занятая практическими проблемами революции, русская марксистская мысль отозвалась на перевод книги лишь несколькими критическими замечаниями т. Дволайцкого [4]) и беглой рецензией С. Б. Членова [5]).

Несмотря на это, а может быть отчасти и вследствие этого, успех теории среди молодого поколения революции был совершенно исключительным. Теория накопления Розы Люксембург совершала и продолжает совершать поистине триумфальное шествие, вербуя себе в многочисленных кружках и семинариях столь же многочисленных сторонников и последователей.

Конечно, исключительная простота формулы—«Империализм есть политическое выражение процесса капиталистического накопления в его конкурентной борьбе из-за оставшихся еще неконфискованными частей некапиталистической мировой среды» [6]) и неотразимая убедительность доказательства экономически неизбежного краха капитализма, доказательства, кратко говоря, заключающегося в том, что «капиталистическое накопление для своего движения нуждается в некапиталистической социальной формации и может существовать лишь до тех пор, пока находит такую среду», — эта простота и эта убедительность, в сочетании с полным признанием решающей роли и значения революционной борьбы пролетариата, психологически об'ясняют нам популярность теории Люксембург среди революционной русской молодежи, но они не дают нам ключа к ответу на поставленные вопросы.

Не дают этого ключа и критические замечания т. Дволайцкого, вот уже

---

[1]) Туган-Барановский—„Промышленные кризисы", 3-е изд., стр. 208—209.

[2]) См. Финн-Енотаевский—„Экономич. система К. Маркса", 1919 г., стр 44.

[3]) Можно упомянуть о статье т. Чудновского, предназначенной, по словам Ш. М. Дволайцкого, для журнала „Просвещение", но в нем не напечатанной, вследствие его закрытия. Часть этой статьи, по сообщению из того же источника, находится у Н. И. Бухарина с пометкой т. Ленина „печатать".

[4]) См. „Красная Новь", 1921 г., № 1; „Вестник Соц. Акад.", 1923 г., № 3, и предисловие к переводу „Накопления капитала".

[5]) „Печать и Революция", 1921 г., № 2.

[6]) „Akkumulation d. Kapitals", S. 423.

два года старающегося привлечь внимание широких кругов к теории Розы Люксембург, правда, лишь затем, чтобы опровергнуть ее.

Какие доводы выставил т. Двойлайцкий [1]) в опровержение Розы?.. Тов. Люксембург, по его мнению, потому впала в грех отрицания возможности накопления в «чистом» капиталистическом обществе, что она беззаботно абстрагировалась от явлений кредита, а между тем da liegt der Hund begraben. Кредит как раз и есть та самая differentia specifica капиталистического общества, абстрагироваться от которой есть смертный методологический грех. Благодаря кредиту исчезают всякие затруднения с реализацией произведенных товаров, а стало быть делается возможным и накопление. В самом деле. Если капиталист перепроизвел, ему вовсе нет надобности ждать реализации, чтобы накоплять, т.-е. расширять производство. Он кредитуется и—дело в шляпе. С помощью занятых денег он расширяет производство, нанимает рабочих; последние дают толчек спросу, который, волнообразно и постепенно тая, катится по всей поверхности производства, и вот перед нами вместо кризиса и застоя—всеобщее оживление, процветание, под'ем. Стало быть «даже в условиях «чистого» капитализма возможно одновременное расширение и платежеспособного спроса, и производства» [2]). Тем самым опровергнут основной тезис Розы о том, что накопление при чистом капитализме невозможно. Никакой некапиталистической среды для реализации пресловутой прибавочной стоимости, вопреки т. Люксембург, как видите, не требуется.

В этом рассуждении удивительнее всего та легкость, с какой т. Двойлайцкий обошел главного свидетеля спора, самого Маркса. Как можно усмотреть в явлениях кредита, во всех отношениях второстепенных, differentiae specificae капиталистического способа производства после того, как Маркс на протяжении всех трех томов «Капитала» не устает повторять, что differentia specifica капитализма в том, что «капиталистический способ производства по существу заключается в производстве прибавочной стоимости»? [3]). Как можно привлекать к об'яснению процесса воспроизводства явления кредита, после того, как Маркс сам *абстрагировал* от них, анализируя воспроизводство и специально подчеркивая, что «с развитием кредита действительное движение может *мистифицироваться*»? [4]). Именно эту мистификацию *действительного* процесса и изображает Маркс в том самом месте, на которое ссылается т. Двойлайцкий. «Так может возрастать производство прибавочной стоимости, а вместе с ним и личное потребление капиталиста, весь процесс воспроизводства может находиться в самом цветущем положении,—и, однако, бо́льшая часть товаров может переходить в сферу потребления *лишь по видимости*, в действительности же оставаться нераспроданной, в руках перекупщиков, следовательно фактически все еще пребывать на рынке. Но поток товаров следует за потоком, и, наконец, обнаруживается, что прежний поток

[1]) См. его статью в „Вестнике Соц. Академии", 1923 г., № 3.

[2]) Там же, стр. 124.

[3]) III том „Капитала", I ч., стр. 219.

[4]) II том, стр. 125.

лишь *по видимости* поглощен потреблением. Товарные капиталы взаимно оттирают друг друга на рынке... Потом разражается кризис» [1]).

Кредит лишь затушевывает, отсрочивает, мистифицирует перепроизводство, но ни в какой степени его не устраняет. Всеобщее же перепроизводство означает не что иное, как невозможность реализовать товары *по прежней цене,* т.-е. невозможность реализовать не только прибыль, но очень часто и издержки производства, т.-е. невозможность при данных условиях продолжать накопление.

Здесь мы подходим к другому пункту возражений т. Дволайцкого, к указанию на то, что теория Люксембург закрывает путь к пониманию кризисов. Допустим на минуту, что это так. Но дает ли ключ к пониманию кризисов позиция самого т. Дволайцкого? Отнюдь нет. Так изображается следующая стадия производственного процесса т. Дволайцким после того, как он заставил капиталиста занятыми деньгами вызвать спрос на предметы потребления для рабочих и тем самым пустить волну оживления сначала по легкой индустрии, затем по тяжелой и т. д. «Спрос на вещественные элементы основного капитала, благодаря обрисованной нами выше цепной связи между всеми отраслями хозяйства, вызывает лавинообразное расширение производства, и легкое оживление по истечении известного времени превращается во всеобщий ажиотаж, который продолжается до тех пор, пока не обнаружится достигнутое фактически уже несколько ранее *несоответствие между расширившимся предложением и недостаточно возросшим спросом»* [2]).

Последний вывод кажется совершенно неожиданным, если исходить из положений самого т. Дволайцкого. В самом деле. Если легкое оживление в текстильной, скажем, индустрии благодаря чудодейственной силе кредита способно вызвать «лавинообразное расширение производства» по всей линии, то ведь, с другой стороны, само это «лавинообразное расширение» должно дать еще больший толчок самой текстильной индустрии и таким образом пустить в ход новую «лавину» расширения, которая в свою очередь вызывает новое расширение и так далее ad infinitum. Перед нами таким образом воочию perpetuum mobile капиталистического воспроизводства. Стоит только пустить машину в ход, и она будет работать вечно, без всяких перебоев. И если, тем не менее, т. Дволайцкий вынужден под сурдинку ввести в это «чистое» капиталистическое общество «несоответствие между расширившимся предложением и недостаточно возросшим спросом», т.-е. перепроизводство, кризис, то это означает и может означать только одно. Perpetuum mobile т. Дволайцкого столь же непригоден, как и все двигатели подобного сорта. Дело не в том, чтобы об'яснить, каким образом капитализм движется от одного перепроизводства к другому через смену различных кон'юнктур, от депрессии до под'ема и краха,—здесь Роза Люксембург и ее сторонники и т. Дволайцкий сойдутся на очень многом. Дело заключается как раз в том,

---

[1]) „Капитал", II том, 1907 г., стр. 48.

[2]) „Вестник Соц. Академии", 1923 г., № 3, стр. 126.

чтобы об'яснить вот это «обнаружившееся» несоответствие между предложением и спросом, между производством и потреблением. И в этом пункте возможны только два исхода. Либо вместе с Тугано-Барановским об'явить мифом самый факт несоответствия между производством и потреблением, отказаться от всякой связи и зависимости первого от последнего и нагромождая схему на схему доказать, что если и возможна ошибка в этом perpetuum mobile, то только от диспропорциональности его частей, но отнюдь не от того, что производство зависит от потребления. И так как нет никаких резонов, говоря об «абстрактном», «чистом» капитализме, предполагать его непропорциональным, то следует признать, что такой капитализм действительно будет работать без отказу до тех пор, пока не умрет наконец с голоду и тот последний рабочий, которого Туган-Барановский милостиво соизволил оставить в своих расчудесных схемах [1]). Но капитализм не схема, а живая и в достаточной степени трагическая действительность. Поэтому нам мало чем помогут в ее познании арифметические выкладки Тугана, который, по язвительному замечанию Веры Засулич, подобно вольтеровскому богу, сидит в созданном им стеклянном мире, серьезно уверяя всех, что это и есть мир настоящий [2]).

А настоящий мир есть мир имманентного капитализму противоречия между производительными силами и производственными отношениями и в первую очередь между отношениями распределения, сводящими потребительную силу огромных масс населения к минимуму, изменяющемуся лишь в более или менее узких границах [3]). Другими словами, настоящий мир и есть мир несоответствия между производством и потреблением, иначе говоря, невозможности реализовать товарную стоимость и прежде всего ту неоплаченную часть ее, которая должна пойти для целей накопления. Но признание этого факта, horribile dictu, есть признание правильности концепции Розы Люксембург, а стало быть признание и того неизбежного отсюда вывода, что накопление в «стеклянном» Тугановском мире «чистого» капитализма вообще невозможно.

Т. Двблайцкий из этих двух возможных выходов предпочел третий. Он засунул действительный капитализм в стеклянную оболочку Тугана, со всеми, конечно, последствиями, вытекающими из неудобства сиденья между двух стульев.

Pour la bonne bouche т. Двблайцкий уверяет, что капитализм все же крахнет, хотя и не от того, что не сможет реализовать прибавочную ценность, то от того, что он «препятствует техническому прогрессу» [4]), а этого технический прогресс не потерпит и рано или поздно устранит «застой и загнивание» техники введением социализма. К этой «технической», так сказать, версии краха капитализма мы еще рассчитываем вернуться, но

---

[1]) Ср. Туган-Барановский—„Промышленные кризисы", 3-е изд., стр. 230.

[2]) См. В. Засулич—„Заметки читателя", сб. статей, т. I, ч. 2, стр. 4.

[3]) См. Маркс—„Капитал", III том, I ч., стр. 220.

[4]) „Вестник Соц. Академии", № 3, стр. 132.

уже из сказанного ясно, что первую и самую добросовестную русскую попытку опровергнуть Розу мы не менее добросовестно можем признать неудавшейся.

Но если и правильно, что попытки теоретически опрокинуть концепцию Розы все сплошь кончались неудачей [1]), то, с другой стороны, не менее ясно и то, что не было сделано ни одной попытки и в другом направлении, в направлении перестановки концепции т. Люксембург, так сказать «с головы на ноги».

Теория Розы Люксембург, при всей ее жизненности, была и есть пока еще в ее положительной части, т.-е. там, где она трактует явления нашей эпохи, хотя и плодотворная, но все же гипотеза, требующая серьезного и обширного обоснования фактами. Ее удельный познавательный вес и значение могут быть выяснены лишь тогда, когда мы под углом [2]) этой теории просмотрим, прощупаем, взвесим все то, что мы конкретно знаем об империализме. Туган-Барановский пытался бить теорию Розы Люксембург фактами, и, как это часто бывает, факты возвестили читателю Тугана лишь одно: неправильность его собственной позиции. В «Русской фабрике» устами Тугана заговорила Роза [3]), а когда маститый экономист обратил свои взоры к Англии, то коварный Альбион оказался более чем на одну треть (и какую треть!) всего своего экспорта заинтересованным как раз в некапиталистических колониальных рынках [4]). Но, с другой стороны, очевидно, что и конкретно исторические главы «Накопления капитала», главы, перед изумительной силой, страстью и блеском которых не смог устоять даже скептический т. Двблайцкий, все же не есть то обоснование теории фактами, о котором шла речь выше. Это иллюстрации, полные творческой мощи и исторической прозорливости. Систематической переоценки явлений современной экономики под углом теории накопления мы пока еще не имеем.

Таким образом и перед противниками и перед сторонниками теории накопления—необозримое поле работы в области конкретной экономики: первым для того, чтобы опровергнуть, вторым для того, чтобы обосновать. И самая постановка вопроса исключает схоластический подход к нему. Подобно тому, как 30 лет тому назад аналогичная проблема приобрела в знаменитом споре народников и марксистов характер вопроса о грядущих судьбах капитализма в России, так и теперь проблема, поставленная Розой Люксембург,

[1]) См. ответ Розы Люксембург своим критикам в „Антикритике".

[2]) „Промышленные кризисы", 1914 г., стр. 238—239.

[3]) См. статью Бессонова в „Спутнике коммуниста", № 21.

[4]) По данным 1913 года 38,2% всего английского экспорта падало на долю колоний, при чем некоторые отрасли производства находились в решающей зависимости от экспорта в колонии. Так, фабрикаты вообще экспортировались в колонии на 42%; керамика и стекло на 47,9%; железо, сталь и изделия из них на 46,9%; другие металлы и и изделия из них на 37,3%; инструменты, орудия, ножи 47,0%; электротехнические товары 61,6%; машины 32,5; локомотивы, суда, аэропланы, автомобили 34,1%; хлопчатобумажные ткани и пряжи 45,4%; готовое платье 69,3%; обработанные масла и смолы 39,1%; разные фабрикаты 42,2%, и т. д. (Statistikal Abstracts etc. 1902—1917).

есть прежде всего и по существу проблема краха капитализма, решаемая в конечном счете лишь учетом конкретной экономической обстановки, тенденций развития и соотношением борющихся сил.

Но есть и еще одна сторона во всем этом вопросе.

«Когда я писала «Накопление капитала», — замечает Роза Люксембург в своей «Антикритике, — одна мысль время от времени тяготила меня: все интересующиеся теорией последователи Маркса заявят, что ведь это есть нечто само собой разумеющееся. Никто собственно и не представлял вопроса иначе: разрешение проблемы есть единственно возможное и мыслимое» [1]).

Это очень важно. Если, в самом деле, никто из «интересующихся теорией последователей Маркса не представлял себе вопроса и его решения иначе, чем оно дано самой Розой Люксембург, то это ровно наполовину сокращает наш путь. Если теория Розы органически вырастала и кристаллизовалась из ряда бесспорных положений, разделявшихся большинством теоретиков марксизма; если она составляет естественное завершение и заключительное звено в той цепи мыслей, начало которой идет от Маркса, тогда марксистам нет никакого смысла ломать копья и лить чернила вокруг бесспорного, в сущности, вопроса. Задача принимает тогда иной вид: проверить, испытать прочность этого заключительного звена на фактах, на жизни.

Откуда же, спрашивается, почерпнула Роза Люксембург, сама с 90-х годов варившаяся в партийном и теоретическом котле, эту твердую уверенность в том, что решение проблемы, данное ею, есть «нечто само собою разумеющееся» в марксистской среде? Так как покойный товарищ не дала ответа на этот вопрос, нам приходится обратиться непосредственно к первоисточникам и прежде всего, конечно, к творцам научного социализма — к Марксу и Энгельсу.

II.

Условия, при которых Маркс анализирует проблему капиталистического рынка, формулированы им в одной из самых ранних работ следующим образом:

«Реальные отношения, в пределах которых происходит действительный процесс производства, *не* развиваются. Все время предполагается, что товары продаются по их стоимости. Конкуренция капиталов не рассматривается, равно как *не* рассматриваются *ни кредит, ни действительное строение общества, которое отнюдь не состоит только из класса рабочих и класса промышленных капиталистов* и в котором, следовательно, потребители и производители не тождественны» [2]).

Другими словами анализ воспроизводства общественного капитала целиком относится к «чистому», «абстрактному капитализму». Но исчезают ли от этого те противоречия, которые имманентны капитализму по самой его при-

[1]) „Akkumulation d. Kapitals“, B. II, стр. 5.

[2]) „Накопление капитала и кризисы“, пер. Бессонова, 1923 г., стр. 27.

роде, которые вытекают из его differentiae specificae и которые неустранимы поэтому никаким иным путем, кроме устранения самого капитализма? Конечно, нет, так как в противном случае мы имели бы перед собой не капитализм, а что-то другое. И Маркс со всей решительностью подчеркивает значение и смысл этих противоречий, роковая цепь которых развертывается осуществляется и разрешается в кризисах, имманентно присущих капитализму. Отрицать это—значит отрицать и самый капитализм.

«Для того, чтобы доказать, — пишет Маркс, полемизируя против Рикардо,—что капиталистическое производство не может вести ко всеобщим кризисам, отрицаются все условия, все формальные определения, все принципы и differentiae specificae—короче, отрицается само капиталистическое производство и в действительности доказывается лишь то, что если бы капиталистический способ производства был не развитой формой общественного производства, а был бы способом производства, стоящим ниже самых грубых начальных ступеней своих, то не существовало бы и свойственных ему противоположностей, противоречий, а потому не было бы и их разрешения в кризисах» [1]).

Differentiae же specificae капиталистического способа производства заключаются в том, как это не устает повторять Маркс,—что это есть способ производства, основанный 1) на производстве товаров и 2) на производстве и присвоении прибавочной стоимости. В самом определении уже кроется ключ к пониманию капиталистических противоречий. «При товарном производстве превращение продукта в деньги, продажа его есть conditio sine qua non. Непосредственное производство для собственных потребностей отпадает. *Вместе с непродажей здесь на-лицо и кризис*» [2]). Это с одной стороны. С другой стороны, «в согласии с сущностью капиталистического производства, каждый отдельный капитал работает, во-первых, в таком размере, который обусловлен не индивидуальным спросом (заказами и т. п. или частным спросом), но *стремлением реализовать возможно больше труда, а потому и прибавочного труда и* доставить возможно бо́льшую массу товаров с данным капиталом» [3]).

Отсюда вытекает, во-первых, безграничное стремление к развитию производительных сил для осуществления последней цели и, во-вторых, необходимость, что бы то ни стало реализовать, превратить в деньги содержащийся в товарах труд. «Производство совершается *не в расчете на положительные границы* потребления, но ограничено *только* капиталом. И это, конечно, характерно для этого способа производства» [4]). Другими словами, при капитализме «границей производства является *прибыль капиталистов*, но отнюдь не *потребность производителей*» [5]). Тем самым даны рамки для кризиса.

[1]) Там же, стр. 35.
[2]) Там же, стр. 40.
[3]) Там же, стр. 17.
[4]) Там же, стр. 54.
[5]) Там же, стр. 61.

«Возможность кризиса, поскольку она обнаруживается в простой форме метаморфозы, вытекает только из того, что различные формы, фазы, которые товар проходит в своем движении, являются, во-первых, такими фазами и формами, которые необходимо дополняют друг друга, а, во-вторых, вопреки этой внутренней и необходимой взаимной связи, являются *независимыми* частями процесса, индифферентными в отношении друг к другу формами, распадающимися в пространстве и во времени, отделяемыми одна от другой и отделенными. Следовательно, эта возможность лежит *исключительно* в том, что продажа отделяется от покупки» [1]).

Таким образом уже в самой товарной форме продукта дана возможность кризиса: товар может быть не продан, так как продажа отделена от покупки. С переходом к капиталистическому способу производства противоречие, заключенное в товаре, получает дальнейшее определение и развитие.

«Противоречия, обнаруженные в товарном, а затем и в денежном обращении, а вместе с ними и возможности кризиса воспроизводятся сами собой в капитале, так как действительно только на основе капитала имеет место развитое товарное и денежное обращение» [2]). Однако «в отделе, трактующем о капитале, о непосредственном процессе производства, не дается ни одного нового элемента кризиса. *Сам по себе* он *содержится* в нем, *так как* процесс производства есть присвоение, а потому и производство прибавочной ценности. Но в самом производственном процессе это не может выявиться, так как в нем нет речи *о реализации* не только воспроизведенной, но и прибавочной ценности. Возможность может выступить *только в процессе обращения,* который в себе и для себя есть одновременно и процесс воспроизводства» [3]).

Таким образом мы вплотную подходим к проблеме реализации, так как только здесь, на рынке, и могут быть выявлены и разрешены противоречия, вытекающие из самого существа производства, основанного на товаре и присвоении прибавочной стоимости.

Здесь перед нами арена столкновений индивидуальных интересов, конкуренции капиталов, проявлений мощного механизма спроса и предложения. Товары предлагаются на рынке; откуда же идет спрос на них?

«Если отношение спроса и предложения понять шире и конкретнее, то выступит (отношение) производства и потребления. Здесь снова должно было бы быть соблюдено *единство* обоих этих моментов, существующее an sich и именно в кризисах насильственно осуществляемое, вопреки их разделению и противопоставлению, также имеющих место и даже характеризующих буржуазное производство» [4]). Следовательно, кризис есть «насильственное осуществление» *единства* производства и потребления, единства, реально никогда не существующего при капитализме в силу целого ряда при-

[1]) Там же, стр. 39.
[2]) Там же, стр. 44.
[3]) Там же.
[4]) Там же, стр. 49.

чин. В самом деле. Расширение производства, избыточное производство и пе| производство, рассматриваемые сами по себе, находят свою границу исклю- тельно в самом капитале, в то время, как потребление, напротив, всегда ог| ничено более или менее узкими и всегда строго определенными рамками. «Г| ницей избыточного производства является сам *капитал*, наличный масшт условий производства и безграничное стремление капиталистов к накоплен| и капитализации, но ни в каком случае не *потребление, которое заран является (ограниченным)*, так как значительная часть населения, рабочее н| селение, может расширять свое потребление лишь в пределах очень тесн| границ» [1]. Отсюда несоответствие между производством и потреблением, н соответствие, имманентно присущее капитализму. «Безусловное развитие пр изводительных сил, отсюда массовое производство, *на основе массы произв дителей замкнутых в круге необходимых жизненных средств*, с одной ст роны, и граница этого развития в прибыли капиталистов, с другой стороны,- вот что составляет основу современного перепроизводства» [2].

То обстоятельство, что противоречие между производством и потребл нием временно может быть скрыто за волной под'ема в промышленн| цикле, ни в какой мере не устраняет его самого. Об'яснению подлежит | самый факт перепроизводства, а его основные причины. «Если бы ответил что непрерывно расширяющееся производство требует непрерывно расширя| щегося рынка, и что производство расширяется быстрее, чем рынок, то эт| *лишь по другому выразили бы то самое явление, которое подлежит об'ясн нию*. Вместо абстрактной выразили бы явление в его реальной форме; рын| расширяется медленнее, чем производство, или, говоря иначе, в том цикле, к| торый приходится капиталом во время его воспроизводства,—в цикле, в кот| ром капитал воспроизводится в расширенном размере, где он описывает | круг, а спираль,—в этом цикле *наступает момент, когда рынок оказывает| слишком тесным для производства*. Это имеет место в конце цикла. Но эт значит только, что рынок переполнен. Перепроизводство очевидно. Если б расширение рынка шло нога в ногу с расширением производства, то н было бы никакого переполнения рынка, никакого перепроизводства» [3].

Поэтому самое признание факта перепроизводства, завершающего пр| мышленный цикл, обязывает нас к углублению в те причины, которые делаю это перепроизводство необходимым при капитализме. Характеристика эти имманентных капитализму предпосылок перепроизводства, с исчерпывающе точностью и ясностью, не оставляющей никакого места сомнению, дано са мим Марксом.

«Перепроизводство в особенности имеет своей предпосылкой *всеобщи* закон производства капитала—производить в меру производительных сил т.-е. в меру возможности эксплоатировать, с данным количеством капитала возможно большую массу труда, *без внимания к существующим границам рын*

[1] Там же, стр. 26.
[2] Там же, стр. 63.
[3] Там же, стр. 58.

ка и платежеспособных потребностей—и осуществлять это путем постоянного расширения воспроизводства и накопления, следовательно путем постоянного превращения дохода в капитал, *в то время, как, с другой стороны, масса производителей остается ограниченной средним уровнем потребностей и должна* остаться таковой, согласно тенденции капиталистического производства» [1]).

Итак, с одной стороны, капитализм по самому существу своему должен производить в меру производительных сил, а с другой *должен* ограничивать огромную массу производителей средним уровнем потребностей. Отсюда конфликт между производительными силами и производственными отношениями, находящий себе выражение в кризисе.

Рассмотрим несколько ближе существо и форму этого конфликта.

Идеальное капиталистическое общество состоит *только* из рабочих и только из капиталистов, понимая под последними всех тех, кто живет за счет прибавочной стоимости (чиновники, попы, проститутки и т. п.). Чтобы уяснить себе существо вопроса, попробуем вслед за Марксом сопоставить на момент общество, где предпринимателем является капиталист,—и общество, где предпринимателем являются сами организованные рабочие. Какая разница в условиях реализации там и тут? «Он (т.-е. капиталист) должен продать массу товаров, представляющих *прибавочную ценность, прибавочный труд.* Они же имели бы к продаже на рынке *лишь* такую массу товаров, которая воспроизводила бы авансированную в производстве ценность — ценность средств труда, материала труда и заработной платы. *Для него поэтому нужен более широкий рынок, чем тот, в котором нуждались бы они»* [2]).

Другими словами в капиталистическом обществе весь вопрос сводится к вопросу о реализации прибавочной стоимости, т.-е. той части товарной стоимости, которая выражает собою неоплаченный труд. Кем же и как может быть реализована эта часть стоимости в капиталистическом обществе? Очевидно, что она не может быть реализована рабочими, так как «уже одно только отношение между наемным рабочим и капиталистом предполагает..., что самая большая часть производителей—рабочие—могут потреблять эквивалент своего продукта *только постольку, поскольку* они производят *больше*, чем этот эквивалент—прибавочную ценность или прибавочный продукт» [3]). «Капиталист ни в каком случае не может продать ему (т.-е. рабочему) свои продукты дороже, чем он ему заплатил за его труд, ни гроша больше» [4]).

Остаются сами капиталисты. Часть прибавочной стоимости реализуется за счет личного потребления их самих. Но как быть с той частью, которая подлежит накоплению, предназначена для расширения производства? Если даже допустить, что по своей потребительской форме эта часть непосредственно, in natura может быть возвращена в производство в целях его расширения, тогда остается в силе другой вопрос: это расширившееся производ-

---

[1]) Там же, стр. 68—69.

[2]) Там же, стр. 52.

[3]) Там же, стр. 53.

[4]) „Теории приб. стоимости", 1906 г., стр. 288.

ство совершается ведь не ради самого производства, а ради присвоения прибавочной стоимости, осуществляемого лишь в процессе реализации, путем *продажи* произведенных товаров. Следовательно, расширение должно либо предполагать расширение спроса (resp.: потребления), либо иметь его на-лицо. Если этого расширения спроса, расширения, которое в соответствии с духом капитализма должно быть более или менее стремительным, нет, то значит невозможна и реализация той части прибавочной стоимости, которая предназначена для целей накопления, невозможно и само накопление.

И здесь может быть только два ответа. Либо вышеописанный perpetuum mobile т. Дволайцкого (и Тугана-Барановского) и отказ от имманентного капитализму противоречия между производством и потреблением, либо полное признание, вместе с Марксом (и Розой Люксембург), силы и значения этого противоречия, следовательно, и признание того, что накопление в чистом капиталистическом обществе вообще невозможно. Никакое расширение производства, хотя бы и сопровождаемое некоторым расширением спроса со стороны новых рабочих [1], не в силах скрыть того основного противоречия капиталистического способа производства, что рабочие должны быть постоянно *перепроизводителями*, производить постоянно *сверх* их потребности для того, чтобы иметь возможность в пределах *своей* потребности быть потребителями или покупателями» [2].

Другими словами, никакое расширение производства не в силах устранить конфликта между производительными силами и антагонистическими отношениями распределения, которые, при капитализме, ставят потребление широких масс в узкие границы, не поддающиеся расширению. Расширение производства, если бы таковое и было возможно, лишь воспроизводило бы этот конфликт на более широкой основе. И хотя эта сторона проблемы реализации осталась не разработанной до конца у Маркса, все же вышеприведенный ход мыслей гениального творца «Капитала» не оставляет никаких сомнений в том, в каком направлении следует искать решения задачи. Это направление и этот путь—направление и путь «Накопления капитала» Розы Люксембург.

Мы остановились на этой ранней работе Маркса потому, что ход мыслей, изложенный здесь, в общем и целом повторяется и в позднейших работах, пропитывая, можно сказать, насквозь весь третий том Капитала. И это даже при том условии, что и III том Капитала, в конце концов, по собственному признанию Маркса, не подходит вплотную к *действительным* условиям реализации. «Такое исследование,—говорит Маркс,—не входит в план нашей работы и относится к теме, которая могла бы составить ее продолжение» [3].

---

[1]) Откуда, кстати, возьмутся эти новые рабочие в идеальном и непрерывно растущем капитализме,—неужели из естественного прироста населения? Это совершенно в стиле одного из „критиков“ Розы—Бауэра (см. сб. „Основные проблемы полит. экономии“. Статья Бауэра).

[2]) „Накопление капитала и кризисы“, стр. 54.

[3]) „Капитал“, III том, I ч., стр. 85.

Что условия действительной реализации представлялись Марксу неизмеримо отличными от абстрактного анализа реализации, видно хотя бы из следующего места.

«Во всех тех странах, в которых—как мы это видим в Азии—главный доход страны в форме поземельной ренты попадает в руки крупных землевладельцев, государей и т. д., немногочисленные и потому не (стесняемые) конкуренцией промышленники продают им свои товары по монопольным ценам и присваивают себе таким образом часть их дохода [1]); они обогащаются не только тем, что продают им неоплаченный труд, но также и тем, что продают товары за большее количество труда, нежели в них содержится» [2]). Это место невольно заставляет нас вспоминать о турецких вилайетах, описанных в книге т. Люксембург. Но даже и в третьем томе Маркс неоднократно подчеркивает, как модифицируются основные законы в применении к живой действительности. Он отмечает, например, крупные препятствия, возникающие перед процессом уравнения норм прибыли в том случае, «если между капиталистическими предприятиями вдвинуты и с ними переплетены многочисленные и обширные отрасли производства, которые ведутся некапиталистически (например, земледелие мелких крестьян)» [3]). Разложение и экспроприация этих самостоятельных производителей представляются Марксу далеко не одним только моментом первоначального накопления, как это склонен думать т. Дволайцкий. Напротив, этот процесс протекает в тесном взаимодействии с общим развитием капитализма. «Возрастающая концентрация капиталов... является, с одной стороны, одним из материальных условий капиталистического производства и накопления, а с другой стороны, одним из создаваемых им самим результатов. *Рука об руку и во взаимодействии с этим совершается прогрессирующая экспроприация более или менее непосредственных производителей»* [4]).

Очень важны те мысли, которые высказывает Маркс, когда он, несколько выходя за пределы поставленного им плана, касается не «внутренней организации капиталистического производства», не «его, так сказать, идеальной средней» [5]), а фактического положения дела. Возьмем, например, вопрос о внешнем рынке, с которым мы не имели никакого дела, когда говорили об абстрактной теории реализации. В действительном процессе реализации ему однако принадлежит решающая роль. «Торговля становится слугой промышленного производства, для которого постоянное расширение рынка является *условием существования.* Постоянно расширяющееся массовое производство переполняет наличный рынок и потому постоянно работает над расширением этого рынка, над тем, чтобы пробить брешь в его рамках» [6]).

[1]) Который в то же время, есть не что иное, как превращенная форма крестьянского труда. *С. Б.*

[2]) „Теории прибавочной стоимости“, 1906 г., 292 стр.

[3]) „Капитал“, III т., I ч., стр. 172.

[4]) Там же, стр. 194.

[5]) Ср. там же, ч. 2, стр. 360.

[6]) Там же, ч. I, стр. 313.

«Хотя расширение внешней торговли служило в детстве капиталистического способа производства базисом для него, но с его развитием, вследствие *внутренней необходимости* этого способа производства, вследствие его потребности в *постоянно* расширяющемся рынке, расширение внешней торговли стало его собственным результатом» [1]).

Но, ускоряя с одной стороны накопление [1]), «та же самая внешняя торговля развивает *внутри страны капиталистический способ производства* [2]) и, следовательно, ведет к уменьшению переменного капитала по отношению к постоянному; с другой стороны, она создает *перепроизводство* по отношению к загранице и потому в дальнейшем оказывает опять-таки противодействующее влияние» [3]). Мировой рынок и мировая торговля, конечно образуют предпосылку и основу капиталистического способа производства но, «с другой стороны, имманентная для последнего необходимость производить в постоянно увеличивающимся масштабе ведет к постоянному расширению мирового рынка, так что в этом случае не торговля революционизирует промышленность, а промышленность постоянно революционизирует торговлю» [4]). Позднее мы увидим, как эта «потребность в возрастающем сбыте», заставляющая буржуазию «обегать весь земной шар» [5]), уточняясь в мысли Ленина, приобретает характер жизненного условия для капитализма, который не может существовать и развиваться без непрерывного внедрения все в новую и новую некапиталистическую среду [6]).

Этот круг мыслей, чрезвычайно родственных позднейшим выводам Розы Люксембург, стоит в теснейшей связи с общетеоретическими положениями III тома, развивающими, как мы уже упоминали, в общем и целом тезисы более ранних «Теорий прибавочной стоимости».

Нам остается отметить некоторое дальнейшее определение законов реализации. Противоречие между производством и потреблением составляет здесь главное содержание почти всей 15 главы, при чем Маркс с необычайной силой оттеняет и подчеркивает внутреннюю связь этого противоречия с экспроприацией непосредственных производителей, с одной стороны, и с условиями общего краха капитализма, с другой.

«Так как целью капитала является не удовлетворение потребностей, а производство прибыли, и так как эта цель достигается лишь такими методами, при которых масса продуктов определяется размерами производства, а не наоборот, то *постоянно должно* возникать несоответствие между ограниченными размерами потребления на капиталистическом базисе и производством, которое постоянно стремится выйти за эти *имманентные* пределы» «Если говорят, что перепроизводство только относительно, то это совер-

---

[1]) Там же, стр. 212.

[2]) Следовательно, на место существовавших там ранее некапиталистических формаций, разложению которых она способствовала. *С. Б.*

[3]) Там же, стр. 214.

[4]) Там же, стр. 309.

[5]) Ср. „Коммун. Манифест", 1922 г., стр. 22.

[6]) Ср. „Развитие капитализма в России", 1923 г., стр. 419—420.

шенно правильно; но весь капиталистический способ производства есть только относительный способ производства, границы которого не абсолютные границы, но *абсолютны для него, на его базисе*. Иначе, как же мог отсутствовать спрос на такие товары, в которых нуждается масса народа, и как было бы возможно то явление, что приходится искать спрос *за границей, на отдаленных рынках* для того, чтобы иметь возможность платить рабочим у себя дома среднее количество необходимых средств существования? Потому что только в этих специфических, капиталистических взаимоотношениях *избыточный продукт* получает такую форму, в которой его владелец может предоставить его для потребления лишь в том случае, если он превратится для него опять в капитал» [1]. Говоря другими словами, «товаров производится слишком много для того, чтобы заключающуюся в них стоимость можно было *реализовать и превратить в новый капитал при тех условиях распределения и отношениях потребления, которые определяются капиталистическим способом производства*, т.-е. чтобы этот процесс мог совершаться без постоянно возобновляющихся взрывов [2].

Таким образом накопление становится либо совсем невозможным, либо может осуществляться только путем постоянно возобновляющихся взрывов. В чем разница между этой мыслью Маркса и постановкой вопроса Розой Люксембург? *Только* в том, что Роза Люксембург считала накопление в *чистом* капиталистическом обществе совершенно невозможным, в то время как Маркс, повидимому, считал это возможным, для капитализма *действительного*, хотя и путем периодических взрывов. Это столь же ясно, как бесспорно все значение III тома: Маркс говорит здесь не о чистом капитализме, а о капитализме грешном, земном, действительном. В таком случае отпадает всякое противопоставление Розы Люксембург и Маркса, и из всех «интересующихся теорией последователей Маркса»—сам Маркс оказывается первым, кто «собственно и не представлял вопроса иначе», чем его представила впоследствии Роза Люксембург.

На известной ступени развития конфликт между производством и потреблением доходит до своего исторического конца: «пределы, в которых *только и может* происходить сохранение и увеличение капитальной стоимости, *основанием чего служит экспроприация и обеднение широких масс производителей*, эти пределы постоянно вступают в конфликт с методами производства, которые *должен* применять капитал для своих целей и которые направлены к неограниченному увеличению производства, производству, как самоцели, и безусловному развитию общественной производительной силы труда». «Поэтому капиталистическое производство доходит до своего предела при такой степени расширения, которая, наоборот, при других предпосылках оказалась бы в высшей степени недостаточной. Оно приостанавливается не тогда, когда этого требует удовлетворение потребно-

[1]) III том, ч. I, стр. 232, 233.

[2]) Там же, стр. 234.

сти, а тогда, когда этой остановки требует производство и *реализация* прибыли» [1]).

Отсюда неразрешимое противоречие, кризисы, крах.

Если мы обратимся теперь к великому спутнику Маркса—Энгельсу, то и у него мы найдем все тот же круг идей, из которого, как из питательной среды, вырастала и должна была вырасти теория Р. Люксембург.

Уже в середине 40-х годов, в речи в Эльберфельде и в статье о Zehnstundenbill'е, Энгельс ставит вопрос о дальнейшем развитии капитализма в теснейшую связь с условиями расширения рынка. «Английские промышленники,—пишет он в последней статье,—средства которых расширяются несравненно быстрее, чем рынки, идут быстрыми шагами к тому моменту, когда их средства помощи будут исчерпаны, когда периоды процветания, разделяющие ныне один кризис от другого, совершенно исчезнут под давлением производительных сил, достигнувших чрезмерного развития, когда кризисы будут отделены друг от друга короткими периодами вялой, едва оживляющейся промышленности» [2]).

Здесь, как мы видим, полностью выявлена та самая мысль о неизбежности хронического перепроизводства, которой впоследствии суждено было стать догматом веры и пунктом программы «интересующихся теорией последователей Маркса». Конфликт между производством и потреблением здесь еще только намечен. В «Анти-Дюринге» он развернут и обоснован. «Чрезвычайная способность крупной индустрии к расширению,—пишет там Энгельс,—способность, в сравнении с которой таковая же возможность газа есть поистине детская забава, выступает теперь перед нами, как *потребность* в количественном и качественном расширении, которая как бы игнорирует все встречающиеся на ее пути противодействия. Противодействие расширению производства образуется *потреблением и сбытом товаров.* Способность расширения рынков, экстенсивного и интенсивного, подчиняется совершенно другим, гораздо менее энергично действующим законам. Расширение рынка не может итти в ногу с расширением производства. Коллизия становится неизбежной, и так как она не может привести ни к какой развязке, *пока она не нарушит самый капиталистический способ производства,* то она становится периодической... В кризисах... экономическая коллизия достигает своего апогея: *способ производства восстает против способа обмена, производительные силы—против способа производства, который их создал»* [3]).

Корень коллизии таится таким образом в восстании производительных сил против способа обмена. Как же конкретно понимать это противоречие? По мнению Энгельса оно заключается в невозможности при капиталистических отношениях капитализовать прибавочную стоимость, ради присвоения, сохранения и увеличения которой капитализм только и существует. «В капиталистическом обществе средства производства не могут быть пущены

---

[1]) Там же, 226, стр. 234—235.

[2]) „Gesammelte Schriften etc.", т. III, стр. 389. Ср. Т у г а н а—„Основы", стр. 483.

[3]) „Анти-Дюринг", изд. 1918 г., СПБ., стр. 244—245.

в дело, не превратившись предварительно в капитал, в средство эксплоатации человеческой рабочей силы. Как призрак, стоит между рабочими, с одной стороны, и средствами производства и существования, с другой—необходимость капитализации последних. Она одна препятствует соединению вещественных и личных двигателей производства; она одна не дает средствам производства рационально функционировать, а рабочим жить и работать». «Весь механизм капиталистического способа производства перестает функционировать под тяжестью им самим порожденных производительных сил. *Он не может всю массу средств производства превратить в капитал»* [1]. Другими словами, он не может реализовать прибавочную стоимость, подлежащую накоплению.

Одного уж этого было бы достаточно для того, чтобы толкнуть в направление разрешения задачи, данного Розой Люксембург. Великий спутник Маркса оказывается также в числе тех, для кого это разрешение «является единственно возможным и мыслимым». Автор «Накопления капитала» вправе был ожидать в среде «интересующихся теорией» марксистов дружественного и теплого приема своей концепции. Случилось наоборот.

(Окончание следует).

[1]) Там же, стр. 246.

Ленин и Брест [1]).

Мих. Павлович.

XV-й том Собрания сочинений Н. Ленина охватывает период времени с 25 октября 1917 года до 31 декабря 1918 г.

Всю эту эпоху—как формулирует тов. Каменев в своем кратком, но содержательном предисловии—по характеру основных задач, требовавших решения от Советской власти и коммунистической партии, можно разбить на четыре периода.

Первый период—от ноября 1917 года до марта 1918 г.: подавление первых попыток сопротивления контр-революции (Краснов, Духонин, Каледин, Корнилов); распространение Советской власти из центра на места; заключение мира с Германией; спор с «левыми коммунистами», неприемлющими Брестского мира (речи Вл. Ил. на VII с'езде Р. К. П. и IV С'езде Советов; статьи «о революционной фразе» и т. д.).

Второй период—от марта до июня 1918 г.: первая «передышка», возможность для Советской власти впервые сосредоточиться на организационно-хозяйственных вопросах; В. И. формулирует основное положение для понимания особенностей настоящего момента и вытекающих отсюда задач Советской власти: «если бы мы захотели теперь продолжать прежним темпом экспроприировать капитал дальше, мы, наверное, потерпели бы поражение, ибо наша работа по организации пролетарского учета и контроля явно отстала от работы непосредственной экспроприации экспроприаторов» («Очередные задачи Советской власти», статья т. Ленина 29 апреля 1918 г.). Одновременно выдвигается идея «государственного капитализма» (та же статья). Спор с «левыми» переносится в область хозяйственно-организационных вопросов (ст. Вл. Ил. о «левом ребячестве» и о «мелко-буржуазности», май 1918 г.).

Третий период—от июня до ноября 1918 г.: перелом; мятеж левых эс-эров; начало иностранной интервенции; восстание чехо-словаков; создание военных фронтов внутри страны; десант англичан в Архангельске, Скоропадский на Украине, Краснов на Дону, Алексеев на Юге; убийство Володарского и Урицкого; обострение голода в городах. Советская республика вооору-

---

[1]) Н. Ленин (В. Ульянов), Собрание сочинений, т. XV, Госуд. Издательство, 1922, стр. 629.

жается и вступает в борьбу за существование со всем капиталистическим миром; начало периода «военного коммунизма»; восстановление идейного единства в партии (письмо Вл. Ил. к питерским рабочим «О голоде», речь «Борьба за хлеб» и т. д.).

«Четвертый период—от ноября до конца года: революция в Германии и Австрии; перемирие на фронтах империалистической войны (ноябрьские речи Вл. Ил. о мировой революции); колебания и разлад в рядах «демократической» контр-революции (статья Вл. Ил. «Ценные признания Питирима Сорокина», речь «О мелко-буржуазных партиях», ноябрь 1918 года...).

Мы не берем на себя задачи резюмировать взгляды т. Ленина по всем вопросам, затронутым в XV томе. Наша цель изучить постановку тов. Лениным вопросов международной политики и в особенности вопросов о войне, Брестском мире и т. д.

Прежде всего нужно подчеркнуть, что едва ли кто-нибудь из государственных деятелей Европы и теоретиков социализма, не исключая и наших русских марксистов, так ясно понимал и так ярко подчеркивал все значение международной обстановки и так называемых внешних факторов во внутренней жизни страны вообще, в победах и поражениях революции в особенности.

Самую возможность октябрьской революции и триумфальное шествие Советской власти в течение многих недель и месяцев после октября т. Ленин об'ясняет благоприятно сложившейся для нас международной кон'юнктурой.

«Если мы так легко справились с бандами Керенского, если так легко создали власть, если мы без малейшего труда получили декрет о социализации земли, рабочем контроле, то только потому, что *специально сложившиеся условия на короткий момент прикрыли нас от международного империализма* [1]). Международный империализм, обладающий мощью всего об'единенного капитала и всею мощью военной техники, представляет гигантскую реальную силу, которая ни в коем случае, ни при каких условиях ужиться рядом с Советской Республикой не могла и по своему об'ективному положению, и по экономическим интересам того капиталистического класса, который был в ней воплощен, не могла в силу торговых связей, международных и финансовых отношений. Тут конфликт представлялся неизбежным. Здесь величайшая трудность русской революции, ее величайшая историческая проблема—необходимость решить задачи международные, необходимость вызвать международную революцию, проделав переход от нашей революции, как узко-национальной, к мировой. Эта задача стояла перед нами со всеми невероятными трудностями.

«Повторяю, что очень многие из наших молодых друзей, считающих себя левыми, стали забывать самое важное, а именно то обстоятельство, почему в течение недель и месяцев величайшего триумфа после октября мы получили возможность такого легкого перехода от триумфа к триумфу. Между тем это было легко только потому, что специально сложившаяся международная империалистическая атмосфера временно прикрыла нас от империализма.

[1]) Курсив везде наш. *М. П.*

Ему было не до нас. Нам показалось, что и нам не до империализма. Отдельным же империалистам было не до нас только потому, что вся величайшая социально-политическая военная сила современного мирового империализма оказалась к этому времени разделенной междоусобной войной на две группы.

«Империалистические хищники, втянутые в эту борьбу, которая дошла до невероятных пределов, до мертвой схватки, попали в такое положение, что ни одна из борющихся групп сколько-нибудь серьезной силы сосредоточить против революции не могла. Мы попали как раз в такой момент в октябре, наша революция случилась как раз,—это парадоксально, но справедливо,—в счастливый момент, когда неслыханные бедствия обрушились на громадное большинство империалистических стран ввиду уничтожения миллионов людей; на четвертом году войны, когда она измучила народ неслыханными бедствиями; когда воюющие страны подошли к тупику, к распутью; когда стал об'ективный вопрос, смогут ли дальше воевать доведенные до подобного состояния народы. *Только благодаря тому, что наша революция произошла в этот счастливый момент, когда ни одна из двух гигантских групп хищников не могла немедленно броситься друг на друга, ни соединиться против нас. Только этим моментом международных политических и экономических отношений могла воспользоваться и воспользовалась наша революция, чтобы проделать свое блестящее триумфальное шествие по Европейской России, перекинуться в Финляндию, начать завоевывать Кавказ, Румынию*» (Н. Ленин, стр. 126—127).

Как формулирует тов. Овсянников [1]), Октябрьская революция подготовлялась и проходила в значительной степени под лозунгом борьбы за мир. Одним из первых актов Советской России был «декрет о мире», вотированный 26 октября 1917 г. II С'ездом Советов.

Скоро после начала мировой войны крестьянские массы стали обнаруживать утомление войной. При экономической отсталости России, война, требовавшая напряжения всех экономических сил страны, особенно тяжело ложилась на крестьянское хозяйство. Чем долее тянулась война, тем становилось яснее, что продолжение авантюры, в которую царизм втянул страну, грозит обезлошадить деревню, и без того бедную конским составом по сравнению с европейским сельским хозяйством, и вместе с тем лишить крестьянские семьи миллионов работников, отцов и сыновей, которые тысячами и тысячами ежедневно погибали на фронте. Благодаря сравнительно слабому техническому оборудованию, отсутствию пушек, пулеметов и даже винтовок, нехватке снарядов и патронов, русская армия,—которая в отличие от французской, английской и бельгийской армий,—была *единственной армией Антанты, ведшей грандиозные военные операции на громадном фронте с наступлениями и отступлениями в глубину сотен верст*,—теряла в течение одного какого-нибудь большого маневренного сражения убитыми и ранеными и вообще выбывшими из строя солдат, сколько не теряли англо-французо-бельгийские

---

[1]) См. „Современник“, № 1, Н. Овсянников, „Ц. К. Р. К. П. и Брест.“ См. также Собрание сочинений Н. Ленина, т. XV, 619—636.

войска за целые месяцы окопной войны и пресловутых «победных» наступлений с продвижениями на два-три километра. Между тем союзники, рассматривавшие Россию как резервуар пушечного мяса и державшие царское правительство, а затем и правительство Милюкова и Керенского в своих руках, требовали от русской армии неустанных наступлений и контр-наступлений, чтобы за счет жертв России сохранить по возможности свои собственные силы и пустить их в ход для окончательного удара в подходящий момент. Как цинично формулировал точку зрения Антанты французский посол в Петрограде Морис Палеолог (см. его мемуары «Царская Россия во время мировой войны») в беседе с Штюрмером, *нельзя сравнивать гибель одного русского солдата с гибелью французского.* В первом случае погибает некультурный человек, от которого мало пользы «цивилизации», во втором—мир теряет ценную единицу. С точки зрения Палеолога гибель даже десяти русских крестьян не могла уравновесить гибели одного французского солдата. Конечно, Палеологи, Клемансо, Фоши, Жоффры и т. д. вообще так же мало дорожили жизнью французского крестьянина и рабочего, как и русского, но при данных обстоятельствах задача французского командования и французской буржуазии заключалась в том, чтобы за счет русской армии и сенегальских дивизий сохранить по возможности нетронутой основную силу французской армии, дабы в момент заключения мира иметь возможность осуществить все планы французского империализма. Наглость французских претензий, циничное отношение французских биржевиков к многомиллионной стране не выразились ни в чем так ярко, как в требовании отправки во Францию 400.000 русских солдат, требование, которое было формулировано Вивиани во время его миссии в Россию (см. мемуары Палеолога).

С каждым днем русский крестьянин начинал все более и более сознавать, что он ведет войну за интересы своих собственных врагов, русских помещиков и капиталистов, как своих, так и иностранных.

Надо заметить, что недовольство войной, возмущение против правящих, вовлекших народные массы в кровавую бойню, все более и более нарастало и во всех западно-европейских странах. Уже с самого начала войны во Франции и в Германии циркулировали глухие слухи о фактах проявления протеста против войны в рядах войск. В частности, через несколько месяцев после начала войны в Париже втихомолку передавали, что один отряд на фронте взбунтовался и собирался итти на Париж с требованием мира, но отряд этот был остановлен бывшим героем Фашоды генералом Маршаном, которому-де удалось, не прибегая к кровопролитию, уговорить солдат вернуться к исполнению «долга». Понятно, военная цензура во всех странах не пропускала никаких сведений в прессу о настроении умов в армии. Однако уже чуть ли не с первых дней войны во французской империалистической прессе стали появляться тревожные сведения о настроении крестьян по отношению к находящимся на фронте сыновьям и членам семей крупных землевладельцев, графов, маркизов, вообще знатных или богатых людей. Как жаловались «Echo de Paris» (Парижское эхо), «Figaro» (Фигаро) и другие подобные

органы печати, во многих сельских местностях Франции о всех лицах из господствующих классов, находящихся на фронте, в деревнях распространяются упорные слухи, будто означенные лица расстреляны или арестованы за сношение с неприятелем. Органы прессы требовали от министерства внутренних дел принятия энергичных мер для прекращения клеветнических слухов и для обнаружения злостных клеветников, и один из правых депутатов поставил даже в парламенте вопрос о мерах борьбы с кампанией клеветы, имеющей целью подорвать «священный союз» всех классов перед лицом внешнего врага. Распространение слухов об измене богатых людей, о их предательских сношениях с немцами, доверие ко всем подобным слухам было первым симптомом недовольства крестьян правящими классами, вовлекшими их в страшную бойню, которая особенно тяжело ложилась на крестьянство, на сельские местности, откуда все более или менее здоровые мужчины были взяты на фронт. Постепенно недовольство войной стало все больше и больше захватывать и армию, но уже под знаменем революционных идей. Как констатирует Луи Дюмор в романе «Les defaitistes» (Пораженцы), весной 1917 г. по французской армии прокатилась волна морального разложения. К 20 мая волнения охватили семь корпусов. К этому времени оказались дезорганизованными 113 войсковых единиц: 75 пехотных полков, 22 баталиона стрелков, 12 артиллерийских полков, два полка колониальной пехоты, один драгунский полк, один баталион сенегальцев. На *пространстве от Суассона до Парижа находилось не более двух дивизий, на которые можно было положиться.*

«В ряде полков офицеры были арестованы, в других солдаты отказывались повиноваться, пели «Интернационал» и выносили резолюции против правительства:

«— Наши жены умирают с голоду. Нужно судить правительство, отказывающееся заключить мир с Германией. Пойдем на Париж. В Палату Депутатов—таков был язык этих резолюций».

«Кое-где солдаты избрали советы—«по образцу русских солдат». Были части или группы, которые и в действительности пошли на Париж, но были перехвачены на пути или кавалерией, или другими *здоровыми* частями армии».

Из мемуаров ренегата Шейдемана мы знаем о том настроении, которое царило в германской армии, жаждавшей мира, о грандиозных рабочих забастовках, прокатившихся по всей Германии перед конференцией в Стокгольме. Дух недовольства, революционное настроение все больше усиливалось в населении, особенно в рабочих массах. Шейдеман рассказывает о двух массовых забастовках в 1917 и 1918 г.г. и о том, как после начала движения он сам вместе с Брауном и Эбертом вступил в забастовочный комитет, «чтобы удержать движение в организованных рамках *и как можно скорее прекратить его, переговорив с правительством*» [1]).

Одновременно волновались и низы армии, которая с нетерпением ждала конца войны. Как признает Шейдеман, в период Стокгольмской конференции

[1]) Курсив наш. См. Ф. Шейдеман, „Крушение Германской империи", стр. 105—110, Государств. Издательство, Москва—Петроград, 1923.

над всеми окопами стояла мысль о Стокгольме, как о новой Вифлеемской звезде, которая должна привести к яслям мира. В течение трех месяцев мысль миллионных армий была направлена на результаты переговоров между представителями рабочих, и понятно, что *бесплодность переговоров бесконечно усилила усталость от войны и отвращение к затягивающим войну аннексионным вожделениям* [1]).

Французские и немецкие социалисты сделали все, от них зависящее, чтобы побороть революционное настроение народных масс, особенно армии, и обмануть последнюю всякого рода обещаниями. Без помощи социал-патриотов буржуазии западно-европейских стран ни в коем случае не удалось бы так легко кончить войну и избежать самых серьезных внутренних потрясений, после четырех лет ужасной войны, вырвавшей миллионы жертв из рядов пролетариата и крестьянства и обострившей в невероятной степени нищету народных масс. Своим громадным влиянием на рабочие массы, на миллион солдат на фронте и миллионы пролетариев на фабриках и заводах, Вандервельде, Ренодели, Лонге, Шейдеманы, Носке и Каутские воспользовались только для того, чтобы попытаться совершенно убить или парализовать в окопах и в тылу всякий дух революционной активности, жажду борьбы с правящей кликой. И шайка ренегатов блестяще выполнила взятую на себя задачу. Миллионы людей в окопах и на фабриках рвались в бой против виновников империалистической войны, но вожди, в которых эти массы глубоко верили, за которыми готовы были итти слепо на смерть, играли изменническую роль и «продали шпагу свою» злейшим врагам народа. А мы знаем, какую роль в гражданской, как и во внешней, войне играет генеральный штаб и верховное командование—неограниченный руководитель и мозг действующей армии.

Иначе сложилось положение вещей в России. На-ряду с эс-эрами и меньшевиками, которые, по выражению Овсянникова, «беспомощно метались между английским проконсулом Российской Республики сэром Бьюкененом и проектировавшейся ими Стокгольмской конференцией, пытаясь остановить ход событий бонапартистскими речами Керенского и пацифистскими резолюциями Петербургского Совета и Ц. И. К. первого созыва» [2]), существовала партия, руководимая гениальным и прямолинейным вождем, которая знала, что она хочет, к чему идет, и которая отлила в ясную и определенную форму брожение, охватившее преобладающую часть населения, почти все крестьянство, пролетариат и армию на фронте. На другой день после октябрьской революции партия большевиков поставила своей основной задачей немедленную ликвидацию войны, не поступаясь в то же время завоеваниями революции.

В отличие от положения вещей на Западе и тактики западно-европейских социалистов, в России не только большевики доказывали грабительский характер мировой войны, направленной против интересов народных масс и имеющей целью осуществление империалистических планов правящих классов. Заграничные эс-эры (в лице Чернова), меньшевики (в лице Мартова

[1]) Там же, стр. 159—160.

[2]) „Современник", 1923, № 1, стр. 17.

и т. д.), интернационалисты из «Новой Жизни» во главе с Сухановым, автором нашумевших брошюр против войны, неустанно доказывали с первого дня войны империалистический характер последней, ее противоречие жизненным интересам народных масс, ее роковые последствия для международного рабочего движения и международной солидарности рабочих. Но очевидно, все эти борцы против войны делали свое дело, согласно девизу: «писатель пописывает, читатель почитывает», не понимая и не предугадывая, что народные массы России, разбуженные громом военной непогоды, пройдя через горнило невероятных испытаний и мук, узнав правду об истинных целях войны, не пожелают погибать позорно, как бараны под ножом мясника, во имя явно преступного дела.

Только у большевиков слово не расходилось с делом, и вот почему народные массы пошли за ними, и вот почему также все сознательные, истинно революционные элементы из других социалистических партий покинули своих или трусливых или лицемерных и непоследовательных лидеров и примкнули к большевикам.

В первый момент после октябрьской революции задача немедленной ликвидации войны казалась легко разрешимой. Начавшаяся в Германии революция не замедлит притти на помощь русскому пролетариату и развяжет ему руки, превратив империалистическую бойню в революционную социалистическую войну. Необходимо только развязать германскую революцию, как можно энергичнее и громче провозгласив лозунг: «мир хижинам—война дворцам» и опубликовав тайные аннексионистские договоры прежних российских правительств и их союзников. Такова была тактика русской делегации в Бресте в первый период переговоров—тактика революционного натиска и упоения только что одержанной победой над собственной буржуазией (Овсянников, «Ц. К. Р. К. П. и Брест», «Современник», 1923, № 1).

Однако события не оправдали этих ожиданий. Тактика русской делегации в Бресте делала свое дело и революционизировала рабочие массы в Германии, но не так быстро, как мы надеялись, что же касается социал-демократической партии, поведение ее во время брестских переговоров было настолько позорное, что сам Шейдеман вынужден признать, что *«роль социал-демократической партии в этом выдающемся факте германской политики была, к сожалению, отрицательная...* «Нет», сказанное социал-демократической фракцией, отклонение мирного договора, внесенного в рейхстаг, имело бы, несомненно, глубокое значение»... [1]).

В момент брестских переговоров Германия была, по выражению т. Ленина, «только еще беременна революцией» и разрешилась республиканским ребенком лишь в ноябре 1918 года, т.-е. через девять месяцев после 3 марта 1918 г., когда Советская Россия подписала брестские условия.

Итак, в течение брестских переговоров положение Советской власти было необычайно тяжелое. Старая армия была абсолютно неспособна отражать немецкое наступление, новой красной армии еще не было. Было необхо-

[1]) Ф. Шейдеман, „Крушение германской империи", стр. 209.

димо ликвидировать войну во что бы то ни стало и пойти на похабный мир», чтобы, «жертвуя пространством, выиграть время». Этого «похабного мира» не могли переварить левые социалисты-революционеры, которые ответили на подписание брестских условий выстрелом в Мирбаха и июльским восстанием в Москве.

Чрезвычайно болезненно переживали кризис большевики. Как формулирует Овсянников: «Если левые эс-эры пали жертвой своих мелко-буржуазных предрассудков, то бо́льшая часть Р. К. П. была больна еще тогда неизвестной, но теперь хорошо изученной на ряде пациентов Коминтерна «детской болезнью левизны», одним из основных симптомов которой является неумение соразмерять силы с задачами, которые предстоит преодолеть. Эту непредвиденную корь, обязательную для всякого гражданина дошкольного возраста, необходимо было немедленно излечить, так как Гофман не соглашался ожидать естественного разрешения болезни и замахнулся хирургическим ножом, намереваясь зарезать дело всей революции. Лечить партию мог один только Ц. К., в паре хороших резолюций прописав ей основательную дозу жаропонижающих и приставив интернационалистские припарки. Но сам врач сделался жертвой эпидемии и заразился корью. Оставался здоровым Ленин, обладающий иммунитетом ко всякой инфекции, независимо от того, приносит ли ее правый или левый ветер».

Посмотрим, как ставился т. Лениным вопрос о мире. Еще задолго до начала переговоров с Германией Совет Народных Комиссаров неоднократно обращался к державам Антанты с предложением вступить в общие переговоры о мире. Такие обращения были адресованы к Франции и Англии 8 ноября, и в тот же день была послана нота правительствам нейтральных государств, предлагающая воздействовать на воюющие страны.

Но т. Ленин предвидел, что борьба за мир будет очень трудной. Уже в речи на заседании В. Ц. И. К. 2-го созыва 10 ноября 1917 г., т.-е. через два дня после обращения к Англии и Франции, т. Ленин сказал, между прочим, следующее: «Наша партия не заявляла никогда, что она может дать немедленный мир. *Она говорила, что она даст немедленное предложение мира* и опубликует тайные договоры. И это сделано—борьба за мир начинается. Эта *борьба будет трудной и упорной*. Международный империализм мобилизует все свои силы против нас, но, как ни велики силы международного империализма, наши шансы весьма благоприятны; в этой революционной борьбе за мир и с борьбой за мир мы соединим революционное братание. Буржуазия желала бы, чтобы осуществился сговор империалистических правительств против нас» (Н. Ленин, стр. 35).

В речи на Всероссийском С'езде Военного Флота от 28 ноября 1918 г. т. Ленин по тому же вопросу сказал: «С войной, вызванной столкновением хищников из-за добычи, мы начали решительную борьбу. Все партии до сих пор говорили об этой борьбе, но дальше слов и лицемерия не шли. Теперь борьба за мир начата. Борьба эта трудна. *Кто думал, что мира достигнуть легко, что стоит лишь заикнуться о мире, и буржуазия поднесет его нам на*

тарелочке, тот совсем наивный человек. Кто приписывал этот взгляд большевикам, тот обманывал. Капиталисты сцепились в мертвой схватке, чтобы поделить добычу. Ясно: убить войну—значит победить капитал, и в этом смысле Советская власть начала борьбу. Мы опубликовали и впредь будем опубликовывать тайные договоры. Никакая злоба и никакая клевета нас не остановят на этом пути. Господа буржуа злобствуют от того, что народ видит, из-за чего его гнали на бойню. Они пугают страну перспективой войны, в которой Россия оказалась бы изолированной, но нас не остановит та бешеная ненависть, которую буржуазия проявляет к движению к миру».

На обвинения в том, что мы стремимся к сепаратному миру с Германией и даем ей возможность перебросить все освободившиеся на русском фронте войска против Антанты, Ленин ответил в цитированной выше речи от 10 ноября 1918 г.: «Буржуазная пресса ставит нам упрек в том, «что будто мы предлагаем сепаратное перемирие, будто мы не считаемся с интересами румынской армии. Это сплошная ложь. Мы предлагаем немедленно начать переговоры и заключить перемирие со всеми странами без из'ятия».

В речи от 22 ноября Ленин сказал по тому же вопросу:

«Когда немцы на наши требования не перебрасывать войск на западный и итальянский фронты ответили уклончиво, мы прервали после этого переговоры и возобновим их некоторое время спустя. И когда мы это сообщим открыто на весь мир, то не будет ни одного немецкого рабочего, который бы не знал, что не по нашей вине были прерваны мирные переговоры».

Итак, т. Ленин, как и весь Совет Народных Комиссаров, стремился к переговорам о *всеобщем* мире. Однако неоднократные обращения к правительствам Антанты и нейтральных держав с предложениями о мирных переговорах не привели ни к каким результатам. В период ноябрьского перерыва Брестских переговоров Совет Народных Комиссаров выпустил новое обращение к державам Антанты и только после того, как оно вновь осталось без всякого ответа, счел возможным приступить без участия «союзников» к переговорам о сепаратном мире.

По вопросу о мире точка зрения т. Ленина была выпукло выражена в «тезисах о мире», написанных 7 января и опубликованных в «Правде» только 24 февраля, когда обострившаяся в партии борьба заставила перенести вопрос на страницы печати.

Прежде всего надо заметить, что т. Ленин, подобно всем коммунистам, считал неизбежной социалистическую революцию в Европе, но в отличие от всех почти других товарищей он доказывал *невозможность основывать тактику партии на расчетах о близости революции в Европе и в Германии в частности.*

В § 6-м тезисов т. Ленин говорит:

«Положение дел с социалистической революцией в России должно быть положено в основу всякого определения международных задач новой Советской власти, ибо международная ситуация на четвертом году войны сложилась так, что вероятный момент взрыва революции и свержения каких-либо из

европейских империалистических правительств (в том числе и германского) совершенно не поддается учету. Нет сомнения, что социалистическая революция в Европе должна наступить и наступит. Все наши надежды на окончательную победу социализма основаны на этой уверенности и на этом научном предвидении. Наша пропагандистская деятельность вообще и организация братания в особенности должны быть усилены и развиты. *Но было бы ошибкой построить тактику социалистического правительства в России на попытках определить, наступит ли европейская и особенно германская социалистическая революция в ближайшие полгода (или подобный краткий срок) или не наступит.* Так как определить этого нельзя никоим образом, то все подобные попытки об'ективно свелись бы к слепой азартной игре» [1]).

В статье «О революционной фразе», напечатанной в «Правде» от 21 февраля 1918 г., за подписью Карпов, т. Ленин, возвращаясь к тому же вопросу, пишет:

Что германцы «не смогут наступать», этот довод миллионы раз повторялся в январе и начале февраля 1918 года противниками сепаратного мира. Самые осторожные из них определяли — примерно, конечно — вероятность того, что немцы не смогут наступать, в 25—33%.

Факты опровергли эти расчеты. Противники сепаратного мира очень часто и тут отмахиваются от фактов, боясь их железной логики.

В чем был источник ошибки, которую революционеры настоящие (а не революционеры чувства) должны уметь признать и продумать?

В том ли, что вообще мы маневрировали и агитировали в связи с переговорами о мире? Нет. Не в этом. Маневрировать и агитировать надо было. Но надо было также определить «свое время» как для маневров и агитации— пока можно было маневрировать и агитировать,—так и для прекращения всяких маневров к моменту, когда вопрос стал ребром.

Источник ошибки был в том, что наше отношение революционного сотрудничества с германскими революционными рабочими было превращено в фразу. Мы помогали германским революционным рабочим и продолжаем помогать им всем, чем могли:—братанием, агитацией, публикацией тайных договоров и пр. Это была помощь делом, деловая помощь.

Заявление же некоторых из наших товарищей: «германцы не смогут наступать» было фразой. Мы только что пережили революцию у себя. Мы знаем отлично, почему в России революции было легче начаться, чем в Европе. Мы видели, что *мы не могли помешать наступлению русского империализма в июне 1917 г., хотя мы имели уже революцию не только начавшуюся, не только свергшую монархию, но и создавшую повсюду Советы.* Мы видели, мы знали, мы раз'ясняли рабочим: войны ведут правительства. Чтобы прекратить войну буржуазную, надо свергнуть буржуазное правительство.

Заявление: «германцы не смогут наступать» равнялось поэтому заявлению: «мы знаем, что правительство Германии в ближайшие недели будет

[1]) См. цитируемый том, стр. 64.

свергнуто». На деле мы этого не знали и знать не могли, и потому заявление было фразой.

Одно дело—быть убежденным в созревании германской революции и оказывать серьезную помощь этому созреванию, посильно служить работой агитацией, братаньем,—чем хотите, только работой этому созреванию В этом состоит революционный пролетарский интернационализм.

Другое дело—заявлять прямо и косвенно, открыто или прикрыто, что немецкая революция уже созрела (хотя это заведомо не так), и основывать на этом свою тактику. Тут нет ни грана революционности, тут одно фразерство.

Вот в чем источник ошибки, состоявшей в «гордом, ярком, эффектном звонком» утверждении: «германцы не смогут наступать» [1]).

Исходя из этого взгляда о невозможности предугадать момент взрыва революции в Европе вообще и в Германии в частности, правильно учитывая как состояние нашей армии, так и настроение крестьянства, т. Ленин критиковал как точку зрения тех товарищей, которые поддерживали идею революционной войны, так и тех, которые отстаивали формулу: «ни мир, ни война», предлагая войну об'явить прекращенной, армию демобилизовать и мира не подписывать. Тов. Ленин доказывал необходимость немедленного заключения аннексионистского мира, как бы такое решение ни было тяжело для нас.

В пунктах 7 и 8 тезисов о мире т. Ленин так ставит вопрос о немедленном мире, не допуская никаких средних решений:

«Мирные переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий момент, к 7 января 1918 г., что у германского правительства (вполне ведущего на поводу остальные правительства четверного союза), безусловно взяла верх военная партия, которая по сути дела уже поставила России ультиматум (со дня на день следует ждать, необходимо ждать и его формального пред'явления). Ультиматум этот таков: либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир, т.-е. на условии, что мы отдаем все занятые нами земли, германцы сохраняют все занятые земли и налагают на нас контрибуцию (прикрытую внешностью платы на содержание пленных), контрибуцию размером приблизительно в 3 миллиарда рублей, с рассрочкой платежа на несколько лет.

Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос, *принять ли сейчас этот аннексионистский мир или вести тотчас революционную войну. Никакие средние решения по сути дела тут не возможны.* Никакие дальнейшие отсрочки более не осуществимы, ибо для искусственного затягивания переговоров мы уже сделали все возможное и невозможное» [2]).

Критикуя идею немедленной революционной войны, т. Ленин замечает, что такая политика отвечала бы, может быть, потребностям человека в стремлении к красивому, эффектному и яркому, но совершенно не счита-

[1]) См. цитируемый том, стр. 103—104.

[2]) См. там же, стр. 64—65.

лась бы с об'ективным соотношением классовых сил и материальных факторов в переживаемый момент начавшейся социалистической революции.

Отстаивая эту точку зрения, т. Ленин исходил из следующего, как доказали дальнейшие события, безусловно правильного учета как состояния нашей армии, так и настроения крестьянства.

«Нет сомнения, что *наша армия в данный момент и в ближайшие недели (а, вероятно, и в ближайшие месяцы) абсолютно не в состоянии успешно отражать немецкое наступление*, во-первых, вследствие крайней усталости и истомления большинства солдат при неслыханной разрухе в деле продовольствия, смены переутомленных и пр., во-вторых, вследствие полной негодности конского состава, обрекающей на неминуемую гибель нашу артиллерию, в-третьих, вследствие полной невозможности защитить побережье от Риги до Ревеля, дающей неприятелю вернейший шанс на завоевание остальной части Лифляндии, затем Эстляндии и на обход большой части наших войск с тыла, наконец, на взятие Петербурга.

«Далее *нет также никакого сомнения, что крестьянское большинство нашей армии в данный момент безусловно высказалось бы за аннексионистский мир, а не за немедленную революционную войну*, ибо дело социалистической революционной армии, влития в нее отрядов Красной гвардии и проч. только-только начато.

«При полной демократизации армии вести войну против воли большинства солдат было бы авантюрой, а на создание действительно прочной и идейно-крепкой социалистической армии нужны по меньшей мере месяцы и месяцы.

«Беднейшее крестьянство в России в состоянии поддержать социалистическую революцию, руководимую рабочим классом; оно в состоянии немедленно, в данный момент, пойти на серьезную революционную войну. Это об'ективное соотношение классов по данному вопросу было бы роковой ошибкой игнорировать.

«Дело стоит, следовательно, с революционной войной в данное время следующим образом:

«Если бы германская революция вспыхнула в ближайшие 3—4 месяца, тогда, может быть, тактика немедленной революционной войны не погубила бы нашей социалистической революции.

«Если же германская революция в ближайшие месяцы не наступит, то ход событий при продолжении войны будет неизменно такой, что сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир, при чем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим (например, блоком буржуазной Рады с червонцами или что-либо подобное), ибо крестьянская армия, невыносимо истрепленная войной, после первых же поражений, вероятно, даже не через месяц, а через неделю свергнет социалистическое рабочее правительство.

«При таком положении дела было бы совершенно недопустимой тактикой ставить на карту судьбу начавшейся уже в России социалистической ре-

волюции только из-за того, начнется ли германская революция в ближайший кратчайший, измеряемый неделями срок. Такая тактика была бы авантюрой. Так рисковать мы не имеем права.

«И германская революция вовсе не затруднится, по ее об'ективным основаниям, если мы заключим сепаратный мир. Вероятно, на время угар шовинизма ослабит ее, но положение Германии останется крайне тяжелым. Война с Англией и Америкой будет затяжной, агрессивный империализм вполне и до конца разоблачен с обеих сторон.

«Пример социалистической Советской республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран, и пропагандистское революционирующее действие этого образца будет гигантским. Здесь—буржуазный строй и обнаженная до конца захватная война двух групп хищников, там—мир и социалистическая республика Советов» [1].

События целиком оправдали прогноз т. Ленина. Когда, ввиду отказа советской делегации подписать первоначальные условия мирного договора, выставленные германской коалицией, немецкая армия в феврале 1918 г. прервала перемирие и начала наступление, войска наши бежали без всякого сопротивления, бросая пушки и т. д. Таким образом, стало очевидно, как ошибались те, кто утверждал, будто немецкая армия не в состоянии наступать, а потому не следует подписывать «похабного мира». В результате этой иллюзии пришлось волей-неволей подписать мир на новых, более тяжких условиях.

В статье «Серьезный урок и серьезная ответственность», написанной 5 марта, т. Ленин жестоко критиковал тех, кто сеял иллюзию, с одной стороны, о возможности революционной войны при настроении нашей армии, не желавшей сражаться, с другой—о невозможности немецкого наступления.

«Это—факт, что в момент, когда физически бежит, бросая пушки и не успевая взрывать мостов, фронтовая армия, неспособная воевать, *защитой отечества* и повышением его обороноспособности *являются не болтовня о революционной войне* (болтовня при таком паническом бегстве армии, ни одного отряда которой сторонники революционной войны не удержали,—прямо позорная), а *отступление в порядке для спасения остатков армий,* использования в этих целях каждого дня передышки.

«Н. Бухарин пытается теперь даже отрицать тот факт, что он и его друзья утверждали, будто немец не сможет наступать. Однако очень и очень многие знают, что это—факт, что Бухарин и его друзья утверждали это, что, сея такую иллюзию, они помогли германскому империализму и помешали росту германской революции, которая ослаблена теперь тем, что у великороссийской Советской республики отняли, при паническом бегстве крестьянской армии, тысячи и тысячи пушек, сотни и сотни миллионов богатств. Я это предсказал ясно и точно в тезисах от 7 января.

«А что новые условия хуже, тяжелее, унизительнее худых, тяжелых и унизительных брестских условий, в этом виноваты, по отношению к великой

[1] См. цитируемый том, стр. 67—68.

российской Советской республике, наши горе-левые Бухарин, Ломов, Урицкий и К-о. Это исторический факт, доказанный вышеприведенными голосованиями. От этого факта никакими увертками не скроешься. Вам давали брестские условия, а вы отвечали фанфаронством и бахвальством, доводя до худших условий. Это факт. И ответственность за это вы с себя не снимете.

«В моих тезисах от 7 января 1918 г. предсказано с полнейшей ясностью, что в силу состояния нашей армии (которое не могло измениться от фразерства «против» усталых крестьянских масс) Россия должна будет заключить худший сепаратный мир, если не примет брестского.

«Левые» попались в ловушку буржуазии российской, которой надо было втянуть нас в войну, наиболее для нас невыгодную».

Возвращаясь к вопросу о результатах политики тех, кто не желал подписывать первоначальных условий, предложенных германской коалицией, т. Ленин в своем докладе от 7 марта 1915 г. на заседании VII с'езда Р. К. П. сказал:

«Наступил период тягчайших поражений, нанесенных вооруженным до зубов империализмом, стране, которая должна была демобилизовать армию. То, что я предсказывал, наступило целиком. Вместо Брестского мира мы *получили мир гораздо более унизительный по вине тех, кто не брал его.* Мы сидели в Бресте за столом рядом с Гофманом, а не с Либкнехтом. Этим мы тогда помогали немецкой революции, а теперь вы помогаете немецкому империализму, потому что отдали им свои миллионные богатства: пушки, снаряды, продовольствие. Случилось то, что должен был предсказать всякий, кто видел состояние армии, до боли невероятное. Мы погибли бы при малейшем наступлении немцев неизбежно и неминуемо, это говорил всякий добросовестный человек с фронта. Мы, действительно, оказались добычей неприятеля в несколько дней. Получивши этот урок, мы наш раскол и кризис изживем, как ни тяжела эта болезнь, потому что нам на помощь придет неизмеримо более верный союзник,—всемирная революция. Когда нам говорят по вопросу о ратификации нового Тильзитского мира, неслыханного, более грабительского, чем Брестский, я отвечаю:—«Безусловно, да». *Мы должны это сделать, ибо мы смотрим с точки зрения масс.* Попытка перенесения октябрьской и ноябрьской тактики, испробованной внутри одной нашей страны, тактики триумфального периода революции с помощью нашей фантазии на весь ход революции оказалась битой историей. Когда говорят, что передышка это—фантазия; когда газета называется «Коммунист», должно быть, от Парижской Коммуны; когда эта газета наполняет столбец за столбцом опровержениями теории передышки,—тогда я вижу ясно (мне много пришлось пережить фракционных столкновений и расколов, так что я имею большую привычку), но вижу ясно, что старым способом фракционных расколов эта болезнь не будет излечена, потому что ее излечит жизнь раньше. Жизнь шагает очень быстро; здесь она действует великолепно; история гонит так быстро ее локомотив, что раньше, чем успеет редакция «Коммуниста» издать

очередной номер, большинство рабочих в Питере уже разочаруются в ее идеях, потому что жизнь в это время показывает, что передышка—факт.

«Сейчас мы, подписавши мир, имеем передышку, мы пользуемся ею для защиты отечества лучше, чем войной, потому что, если бы мы имели войну, мы имели бы ту панически бегущую армию, которую необходимо было бы остановить и которую наши товарищи остановить не могут и не могли потому, что война сильнее, чем проповеди, чем десяти тысяч рассуждений. Если они не поняли об'ективного положения, они остановить армии не могут, и не остановили бы. Эта больная армия заражала весь организм, и мы получили новое неслыханное поражение, новый удар немецкого империализма по революции, потому что легкомысленно оставили себя без пулеметов, а между тем этой передышкой мы воспользуемся, чтобы убедить народ об'единиться, сражаться, чтобы говорить русским рабочим, крестьянам: «Создавайте самодисциплину, дисциплину строгую, иначе вы будете лежать под пятой немецкого сапога, как лежите сейчас, как неизбежно будете лежать, пока народ не научится бороться и создавать армии, способные не бежать, а итти на неслыханные мучения». Это неизбежно, потому, что немецкая революция еще не родилась, и нельзя ручаться, что она родится завтра.

Жизнь блестяще оправдала этот прогноз т. Ленина. Передышка стала фактом. Была создана самодисциплина, дисциплина строгая, была постепенно сформирована и организована новая армия, красная армия, с помощью которой Советская Россия уничтожила белогвардейские банды и выбросила в море войска Антанты, решившей, очевидно, что если рабоче-крестьянская страна не могла в определенный момент отразить немецкого нашествия, она вообще неспособна к вооруженной борьбе.

Настаивая на подписании тягчайшего мира ввиду состояния нашей армии и настроения крестьянства, а также необходимости передышки, т. Ленин ни на одну минуту не обманывал себя и никого иллюзией о возможности длительной передышки. Наоборот, он подчеркивал, что *передышка будет короткой.*

«Да, этот мир—тягчайшее наше поражение,—доказывал тов. Ленин в докладе о Брестском мире на IV Всероссийском С'езде Советов.—Да, этот мир—неслыханное унижение Советской власти, но историю перехитрить мы не в состоянии.

«Передышка нам нужна, *плохая, короткая, непрочная передышка, но* все же будет время, за которое произойдет новое накопление сил революции, оздоровление армии от отчаяния и утомления».

На вопрос Камкова о том, что такое передышка, на какой срок и т. д., т. Ленин ответил:

«Удивительно легко иногда бывает вопросы ставить, но и нетрудно на них и ответить. Есть одно изречение,—оно невежливо и грубо, но слова из песни не выкинешь;—оно говорит: один дурак может больше спрашивать, чем десять умных ответить.

«Спрашивают, продлится ли передышка неделю, две или больше. Я утвер-

ждаю, что на всяком волостном сходе и на каждой фабрике человек, который от имени серьезной партии будет выступать с подобным вопросом к народу, его народ прогонит вон, потому что на всяком волостном сходе поймут, что нельзя задавать вопросы о том, чего нельзя знать. Это поймет любой рабочий и крестьянин.

«И одно можно с уверенностью сказать, что после мучительной трехлетней войны *всякая неделя передышки есть величайшее благо*».

Глубоко интересна критика т. Лениным всякого рода причитаний о «позорном» характере, унизительности и т. д. Брестского мира.

«Я предоставляю вам увлекаться международной революцией, потому что она все же наступит. Все придет в свое время, а теперь беритесь за самодисциплину, подчиняйтесь во что бы то ни стало, чтобы был образцовый порядок, чтобы рабочие хоть один час в течение суток учились сражаться. Это немного потруднее, чем написать прекрасную сказку. Этим вы поможете немецкой и международной революции. Сколько нам дадут дней передышки, мы не знаем, но она дана. Надо скорей демобилизовать армию, потому что это больной орган, а пока мы будем помогать финляндской революции.

«Только дети могут не понять, что в такую эпоху, когда наступает мучительно долгий период освобождения, которое только что создало Советскую власть, подняло на высшую ступень ее развития, только дети могут не понимать того, что здесь должна быть длительная, осмотрительная борьба. Позорный мирный договор подымает восстание, но когда товарищи из «Коммуниста» рассуждают о войне, у них, в сущности, только апелляция к чувству. «Позорный, неслыханный, унизительный мир». Они апеллируют к чувству, позабыв то, что у людей сжимались руки в кулаки и кровавые мальчики были перед глазами. Что они, в сущности, говорят? «Никогда сознательный революционер не переживет этого, не пойдет на этот позор». Эта газета носит кличку «Коммунист», но ей следует носить кличку «Шляхтич», ибо она смотрит с точки зрения шляхтича, который сказал, умирая в красивой позе со шпагой: *«Мир—это позор, война—это честь». Они смотрят с точки зрения шляхтича, но я подхожу с точки зрения крестьянина.*

«Если я иду на мир, когда армия бежит и не может не бежать, не теряя тысячи людей, я беру его, чтобы не было хуже. Разве позорен договор? Да меня оправдает всякий серьезный крестьянин и рабочий, потому что они понимают, что мир есть средство для накопления сил. История скажет, кто прав. На нее я ссылался не раз, такова история освобождения немцев от Наполеона. Я нарочно назвал мир Тильзитским, хотя мы не подписали того, что было там, когда немцам пришлось давать свои войска на помощь завоевателю для подчинения других народов. До этого история однажды уже доходила и дойдет вновь, если мы будем надеяться только на международную революцию. Смотрите, чтобы история не довела вас и до такой формы военного рабства. А пока социалистическая революция не победила во всех странах, Советская Республика может впасть в рабство. Наполеон в Тильзите принудил немцев к неслыханным позорным условиям мира. Там дело шло так,

что несколько раз заключался мир. Тогдашний Гофман-Наполеон ловил на нарушении мира, и нас поймает Гофман на том же. Только мы постараемся, чтобы он поймал не скоро. Последняя вспышка дала горькую, мучительную, но серьезную науку русскому народу, заставив его организовываться, дисциплинироваться, уметь подчиняться, создавать образцовую дисциплину. Учитесь у немца его дисциплине, иначе мы—погибший народ и вечно будем лежать распростертым в рабстве».

Тов. Ленин подчеркивает, что позор для революционеров не в подписании унизительного мира, а в отчаянии, в упадке духа, в потере революционной энергии и веры в будущее.

«Пруссия и ряд других стран в начале XIX века, во время наполеоновских войн, доходили до несравненно, неизмеримо бо́льших тяжестей и тягот поражения, завоевания, унижения, угнетения завоевателем, чем Россия 1918 года. И, однако, лучшие люди Пруссии, когда Наполеон давил их пятой военного сапога во сто раз сильнее, чем смогли теперь задавить нас, не отчаивались, не говорили о «чисто формальном» значении их национальных политических учреждений. Они не махали рукой, не поддавались чувству: «все равно—погибать». Они подписывали неизмеримо более тяжкие, зверские, позорные, угнетательские мирные договоры, чем брестский, умели выжидать потом, стойко сносили иго завоевателя, опять воевали, опять падали под гнетом завоевателя, опять воевали, опять падали под гнетом завоевателя, опять подписывали похабные и похабнейшие мирные договоры, опять поднимались, и освободились в конце концов (не без использования розни между более сильными конкурентами-завоевателями).

«Почему бы не могла подобная вещь повториться в нашей истории?

«Почему бы нам впадать в отчаяние и писать резолюции—ей-же-ей—более позорные, чем самый позорный мир, резолюции о «становящейся чисто формальною Советской власти»?

«Почему тягчайшие военные поражения в борьбе с колоссами современного империализма не смогут и в России закалить народный характер, подтянуть самодисциплину, убить бахвальство и фразерство, научить выдержке, привести массы к правильной тактике пруссаков, раздавленных Наполеоном: *подписывай позорнейшие мирные договоры, когда не имеешь армии, собирайся с силами и поднимайся потом опять и опять?*

«Почему должны мы впадать в отчаяние от первого же неслыханного тяжкого мирного договора, когда другие народы умели твердо выносить и горшие бедствия?

«Стойкость ли пролетария, который знает, что приходится подчиняться, ежели нет сил, и умеет потом, тем не менее, во что бы то ни стало, подниматься снова и снова, накапливая силы при всяких условиях,—стойкость ли пролетария соответствует этой тактике отчаяния, или бесхарактерность мелкого буржуа, который у нас, в лице партии эс-эров, побил рекорд фразы о революционной войне?

«Нет, дорогие товарищи из «крайних» москвичей. Каждый день испытаний будет отталкивать от вас именно наиболее сознательных и выдержанных рабочих. Советская власть, скажут они, не становится и не станет чисто формальной не только тогда, когда завоеватель стоит в Пскове и берет с нас 10 миллиардов дани хлебом, рудой, деньгами, но и тогда, когда неприятель окажется в Нижнем и в Ростове-на-Д. и возьмет с нас дани 20 миллиардов.

«Никогда никакое иностранное завоевание не сделает «чисто формальным» народное политическое учреждение (а Советская власть не только политическое учреждение, во много раз более высокое, чем виданные когда-либо историей). Напротив, иностранное завоевание только закрепит народные симпатии к Советской власти, если... она не пойдет на авантюры.

«Отказ от подписи похабнейшего мира, раз не имеешь армии, есть авантюра, за которую народ вправе будет винить власть, пошедшую на такой отказ.

«Подписание неизмеримо более тяжкого и позорного мира, чем брестский, бывало в истории (примеры указаны выше) и не вело к потере престижа власти, не делало ее формальной, не губило ни власти, ни народа, а закаляло народ, учило народ тяжелой и трудной науке готовить серьезную армию даже при отчаянно трудном положении под пятой сапога завоевателя.

«Россия идет к новой и настоящей отечественной войне, к войне за сохранение и упрочение Советской власти. Возможно, что иная эпоха,—как была эпоха наполеоновских войн,—будет эпохой освободительных войн (именно войн, а не одной войны), навязываемых завоевателями Советской России. Это возможно.

«И потому позорнее всякого тяжкого и архи-тяжкого мира, предписываемого неимением армии, позорнее какого угодно позорного мира—позорное отчаяние. Мы не погибнем даже от десятка архи-тяжких мирных договоров, если будем относиться к восстанию и к войне серьезно. Мы не погибнем от завоевателей, если не дадим погубить себя отчаянию и фразе».

Когда перечитываешь теперь XV том сочинения Ленина, все, что говорил и писал наш гениальный вождь, кажется всякому читателю ясным, убедительным, чуть ли не само собой разумеющимся. Метод Ильича, его основной подход ко всем явлениям социальной жизни, принципы его классовой тактики и стратегии более или менее усвоены теперь всеми сознательными членами партии, но не так было в тот момент, когда тезисы о мире впервые ставились Ильичем. Многим товарищам мысли Ильича казались еретическими и раскол в партии казался как будто неизбежным. В резолюции, принятой 24 февраля 1918 г., Московское областное бюро нашей партии вынесло недоверие Ц. К-ту, *отказалось подчиняться* тем постановлениям его, «которые будут связаны с проведением в жизнь условий мирного договора с Австро-Венгрией», и в об'яснительном тексте к резолюции заявило, что «находит *едва ли* устранимым раскол в партии» [1]. Более того, в самом Ц. К. и среди самых видных большевиков точка зрения Ильича встретила сильное сопротивление. Так, на част-

---

[1] См. цитируемый том, стр. 109.

ном совещании наиболее видных большевиков-делегатов, с'ехавшихся на III С'езд Советов, точка зрения Ленина о необходимости немедленного мира собрала всего 15 голосов, за революционную же войну высказалось *32*, за формулу демобилизовать армию, но мира не подписывать—16 [1]).

10 февраля в Бресте мирные переговоры были прерваны. Троцкий, от имени русской делегации, заявил, что Россия насильнический мир отказывается подписать, но войны продолжать не будет и демобилизует армию. Результаты известны. Уже 17 февраля началось немецкое наступление. Как предсказывал т. Ленин, русская армия никакого сопротивления немецким войскам не оказала. Уже перед заключением Брестского мира т. Ленин в беседе с т. Радеком доказывал, что войну вести невозможно, ибо мужик голосовал против войны. «Позвольте, как это голосовал», спросил т. Радек. «Ногами голосовал, бежит с фронта», ответил т. Ленин.

На заседание Ц. К. от 18 февраля Ленин внес предложение: «Немедленно обратиться к германскому правительству с предложением немедленного заключения мира». Предложение принимается 7 голосами; против голосовало 6 при одном воздержавшемся [2]).

На наше предложение мира германское правительство ответило пред'явлением новых тягчайших условий по сравнению с первоначальными немецкими условиями.

На заседании Ц. К. 23 февраля Свердлов огласил германские условия. И на этом заседании три члена Ц. К. голосовали против немедленного принятия германских предложений и настаивали на войне, четыре воздержались и, таким образом, Ц. К. семью голосами из 15 присутствовавших решил принять немецкие условия.

На этом заседании Ленин три раза брал слово. Он заявил, что политика революционной фразы окончена. Если эта политика теперь будет продолжаться, то «он выходит из правительства и из Ц. К. Для революционной войны нужна армия, ее у нас нет. Значит надо принимать условия» [3]).

«Я не хочу революционной фразы,—заявил Ленин.—Немецкая революция еще не дозрела. Это требует месяцев. Нужно принимать условия. Если потом будет новый ультиматум, то он будет в новой ситуации».

Итак, тов. Ленину приходилось ставить своего рода ультиматум и заявлять о своем выходе из правительства и Ц. К., если политика революционной фразы будет продолжаться. Тов. Ленину не пришлось, к счастью для Советской России и всего ее будущего, привести свой ультиматум в исполнение, ибо его точка зрения была принята на упомянутом заседании Ц. К. Имена шести товарищей из 15-ти, голосовавших за предложение т. Ленина, заслуживают быть занесенными в историю: Зиновьев, Свердлов, Смилга, Сокольников, Сталин, Стасова. Из статьи Овсянникова «Ц. К. Р. К. П. и Брестский мир»

---

[1]) См. цитируемый том, стр. 621.
[2]) См. там же, стр. 629.
[3]) Там же, стр. 632.

явствует, что Зиновьев и Сталин целиком поддерживали точку зрения Ленина уже на заседании от 9 января [1]).

Тов. Ленин остался на своем посту, зато четыре цекиста и ряд товарищей подали заявление об отставке и уходе с ответственных постов.

«История скажет, кто прав», говорил Ленин, настаивая на принятии немецких условий. История уже сказала свое слово, и нет теперь в коммунистической партии ни одного человека, который не признал бы, что именно Ленин оказался безусловно прав в своем анализе внутреннего и международного положения Р. С. Ф. С. Р., что именно Ленин, благодаря своему тактическому гению, спас Советскую республику в самый критический момент ее существования.

Наша коммунистическая молодежь должна самым внимательным образом изучать книги Ленина. Ленин не только гениальный теоретик, это величайший государственный деятель, гениальный практик, умевший ставить и разрешать самые сложные и трудные вопросы момента, и вести государственный корабль в самую бурную погоду среди бесчисленных мелей и рифов, путем гениальных тактических маневров, головокружительными зигзагами и крутыми поворотами, не изменяя, однако, никогда основной линии и держа неуклонно курс на социальную революцию во всем мире.

---

[1]) См. цитируемый том, стр. 623 и 633.

Условные (сочетательные) рефлексы, к
естественно-научный метод исследовани

Проф. д-р медиц. К. Н. Кржишковский.

Условные (Павлов) или сочетательные (Бехтерев) рефлексы издавна п| влекали внимание исследователей. Мысль экспериментатора и наблюдат всегда старалась подвергнуть анализу те реакции организмов, которые бо: или менее очевидным образом или связаны или сопровождают психическ явления. В изучении такого рода явлений видели ключ к познанию зако психической жизни, как конечной цели естествознания. Однако до девяност годов прошлого столетия в литературе имеется лишь разрозненный, хс и богатый, материал в виде отдельных наблюдений, произведенных самы разнообразными приемами и методами с несогласованным подходом к пр мету. В большинстве случаев дело сводится к описанию отдельных наблю: ний, при чем описание носит в массе суб'ективный характер, страдая подч антропоморфизмом. Этот последний недостаток, резко выражаясь, затемня часто всю картину. Авторы, во многих случаях наблюдая те или иные явлен физиологического порядка, не столько старались установить связь меж ними и вывести отсюда законы, сколько придать этим явлениям то или инс подчас чисто суб'ективное, толкование, особенно там, где дело шло о реа циях высших животных. В то время мысль исследователя всецело находила под влиянием сделавших эпоху работ Брока, Мунка, Гольтца, Эдингера и д Блестящие открытия анатомического характера создали учение о локализ циях в нервной системе различных физиологических процессов организм Указанным авторам и их последователям и продолжателям удалось устан вить связь различных отправлений организма и деятельность отдельных о| ганов с определенными участками нервной системы. Мысль исследовате: захотела выйти за пределы, поставленные самим методом, и пожелала найт и для психических процессов столь же точную локализацию в нервно системе. Ввиду этого мысль авторов увлеклась анатомическим методо и в нем склонны были видеть способ решения вопросов как физиологии, та и психологии. При таких условиях, понятно, нельзя было ожидать сколькс нибудь спокойного, систематического, а главное об'ективного анализа усло ных рефлексов. К началу нашего столетия начинается реакция в виде разоча

рования анатомическим методом. Особенно резко и ярко это выразилось в работах Ж. Леба одного из основателей об'ективизма в изучении функции центральной нервной системы [1]).

Прежде всего авторы сознали необходимость ввести и в изучение функций мозга тот об'ективизм, какой издавна считался неот'емлемой характеристикой естественно-научного приема исследования. В работах Ж. Леба (1904), Циглера, Бэра, Бете и особенно Юкскюля (1899) мы встречаем ряд попыток освободиться от затемнявшего дело антропоморфизма и суб'ективизма. Ж. Леб вводит понятие об «ассоциативной памяти». Справедливо придавая значение номенклатуре, указанные авторы выдвинули новый способ обозначения и классификации реакций, дав тем возможность последующим исследователям избегать заимствованных из психологии понятий и путающих дело терминов. Особенно ярко выразил необходимость строгого об'ективизма в деле изучения физиологии мозга Юкскюль, указав нам плодотворность строгого разграничения задач физиологии и психологии. Не отрицая важности и права на существование психологии, как особой науки, Юкскюль подчеркнул для физиолога необходимость оставаться в своей плоскости установки закономерности и связей между наблюдаемыми, доступными эксперименту, и измерению или регистрации явлениями, отнюдь не переходя в чуждую ему область догадок, (предположений и навязываний об'яснений и толкований), заимствованных из мира наших собственных переживаний и ощущений.

Убедившись в бесплодности приема смешения в одно понятий и методов физиологии и психологии, исследователи пришли к выводу необходимости строго разграничить сферы деятельности и пересмотреть предметы своих исследований. Отсюда возникло ясное представление о возможности точного, об'ективного, чисто физиологического изучения тех сложных реакций организмов, которые еще недавно смешивали с психическими явлениями. Заслуга Юкскюля и других об'ективистов и состоит в том, что они с поражающей ясностью показали, что в сложных реакциях организмов на внешний мир есть чисто физиологическая сторона, вполне доступная об'ективному, чисто физиологическому исследованию. Эту сторону самых сложных реакций Юкскюль и описывает, как рефлекс, расширяя этим самое понятие рефлекса. Установленное еще Декартом (1649) понятие рефлекса было сужено введением в его определение чуждого физиологии понятия о произвольности. И до сих пор в некоторых учебниках рефлекс определяется, как *непроизвольная* реакция (!) на внешнее раздражение. Этим прежде всего вносится в чисто физиологическое определение понятие из психологии, понятие, которое не всегда может быть применено и проверено (как напр., при опытах на животных) Кроме того, введением понятия произвольности и непроизвольности в учение

---

[1]) „Мунк считал доказанным, что у собаки всякое воспоминание локализовано в той или иной клетке или группе клеток и, удаляя их, можно опытным путем уничтожить то или иное воспоминание. Мои пятилетние опыты с удалением различных участков мозговой коры привели меня к убеждению в ошибочности взглядов Мунка. Метод повреждений мозговой коры может нам дать лишь понятие о нервных связях в центр. нервн. системе. Для изучения динамики мозговых явлений анатомический метод не дает почти ничего" (presque rien). Ж. Леб, Доклад на конгрессе в Женеве (1909).

о рефлексах вносилось ограничение, выводившее из понятия о рефлексе целый ряд реакций. Для них приходилось создавать неестественную и мало пригодную номенклатуру, как, например, «психические рефлексы» (reflexes psychiques) Рише, психорефлексы и т. под., или целиком относить их в сферу психологии. Учение об'ективистов возвратило указанные реакции в сферу физиологии, и в этом, несомненно, лежит большой шаг вперед, повлекший за собой ряд ценных и совершенно новых данных в области изучения центральной нервной системы. Физиолог получил доступ к изучению самых сложных реакций организмов. Определив рефлекс, как реакцию организма при посредстве нервной системы на внешнее раздражение без ограничения понятиями психологии, исследователь смог приложить свой об'ективный метод к самым сложным реакциям, не путаясь в чуждых ему понятиях, и ускользающих от его метода определениях. Работы об'ективистов создали почву для появления систематических работ в указанном направлении, которые привели к сравнительной физиологии мозга (Ж. Леб), к об'ективной физиологии центральной нервной системы (Павлов, Бехтерев), об'ективной психологии (Бехтерев). рефлексологии (Бехтерев) и, наконец, к понятию об'ективной социологии (Зеленый Г.). Параллельно с этим все же остаются стремления построить и сравнительную психологию на суб'ективизме (Ж. Бон, Клапаред и др.).

Мы не склонны становиться в ряды защитников одного какого-нибудь метода исследования. Наука почерпает свои данные различными путями и, нет сомнения, что и суб'ективным методом можно добыть немало ценного материала. Мы склонны лишь признать, что смешение двух приемов, как это было в большинстве случаев до недавнего времени, нецелесообразно, и что физиологу удобнее оставаться в плоскости физиологии, предоставив психологу его метод. В будущем, конечно, сравнение полученных различными методами данных прольет не мало света на столь сложный вопрос, как выяснение механизма важнейших реакций организмов при участии такого сложного механизма, как центр. нервная система.

В данной статье мы не собираемся давать ни описания, ни критики различных приемов и методов, предложенных для об'ективного изучения сложных реакций организмов на внешний мир. Большую часть предложенных методов можно сгруппировать в две большие группы: I) Форма опытов, где показателем деятельности организма является деятельность железы (отделительные рефлексы школы Павлова): сюда относятся рефлексы на слюнные и желудочные железы, как на наиболее доступные для наблюдения. II) Форма опытов, где показателем деятельности организма являются те или иные двигательные реакции в виде реакций отдельных мышц или однородных групп мышц или же в виде движений (как говорят: «поведения»—«be havior»—американской школы всего животного.

В эту группу опытов надо отнести методы: а) Бехтерева и его школы (двигательные сочетательные рефлексы), б) методы лабиринта, в) ящика с механизмом (Торндикэ, 1898), г) метод подражания, д) метод дрессировки (Леббок 1891), с особым успехом примененный Гашэ-Сюпплэ, е) метод «устраше-

ния» и «наказания» венского биолога Шиманского, примененный им на насекомых (тараканы). Этим же методом недавно (1920) С. Михайлов (школы Бехтерева) произвел ряд интересных опытов на ракообразном (pagurus striatus). Наконец, сюда же надо отнести предложенный проф. Г. П. Зеленым метод изучения реакций животного по кривой и характеру его следов при анализе его бега.

Из указанных приемов, как мы видели уже из их перечня, многие применялись и ранее. Так, например, с методом дрессировки знакомы были и применяли его и суб'ективисты. Точно также и поведение животного часто, можно сказать, бесчисленное количество раз, было об'ектом наблюдения. Сравнительно новым для последнего десятилетия является систематическое изучение сочетательных или условных рефлексов в лабораторных, строго научных условиях. Выше мы указали, что усилиями сторонников об'ективизма в деле изучения функций нервной системы для физиологии была отвоевана обширная область, ранее входившая почти целиком в психологию. Расширив понятие рефлекса и охватив им всю область реакций организма на внешнее раздражение, физиолог ввел в свою лабораторию и сложные реакции организма, которые ранее признавались за «психические» реакции. Опыт показал, что физиологическая сторона этих реакций вполне доступна и опыту, и наблюдению. Громадным шагом вперед явилось наблюдение Павловской школы, показавшее возможность воспитывать, образовывать новые, не бывшие ранее у данного животного реакции, и таким образом изучать их и изолированно, и в совокупности с другими реакциями. Выяснением способа образования приобретенных (не врождённых) реакций открылась новая область исследования, и дана была возможность для физиолога найти законы образования этих реакций и особенности их и взаимоотношения их, как между собою, так и к враждебным реакциям. Отсюда понятный интерес к этим реакциям, которые и получили название «условных» (школа Павлова) или «сочетательных» (школа Бехтерева) рефлексов. Первый автор своим названием желал отметить, что эти реакции образуются лишь при строго определенных условиях, второй (Бехтерев) своим названием вскрывает самый механизм образования этих реакций, имеющей место лишь при условии совпадения (т.-е. сочетания) данной реакции с другой, врожденной для данного органа. Действительно, присматриваясь к постановке опытов в приведенных выше приемах различных авторов, мы везде видим, что новый изучаемый рефлекс образован всегда на фоне какой-нибудь уже ранее существовавшей реакции, путем сочетания с ней во времени. Наиболее удобными для большинства случаев следует признать: 1) двигательные реакции (школа Бехтерева) и 2) секреторные, в частности слюноотделительные рефлексы (школа Павлова).

Применяя двигательные реакции, стараются, выбрав ту или иную группу мышц, или определенные движения животного, связать их во времени с действием изучаемого агента. Поясним примером: желая изучить реакцию животного на слуховое раздражение, например, на действие какой-либо ноты (напр.: *ля* духового камертона), ставят опыт так, чтобы получить сочетание

во времени действия данного звука с работой, избранной в качестве показателя группы мышц. В частности в указанном примере поступают так: производят данный звук (ноты *ля* духового камертона) и одновременно путем раздражения электрическим током вызывают сокращение мышц, поднимающих ногу (или руку у человека) или лапу у животного. После некоторого числа таких сочетаний (индивидуально различного), получается такое состояние организма, что достаточно одного звучания данного звука (в нашем примере ноты *ля* духового камертона), чтобы вызвать сокращение ноги, руки или лапы, которое обычно вызывалось действием электрического тока и не получалось ранее от действия звука. Получилось как бы проторение пути с органа слуха через мозговой центр на данную группу мышц, вызывающую сокращение конечности. Как только установилось такое состояние, то по характеру и особенностям сокращения конечности (которое доступно записи, и, следовательно, анализу и толкованию вполне об'ективного характера), можно ставить и решать целый ряд различных физиологического характера вопросов, относительно деятельности органа слуха, соответствующих частей мозга и тому под. Здесь, как мы видели, существенным является совпадение во времени действия звука с деятельным состоянием областей мозга, принимающих участие в избранной нами показателем двигательной реакции. В других аналогичных опытах, например, в опытах Шиманского поступают таким же способом, только реакции избраны более сложные, как, например, убегание животного, где участвуют не определенные лишь группы мышц, а большая часть двигательной системы животного.

Как известно, например, Шиманский, работая с тараканами (blatta germanica), применял электрическое раздражение в определенных местах клетки. Михайлов в опытах с ракообразным (pagurus striatus) применял также аналогичный способ механического раздражения (палочкой) в момент действия изучаемого им светового раздражения (красным светом). В методике, введенной и разработанной подробно за последние 15 лет школой Павлова, показателем берется деятельность слюнной железы, и изучаемые раздражители приводятся в связь с этим органом. Техника в сущности в своей основе проста. Изучаемый раздражитель или их совокупность (если изучается сложный раздражитель), например, свет, звук, механические раздражители заставляют совпадать во времени с раздраженным состоянием слюнной железы. Для этого в момент действия изучаемого нами агента раздражают полость рта животного пищевыми веществами или слабым раствором кислоты. Проще говоря, животное кормят во время действия изучаемого раздражителя, или же в это время в рот животного вливают слабый (не вредящий его здоровью) раствор кислоты (обычно соляной около ¼—½ процента). Таким образом, и в данном случае имеет место совпадение во времени действия изучаемого раздражителя с деятельным, рабочим состоянием слюнной железы. Спустя некоторое время, после известного (в разных случаях в зависимости от условий опыта и особенностей животного) числа сочетаний устанавливается такое отношение между слюнной железой и данным раздражителем,

что этот последний становится сам по себе возбудителем слюноотделения, чего ранее не было.

К этим двум главным формам и сводятся в сущности все многочисленные и разнообразные приемы изучения приобретенных (по терминологии Павлова сложнонервных) реакций организма на внешний мир. В методике естествознания нет универсальных методов. Каждому методу присущи и свои достоинства, и свои недостатки. Мы не будем, поэтому (особенно здесь), отдавать дань решительного предпочтения тому или иному из указанных приемов. Рассуждая об'ективно, следует признать за методом двигательных реакций немало преимуществ в виде, например, тонкости, чувствительности и возможности применять его при опытах на людях. Двигательная система в виде сокращения той или иной группы мышц, ведь, в сущности и является созданным природой механизмом, развившимся и усовершенствовавшимся в борьбе за существование именно в целях приспособления индивидуума к изменению (во вред или пользу) окружающей среды. Понятно, что этот механизм тоньше и чувствительнее, как универсальный, по сравнению с другими, как, например, секреторным (в частности слюноотделительным) механизмом, рассчитанным на частный, определенный случай жизни и на сравнительно ограниченный круг явлений (напр., прием и обработка пищи, уже найденной и захваченной при помощи двигательных реакций). Однако как раз именно отмеченная чувствительность и сложность двигательных реакций делает, подчас, затруднительным и точный анализ их и установление причинной зависимости между ними и изучаемым раздражителем. Особенно трудно бывает разобраться в столь сложной реакции, как бег животного. Таким образом, будучи сам по себе очень ценным, метод двигательных реакций во многих случаях при изучении основных законов сочетательных рефлексов должен быть, в известных отношениях, поставлен ниже метода секреторных реакций. Этот последний в обработке школы Павлова во многих случаях проще и резче выражает и связь, и закономерность изучаемых явлений. В частности метод Павлова состоит в том, что животному (обычно собаке) производят небольшую, нетрудную по технике и безвредную для здоровья операцию наложения фистулы (постоянной) слюнных желез. Оперированная таким образом собака имеет на одной стороне отверстия своих слюнных желез (подчелюстных и околоушных) выведенными наружу, что дает возможность, собирая отделяющуюся во время опыта слюну, изучать ее с качественной и количественной стороны и следить за кривой хода отделения. Нервные связи и условия нормальной работы слюнных желез сравнительно хорошо изучены, и это значительно облегчает работу. Имея оперированную указанным образом собаку, можно у нее произвести ряд сочетаний различных раздражителей, связав их с деятельностью слюнной железы во времени, т.-е., производя одновременно раздражение железы (кормлением или вливанием в рот кислоты) и раздражая тот или иной воспринимающий аппарат животного (ухо, глаз, кожу и т. под.). Таким путем можно сделать возбудителем деятельности слюнной железы каждый раздражитель внешнего мира, для восприятия которого животное

имеет соответствующий аппарат в виде органа чувств, как их обычно называют не совсем удачно с точки зрения об'ективизма. Так, например, можно добиться, что животное будет реагировать отделением слюны (слюнотечением) на появление на экране той или иной геометрической фигуры, на ее движение, на раздающийся звук определенной высоты и тембра и т. под. Понятно, что возможность получить и установить такого рода связи дает в руки мощное орудие для изучения как свойств и деятельности самих воспринимающих органов (слух, ухо, глаз и т. под.), так и для установления общих законов деятельности нервной системы (как, например, процессы возбуждения, торможения, распространение их в нервной системе, их взаимодействие и тому под.). Уже перечень подобных вопросов, значение и важность которых понятны сами собою, возможность их изучения вполне об'ективным путем и в строго лабораторной обстановке с применением к анализу почти математического метода учета (в виде количества отделения слюны, или изучения кривой сокращения мышц в случае двигательного метода), достаточно об'ясняет то внимание, какое было уделено интересующему нас методу исследователями вообще, а двумя русскими выдающимися школами (Бехтерева и Павлова) в частности. Литература по указанному методу громадна и касается не только вопросов чистой физиологии (Бехтерев, Павлов, Калишер, Шиманский, Николаи и другие), но и других наук, как, например, фармакология (школа Павлова), психология и психиатрия (Бехтерев). В задачу настоящей статьи не входит реферат материала, добытого методом сочетательных рефлексов. Богатый материал этот с трудом еще поддается обобщению и систематизации, особенно в статье, не рассчитанной на специалистов. Здесь я имею в виду затронуть лишь вопрос, как широко поле применения метода сочетательных рефлексов, и чего могут ждать от него науки, основывающиеся на данных физиологии нервной системы. Помимо теоретического интереса, затрагиваемый вопрос имеет и чисто практическое значение, как это мы постараемся показать в дальнейшем. Ведь некоторые прикладные науки, как, например, педагогика, стремятся положить в свою основу законы физиологии мозга и нервной системы, и всякие данные в этой области применения нового метода не могут не интересовать и педагога. Нельзя не обратить внимания, что в переживаемую нами эпоху и социология, стремящаяся разобраться в сложных и запутанных законах взаимодействия организмов, живущих социальной жизнью, не может не интересоваться законами реакций, пусть упрощенных, но все же входящих, как звенья цепи, в сложные реакции, подлежащие ведению социолога. Вообще все завоевания в области физиологии нервной системы неизбежно освещают не только области непосредственной физиологии, но и отдаленные уголки различных отраслей знания, так или иначе имеющих отношение к живым существам. Это и понятно. Ведь нервная система и существует для управления отдельными органами и частями организма, и для установления связи его с внешним миром. Ясно, что всякие новые данные в области изучения нервной системы должны пролить свет и на деятельность самого организма и его частей и на взаимоотношения

организма к внешнему миру и отдельных особей друг к другу. Насколько автору этой статьи известно, до сих пор авторы не касались вопроса, что именно дает и может дать метод сочетательных рефлексов для различных областей знания и насколько данные, полученные указанным методом, освещают явления обыденной жизни, и насколько они могут быть использованы в практическом отношении. Читатель не найдет в дальнейшем исчерпывающего материала по вопросу о современном состоянии учения о сочетательных рефлексах. Наша задача скромнее. Мы хотим показать на нескольких примерах, что может дать для различных наук и отделов метод сочетательных рефлексов, и как можно использовать практически добытые этим методом данные.

Применение метода сочетательных рефлексов в области физиологии. Выше мы сказали, что не ставим себе задачей дать здесь более или менее полную картину того, что достигнуто методом условных или сочетательных рефлексов в области чистой физиологии. Однако, чтобы показать значение этого метода, мы остановимся на некоторых данных, полученных исключительно при помощи описываемого приема исследования. Мы постараемся выбрать примеры, наиболее резко подчеркивающие ценность метода сочетательных (условных) рефлексов, и прежде всего остановимся на таких вопросах физиологии, которые не могли быть ни поставлены, ни решены сколько-нибудь удовлетворительно при помощи прежних методов исследования.

Выше мы отметили, что изучение деятельности нервной системы до введения метода сочетательных рефлексов ограничивалось главным образом изучением простых, врожденных рефлексов по большей части на классическом об'екте—лягушке. Сколько-нибудь высшие рефлексы на других, ближе к нам стоящих, животных не входили в область физиологии и отграничивались от нее даже самим определением рефлекса, как непроизвольного акта. Все реакции, где можно было заподозрить наличие одновременно и процессов сознания, отделялись от области физиологии. С расширением понятия рефлекса, с укреплением взгляда на сложные реакции всех организмов, как на разложимые на ряд более или менее простых рефлексов, явилась возможность ставить вопросы по физиологии нервной системы, о которых еще сравнительно недавно нельзя было и мечтать.

Имея возможность воспитывать в лаборатории ряд новых рефлексов, мы получили возможность исследовать механику образования сочетательных рефлексов, изучать их свойства в разную эпоху их развития, т.-е. создавать понемногу представление об истинной, интимной физиологии процессов в нервной системе. Получив ряд, например, сочетательных рефлексов с разных воспринимающих поверхностей (глаза, уха, носа, кожи), мы можем, нанося те или иные повреждения в нервной системе, найти те пути, те нервные элементы, которые так или иначе участвуют в распространении нервных процессов, выражающихся нашими рефлексами. Этим путем мы можем внести много новых данных во все еще темную, несмотря на многие работы крупных ученых, область локализации в коре мозга. Изучая сочетательные рефлексы

при разных состояниях, как общих, так и местных, нервной системы, мы м жем строить истинную механику мозговой деятельности. Только такой то кий метод, как метод сочетательных рефлексов, может дать представлен о зависимости деятельности нервной системы от общих состояний организм В виде примера сошлюсь на свои опыты наблюдения деятельности нервн системы у собаки в период течки. Только метод сочетательных рефлекс помог открыть резкие изменения в способности нервной системы реагироват на внешний мир. Никакие другие приемы, обычно применяемые в лаборат риях, не могли открыть ничего ненормального во внешнем поведении живо ного. В настоящее время, когда в физиологии все более и более выясняет взаимодействие различных органов друг на друга, путем так называемой вн тренней секреции, метод сочетательных рефлексов призван служить тонча шим показателем влияний тех или иных веществ на общее состояние нервно системы. Напомним, что прежние опыты с операциями на нервной систем (вырезывание частей мозга, раздражение коры мозга электрическим током могли дать лишь данные об анатомических связях отдельных частей мозг с теми или иными органами. Не было методов (кроме чисто суб'ективно оценки поведения животного) для определения функционального состояни мозга в целом. Теперь такой метод дан, и надо надеяться, что в недалеко будущем применение метода сочетательных рефлексов к изучению деятел ности мозга животных с неправильностями обмена веществ и нарушениям в области внутренней секреции желез (напр., щитовидной, загрудинной, поло вых и т. д.) даст не мало ценного физиологического материала. Мы не ка саемся в этой общей, не рассчитанной на специалистов статье таких чист физиологических вопросов, как распространение возбуждения по мозгово коре, влияние возбуждения и торможения и т. под., которые теперь могу решаться с небывалой доселе точностью, тонкостью и главное об'ектив ностью, делающей неоспоримыми получаемые факты.

Возможность образовывать искусственно новые рефлексы с различны воспринимающих органов дало повод подвергнуть изучению и самые эти ор ганы также вполне об'ективным путем, чего ранее нельзя было и думать. Кт мог, например, идя прежними путями, поставить вопрос о пределе распозна вания ухом собаки звуков или ее глазом цветов? В этом вопросе не шли да лее обычного и всем известного по жизненному опыту признания тонкост слуха собаки. Применяя метод сочетательных рефлексов, мы можем вполн точно исследовать не только предел того или иного органа восприятия, но и тонкости его работы. Например, изучая ухо собаки, мы можем исследоват способность различать тона, улавливать их в аккорде и т. д. То же самое очевидно и по отношению к другим органам. Короче говоря, явилась возмож ность создать сравнительную физиологию воспринимающих органов (по преж ней терминологии органов чувств). Таким образом уже чистая физиология в методе сочетательных рефлексов приобрела драгоценный, а для многих во просов пока единственный, прием исследования. Однако и прикладные науки обязаны не меньшим, если не большим, этому методу исследования. Возьмем

для примера фармакологию, науку о действии на организм различных веществ. До сих пор этой важной отрасли знания приходилось изучать действие веществ на нервную систему, оценивая большей частью лишь внешние признаки поведения животного в той стадии действия, когда вещество проявляло себя деятельностью того или иного органа. В предшествующей же стадии, когда действие вещества, уже отравившего мозг, еще не проявляется в поведении животного, не было возможности выявить его влияние на нервную систему. Метод условных рефлексов дает возможность по изменению как самого рефлекса, так и его свойств (например, торможения, угасания, растормаживания и так далее), по увеличенной или ослабленной способности к образованию новых сочетательных рефлексов судить о состоянии мозга под влиянием тех или иных веществ. Понятно, что и патология, особенно патология нервной системы, может почерпнуть неисчерпаемое количество материала из описываемого нами метода. Однако значение применения метода сочетательных рефлексов не только в его теоретическом интересе. Научившись понимать механизм образования сочетательных рефлексов и их свойства, мы получим и власть над ними, сможем управлять их появлением и исчезанием, что в практической жизни имеет немаловажное значение. Прежде всего в лечении нервных болезней, как, например, неврастении, истерии, при борьбе с дурными, порочными привычками, которые, ведь, есть ни что иное, как сочетательные рефлексы, уметь управлять этими рефлексами имеет громадное значение в деле лечения. Уже описаны удачные опыты применения метода сочетательных рефлексов у истериков с целью борьбы с истерическими параличами (путем растормаживания заторможенных рефлексов) (Бехтерев). Немало полезного извлечет для себя и педагог. Ведь задача педагога, в сущности,—ухаживать за нашей нервной системой, в период ее роста и развития. Педагог должен оберегать нормальное развитие того сложнейшего и наиболее хрупкого по своей конструкции организма на земном шаре, которое называется центральной нервной системой ребенка, поручаемого педагогу. Понятно, что нельзя ухаживать за механизмом, не зная ни его строения, ни его деятельности. Знание деятельности мозга дается методом сочетательных рефлексов. Но не теоретически только, но и практически педагогу важно знание метода и учения о сочетательных рефлексах. Ведь вся жизнь и развитие ребенка есть в сущности с физиологической стороны непрерывное приобретение одних сочетательных рефлексов и затушевывание, угашение других. В этом и состоит физиологическая подкладка того, что мы называем жизненным опытом, умственным развитием, индивидуальностью и прочими суб'ективными терминами Для физиолога это есть лишь приобретаемые особенности реакции, ответов на внешний мир с его раздражителями. Педагогу чрезвычайно важно знать механизм образования этих новых реакций и способы как облегчения, так и затруднения их образования. Ведь борьба с дурными наклонностями и привычками сводится в сущности к затушевыванию уже образовавшихся сочетательных рефлексов, признанных в данной среде нежелательными, и к помехе их новому образованию. Обратно, воспитание сводится физиологически

к облегчению образования признанных желательными реакций на внешний мир. Таким образом, педагогу сочетательные рефлексы нужны и как метод познания работы нервной системы, и как орудие его деятельности в деле воспитания, шлифовки, так сказать, развивающегося мозга своего воспитанника Понятно, что не меньшее значение может иметь интересующий нас метод и для всех, кто так или иначе приходит в соприкосновение с деятельностью мозга. Сюда относятся врачи по нервным болезням, психиатры, судебные врачи, педагоги, посвятившие себя ненормальным детям и, наконец, психологи, социологи и юристы.

По поводу отношения метода сочетательных рефлексов к психологии надо сказать несколько слов. Мы видели выше, что метод сочетательных рефлексов дал нам возможность ставить на очередь и решать задачи, до последнего времени или входившие в сферу психологии, или так тесно с ней переплетавшиеся, что для решения этих задач приходилось прибегать зачастую и к приемам исследования и к выражениям, заимствованным из психологии. В настоящее время с развитием и укреплением отмеченного выше об'ективного подхода к вопросам деятельности нервной системы, физиологу приходится решительно отгораживаться от психолога, предоставляя ему итти своим путем. Мы видели выше, что содружество с психологом не подвинуло далеко физиолога в деле познания деятельности мозга. Только введение об'ективного метода сразу дало мощный толчок физиологии мозга, и по этому пути, очевидно, пойдут будущие исследователи. Ясно, что суб'ективный метод психолога не применим даже к изучению других подобных нам индивидуумов, не говоря уже о животных. Суб'ективная психология дала лишь ряд более или менее интересных наблюдений, но не могла дать того обобщающего стройного целого с определенными законами, дающими власть над предметом, какое требуется от каждой имеющей право гражданства науки. Попытки создать «физиологическую психологию» не дали много и свелись в сущности к созданию «суб'ективной физиологии», где простые физиологические факты, добытые путем чисто физиологических приемов, затемнялись суб'ективным приемом их анализа. Современный физиолог, не отрицая значения психологии, как таковой, стремится остаться в своей плоскости даже при изучении самых сложных проявлений нервной деятельности высших существ до человека включительно. Наличность особых явлений, в виде так называемой психической, сознательной деятельности, не должна смущать современного последователя об'ективного направления в физиологии. Мы, как физиологи, можем и должны разлагать самые сложные ответы на внешний мир на простые реакции, на рефлексы. Всю сложную деятельность как низших, так и высших организмов, мы изучаем с точки зрения воздействия внешнего мира на наш организм. Наблюдая сложный ответ организма на внешний мир, мы, оставляя в стороне психические явления, задаемся вопросами о природе раздражителей, об их влиянии на тот или иной воспринимающий аппарат, об участии определенных областей мозга и о характере протекающих там процессов. Прибавив сюда еще изучение взаимодействия сложных раздражителей, их

борьбу и результаты одновременного или разновременного действия, мы и получим в общих чертах те главные вопросы, которые ставит сейчас перед об'ективистом физиология нервной системы. Принимая понятие внешнего мира шире, включая сюда и те раздражители, которые могут образоваться и в самом организме, может быть даже в самом мозгу, мы, очевидно, охватим всю ту сферу, которая может так или иначе действовать на нашу нервную систему, вызывая самые разнообразные акты, начиная от простых поисков пищи низшего животного до сложной деятельности человека.

Метод сочетательных рефлексов, давая возможность исследовать тончайшие изменения в деятельности нервной системы, дает нам ключ к такого рода исследованиям. Последние усовершенствования этого метода (Бехтерев) дают возможность вовлечением в сферу исследования людей расширить применение метода сочетательных рефлексов, а вместе с тем и область изучения деятельности нервной системы до указанных выше пределов. Сегодня можно сказать, что нет такой формы нервной деятельности, нет такого высоко организованного существа, к которому нельзя было бы применить метод сочетательных рефлексов, деятельность которого нельзя было бы разложить на простые сочетательные рефлексы, изучив которые, потом путем воссоздания, можно будет ближе понять и самую деятельность организма, что и составляет цель естествознания.

Пусть не считают такой прием профанацией высшей деятельности. Когда физиолог с своим методом рефлексов подходит к высшей деятельности мозга, он не унижает этой деятельности. Психоанализ психолога суб'ективиста не выше по своей сущности метода физиолога. Деление методов на низшие и высшие—предрассудок. Законно лишь деление методов на подходящие и неподходящие. Критерием же того, какой метод может считаться подходящим в данном случае и какой нет, является лишь его результат и плодотворность. С этой точки зрения метод сочетательных рефлексов оправдал себя как нельзя лучше! Вряд ли какой другой метод мог дать столько фактов, сколько мы получили за последние 20 лет, хотя бы в двух систематически применяющих этот метод (в России) школах академиков В. М. Бехтерева и И. П Павлова. Ведь лишь применение метода сочетательных рефлексов дало возможность говорить о зарождении новых наук, как-то: об'ективной психологии, об'ективной психопатологии, рефлексологии. Метод, давший возможность возникновению новых отраслей знания, заслуживает внимания и, развивая его, человечество придет, наконец, к пониманию того, что всегда составляло загадку—к уяснению деятельности того органа, который сам явился творцом знания—мозга высших существ на земном шаре.

Для развития столь важного метода необходимы соединенные усилия человечества. Столь важные вопросы требуют для своего решения об'единенной работы лучших умов, больших средств, специально построенных и оборудованных лабораторий, координированных работ ученых разных стран. Ведь в других науках, как, например, астрономия, давно вошло в обычай намечать общие задачи для всего ученого мира и, распределив работу, итти к опреде-

ленной задаче общими усилиями. В нашем деле познания работы мозга во всех ее многообразных проявлениях, более чем где-либо необходима концентрация и материальных, и духовных (исследовательских) сил. Человечество еще недавно об'единилось достаточно дружно для взаимного истребления в большие коалиции нескольких культурных стран. В течение 7 лет не жалели никаких материальных рессурсов, приносили в жертву жизнь лучших представителей расы ради господства на определенной точке земного шара, ради исключительного права на уголь и нефть. Пролитие крови, трата накопленных поколениями богатств и разрушение культурных ценностей мотивировались необходимостью борьбы за лучшее будущее, за счастье и свободу будущих поколений. Невольно напрашивается мысль, что борьба за счастье должна в сущности вестись не между людьми, а всеми людьми с природой. Природа—наш враг и поработитель. С ней надо бороться, от нее исторгнуть тщательно скрываемые ею тайны, лишь с трудом по временам вырываемые у нее отдельными гигантами науки. Не проще ли было бы об'явить войну природе? Об'единиться в союз научной работы всем народам и, собрав средства и сконцентрировав работу коллективной научной мысли, двинуться в дружном натиске на природу, с целью, узнав ее тайны, заставить служить себе ее силы.

Происхождение жизни и химические основы эволюции.

Проф. И. А. Смородинцева.

Глава первая.

Связь между организмами и неорганизмами. Признаки организованной материи: наличность их в неорганизованном веществе. Биологические свойства у кристаллов: движение, питание, рост, размножение, регенерация. Искусственные клеточки. Индивидуальные особенности у кристаллов: наследственная передача их. Явления оптимума и борьба за существование у кристаллов.

В старое время организмами считали только животных и только их признавали живыми и одушевленными. С течением времени к организмам были отнесены и растения, так как и у них были найдены те же самые биологические явления, какие наблюдаются и у животных—размножение, рост, ассимиляция и проч. Таким образом, в область биологии вошли царства растений и животных. В последнее время все более и более раздаются голоса в пользу того, чтобы в область биологии было включено и царство минералов, и исследователи стараются разрушить китайскую стену, которая якобы разделяет мир одушевленный от мира неодушевленного.

Если мы проанализируем признаки, по которым отличаются будто бы одушевленные тела от неодушевленных, то мы не в состоянии будем указать ни одного, свойственного исключительно только живым творениям. Самым разительным проявлением жизни считается так называемое *произвольное движение;* прототипом его будет движение амебоидное. Физикам удалось воспроизвести движения, по виду ничем не отличающиеся от этих амебоидных и вполне об'ясняющиеся явлениями поверхностного натяжения жидкостей. Описаны движения и у кристаллов.

Но в живых существах явления движения идут рука об руку с явлениями другого порядка, с явлениями обмена веществ, ассимиляции и дезассимиляции, явлениями питания, роста и размножения. В основе же эти процессы имеют аналогию в химических и физических явлениях, воспроизводимых вне организма. *Коллоидное состояние* вещества, считающееся основной особенностью живого тела и способствующее развитию упомянутых «жизненных явлений», свойственно и телам неорганизованным. Химические процессы, долго признававшиеся исключительным уделом организмов, одни за другими

переходят в руки химиков и с успехом воспроизводятся в лабораторных виях. Главные факторы в обмене веществ живого организма—*ферм* эти удивительные вещества, вызывающие, смотря по условиям, и яв. дезассимиляции и распада и явления ассимиляции и синтеза,—имеют а гов и в неорганическом мире. *Питание* наблюдается и у кристаллов, при в некоторых случаях кристалл принимает пищу внутрь себя (Lehmann)

Такое чисто биологическое явление, как *регенерация* или залечи ран, описано у кристаллов. Процесс роста организмов, казалось, предста нечто совершенно отличное от роста кристаллов, но уже известны искусс ные образования, воспроизводящие основные черты роста клеточек.

Если в разбавленный раствор железистосинеродистого калия бро кристалл хлористой меди, или, обратно, в слабый раствор медной соли опус кристаллик железистосинеродистого калия, то в обоих случаях через кс кое время начинает расти в растворе искусственная клеточка, оболочка торой образована железистосинеродистой медью.

Эта оболочка полупроницаема, т.-е. она пропускает сквозь себя нек рые вещества, напр., воду, и задерживает другие, в силу чего диффунди щая внутрь пузырька вода заставляет его расти, давать отростки, ответ ния, дочерние клетки. Сходную картину можно наблюдать в растворе кре кислого натрия по добавлении хлористого кобальта и т. п.

Более стойкие образования получаются при соблюдении следую условий: зернышки из 1 ч. сахара с 1—2 ч. $CuSO_4$ опускают в жидкость, держащую 10—20 ч. 10% желатины, 5—10 ч. насыщ. раств. K_4FeCy_6 и 10 ч. нас. раств. NaCl в 100 ч. воды при 40°. Зернышки $CaCl_2$ хорошо ра в растворе, содержащем: 60 гр. 33% K_2SiO_3, 60 гр. нас. Na_2CO_3, 60 нас. Na_2HPO_4 в 1000 к. с. H_2O.

Если на фильтровальную бумагу, пропитанную КОН, пустить каплю Cu то на месте соприкосновения образуется перепонка из $Cu(OH)_2$, кото всегда изменяется одинаковым образом при одинаковой концентра Cu и K: при изменении концентрации реактивов меняется и форма пе понки; при замене $CuSO_4$ —$Cu(NO_3)_2$ или $NiSO_4$ картина получается дру Таким образом уже одно изменение концентрации и состава соли с зывает влияние на форму перепонки. Конечно, все эти искусствен «клеточки» не более, как модели, но физические силы, которые про водят эти неорганические образования, вполне аналогичны тем, от кс рых зависят рост и формирование организованной материи: перепон осмотическое давление, диффузия.

Подобные опыты воспроизводят механизм роста организмов вообще, растительных, так и животных. В растущем организме наблюдается изве ное напряжение тканей, turgor vitalis. Этот turgor растущих клеточек как именно и обусловливается восприятием воды из окружающей среды. При р витии клеточек из запасных веществ, образуются такие соединения, кото усиленно притягивают воду и заставляют клеточки увеличиваться в об'е расти. Конечно, помимо воды для жизни необходимы еще и другие услови

достаточная температура, приток питательных материалов, целость стенок и т. д.

Когда рост индивидуума выходит за известные пределы, начинается размножение по чисто физическим законам. Такое же *размножение* как в силу самозарождения, так и при помощи *деления и почкования* описано Lehmann'ом и у кристаллов. С другой стороны, Loeb показал, что не только первые стадии процесса *полового воспроизведения* могут быть вызваны искусственно партеногенетически, без участия мужского оплодотворяющего элемента, но он сумел довести лягушек до состояния полной зрелости [1]).

Итак, движение, питание, регенерация, рост и размножение, хотя и не в одинаковой степени, являются свойствами и организмов и минераллов.

При помощи особого метода *Бахметьеву* [2]) удалось доказать наличность еще нескольких биологических явлений у кристаллов. Метод этот состоит в следующем: в широкий стеклянный стакан наливается горячий раствор хлористого кальция, уд. в. 1,2, и в него погружаются шарики из паранитротолуола, плавящегося при 54°, приготовленные при помощи особой пипетки. Будучи одного удельного веса с раствором хлористого кальция, эти шарики плавают в нем и с ним вместе охлаждаются. Температура раствора, а следовательно, и шариков измеряется при помощи обыкновенного термометра. Шарики эти, постепенно охлаждаясь, не затвердевают, однако, при 54°, а показывают явление *переохлаждения*. Так, у десяти одинаковых плавающих шариков затвердение произошло: у 1-го—при 44°, у 2-го—при 42°, а у 10-го—при 34°. Условимся считать, что при температуре выше 54° шарики не живут, так как они не рискуют еще затвердеть (умереть), а процесс их жизни (как жидких) начинается с 54°. Отсюда следует, что 1-й шарик достиг, так сказать, 10-градусного возраста (54—44 = 10), а последний—20-градусного возраста. Таким путем была открыта новая биологическая аналогия: *индивидуальное свойство* у кристаллов одного и того же вида.

Идя по этому же пути, *Бахметьев* доказал и *наследственность* благоприобретенных свойств. Если при всяком отдельном опыте с 10 шариками отбирать самые долговечные шарики (т.-е. десятые) и таких шариков набрать, напр., 12, то это отобранное вещество, будучи превращено снова в жидкие шарики, покажет для 1-го шарика долговечность в 20°, а для последнего—30°. Другими словами, эти опыты доказывают передачу по наследству определенных свойств—в данном случае способность долго не затвердевать. Продолжая подобные опыты дальше, мы можем получить, так сказать, третье поколение шариков, которое будет еще более долговечным. Дальнейшая биологическая аналогия относится к явлению, так называемого, *оптимума*, т.-е. того темпа жизни, при котором организмы развиваются самым благоприятным для себя образом. Для этого шарики охлаждались с различной скоростью: при очень малых и очень больших скоростях шарики не были долговечными, но при некоторой средней скорости они доживали до «глубокой старости».

[1]) J. Loeb, Proc. Ac. nat. sci. Phil. 4, 60 (1918).

[2]) П. Бахметьев, Зап. Имп. Ак. н., т. 10, № 7 (1900).

Борьба за существование, несомненно, имеет место и в минеральном царстве. Наличность ее была доказана *Бахметьевым* при помощи растворения в воде искусственно приготовленных форм из кристаллических квасцов. Растворение—это гибель индивидуальности данного кристалла. Опыт показал что наибольшее сопротивление растворяющему действию воды оказывает та форма, которая присуща квасцам по природе; все же остальные формы—шар куб, призма и проч.—растворяются гораздо быстрее. Отсюда можно заключить, что нормальная форма квасцов (и других минераллов) наиболее соответствует природе его молекул и выработалась в течение многих тысячелетий и может быть, и миллионов лет. Все же другие формы данного кристалла погибли в борьбе за существование, и нет ничего невероятного в том, что первобытные формы некоторых кристаллов будут найдены когда-нибудь палеонтологами.

Если это так, то представляется возможным открытие у теперешних кристаллов *биогенетического закона Геккеля,* т.-е. краткого и быстрого повторения главнейших форм развития кристалла, которые предшествовали его теперешней форме.

Количество таких аналогий легко увеличить, но и сказанного достаточно, чтобы убедиться, что никакой резкой границы между организмами и неорганизмами провести нельзя, и что все в природе живо: разница между одними и другими состоит только в интенсивности проявления жизненных функций. Да иначе и быть не могло: Если какое-либо свойство достигло в организме резкого развития, то в зачаточном состоянии оно непременно должно было быть у неорганизмов, так как, несомненно, организмы развились из минераллов. Если это так, то в природе нет неодушевленных предметов, или, наоборот, венец творения — человек — представляет собою только сложную машину. Словом, у витализма, как рабочей гипотезе, подорваны все основы, разрушены и все ее надстройки; если в наших об'яснениях встречается еще много затруднений и неясностей, то причину этого надо искать в неполноте наших сведений о строении и действии живого вещества.

Глава вторая.

Эволюционная теория. Организация первичной клеточки: пластуля, гаструля. Способность протоплазмы к безграничному размножению. Механизм координации: гормоны и нервная система Преобладание принципа химического, гуморального над анатомическим в процессе эволюции. Влияние половых гормонов; омоложение. Гормоны эндокринных желез. Дифференциация, координация и наследственность, как факторы естественного отбора.

Эволюционная теория, обнимающая теперь не одну только биологию, где она была впервые предложена и обоснована экспериментально *Ч. Дарвином,* но и все другие науки о природе—астрономию, геологию, химию и физику—убеждает нас, что процесс эволюции неизбежно должен был иметь место и при переходе из неорганического мира в организованный. Но столь же очевидно, что следы такого процесса не могли сохраниться до нас

в форме известной нам геологической летописи. Мириады лет должны были пройти от начала этого процесса и до появления тех известковых и кремневых игол и панцырей, которые мы встречаем у наших простейших организмов.

Различные исследователи многократно делали попытки вызвать образование живого вещества из неорганизованной материи. Dubois [1]) подвергал влиянию хлористого бария и бромистого радия желатину, содержавшую соли и пептоны, и получил подобие клетки, «минеральные споры», похожие на споры грибков. Механизм деления их был тождественен с механизмом деления живых клеток, когда они достигали известной величины.

Butler-Burke [2]) влиянием радиевых солей на стерилизованную желатину вызывал разрастание ее в виде розеток. Эти разрастания можно было переносить на другую питательную среду из желатины, и там они еще больше увеличивались. При плавлении желатины они исчезали, а по охлаждении вновь появлялись.

Раз при благоприятных условиях такой процесс организации коллоидной слизи осуществился, размножение ее уже должно совершаться по физическим законам: об'ем увеличивается пропорционально r^3, а поверхность только пропорционально r^2, поэтому масса (капля), достигнув известной величины, неизбежно должна распасться: получается omne vivum e vivo, краткая формулировка принципа *биогенеза* Fr. Redi (1626—1697), принадлежащая Oken'у. Далее следует представить концентрацию фосфористых соединений в одном участке первичной коллоидной слизи или протоплазмы [3]), потому что таким путем должно было образовываться ядро и тогда возникла клеточка: omnis cellula e cellula (R. Virchov 1821—1902).

Дальнейшим этапом будет агрегат из однородных клеточек—колонии (моруля→бластуля→гаструля). Одноклеточные организмы, остающиеся в симбиозе после деления, образуют колонии, прототип многоклеточных организмов. Когда в таких колониях возникает вдавление внутрь (гаструля эмбриологов), то в силу этого внутренние клетки будут иметь меньше столкновений с внешней средой и почти всецело предаются переработке пищи, захваченной внешними клетками, — этот простой этап стал важным моментом в развитии жизни и послужил первым шагом по пути дифференциации.

Эти этапы в развитии клеточки осуществлены искусственно. Если на смесь желатины с пептоном, аспарагином и глицерином подействовать хлористым барием, то образуются пятна, похожие на колонии грибков, разрастающиеся с разжижением желатины. Без добавления указанных веществ дело ограничивается только разжижением желатины, и колонии не появляются. Под микроскопом колонии состоят из шарообразных «клеток», которые путем вращения вокруг длинной оси перешнуровываются на две дочерние клетки и по окончании *сегментации* образуют подобие стадии «моруля». Эти «бариевы клетки» имеют в средине вакуолю, которая окрашивается так же, как

[1]) R. Dubois, Soc. biol. 56, 697 (1904); 62 (1907).
[2]) Butler-Burke, Urzeugung.
[3]) Этот термин введен впервые *Mohl'ем*, Bot. *Ztg.* 1846, 74.

клеточное ядро. Подобно бариевым солям на желатину действует нукле вокислый натрий и некоторые другие вещества. По мнению Kucku влияние этих веществ на желатину, организация органической материи, дится к «ионизации»: барий, радий, нуклеиновый натр, ферменты и др. и формы энергии, способные разлагать протеины и углеводы на ионы, вы вают в известных смесях цикл физикохимических реакций, которые ле в основе жизненных явлений [1]).

Материя всегда живет: она заключает жизнь в потенциальной фо если она не организована, и в кинетической, когда она находится в жи существах.

Развитие и организация всего мира управляются одним принципом: о низующая сила создает *ряд индивидуумов* постепенно возрастающей сл ности в такой иерархической последовательности от низших к выс электрон→атом→молекула→клетка→многоклеточное животное, на пчела→рой пчел→вид животных→животное царство→небесное т (земля)→вселенная.

Известная нам теперь протоплазма простейших организмов Aethali septicum и хлорофилл, источник всего живого движения на нашей план слишком сложны, чтобы быть первыми продуктами синтеза, при переходе неорганизованной материи к организованной. Но опыт показал, что важн шая функция в жизненном творчестве, первый этап современного нам п вращения неорганических веществ в органические, реакция фотогенез формальдегида из угольной кислоты, может быть выполнена и неоргани скими коллоидами—гидратами окисей железа и урана [2]).

Раз возникшая протоплазма одарена безграничной способностью к р множению: Woodruff [3]) в течение пяти с половиной лет ежедневно изоли вал по одной парамеции, так что кон'югация была исключена, и полу 3340 генераций. Следовательно, за это время плазма парамеции воспроизв 3340 поколений, колоссальное число особей, выражающееся символом 2 при чем образовалась масса протоплазмы, равная 10^{1000}, большая, чем ма земного шара, однакоже последний экземпляр морфологически и физиоло чески совпадал с исходным. Подобным образом другой исследователь по чил в 7 лет 4500 генераций парамеций, и смерть все-таки не наступила сталю быть, рост неограничен, старость и оплодотворение не принадлеж к основным свойствам живого вещества.

Наша собственная жизнь, как и жизнь высших животных—жизнь сло ная, совокупная жизнь индивидуальных клеточек. Жизнь отдельных клет чек может прекращаться, не нарушая жизни остальных. Этот факт сове шается непрерывно в каждый момент нашего существования. Таковы клет

---

[1]) M. Kuckuck, Die Lösung d. Problems d. Urzeugung, Leipzig 1907.
[2]) B. Moore и T. A. Webster, P. R. S. сер. B. 87, 163, 593 (1913). B. C. 16, 2
[3]) L. Woodruff, Biol. Zbl. 33, 34 (1913).
[4]) H. v. Berenberg Gossler, Anat. Anz. 52, 97 (1919).

на поверхности нашего тела, отмирающие, стирающиеся и заменяющиеся новыми без всякого ущерба для организма.

Наоборот, уничтожение клеточек нервного центра, управляющего дыханием, вызывает в течение нескольких минут смерть всего живого организма.

В многоклеточном организме жизнь целого, очевидно, зависит не от одного только обеспечения условий существования отдельных клеток: необходимо еще установить согласное взаимодействие, *координацию* различных клеточек, обособившихся в своих отправлениях. Так, клетки желудочных желез выделяют желудочный сок; клетки кишечных ворсинок всасывают питательные вещества; клетки почек удаляют излишнюю воду и вредные продукты обратного метаморфоза; клетки сердца образуют насос, прогоняющий кровь через сосуды и т. д. Жизнь каждой клеточки строго приспособлена к ее отправлениям, но без их координации, без подчинения всех потребностям целого, они могли бы вырабатывать или слишком мало или слишком много, качать или чересчур сильно или недостаточно скоро, при чем жизнь целого не была обеспечена, ей грозила бы опасность.

До недавнего времени мы знали только один механизм, поддерживающий эту координацию,—это была *нервная система*. Новейшему времени принадлежит честь открытия другого, несомненно, более важного — это *«гормоны»* или *«возбудители»*. Так названы Starling'ом особые химические вещества, вырабатываемые различными железами, разносимые кровью по всему телу и пробуждающие деятельность других клеток, иногда топографически далеко отстоящих. Действие их очень разнообразно и нередко в их отсутствии жизнь становится невозможной. Весьма вероятно, чтобы не сказать: несомненно, что в многоклеточных колониях этот механизм координации появился ранее нервной системы [1]).

Ведь в основе природы эволюционных процессов при развитии оргнизмов лежит не столько *анатомический* принцип, обусловливающий возникновение случайных морфологических изменений и закрепление тех или иных полезных анатомических уклонений, сколько *гуморальный* принцип, существо которого сводится к тому, что рост и развитие организмов поддерживаются рядом секреторных органов, своего рода биохимических систем, вырабатывающих гормоны разнообразного назначения.

Правда, развитие нервной системы оказалось выдающейся чертой эволюции высших животных форм. Ее появление положило основание коренному различию между миром животных и миром растений, ни один из представителей которых не обладает никакими следами нервной системы. Нервная система регулирует функции решительно всех других систем тела: она управляет деятельностью произвольных и непроизвольных мышц, оказывает влияние на работу всех желез и т. д., но механизм ее влияния в основе своей гуморальный, влияние ее может обнаружиться только путем *химических* изменений в клетках и вся нервная система по существу является лишь очень

---

[1]) И. А. Смородинцев, Клинич. мед., 1923.

сложным приспособлением, выработанным организмами для более быстр
и тонкого воздействия различных гормонов.

Этот другой первичный регуляторный механизм значительно проще;
основан на чисто химическом воздействии гормонов. Внешние условия воо
очень существенно влияют на химические процессы в живых организмах. I
в мире растений, так и в царстве животных известно много фактов, на ос
вании которых мы в праве заключить, что состав почвы, особенности пи
ния, количество тепла и света и другие метеорологические и иные усло
оказывают весьма заметное влияние на сложение организмов, их рс
окраску и форму листьев и лепестков у растений, развитие мышечной систе
и жизнедеятельность у животных. Самый пол в потомстве определяется
личеством и качеством пищи. Так, опыты над головастиками показыва
что при обыкновенных, естественных условиях число произведенных самц
и самок делится почти поровну, с некоторым преобладанием самок:
43 самца 57 самок. При усилении пищевого довольствия % самок поднимае
до 78%—81% и даже 92% при 8% самцов. Еще в большей степени хими
жизненных процессов организма зависит от воздействия внутренних факт
ров, от влияния многочисленных и разнообразных гормонов. В настоящ
время не может подлежать сомнению, что каждая клеточка, каждый вооб
орган отделяет в кровь продукты своей жизнедеятельности [1]), которые ок
зывают то или иное влияние на организм вообще или на некоторые орга
в особенности. Первую роль в этом отношении играют т. наз. тайные и
внутренние эндокринные железы. Такое *гормонное* действие одних желез
другие обнаруживается наглядным образом, между прочим, на увеличен
грудной и отчасти щитовидной желез под влиянием внутренней секрец
оплодотворенного яйца. Даже впрыскивание оплодотворенного яйца или з
родыша у девственной самки вызывает нагрубение грудей, а у рожавшей—о
деление молока из грудных желез.

Половые органы, кроме специальных продуктов—яиц и сперматозоидо
вырабатывают гормоны, обусловливающие развитие вторичных половых пр
знаков—гребень и хвост петуха, грива льва, рога оленя, борода и увеличен
гортани у мужчины. Установлено, что с удалением семенных желез у мол
дых животных происходит недоразвитие мясистых и роговых кожных прида
ков, изменение цвета (оперение), увеличение общего количества жира, умен
шение общей энергии, выражающееся меньшей драчливостью, большей вя
лостью и т. п. С другой стороны, искусственное привитие семенных желез ка
стрированным животным, устраняя все вышеуказанные изменения, возвра
щает животное в его нормальное состояние. Наложение лигатуры межд
яичком и его придатком (epididymis) или перерезка vas deferens у стары
одряхлевших животных влечет за собой *омоложение*, повышенную полову
энергию, общую живость, развитие волос у плешивых животных и увеличени

---

[1]) J. Strohl, Viert. Natur. G. Zürich, 64, 7 (1919); И. А. Смородинцев, l. c

общей продолжительности жизни на 20% свыше нормы (у крыс). Такие же результаты замечены и на людях (Steinach и Lichtenstern [1]), *Воронов* и др.).

Гормон надпочечной железы, адреналин возбуждает деятельность сердца и артерий и содействует работе симпатического нерва. При нарушении поступления гормона щитовидной железы развиваются кретинизм и myxoedema. При чрезмерной деятельности придатка мозга наблюдается акромегалия. Быть может, этой именно причине следует приписать развитие чудовищных скелетов некоторых ископаемых; весьма возможно, что одним из последствий сокращения деятельности этой железы было постепенное превращение грубого и неуклюжего скелета гориллы в стройный скелет homo sapiens. Такое об'яснение во всяком случае имеет под собою более реальную почву, чем мнение одного немецкого палеонтолога, согласно которому, скелеты ихтиозавров и плезиозавров и проч. образовались под влиянием волевых импульсов их обладателей [2]).

Гормон поджелудочной железы управляет нормальной утилизацией углеводов в организме. Углеводы пищи превращаются в виноградный сахар, который разносится кровью во все ткани и сжигается в них, как топливо. При заболевании поджелудочной железы правильное усвоение сахара тканями нарушается, и он появляется в моче (сахарный диабет). Кишечная стенка вырабатывает гормон секретин, вызывающий отделение поджелудочного сока, в мышцах содержится карнозин, карнитин, холин и метилгуанидин, возбуждающие секрецию желудочного и кишечного сока и т. д.

Таким образом мы приходим к заключению, что координация является неизбежным фактором эволюции, и основы ее глубоко коренятся в химической сущности жизненных процессов. Дифференциация и координация, наряду с наследственностью, являются важнейшими двигателями естественного отбора наиболее приспособленных.

---

[1]) E. Steinach и R. Lichtenstern, Münch. med. WS, 1918, № 7.

[2]) К. А. Тимирязев, Основн. черты развития биологии в XIX ст., 79, Москва 1908.

О социальной драме.

П. С. Коган.

I.

В одной из заметок, проникнутых справедливым чувством возмущения по поводу ареста Синклера, между прочим, было вскользь брошено такое замечание: «Итак, Толлер в тюрьме, Синклер в тюрьме. Они близки нам, хотя и не коммунисты...».

Это «хотя» можно отнести не только к политическим убеждениям.

Есть нечто, что позволяет сразу почувствовать западно-европейского писателя в отличие от русского, и в художественных произведениях, проникнутых революционным, коммунистическим пафосом, уловить особый оттенок. Немецкие лирики-коммунисты, как, напр., Бартель, иногда совпадающий с нашими пролетарскими поэтами, вплоть до отдельных выражений, образов и эпитетов, не пережили беспримерного сжатия человеческой личности, а затем ее жертвенного полного растворения в целом, что было пережито мыслящей личностью в России, когда она беззаветно и без остатка на минуту исчезла в неудержимом революционном потоке.

Это мгновенье оставило свой след на нашей литературе. Наш революционный писатель не сразу, и словно стесняясь, выходит в сферу внутренних интимных переживаний, в сферу душевной жизни, личного счастья. Он еще весь во вне, в окопах, среди партизан, восстаний, в осажденных городах. Его мысль волнуется великими историческими проблемами, стремится овладеть судьбами грядущих поколений. Он дышит среди миллионов, среди движущихся армий, среди народных масс. Он в атмосфере сталкивающихся мировых интересов. Он отвык от размышлений над самим собою. Недавно еще модное слово «настроение», отметившее большую полосу в истории русской интеллигенции,—это слово исчезло из лексикона нашей новейшей литературы.

Не то на Западе. В Европе и Америке есть ряд крупных талантов, которые «приняли» русскую революцию, как Анатоль Франс, Ромэн Роллан, Синклер, Толлер, или прямо вступили в ряды коммунистической партии, как Барбюс, Бартель, Зонненшейн и др.

Как художники, они ни на мгновенье не переставали дышать полной жизнью. Для них солнце не останавливалось, любовь не умирала, в безоблач-

ные ночи они продолжали смотреть на звезды, и душа не закрывалась для восторгов и счастья. Коммунист Бартель выпустил недавно прекрасную книгу «Земля за решеткой», где рассказана история рабочего, но какая история! Это—пролетарий, вдыхающий «все впечатленья бытия». Это—не иконоборец, не угрюмый борец за коммунистические идеалы, как Архипов у Пильняка, или Никитин в «Партизанах» Всеволода Иванова. Это—восторженная, романтическая натура, из душной коморки вышедшая на широкий простор жизни, прежде всего переживающая, чувствующая, ищущая радости и полноты жизни, одинаково жадно бросающаяся в об'ятия и природы, и любви, и поэзии.

В его собрании стихотворений «Душа рабочего» (Arbeiterseele) [1]) есть целый отдел: Vielverliebtes Herz, которого мы не встретим у наших пролетарских поэтов. Там находим такие мотивы:

Был ночью ветер. Опьянев,
Он яблони качал.
И плод один, отяжелев,
На лоно трав упал.
Я—дерево. Я полн плодов.
Ты ветер тот ночной,
И я ронять плоды готов,
Порыв почуя твой.

И на-ряду с этим — стихи, так напоминающие наших пролетарских поэтов:

Мы наш, мы новый мир построим!
Как пламя, ярок этот зов,
Сомкнули мы ряды бойцов,
И каждый ныне стал героем...
Идем заветными рядами,
У врат судьбы стоим, столпясь,
И наши молоты, кружась,
У нас свистят над головами.

Или:

На злобу злоба. Гнев на гнев!
И зверь рычит, раскрыв свой зев.
На ярость ярость, пыл на пыл.

II.

Передо мною новая пьеса Толлера: «Гинкеман» (Hinkemann. Eine Tragödie in drei Akten).

Толлер также не совсем наш. Его революционный театр отражает современную историческую катастрофу в страданиях отдельной личности. Ему чужда железная воля, которой направляется движение мировой революции, равновесие духа, которое достигается сознанием неизбежности жертв и мук.

[1]) Готовится к изданию в русском переводе С. Заяицкого в изд-ве „Красная Новь". Перевод приводимых отрывков принадлежит С. Заяицкому.

фанатическая убежденность в непреложности исторических путей. Тол исполнен горечи и гнева, он не подражаем в изображении лжи, на кото построено буржуазное общество. Есть что-то жуткое в его картинах, про танных сарказмом: пляска во время чумы, пляска одичалых, опьяневш не понимающих, обреченных. Толлер знает, каким путем произойдет ос бождение человечества. Он социалист. Он всегда противопоставляет про тариат одичавшему буржуазному миру.

И в то же время он печален, не знает спокойствия и гармонии, п сущей людям, без колебания установившим свой путь. Он не может по риться с тем, что колесо истории в своем движении перетирает радости маленькие утехи личности. Его театр—это театр кошмарных противо чий, театр страданий, путем которых пролетариат идет к своей цели. Б рости и отважной решимости нет в его пьесах. Он словно не любит этой ликой борьбы, нетерпеливо тоскует о той свободной творческой личнос которая возникнет в результате ее, и не мирится с мыслью, что наши временники, несущие бремя, возложенное на них историей, не узнают н когда радости и свободы. Правда, Толлер в «Разрушителях машин» и пьесе «Человек-масса» создал выпуклые образы людей стальной воли и ф натической веры.

Но всегда кажется, что он хочет крикнуть: «как ужасно, что так люди погибают и страдают! Как медленно среди потоков лжи и мерзос движется вперед ладья истории?» Его театр не говорит нам: «как хорошо радостно тому, кто знает, что он—верное орудие истории, что он умирае за прекрасное и великое дело».

III.

Гинкеман—рабочий. Он вернулся с империалистической войны калекой Его рана сделала его импотентом, и в этом его трагедия. У этого великан нежное сердце, он семьянин по натуре и любит свою жену. Он не може видеть страдающего щегленка. Но он вынужден изображать в балагане «не мецкую мощь». Хозяин балагана хорошо знает свою публику. Не даро пять лет миллионы людей убивали и калечили друг друга. Люди озверели, и нужны зрелища кровавые, щекочущие нервы. Импотент Гинкеман, вопло щающий «немецкую мощь» на глазах у публики, во время представления п вечерам перекусывает глотку одной крысе и одной мыши и пьет их кровь Чувствительный великан переживает нечеловеческие страдания, но он люби свою жену, а владелец балагана платит 80 марок, потому что номер это вызывает восторженное гоготание у посетителей.

В это время жена его Грета, свежая, здоровая, в которой бунтует кровь и не могут умолкнуть естественные запросы сердца, сходится с товарищем Гинкемана, Павлом Гросганом. Толлер, как и Бартель, великий мастер в изображении этих законных прав человека на счастье, этой жажды жизни и радости, которые, в конечном счете, и представляют собою первичные эле- менты всех исторических событий. Истинная стихия его творчества—не-

молчный вопль человеческой личности о полноте существования, вопль, никогда в веках не находивший себе отклика, вопль, который умолкнет только тогда, когда человечество разрешит проблему социализма и закончится, по выражению Маркса, пролог истории.

В небольшом трактире, где собираются рабочие, Гинкеман ставит своим товарищам в упор вопрос по поводу своего несчастья. Никакой социализм не разрешит этой страшной проблемы: «Если человек болен, неизлечимо болен, разве могут исцелить его разумные условия? Пытаться понять жизнь, разве это не значит пытаться вычерпать море». И он рассказывает свою историю, скрыв ее истинную жертву и назвав вымышленного друга.

«Жил один человек. Ничего особенного он собой не представлял. Он не был вождем. Это был человек массы. Рабочий. Он был мой друг. Двадцати лет он женился. С своей женой он познакомился на фабрике. Это была красивая пара. Я всегда любовался ими. Она нежная бабенка. Он словно вылит из стали. Как он гордился своей силой! Когда началась «великая», «героическая» война, они забрали его. Он служил в пехоте... Он знал одно великое желание—иметь ребенка... двух, трех, четырех. Какая мать выйдет из его жены! Он забывал о том, что в реальности представляет семья рабочего. Что мы знали о жизни, о природе, о земле, о лесе! Всю неделю мы проводили на барщине, а в воскресенье отправлялись в душное кино и смотрели лживые картины. Нам показывали, как богатый знатный господин поднял из грязи бедную девушку и возвысил ее до себя, и тому подобные нелепости... Какую жизнь мы вели! Машинную жизнь. Во время битвы его ранили. «Эта рана вернет меня домой»,—подумал он, в лазарете пришел в себя, ощупал и почувствовал повязку на животе. «Ага,—подумал,—я ранен в живот». И вдруг с соседней койки: «Наш евнух приходит в себя. То-то удивится, когда увидит, как его обработали». «Не обо мне ли говорят?»—подумал он и закрыл глаза. Так, вероятно, закрывают глаза, когда перед ними должно появиться что-нибудь неприятное. Ночью он не спал. На другое утро ему все сказали. Он громко заревел, ревел целыми днями, как зарезанный боров...»

IV.

Адские муки Гинкемана, встреча с женой, безнадежность («есть люди, которым не может дать счастья никакое государство, никакое общество, никакая семья, никакой союз») приобретают трагический колорит на фоне того безумия, которое именуется современной жизнью. С своей тоской Гинкеман бродит по улицам города, где семилетние мальчики предлагают господам своих тринадцатилетних сестренок, где не умолкая газетчики выкрикивают новости со всех концов мира, свидетельствующие о том, что безумием больна вся наша планета: «Сенсационное известие! Открытие бара Виктория! Пляска голых! Французское шампанское! Американский миксер!—Вечерний выпуск! Еврейские погромы в Галиции! Пожар синагоги! Тысяча сгоревших!—Экстренный выпуск! Триа Трей! Красавица, кинематографическая дива! Триа Трей в главной роли в уголовной драме: «Убийца-любительница

сорока мужчин». Бьет по нервам! Чума в Финляндии! Матери топят св
детей. Сенсационные подробности! Восстание пролетариата. Наше пра
тельство посылает помощь для поддержания спокойствия и порядка. (
бронированных автомобилей на пути в Финляндию... Новый дух в Герман
Возрождение нравственного чувства! Наше время под знаком Хри
Трогательная фильма: «Страдания Господа нашего Иисуса Христа». Зна
нитый Глин Гланда в роли спасителя! Фильма обошлась в 200 миллио
марок. Сверх программы борьба боксеров Шарпантье и Демпсея. Велич
шее открытие XX века. Чудо техники. Левицит. Неслыханный ядовитый г
Одна эскадрилия аэропланов может стереть с лица земли величайший гор
со всеми людьми и животными! Изобретатель избран почетным членом ак
демий всех стран. Папа возвел его в дворянство. Доллар падает! Новый ба
для бедного люда—полное разрешение социального вопроса!».

Итак без конца. Толлера можно ставить в реалистических тонах, к
ставит Малый театр пьесы Островского. И можно превратить эти пьесы
стилизованные спектакли, в гротеск, в фантастику. Результат будет оди
То, что называется в демократической Европе «цивилизацией» и даже «хр
стианской цивилизацией», что так искусно защищают и обосновывают зн
менитейшие ученые и художники, сознательные или бессознательные агент
буржуазии, то предстает чуткой совести и ясному разуму в виде жутки
кошмарных видений. Там, где действительность превосходит и фарс,
сумасшедший дом, — там драматургу достаточно передать только факт
И неудивительно, что темные силы упрятали в тюрьму писателя, которы
показывает нашей напомаженной культуре ее подлинное уродливое лицо.
оттого, что движущей пружиной толлеровского театра является всегда стра
дающая личность, оттого, что в душе автора звучит неумолкающий кри
жизни и природы, социальное значение этого театра не только не умень
шается, но, напротив, растет. Связанность внутреннего индивидуального
мира и общественного уклада становится ощутительной. Проблемы мораль
ные и психологические у него незаметно превращаются в социальные. Ег
социализм—не миросозерцание, а мироощущение. Он постигнут чувством,
не разумом.

Новая пьеса Толлера в драматическом отношении законченнее «Разру-
шителей машин» и «Человека массы». Уродства буржуазного мира напоми-
нают здесь тени, отбрасываемые фигурами в ночную пору при свете костра,
фантастические, смешные или страшные тени, прыгающие и сплетающиеся в
самые причудливые группы, в неестественных выросших образах, но по-своему
ярче и вернее отражающие то, что творится возле костра.

V.

Рядом с Толлером Карл Штернгейм кажется будничным. В его театре
нет восстаний, массовых движений, исторических катастроф. «Разрушители
машин», «Человек масса», «Гинкеман» происходят в обстановке великих со-
циальных потрясений. Штернгейм выбирает мелкие явления жизни, мещан-

ские интересы, историю семьи, в особенности «карьеру» какого-нибудь очень современного человека, стремящегося подняться хотя бы ступенью выше по социальной лестнице. Здесь нечего делать Мейерхольду, здесь не пустишь по партеру и по сцене настоящих автомобилей и мотоциклеток, здесь не приходится стрелять из настоящих ружей и пулеметов, не выставишь кино-плакатов. Толлер—прекрасен. Это драматург наших дней с их взрывами, нелепостями, с их грубой, деловой красотой. Если нужен материал для самых смелых режиссерских экспериментов, если драматург может стать только автором сценария, оставляя широкий простор фантазии, настроениям и прихоти актеров и режиссеров, если драматический текст не претендует на неприкосновенность, а есть только вдохновенная диспозиция, то все это дано Толлером. Его пьесам не может быть места на традиционной сцене, где, по остроумному выражению одного немецкого критика, слепые играют перед немыми. Его театр требует уничтожения рампы, полного освещения как на сцене, так и в зрительном зале, шума, говора, негодования или ликований среди зрителей и актеров, участвующих в общем действе. Вот почему на Толлера не пойдут обычные посетители первых представлений, его не причешешь, не напомадишь. Он для площади, для лагеря, для красноармейцев, для демонстрантов. И, если нэпманы овладеют последними театральными зданиями, еще пытающимися противиться театральной реакции, то Толлер сойдет со сцены и будет забыт, пока новый порыв революционной бури не поднимет вновь высоко его, или... может быть только память о неоцененном предтече грядущего театра.

Штернгейм не так непривычен, а потому более приемлем для «переходного» времени. И он принадлежит к числу драматургов современного социального театра. Но это писатель будней, мелких интересов и стремлений. Он—талантливый автор фарсов и комедий, похожих на фарсы. Он, как принято теперь выражаться, «созвучен» нашей эпохе, потому что связь между комическими неудачами и жалкими успехами его героев, с одной стороны, и основным злом эпохи, анархией производства—с другой,—всегда ясна, всегда естественно вырисовывается перед взором зрителя.

Немецкая критика (Max Freyhan, «Das Drama der Gegenwart», Berlin 1922) отметила эту особенность творчества Штернгейма: «У Кайзера [1]) это—демонизм человека, овладевающего деньгами и влиянием, у Штернгейма смешные домогательства пигмеев. Механизирующее вторично механизируется. Психическое не умирает трагически, но становится причудливым, скрипучим аппаратом, когда дрожание и тайна искусства искажаются до чванства «Сноба», титаническая борьба на лестнице успехов—до состязания в пьесе «Perleberg» на почве мод в светских курортах, а движущие силы отвлеченной мысли—до бескровных, бессочных дискуссий жильцов господина Теобальда Маске.

[1]) Ему мы предполагаем посвятить специальную статью.

VI.

Штернгейму давно знакомы и словно наскучили однообразные фигуры одни и те же методы, порожденные буржуазным строем жизни. Движущая пружина его театра—движущая пружина всех действий современного среднего человека. Это—состязание, конкуренция, борьба за лучшее место в жизни. Можно было бы уже давно написать учебник испытанных годами приемов завоевания успеха. Одни и те же приемы применяются для победы на выборах, для проникновения в члены правления акционерных компаний, для околпачения и избирателей и акционеров, для перехода из пролетариев в буржуа, а из сословия буржуа в сословие титулованных дворян. Для людей, легко овладевающих этой наукой, жизнь давно стала нехитрой механикой, и избиратели, и акционеры изо-дня в день слушают одни и те же слова, изо-дня в день, обманутые, разочаровываются и затем снова верят и снова обмануты. Жизнь стала фарсом мало содержательным и мало разнообразным. Властители жизни—механизированные люди. Они идут самым верным путем. Они могут с точностью предсказать срок, когда приобретут ту или другую сумму денег и станут во главе тех или других предприятий.

Театр Штернгейма—галлерея «карьер», сборник навыков и приемов, необходимых в борьбе за успех. Сам автор с мефистофельской улыбкой следит за тем, как мухи попадают в сети к паукам, и как пауки сосут кровь неосторожных мух. Он смеется потому, что, несмотря на бесчисленные примеры, неосторожные мухи продолжают запутываться в паутине, и потому, что пауки продолжают с серьезным видом отправлять функции своей природы. Он, кажется, знает, что этому порядку приходит конец, но не беснуется и не кричит на всех площадях и улицах, подобно Толлеру. И он также показывает нам, как мир сошел с ума. Но он по-своему озаряет уродливые гримасы жизни, и в этой мелкой работе обреченность капиталистического общества, неизбежное крушение существующих социальных отношений, выявлены не менее четко, чем в пьесах Толлера.

«Сноб»—наиболее типичная из его пьес. Христиан Маске, сын незнатного и небогатого Теобальда Маске, делает карьеру. Он накануне назначения главным директором акционерного общества для эксплоатации африканских копей. Сам граф Алоизий Пален ухаживает за ним, хотя граф верит, что нужны столетия подбора для создания истинного аристократа, и никогда не забывает пропасти, отделяющей чистокровного дворянина от удачливого проходимца.

Для увенчания карьеры Христиану необходимо стать своим в свете. Он до мельчайших деталей переработал свой внешний вид и образ мыслей, и даже сам граф не раз выражает ему одобрение. Но родители Христиана из народа. Христиан честен, он «никогда не вступает в новую фазу жизни, не уплатив долга за прошлое». Поэтому с Сибиллой, девушкой, которая ему отдавала себя, которая давала ему деньги, вывела его в люди и продолжает его любить, он решил честно расплатиться. В книге у него записано все, что она

на него израсходовала. На всю сумму он начисляет пять процентов. Ей разрешается оставаться любящей, но в некотором отдалении, потому что свет не запрещает иметь оплачиваемую любовницу.

VII.

Так же прост расчет с родителями. Они должны уехать, так как нельзя оставить этого живого напоминания о противоречии между происхождением Христиана и его положением в свете. И здесь расчетная книга все приводит в ясность. Содержание от года до шестнадцати лет по 600 марок в год. Доктора, подарки и пр.—всего с округлением одиннадцать тысяч, с процентами одиннадцать тысяч восемьсот марок. Правда, есть какие-то другие долги, напр., тревоги, которые причиняет каждый вздох ребенка родителям, жертвы, не поддающиеся учету и оплате. Но, говорит Христиан, «сурова борьба за видное место в жизни, людей несметное множество, стоит мне упустить одну пядь, на это место бросается целый легион». Там, где все переведено на точные цифры, ошибки в расчете быть не может. Граф разоряется, Христиан владеет одной пятой всех акций. Он главный директор. Следующая ступень: он женится на дочери графа. И граф вынужден согласиться на этот брак. Старый аристократ временами впадает в отчаяние: «если этот человек может доказать, что нет нужды в предках, чтобы обладать известными неоцененными благами, я падаю в собственных глазах». Неужели придется помириться с мыслью, что исключительный ум может усвоить «все наши прирожденные особенности, упорной работой над самим собой добиться того аристократизма, который медленно вырабатывается рядами предков?»

И, наконец, последняя ступень. Кто постиг механику современной жизни, для того нет никаких препятствий. Ведь и женщина механизм, и разве отрезана всякая возможность использовать этот механизм для осуществления своих целей. Нужно засыпать пропасть, все еще отделяющую Христиана от его молодой жены, воспитанной в аристократических предубеждениях. Вскользь брошенный Христианом намек на случайную встречу его матери с каким-то виконтом превращается в голове его жены в твердую уверенность в аристократическом происхождении Христиана: «мне кажется, что последняя преграда между нами упала, словно лишь теперь я свободно исчезаю в тебе». Любит ли Христиан свою жену? Любит ли он родителей? Девушку, отдавшую ему все? Эти вопросы кажутся какими-то ненужными по отношению к героям Штернгейма. Он любит, конечно, но это чувство играет второстепенную роль в его душе. Да и люди вообще мало занимают его с точки зрения чувств. Он одного за другим превращает в орудие своих целей.

«Сноб»—история буржуа, ставшего аристократом, «Гражданин Шиппель»—история пролетария, превращающегося в буржуа. Подобно тому как граф Пален оберегал аристократический круг от вторжения чуждых элементов и в конце концов был побежден карьеристом, противопоставившим упор-

ную выучку наследственной знатности,—подобно этому буржуа Гикетье, менее графа строгий в своих правилах, не допускал в свое общество незаконнорожденного Шиппеля и в конце концов побежден им. Комизм положения увеличивается благодаря тому, что мужество, проявленное Шиппелем на дуэли и победившее Гикетье, оказывается фикцией, на самом же деле Шиппель трус, и только случайность помешала ему в страхе убежать от дуэли.

«1913 год»—история миллионеров, уже достигших вершины социальной лестницы. Борьба происходит уже на этой вершине. Миллионеры стремятся стать миллиардерами и поглотить друг друга. Христиан Маске уже стар. Он теперь его превосходительство Маске фон-Бухов. Его старшая дочь замужем за графом Отто фон-Бэсков. Между отцом и дочерью завязывается жестокая борьба за судьбу десятков предприятий. Больной старик делает последнее могучее усилие, в последний раз призывает на помощь свою железную волю, свой изобретательский гений, разрушает планы дочери и, торжествуя, умирает. 1913 год—канун империалистической войны. Ее первые раскаты уже чувствуются в пьесе. Бродят смутные идеи в уме Оттилии, младшей дочери Маске и Вильгельма, управляющего его делами. Автор не указывает путей грядущего. Трудно установить его собственную точку зрения. Но он изображает капиталистический мир, зашедший в тупик. Ни одна проблема не может быть разрешена в пределах этого мира. Хаос, дикие уродства, призрачные интересы,—все то, что наполняет жизнь господствующих классов, все, что считается признаком утонченной культуры,—все это должно исчезнуть. Только великие потрясения, которые сметут до основания мир старых отношений, могут расчистить атмосферу, отравленную миазмами, и вывести человечество на новый путь. Этим предчувствием приближающейся грозы наполнена драма «1913 год».

(Продолжение следует).

Из белой литературы.

Метаморфозы.

Заметки.

Вяч. Полонский.

I.

Насколько можно судить по литературе, приходящей из-за рубежа, далеко не весело «на том бергу». Вот берег, на котором, в буквальном смысле слова, сидят люди и ждут «погоды». Но «погода» упорно не хочет притти, а годы уходят... «все лучшие годы». Есть от чего притти в уныние и предаваться мрачным резиньяциям. Впрочем, унылым резиньяциям предаются далеко не все. Никогда не унывающий Петр Струве, например, одушевлен самой горячей верой. Статью свою, напечатанную в I—II книге «Русской Мысли» за этот год и пышно озаглавленную «Материнское Лоно и Героическая Воля», он заканчивает вдохновенным аккордом:

«Верую, что порыв уже загорается и что подвиг грядет».

В чем дело? О каком новом Мальбруке столь высокоторжественно вещает редактор *«Русской* Мысли», на которой стоит марка *«Прага—Берлин»*. Уж не замышляется ли новый поход во имя «высоких идеалов», столь неудачно защищенных некогда бароном Врангелем, бывшим патроном господина Петра Струве? Вопрос этот не лишен некоторого интереса.

Годы сплошных поражений не прошли бесследно для нашего ученого политика. На всех его писаниях последнего времени, вопреки официальному, так сказать, оптимизму, лежит печать самой черной меланхолии. Она скрывается под разными псевдонимами. Наиболее органический из них—некий религиозный уклон, под которым все последовательней начинает созерцать мир бывший социал-демократ, бывший кадет, бывший врангелевский министр, Петр Струве. Религиозная точка зрения для него нынче—альфа и омега познания. Все беды, что обрушились на «Великую Россию», явились, по его высокоученому убеждению, результатом «безрелигиозности» русского радикализма, который был обуян притязанием подчинить все до конца «малому» человеческому разуму. О, как это превратно и гибельно, скорбит ныне Петр Струве. «Иррациональное в человеческом бытии не только стоит рядом

с рациональным, но оно существеннее и основнее рационального, как вс пребывающее Материнское Лоно, всякая почва существеннее и осно преходящих порождений ее».

Скучна картина предуказанных превращений. Можно было нап сказать (и это говорилось не однажды), что после разгрома буржуа: интеллигенты обязательно ударятся в благочестивые размышления о бе лигиозности радикализма, о «Материнском Лоне» с больших букв, и о что иррациональная основа существеннее рациональной. Так было... есть. В смысле предуказанности идеологических фиоритур Петра Стру картина его размышлений нисколько не оригинальна. «Процесс проте нормально»—как сказал бы врач, привыкший ничему не удивляться. Б интеллигенция потеряла надежды на помощь со стороны земных, «рацион ных» сил—и все помыслы обратила на силы «иррациональные». О, если гром грянул из тучи!

Петр Струве в дни своей юности был, как известно, социалистом и д социал-демократом. Это величайший грех его многогрешной жизни. Скол «малых сих» соблазнил он, сея тот самый безрелигиозный радикализм, торый ныне дыбом подымает волосы на его почтенной голове. И, как вся покаявшийся грешник, он горит желанием искупить свое греховное прош. Социализм—вот враг. «Социализм, как абсолютное миросозерцание, д жен быть отвергнут и научно-эмпирически, и религиозно сознанием». Так задача, которая стоит пред Петром Струве.

Но что противопоставляет безрелигиозному сознанию социализма религиозный буржуа? У него разработан целый план действий. Он нас сывает програмку будущих «мироощущения и мировоззрения», котор «должны проникнуться русские образованные люди». Мало этого: прон нувшись новыми «мироощущением и мировоззрением», образованные лі должны этими «мироощущением и мировоззрением» в «упорном душев подвиге» пропитать все народное сознание, ибо «тайна великих обществ ных движений,—так говорит Петр Струве,—заключается—в том, *что*, том, *как* немногие духовно и организационно овладевают массами во и добра или во имя зла».

Отсюда проистекают два вывода.

Во-первых: эта «тайна» великих общественных движений осиянн светом открылась Петру Струве в самое последнее время—иначе как, дучи лицом весьма близким барону Врангелю, он не использовал сего кровенного знания для победы?

И во-вторых: перед господином Струве и теми, кто за ним, стоит зада овладения массами «во имя добра». Во имя какого «добра» это овладение пр изойдет, мы горорить, конечно, не будем.

Каковы же те новые «мировоззрение и мироощущение», которые зам нят безрелигиозный социализм?

Предоставим слово изобретателю.

«Первая из этих идей—идея Почвы, идея первенства пребывающего Материнского Лона над преходящими отдельными порождениями. Эта идея прежде всего внушает сыновнее почтение к тому, что творили, что почитали, чем жили отцы и предки. В этой идее заключена вечная правда консерватизма. Но никакое предание, никакое наследие не может быть свято, как таковое. Оно должно быть свято не как форма, а по содержанию, по какой-то живой сущности. И всякая подлинная Почва, подлинная Вера, подлинное Предание—именно таково. Оно не мертвое, а живое. А потому кощунственные разрушения всего исторического мертвят, они суть разрушения жизни, ведущие к ее оскудению и уничтожению. Русская революция дает этот урок с такой потрясающей силой, которой ничто не может ни опровергнуть, ни ослабить.

«Вторая из этих идей—идея личного подвига. Высшее Добро, Правда, Красота как-то живут в Почве, и Почва ими живет. Без них почва есть грубая Материя. Но личный подвиг есть скверный бунт, если он не подчинен Правде и не укоренен в Добре».

Такова программа Петра Струве, издающая чарующий аромат закоренелой поповской схоластики. Из-под этой фарисейской маски глядит целая система реставрации, апология консерватизма, злая и последовательная реакция—именно потому и злая, потому и последовательная, что обосновывается она «религиозным сознанием», с помощью догматических формул, основанных на иррациональном, великом, подпочвенном и надпочвенном разуме господина Петра Струве.

И надо обратить внимание на великолепие, которым прикрывается эта классовая политика. Струве проповедует личный подвиг—во имя реставрации. «Высшее Добро, Правда, Красота» (все с больших букв) привлекаются в качестве свидетелей истинного благородства стремлений вчерашнего министра барона Врангеля. «Личный подвиг есть скверный бунт,—вещает он,—если он не подчинен Правде и не укреплен в Добре»—не слишком ли много «благородства»? В таких лошадиных дозах оно употребляется только подозрительными людьми.

Все дело в том, что Петр Струве, не может примириться с мыслью о «крушении» старой России. А так как по его многоученой мысли крушение ее произошло оттого, что в сознании русской интеллигенции не было ни «Героической Воли», которая «творчески овладевала Почвой», ее оплодотворяла и возрождала к новой жизни, ни «религиозного сознания», то, пользуясь значительным досугом, любезно предоставленным ему большевиками, Петр Струве хочет ныне привить этой самой интеллигенции и Религиозное Сознание, и Героическую Волю (с больших букв).

Впрочем, он не скрывает от себя, что те, к кому обращает он вдохновенное слово—увы—уже не способны «оплодотворить» кого бы то ни было.

Отсюда понятна его вера в то, что «должны притти новые люди, новые поколения»; эти новые люди и станут оплодотворять народные массы, «сознание которых и воля которых никогда не могут быть активной силой» (курсив мой. *Вяч. П.*) без этого интеллигентского «оплодотворения». К но-

вым поколениям и обращает он свое архи-пастырское слово, вполне ос вательно опасаясь, что они не станут внимать его ласково-увещающим п поведям. Он предостерегает поэтому будущих строителей «великой Росси что «никогда и никакие люди, и никакие поколения не строили государс и не зарождали культуры, будучи «непомнящими родства»... Какой горе ный вопль слышен в этом суровом и, вместе с тем, искательном предуп ждении; сколько опасений быть забытым, извергнутым из памяти будуще Нам думается, что опасения редактора пражско-берлинской «Русск Мысли» небезосновательны, ибо эти «новые поколения»—кто знает?—м жет быть предпочтут остаться «непомнящими родства», чем вести свою неалогию от Петра Струве—бывшего социал-демократа, бывшего либера бывшего контр-революционного министра и так далее, и так далее, и т далее...

II.

Мы забыли упомянуть, что благочестивые размышления П. Струве в званы статьей, помещенной в той же книге «Русской Мысли» и принадлеж щей перу гражданина, «чудесно спасшегося» из советского плена. Э порода святых угодников ныне очень распространена в эмиграции. Имя св означенный гражданин (вероятно, из присущей ему скромности) замен одной лишь буквой С.

Статья посвящена настроениям, размышлениям и мечтаниям и теллигенции, оставшейся по сю сторону русской границы [1]). Публикаци своих наблюдений гражданин С. считает чрезвычайно важной: в будуще видите ли, может наступить весьма ответственный момент, когда разл между зарубежными интеллигентами и интеллигентами, оставшимися в С ветской России, будет вреден *практически*. Так вот, на всякий случай, чтоб этого разлада избежать, гражданин С. сообщает зарубежным собратья о горьком опыте своих друзей, которым «не посчастливилось» еще убрать по ту сторону рубежа.

Тоном весьма докторальным, который должен знаменовать основател ные знания автора, он докладывает по порядку о том, как смотрит «интелл генция» на причины революции, на самое себя, на свое будущее, на будущ России, вообще, и большевиков—в частности, на народ, государство и еще ряд высоких и прекрасных вещей. Получается некий новейший путеводи тель по русской интеллигенции—и в путеводителе этом можно усмотрет кое-какие логические точки, замыкающие длинный путь ее развити Гражданин С., без сомнения, — «интеллигент» весьма квалифициро ванный. Его связи с такими же, как он, «благородно» и «критически-мысля щими» господами вне всяких подозрений. Его информация, следовательн основана на первоисточниках. Что было скрыто от глаз наблюдателя со

---

[1]) „Отношение к революции русской интеллигенции в Советской России и з рубежом“: „Р. Мысль“, книга I—II за 1923 год.

временного идейного перелома—то в статье г. С. рассказано хотя и не подробно, но с ясностью, не допускающей ни сомнений, ни кривотолков. Он не сообщает, правда, ничего неожиданного. Но то, что он сообщает, имеет достоинство лапидарности и ясности.

Здесь необходимо сделать существенное примечание. Г. С. как бы игнорирует раскол, вызванный в интеллигенции октябрьским переворотом; он не замечает ее распада на ряд взаимно враждебных групп; находясь в составе одной лишь группы, г. С. эту частицу целого хочет выдать за целое и, повествуя о настроениях людей своего «круга», повествование это ведет от лица всей «русской интеллигенции». Логическая неправомерность, которая говорит либо о большой злостности г. С., либо о большой его ограниченности.

С представителем какого же именно «круга» русской интеллигенции мы имеем здесь дело?

Круг этот можно охарактеризовать весьма меткими словами, кем-то пущенными в оборот: «внутренняя эмиграция». Ее составили люди, наиболее упорно возненавидевшие Советскую Россию и настойчивее других отказывавшие ей в своем сочувствии. Имея в своих рядах представителей так называемых социалистических направлений — эс-эров, народных социалистов, меньшевиков, а также кадетов и октябристов, не гнушаясь и «бывших» черносотенцев—эта амальгама из остатков разгромленной буржуазии, помещиков и чиновничества образовала ту среду враждебных революции элементов, которая, оставаясь в целом на почве пассивного сопротивления, питала тем не менее активную контр-революцию внутри республики. Перекликаясь с зарубежной эмиграцией, посылая ей воздушные поцелуи, пополняя ее ряды «счастливчиками», подобными г. С., эта среда коротала день за днем, с каждым новым утром ожидая «чудесного» избавления от большевиков и утешая себя сознанием, что, вот-де, она осталась хранительницей «исконных» интеллигентских традиций. Мы имеем перед собой таким образом наиболее стойкую группу контр-революционной интеллигенции, которой до последнего времени не коснулись «кризисы» и «переломы». Вот от имени этой группы, о настроениях и переворотах в ее сознании и повествует г. С. При дальнейшем изложении читатель не должен упускать этого из виду.

* * *

Характерной чертой русской интеллигенции была ее верность традиционным идеологическим устремлениям. Она сплошь была народолюбивой и рабочелюбивой, при чем «любие» постоянно имело социалистическую окраску. Это значит: основным пунктом интеллигентской идеологии было отрицание частной собственности. «Отрицание» это было тем водоразделом, который проходил между мелко-буржуазной социалистической интеллигенцией и интеллигенций капиталистической, буржуазной в подлинном смысле. Революция показала, что водораздел этот нередко был словесным, что мелко-буржуазная интеллигенция прикрывалась социалистическим знаменем,

иной раз искренно заблуждаясь в своих действительных стремлениях, а ин
раз сознательно используя социалистическую фразеологию. В обо
случаях это было своего рода мимикрией, приспособлением буржуазных и
теллигентов к настроениям масс, которыми нельзя было управлять, не пр
знав социализм руководящим принципом. Революция, поставившая в поряд
дня уже не на словах, а на деле, вопрос о ликвидации частной собственност
перестроила интеллигентские ряды так, что в стане защитников частной со
ственности, рядышком с матерыми зубрами капитализма, оказались пр
краснодушные ягнята меньшевизма и народничества. Столь неожиданн
соседство не помешало последним по-прежнему придерживаться старых сво
словесных лозунгов, упорно, однако, борясь в общих рядах с наемника
капитала против рабочей революции. Ныне г. С. флегматично докладыва
нам, что друзья его, отказываясь от увлечений прошлого, стали повторя
зады, которые в свое время проповедывал Петр Струве вместе с покойнь
А. М. Рыкачевым о хозяйственном мужичке и крепком индивидуальном со
ственнике. Вот как, по словам г. С., рассуждают интеллигенты о причина
нашей революции.

«Чаще всего высказывается мнение,—пишет г. С.,—что главнейшими зе
нами болезни были: с одной стороны—крестьянская община, с другой—сл
бость нашей культуры. Рассуждение о вреде общины сводится к тому, чт
последняя помешала развитию класса крестьян собственников (единоли
ных), которые одни могли бы стать прочной опорой государственности,
препятствовала культурной эволюции крестьянства, возможной только пр
личной индивидуальной собственности, ибо одна только она может создат
в человеке начальное представление о какой-либо ценности вообще и сде
лать из него индивида, обладающего твердой волей, характером и инициа
тивой».

Мы знаем, как недавно произошла смена вех в одной части русско
буржуазной интеллигенции: «вперед, к Советской России!». Теперь пере
глазами нашими меняет вехи другая часть той же интеллигенции: назад
к столыпинскому мужичку, к единоличной собственности, к крепкому хозя
ину, воспитателю инициативы, воли и характера.

Из положения руководителя оказавшись в положении «руководимой»
интеллигенция заканчивает пересмотр своего идеологического багажа. Но
так как русского интеллигента,—особенно если он не лишен сентименталь-
ности,—хлебом не корми, только дай ему возможность покаяться (на площади! всенародно!),—то, ясное дело, без покаяния никакой «пересмотр» невозможен. Г. С. весьма пространно рассказывает нам, как друзья его в покаянном усердии стали пересматривать свои навыки, точки зрения, вкусы, привычки—и нашли, что все это никуда не годится, что «неправедно» жили они и по заслугам пожинают ныне плоды грехов своих. В чем же видят они свои преступления?

«Как на идейные из'яны русской интеллигенции, ее общественной мысли, теперь чаще всего указывают на оторванность от жизни, непрактичность,

склонность к анализу, в ущерб синтезу, к отрицанию, утопизму, и на бедность самой мысли, т.-е. на пристрастие к слишком простым, несложным обобщениям и схемам, при отсутствии уважения к каким-либо традициям и к личности человека во всей ее полноте».

Все это вместе взятое и помешало, очевидно, во время усвоить величие принципа «единоличного» хозяйства и обеспечило победу социалистическим направлениям. Яд этих направлений отравил сознание интеллигенции, которая только теперь поняла, в какую бездну увлекла она Россию! Подумать страшно: идеи, которыми жила эта интеллигенция, «сами по себе со времени Белинского таили в себе также немало зерен большевизма». А если Белинский оказался большевиком, что сказать о прочих?!! И, обжегшись на Белинском, интеллигенты стали подозрительно пересматривать все свои идеологические сокровища. Оказалось, что самый источник, которой утолял жажду стольких поколений—и тот отравлен большевизмом! Друзья гражданина С. не оспаривают, разумеется, «благородства, жертвенности и красоты»—многих из старых идеалов, но после тяжких испытаний, обрушившихся за годы революции на «идеалистов»,—им стало казаться, что «слишком уж эти идеалы были жертвенны, слишком мало походили на идеалы Западной Европы и чересчур мало имели разумной практичности».

Вот это самое главное. В прекраснодушном русском интеллигенте, «широком джентльмене», чувствительно декламировавшем стишки о «народе», «который все терпит во имя Христа»,—в результате революции просыпается человек, заявляющий, что никаких жертв приносить он не желает, что он хочет кушать и просит оставить его в покое, чорт возьми!

Мы не говорим, что это плохо. Мы не говорим также, что это хорошо. Мы констатируем лишь самый факт, имеющий огромное значение для характеристики перелома в психологии нашей мелко-буржуазной интеллигенции. Она начинает обретать самое себя как раз со стороны «эгоизма», подчеркивая обособленность своего личного интереса, в противовес интеллигенции пролетарской, в психологии которой перевес получает как раз сознание интереса общего, некоей коллективной, а не индивидуальной заинтересованности. Это «самоопределение» происходит как раз с той самой интеллигенцией, которая всему миру доказывала свою внеклассовость, свою полную независимость от «корыстных» побуждений класса. Но слов оказалось недостаточно, чтобы изменить подлинную природу интеллигенции.

Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь...

Прислушаемся, например, к таким «здравым» рассуждениям.

На Западе,—передает С. размышления интеллигентов, — «здоровый эгоизм, здоровая индивидуальность, организующая частным путем богатства»,—почитались положительными явлениями. А русская интеллигенция наоборот, прославляла героической только личность, способную «к самоотречению во имя довольно условных отвлеченных общественных идеалов».

Выводы ясны: долой самоотречение, да здравствует эгоизм! Это ли «смена вех» с традиционно-интеллигентской точки зрения? И смысл эт смены совершенно ясен: так называемая, «идеалистическая», «героическа интеллигенция перерождается, превращаясь в «американца», в дельца, п обретателя, комми-вояжера. В зарубежной эмиграции этот процесс практ чески почти закончился. В нашей «внутренней» эмиграции он находит с теоретическое обоснование. Нынешние «интеллигенты» с удивлением вс минают, как прежде, до революции «представители интеллигентной молоде стыдились сознаться в том, что их родители имеют какое-либо предприят хотя бы лавку»,—нынче же эта «интеллигентная молодежь» почтет за ве чайшее счастье устроиться за чужим прилавком—о своем предприятии нече и мечтать!

* * *

Таковы метаморфозы русского интеллигента, который решил покаять в своих интеллигентских грехах. Что здесь слышны ноты уязвленного и теллигентского самолюбия—в этом нет никакого сомнения. Превосходн жертвенная интеллигенция, все свои силы, все дарования свои и помыс посвятившая «народу»—эта интеллигенция оказалась извергнутой народ из обихода жизни. Как здесь не обидеться, не вознегодовать и не прит к заключению, что прежде интеллигенция страдала «идеализацией» наро даже «подлаживалась» под него и, наконец, проявляла «излишнее сам уничижение» перед народом, полагая, что «нация — это только рабочие крестьяне».

После сказанного становится ясным радикальный перелом, котор произошел в настроениях «последних могикан» русской интеллигенции. В истекшие пять лет они трогательно стонали о том, что «поруган свят идеал», растоптаны интеллигентские кумиры, оскорблены самые лучш чувства, во имя которых... и так далее, и так далее.

Но, заметив всю бесплодность столь сентиментального занятия, они вз лись за ум и с упоением стали в окно вышвыривать одну старую ценность другой, один высокий идеал за другим. И что ж удивительного, если трад ционный образ прекраснодушного интеллигента, закрепленный Д. Н. Овс нико-Куликовским в его «Истории русской интеллигенции», по свидетельст г. С., вызывает к себе отношение, как к «курьезу». Еще бы! Ведь Овсяни Куликовский исследовал тип, каким он проявил себя в борьбе за интелл гентские идеалы. А эти, нынешние, от своих былых идеалов отказываютс И на месте прежнего «рыцаря» возникает новый лик героя еще не написа ного романа, очень мало похожий на своего предшественника. Вот в как чертах рисует его г. С.

«Возвращаясь к нелегкой попытке конкретно охарактеризовать с временный общественный идеал интеллигентов в Совдепии, надо сказать, ч этот идеал—а именно—желательный русский гражданин будущего, к нечно, лишь примерно—таков: это прежде всего человек с характеро

т.-е. с сильной инициативой и волей, реалист, практик (предприниматель) даже эгоист, но честный, трудолюбивый, сознающий свое достоинство и потому относящийся с уважением и к другим таким же личностям.

Обладание какой-либо индивидуальной собственностью (или по крайней мере возможность приобрести таковую) и свободный труд научат его сознательно ценить и беречь свое и чужое материальное достояние, что в свою очередь создаст и укрепит в нем бережное и почтительное отношение к ценностям культуры вообще.

Он будет человеком дела, человеком с бытовыми и духовными традициями, но не будет косным, так как живой интерес и возможность проявить самостоятельную инициативу будут толкать его вперед и расширять как его материальные, так и духовные потребности и запросы. Практичным он будет и в жизни духовной. Он сохранит в памяти (хотя бы по рассказам) опыт страданий предшествовавшей ему эпохи и будет духовно и умственно целомудрен и прост и зорко внимателен к урокам жизни, которую будет не только любить, но ценить и уважать. Он будет бояться неосторожно играть понятиями и словами, зная, что слово тоже живая и порой грозная сила.

Необходимость служения обществу и государству будет вытекать для него не из страха перед наказанием и не из идолопоклоннического увлечения какими-либо социальными или патриотическими догматами, а из деловой заинтересованности его в благополучии общества и государства и живой любви к людям».

Таков «завтрашний» герой русской буржуазной интеллигенции. На советском языке он носит имя «*спец*». И мы не станем спорить против того, что такие «спецы» будут новому обществу много полезнее любого из прежних меланхолических и сентиментальных декламаторов на возвышенные темы. Но сколько разбитых иллюзий, какое разочарование знаменует собой этот «приобретатель», вытесняющий облик «прекрасной души», которая походя приносила себя в жертву «великому делу народного освобождения».

Надо заметить, впрочем, что новый интеллигент, как он рисуется умиленным взорам г.г. С. и Петра Струве, не намеревается предаться одному лишь умножению материальных благ. Он не может все-таки, начисто отказаться от своего интеллигентского естества. Задачи, выше очерченные, оказывается, являются не первейшими задачами его деятельности. «Главнейшими же задачами будущего считаются задачи воспитательные в самом широком значении этого слова», при чем перевоспитывать интеллигенция будет не только самое себя, в направлении, нами выше указанном, но также перевоспитывать она будет и простой народ. «Средствами же к достижению этой задачи,—скромно сообщает г. С,—являются не только церковь и школа, но и экономическая политика и даже формы государственного строя».

Очистив себя от грехов прошлого, создав идеал будущего гражданина, интеллигентский Репетилов уступает место Манилову. Манилов же, погру-

зившись в качалку мечтаний, начинает грезить о золотых куполах иско ного воспитателя «простого народа».

«Церковь и школа»—мечтает Манилов—и мечтами своими умиля сердце Петра Струве, который, как нам известно, «безрелигиозность» ст вил в большую вину русскому «радикализму». А так как Манилов по вр жденным своим качествам, выражаясь словами православного катехизис «уверен в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и в ожидаемом, как б в настоящем», то его размягченному взору рисуются соблазнительные ка тины. Оказывается, что в «психологии народа (т.-е. русских крестьян и р бочих. *Вяч. П.)* наблюдатель подмечает отрадные явления». Эти отрадн явления заключаются в том, что народ, «сознавая свою техническую и кул турную беспомощность, начинает понимать, что для него нужны насто щие носители культуры, т.-е. интеллигенция (даже помещики), а для по следней нужны иные, не совдепские условия жизни», именно, вероятно, т о которых мечтает наш интеллигентский Манилов: церковь, школа и ко какие—не советские—«формы государственного строя». Вот как далек идут мечты интеллигенции, успевшей покаяться.

* * *

Характеристика «покаяния» будет не полной, если мы не оттеним ещ некоторых политических черт в этом «новом мировоззрении» старой интел лигенции. Беда ее заключалась в том, что, будучи на словах передовой и на родолюбивой,—она оказалась отсталой и враждебной народу. Изменились л эти ее настроения? Вынесла ли она какой-нибудь урок из той тяжко борьбы, которую, вот уже шестой год, на ее глазах ведут рабочие и кре стьяне? Поскольку можно судить по информации г. С.,—она осталась упорн контр-революционной и маниловщина ее—черносотенная маниловщина, ожи дающая возврата вчерашнего дня. Это и придает всем трансформациям е кладбищенский, обреченный характер. Это—метаморфозы мертвецов, кото рым никогда не суждено ожить.

Что г. С. информирует своих зарубежных собратьев о настроениях гу сто черносотенной части советской интеллигенции, несмотря на всю его осторожность, делается ясным из тех героических имен, которые он с любовью и пиэтетом приводит на своих страницах.

Среди имен «дорогих людей», враждебных Советской России,—пишет г. С.—«у мыслящего общества в Совдепии благодарное уважение вызывают преимущественно или люди, сумевшие во время сойти со сцены, или герои и деятели белых движений, в особенности же положившие душу свою за «други своя». Из этих имен достаточно назвать Колчака, Корнилова, Алексеева».

Совершенно достаточно! Даже с избытком,—чтобы определить цену интеллигентских трансформаций. Группа буржуазной интеллигенции, о которой повествует наш автор, волею судеб оставшаяся в Советской России.

по разным причинам не сумевшая или не захотевшая перебраться «на тот берег», счастливо уцелевшая «под огнем»—перетряхивает свой багаж, приспособляется к новым условиям, освобождается от былой своей «интеллигентности», но от своих тенденций «руководить» и «перевоспитывать» народ не отказывается и вместе с тем с мечтами о реставрации распроститься не желает. Да что реставрация! Это мягко сказано: хорошие господа, мечтая о вчерашнем дне, заходят так далеко, что «начало болезненного кризиса русской культуры»—относят к самой эпохе Петра Великого. Петр Великий, видите ли, произвел свой переворот слишком рано,—а отсюда все качества. О возврате к допетровским временам, правда, никто не мечтает,—у г. С. по крайней мере таких свидетельств мы не имеем,—но кивок на семнадцатый век бросает густой свет на психологический размах наших реставраторов. Они не оставили еще надежд на «падение большевиков» и все держатся такого мнения, что «на первых порах... будет необходима диктатура». Сообщив сию замечательную вещь, г. С. меланхолически указывает далее, что о «дальнейших формах государственного строя рассуждают, исходя из желания разрешить трудную проблему сочетания твердой власти с необходимостью приучить народ к самодеятельности и развивать в нем общественное правосознание». Вы понимаете, читатель, что означают эти мечты наших черносотенных Маниловых? Впрочем, услужливый г. С. нисколько не затушевывает их содержания.

«Эту дилемму,—сообщает он,—обычно думают разрешить путем организации довольно консервативной центральной власти и создания широкого, постепенно расширяющегося в своих правах аппарата местных самоуправлений. Что касается развития принципов демократизма, то признается совершенно неизбежной отчасти уже совершившаяся демократизация уклада жизни, широкая же демократизация государственного строя признается желательной далеко не всеми».

Стоит ли дальше говорить о том, что чудесно переродившаяся интеллигенция из всех форм государственного устройства предпочитает монархию, ну, конечно, конституционную («сторонников абсолютной монархии встречать почти не приходится»—с достоинством признается г. С.), ведь мы имеем дело—шутка сказать—с российскими родовитыми интеллигентами! Впрочем, чтобы более точно изобразить господствующие настроения по этому вопросу, процитируем нашего автора:

«Если бы имелся какой-либо яркий и бесспорный по праву претендент на престол, то, пожалуй, идея монархии возобладала бы»—что можем мы прибавить к этому великолепию?

* * *

Такова картина, нарисованная знатоком нашей «внутренней эмиграции».

Окостеневшие остатки когда-то передовой группы, по праву гордившейся своей просвещенностью, либерализмом и социализмом, представляют

ныне жалкое зрелище. Сшибленные революцией со своей социальной опор
и потому ненавидящие революцию, буржуазные интеллигенты вместе с т
слишком крепкими нитями связаны с вчерашним днем; полустыдливо стир
с потрепанных знамен традиционные интеллигентские лозунги, они мечта
о возврате повергнутых властелинов прошлого, церкви и монархии, без к
торых, оказывается, эти «интеллигенты» существовать не могут. Обрат
назад свои помыслы—эти интеллигенты перервали традицию, связывающ
их с прошлым, они потеряли право вести свою генеалогию от тех передов
отрядов, которые боролись с монархией и церковью, нынешними идеала
буржуазных реставраторов. Но, порвав с этими отрядами, они ставят се
в ряды тех, кто в прежнее время служил опорою монархии и церкви. Т
Петр Струве подает руку Маркову II и тем завершает полный круг прев
щений буржуазного интеллигента—от социальной демократии, через ли
ральную фронду—в об'ятия злостной контр-революции.

Литературные отклики.

А. Воронский.

О группе писателей „Кузница".

Общая характеристика.

(Окончание).

Десница и шуйца писателей из «Кузницы» легче всего обнаруживается, если рассмотреть, какое отражение нашла октябрьская революция в их стихах, в поэмах, в повестях и рассказах.

Октябрьская революция впервые расчистила, открыла дорогу пролетарским писателям. Вместе с миллионами трудящихся они заняли командующие высоты, доселе находившиеся под пятой поработителей. Революция дохнула на них своею мощью, опалила своим очистительным огнем, как чудесный крепительный напиток она исцелила от тяжких ран и болезней тех из них, у кого они были, опьянила своим здоровым хмелем, влила бодрость, радость, веру в грядущее, выпрямила, кто готов был согнуться, надорваться, сняла печати с молчащих поневоле уст. Мих. Герасимов признает, что он бродил «в осенних туманах» с «Монной Лизой», пока не расцвел маем в его душе «Октябрь». Александровский уверен, что он «сгнил бы в туманах столичных» и зарос бы скукой, если бы в «шуме фабричном» не услышал «всплески гроз», если бы не настали дни, так похожие на сон. То же и у других. Во дни, когда умолкла старая «большая» литература и большинство художников с гневом, с ужасом, с мелкой, нудной злобой, с закостеневшими глазами от непонимания, кастовой узости, со страхом за свой комфорт, благополучие — отшатнулись от гигантского, невиданного мятежа угнетенных, чтобы затем совсем замолкнуть, онеметь,—писатели подвалов, чердаков, заводов, шахт, деревенских изб впервые заговорили полными голосами. Было время неотразимое в своей красоте и трудности: дни, недели, месяцы, годы битв, страды, неимоверных тягот—год 18-ый, год 19-ый, 20-ый, 21-ый. Были пропеты, воспеты «Двенадцать», славились «скифы»; не мало сложено было хороших, энтузиастических стихов вихрям, метелям, пугачевщине, разиновщине, бунтам, пожарам, стихиям революции, ибо ее видели только в грозах и бурях, в стихиях и в бунтах. Но огненных коней революции, но ее стихии взнуздала твердая, жесткая, упрямая сухая рука в мозолях, в машинном

масле и тогда—как последние отзвуки старых песен старого мира—умолı и певцы стихий, скифства, бунтов и огненных преображений: им тоже о чем было писать, они перестали слышать музыку революции. На писа лей, сгруппировавшихся в «Кузнице», вместе с немногими из коммунист одиночек, легла обязанность не дать заглохнуть живому роднику худо: ственного слова в России, отразить в своих песнях, в прозе заново ск дывавшуюся действительность.

Что же и как было сказано «Кузницей» о русской революции в эт последующие годы?

Нужно иметь в виду, что художественная проза дни расцвета пере: вает только теперь, поэтому и в «Кузнице» в первые годы собрались поэ лирики; прозой «Кузница» обогатилась значительно позже. Поэтому бу вполне естественным, если сначала мы остановимся на поэзии «Кузни и уже затем перейдем к прозаикам.

В полном соответствии со своим плебейским, пролетарским происхож нием, со средой, с воспитанием, с обстановкой, в которых они росли, зр боролись, — наконец, в соответствии с основными движущими силами ской революции поэты «Кузницы» руководящую роль в революции отд пролетариату, его разуму и дисциплине. Здесь прежде всего нужно упс нуть о Мих. Герасимове, так как у него больше, глубже, самостоятель и раньше других разработаны главные лейт-мотивы поэзии «Кузницы».

У Герасимова на первом плане завод. Завод Герасимова не просто революционной борьбы и грядущих преображений—таким он был и до р люции,—не только символ революции, в нем вся революция, больше—в весь мир и он в мире. С октябрем после октября завод в России начи неодолимо, гигантски расти; он заполняет собой глухие, огромные пуст поля, степи, леса. Он—всюду, надо всем, конечно, не реально, а «духов да будет позволено так выразиться. Его дыхание ощущается в самых вежьих, потаенных углах; его свет—как один огромный электрический нарь, зажженный над прежней тьмой Руси, его сила—всюду; она пр зала, пропитала, вошла в людей, в деревни, в воздух, в небо, в поля.

Чугунной поступью
Опираясь на посохи труб,
Властно наступают на поля
Заводы... (Из поэмы „Сила").

Движутся «армии труб в медной пыли». Стоверстный виадук вонз в Жигули, заводы «пожрали плетни, межи и заборы», Россия прож индустрией, идет «сила слитная», она ищет «не китежградного бога», ::ных подвигов рождена она. В поэме «Станок» поэту кажется, что он зе «огромный шар зеленый, обвитый паутин лианами» зажал в станок и н ее шлифовать. Летят стружки исполинскими знаменами, срезается Рив падает Везувий. В «Электропоэме» негасимая сила завода, динамо чу поэтом во всем: в цветах, в себе, в букашке. Так завод Герасимова ка теряет свою реальность, свою телесность, свои размеры, он не только ти

болически разрастается, он становится безграничным, универсальным, Заводом с большой буквы, сущностью, вещью в себе, сокрытый за видимыми явлениями.

Этой «негасимой силы» так много, настолько она все наполняет собой, что поэту иногда трудно превозмочь её. С октябрем она могучим потоком весенней, кипучей, революционной энергии проливается на Россию, на мир.

Может быть
В земную орбиту неистово
Вкружилась невидимая комета
Чистого радия,
Или герцовские волны с Марса?

«Душа», сердце завода—в этой негасимой силе. Это—не сила вихрей, мятежей, мужицкой поволыницы; эта сила заводом, машинами, чудесным умом человеческим, удивительными руками его поймана, обуздана, конденсирована и идет с расчетом и знанием покорять мир; это сила синеблузников, станков, динамо, неисчислимых толп, у которых души слитны, живут в одном рабочем ритме.

Негасимая сила Мих. Герасимова настолько всеоб'емлюща, настолько напоминает собой весь видимый мир, что люди, вещи теряют свою особенность, свои отличительные свойства. Они тонут, растворяются в этой силе, их качества становятся второстепенными, случайными, делаются тенью, знаком, символом. Нумен так сказать покрывает, проглатывает феномен. Отсюда своеобразный заводской пантеизм Герасимова и привкус заводской схоластики, привкус, дающий сильно о себе знать в «негасимой силе» и в «электропоэме» и почти не заметный в «Заводе весеннем».

Железная поступь рабочих масс, их руководящая, организующая, дисциплинирующая роль в революции, их интернационализм, их подневольная, злая доля в прошлом, их борьба в настоящем больше всего отразились в стихах В. Кириллова и Филипченко, а из пролетарских писателей в Петрограде у Садофьева и Самобытника. Преимущественно это—гимны освобожденному революцией труду, гимны величию борьбы пролетариата, призывы к борьбе до окончательной победы; стихи и песни, прославляющие солидарность, слитность, коллективизм рабочих масс; стихи об оковах прошлого, о позорном плене, о натруженных руках, под'емлющих кровавые знамена; о коммунизме, который идет вслед за победой пролетариата и т. д. Таковы стихи Кириллова «Красный Кремль», «Шаги», «Памятник труда», «Железный Мессия», «Мы»,—Ив. Филипченко «Ты», «Пролетариату», «Слова слов»,—Садофьева «России», «У станка»; у Самобытника «Праздник октября». Они написаны большей частью в 1918—1920 г.г. С одной стороны, это было время под'ема, пролетарского энтузиазма, веры в неограниченные силы революции когда дни октября были еще совсем свежи и отблеск октябрьских молний еще был в глазах.

Никогда не забудут потомки
Бурный Смольный с жужжаньем улья
И сжигавшие страх и потемки—

Пламя слов и костер патруля,
Каждый был на голову выше,
Каждый был окрылен и силен,
Верю, даже созвездия слышат
Этих дней полыхающий звон.
Были пьяны, хмельны без водки,
От зари до зари без сна,
Было новое даже в походке,
В каждом взоре огонь и весна... (В. Кириллов).

Помимо этого, в эти годы республике Советов пришлось выдержать д крайности опасную, напряженную борьбу с многочисленным, упорным, бс гатым врагом, перенести голод, холод, разруху. Художник пролетариат должен был стать прежде всего агитатором, трибуном, пропагандисто: рапсодом, одописцем. Дух лозунгов, призывов, плакатов, естественно долже был стать преобладающим в этих стихах и, наоборот, творческая перер: ботка революционной действительности застилалась этой первоочередно задачей. Так оно и было. Этим, главным образом, повидимому, об'ясняетс и пренебрежение к «цветам искусства».

Во имя нашего завтра—сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы... (В. Кириллов)

Не верные и чуждые по существу духу пролетарской революции, по добные настроения становятся понятными в специфической боевой, военно! обстановке, где каждое слово поэта должно обнаруживать в нем бойца, орга низатора победы.

В стихах В. Александровского, в его художественном подходе к ок тябрю, несмотря на то, что он тоже отдал значительную дань агит-плакат ному искусству (см., например, его «Восстание», «Вихри» и пр.), больше че: у остальных пролетарских поэтов находишь Россию, ту, что с Октябре: стала на рубеже двух эпох. Он из них наиболее национален, употребляя этс слово отнюдь не в шовинистическом смысле. В поэме «Две России» противо поставляется старая подневольная Русь новой, рождающейся в муках рево люции. Пьяная, кабацкая, острожная, «посиневшая в петле», «под сталь ными когтями орла», придушенная, рабская, тоскливая, голодная, темная измордованная, она похоронена днями, похожими на сны. Растет Русь другая «без метелей, тоски, кабаков». Растет вопреки тому, что еще до сих по: над деревней это прошлое не потеряло своей власти, что деревня еще сс страхом глядит в глаза завтрашнему дню, не понимает его, — что она жадна, за аршин мануфактуры готова платить душой и телом. Она на рас путьи, эта Русь сермяг, овинов и соломы.

Две жизни в холодной избе,
Два сердца—родных и враждебных;
Одно закалилось в борьбе,
Другое прогнило в молебнах,
Одно и под снегом живет
И бьется так сильно и звонко;
Другое—немое, как лед,
Изглодано злой самогонкой... („Деревня“).

Поэт, однако, уверен, что деревня не уронит «Завоеваний октября». Слишком глубок сдвиг, слишком ненавистно прошлое, слишком много сил потрачено, чтобы скачать это прошлое.

В поэзии С. Обрадовича помимо гимнов труду и пролетариату Октябрь городом наступает на деревню, на избы, на забытые полустанки, на окуровскую провинцию. Его город тоже Город с большой буквы, город заводов, экспрессов, авто, телеграфов.

Заросший город в тупиках веков,
Но в говоре слова иных значений:
Стремительных как полая река,
„Цека", весенне-грозовое „Ленин",
Тревожит крик московских площадей
Твой древний бред и сон сосновый,
Над крепью дедовскою юный день
Векам кладет гранитные основы („Старый город").

У Обрадовича тоже изба с недоверием поглядывает, как «шагает, громыхая трактор», «в раздумьи клонит седину», а «к ней скачет топями и косогорами гранитный на стальном коне» («Изба»).

В поэзии В. Казина почти нет непосредственного отражения октября, но его космизм, его поэзия труда, его «малиновое сердцебиение» от опьяненности солнцем, наконец, его метафоры и уподобления несомненно целиком навеяны октябрем. В «Небесном Заводе» небо—синекаменный завод, грозовые тучи «в толстых блузах закопченных толпы мощных кузнецов», гудки—ветер, молния—огонь и вспышки горна и т. д. Если в природе метафор старой поэзии лежит в конечном счете анимизм (храм, престол божий и т. д.), то здесь определяющим является век машин, электричества, век заводских революций.

Разумеется, писатели «Кузницы» хорошо понимают, что в Октябре сделан только первый шаг на пути к социализму, что путь этот лежит через груду препятствий, через борьбу, лишения, через жертвенность. И у Герасимова, и у Обрадовича, и у других есть ряд стихов о голоде 1921 года, о жертвах и пр.

В общих чертах к сказанному можно свести главные лейт-мотивы поэзии «Кузницы», поскольку речь идет об октябрьской революции. Эти мотивы—пролетарского происхождения; в целом в них отмечены существенные и самые характерные черты нашей революции. Убедиться в этом нетрудно, если сопоставить поэзию «Кузницы» с творчеством поэтов, относившихся к октябрю положительно, но вышедших из другой общественной среды: таково творчество А. Блока (в первый рев. период), Клюева, Есенина и т. д. Для них революция ценна была в своей стихийности, бунтарстве. Диктатуры пролетариата, его разума и дисциплины они не понимали и не принимали. Но самое главное у них нет ни скрупула, ни грана социализма. Социалистический характер русской революции они либо не признавали, либо смотрели на призрак коммунизма со страхом. И вообще социализм им был чужд, так как все они—индивидуалисты. У пролетарских поэтов можно найти не одно и не

два стихотворения, где прославляются метельность, стихийность русской ре волюции. Но это у них не главное; кроме того это у них в меру того, чт было, в действительности на первых порах. Вообще же их поэзия созна тельно противопоставляет революционному хаосу организующее начал пролетарской практики и тактики. Несомненно также, что их поэзия обвеян духом социализма. Но здесь следует сделать несколько критических при мечаний.

Основной недостаток в поэтической работе «Кузницы» заключаетс в абстрактности, в отвлеченном подходе к действительности, находящейс в об'ективе их творчества. Больше всего эта отвлеченность бросается в глаз в отношениях «Кузницы» к октябрю. Верно, что смысл октября—в том, чт заводы наступают на поля, что революция потенциально расчистила им до рогу для завоевания России, что реально она поставила у власти пролета риат, но очень сомнительно превращение завода в Завод с большой буквы возбуждает законные сомнения своеобразный заводской пантеизм, завод ская метафизика и заводская схоластика. Заводы, города стирают одичание тоску полей. Тоже верно. Но социализм предполагает уничтожить противо положность между городом и деревней путем уничтожения *и* города *и* де ревни. Если в деревне господствует «идиотизм» деревенского обихода, то в современном городе люди сдавлены камнями, оглушены грохотом, из'еден чахоткой и другими болезнями, не видят зелени, задыхаются в пыли, в копоти Оттого, что город с'ест деревню, а заводская труба будет коптить на вс Россию, лицо России, конечно, радикально изменится, но до социализма тут еще далеко и противоречие здесь уничтожается, но уничтожается так же, как голодный уничтожает «противоречие» между собой и хлебом.

Заводская метафизика и схоластика поэтов «Кузницы», думается, получилась у них потому, что не сознанием, а художественной интуицией своей они проглядели, что у нас *диктатура пролетариата, основанная на союзе, на сожительстве с трудовым крестьянством;* во всяком случае этот момент они не дооценили. Благодаря этой недооценки, их город и Завод непомерно разросся, заполнив собой Россию и мир, конкретные черты русской революции стушевались и затенились, исказилась перспектива, подлинная Россия отошла куда-то на задний план, стал возможным схематический, отвлеченный подход к революции, сама революция приобрела характер исключительно чугунно-бетонный, гранитный, стальной, железный. Если бы поэты «Кузницы» сумели по-настоящему оценить необходимость, неизбежность, главенствующее значение смычки пролетариата с крестьянством, они иначе, более конкретно, жизненно подошли бы к революции, их поэзия ушла бы от схемы, была бы разносторонней и несравнимо богаче.

В связи с этим схематизмом стоит и агитационный характер их творчества. Слов нет: дни общих лозунгов и призывов должны были подчинить своим нуждам и запросам поэтов «Кузницы»: иначе они не были бы революционерами. Но речь идет о шестилетней работе «Кузницы», и, если в свое время жизненно-необходима была поэзия лозунгов, призывов, воззваний, славословий и гимнов, обличений и восхвалений, то теперь это стало уже ана-

хронизмом. Всякому овощу свое время. Иные времена—иные песни. Кроме того: можно и должно в поэзии быть трибуном, агитатором и в то же время уметь вливать в эти лозунги, призывы и гимны «душу живу», так, чтобы она переливала всеми красками современности. Опускать кристалл поэзии в особый насыщенный раствор бытия с тем, чтобы этот раствор затвердел в умах и в чувствах читателей, не в этом ли задачи и смысл искусства?

В поэзии «Кузницы» очень много посвящено пролетариату. Но авангардом пролетариата в нашей революции была и остается коммунистическая партия. Ее роль, ее борьба, ее жизнь, ее тревоги почти совсем не нашли своего отражения в поэзии «Кузницы» и, как будто, и сейчас таких попыток «Кузница», как группа, не делает. Общие слова о коммуне, о красном Петрограде, о Кронштадте, о Марксе, о Ленине это—одно, а гуща жизни коммунистической партии—это другое. Партия шла от октябрьских побед к Бресту, от Бреста к борьбе с мировым империализмом, под ударами врагов она строила Красную армию, подпольные агитаторы волей истории должны были сделаться командирами, администраторами, хозяйственниками, дипломатами. Нужно было переучиваться, переламывать себя. Складывались типы комиссаров, губисполкомщиков, красных воинов, рядовых членов партии, росло новое поколение. Этого контакта с развитием, с ростом, со сдвигами и переменами внутри партийного организма у поэтов «Кузницы» в их поэтической деятельности не было, либо они очень заметно отставали от этого роста. Коммунистической партии, ее подлинной жизни, ее быта, ее крепкого, железного, живого голоса в песнях «Кузницы» почти не слышно.

То же в значительной мере нужно сказать и о *русском* рабочем. В стихах поэтов «Кузницы» есть рабочий вообще, рабочий всех стран, но нет рабочего, интернационалиста, конечно,—который делал революцию в России, нет *русского* рабочего с его особенностями, с его русским лицом, с его дымом, гарью и копотью. Опять-таки: в первый стадии революции естественно было выявлять черты, общие пролетариату всех стран, но на этом нельзя застывать, это давно уже следует попытаться конкретизировать.

Нет *русского* рабочего, как и вообще слабо ощущается *Россия*, новая революционная Россия. Намечена она контурами, слишком бледными, неясными и мутными. Больше чем у других есть она в стихах Александровского («Две России», «Деревня», «В огне»), есть также недурные в этом смысле стихи у Обрадовича («Изба» «Старый город» и др.), но они не придают характерного облика «Кузнице» в целом. В России—социалистическая, пролетарская революция, но Россия переживает переходный только период; за эти годы Россия, вспаханная революционным плугом, взрастила богатые новые побеги: революция перетряхнула, поставила вверх дном все классы, сословия, группы. В России—новые люди, новый быт. Обо всем этом можно уже писать, так как есть кое-что отстоявшееся. Например, в стихах, в балладах, в поэмах Н. Тихонова о новом поколении, крепком и простом как гвозди, таком непохожем на старую каратаевскую, интеллигентскую Русь, рассказано уже не мало и очень талантливо. Поэты «Кузницы» пока молчат в ущерб себе и революционному делу. Отнюдь этим не имеется в виду пред'-

вить требование, чтобы поэзия «кузнецов» была непременно бытовой. I. Тихонов—не бытовик, а романтик, но его романтизм сумел впитать в себя ювую, нашу, Советскую Русь, отразить революционную эпоху, но по настоящему, по живому, по осязаемому и в целом советски и революционно. У него чень своеобразное и типичное для нашего времени сочетание романтизма реализмом. Он—неореалист.

Заранее следует отвести возможные упреки, что поэзия «Кузницы» критикуется якобы с национальной точки зрения. Русская революция носит интернациональный характер, но совершалась она в масштабе национальном; тсюда—ее особенности, черты, присущие только ей. В этом все дело. Іользуюсь также случаем ответить Семену Родову и другим, указывавшим на странное и непонятное для коммуниста пристрастие «Красной Нови» : интеллигентским и полуинтеллигентским попутчикам революции, даже омнительным. Бывают и такие. Все дело в том, что у попутчиков часто юльше России, больше революции нашей, с *ее особенностями*, чем в красных салмах, гимнах и в мертвых, в ходульных рассказах и в агит-повестях больше ыта, больше жизни и больше художественного чутья. Примеры: Н. Тихонов, І. Орешин, П. Радимов, Незнамов и др., а из прозаиков: В. Иванов, С. Малышин, М. Шагинян, В. Шишков, отчасти Пильняк, Ив. Вольнов; из «стариков» И. Горький, Вересаев, отчасти Толстой и т. д. Опять-таки всякому овощу свое ремя. Мы глубоко убеждены, что теперь как никогда приспело время для глубленного, живого обхвата новой русской, революционной действительности. Зигзаги же и уклоны при наличии Сов. власти выпрямятся, и они не так пасны, как мертвое, стылое отношение к этой действительности, чем порой решат «кузнецы». Об этом обо всем подробно до следующей статьи.

Под прямым влиянием схематизма и отвлеченности не смогли и не умели поэты «Кузницы» на свое место поставить Нэп.

Новая экономическая политика ими не признается. В отношении к Нэпу асть поэтов «Кузницы» переживает своеобразную болезнь детской левизны, весьма схожей с левизной тов. коммунистов, не признававших тактической необходимости Брестского мира. У Мих. Герасимова и Александровкого Нэп — не тактический ход в интересах революции, вполне оправдываемый и целесообразный, а измена русской революции, реакционная сдача озиций, способная привести только к худшему.

По невиданному плану
Я срезал целые горы,
Белые Монбланы
Стекли от упорного супорта.
Но дрогнули нервы
В тысяча девятьсот двадцать первом,
Хрустнул резец,
Осколком по пузу
Саданул кожу,
Окровявя неба синюю блузу... („Станок").

Раз резец хряснул в 1921 г., вполне естественным является другое тверждение поэта, что с Нэпом «опять проросло пошлое клеймо, выжжен-

ное прошлым на лбах, а рабочих поэтов распяли на фонарных столбах»! Такими же настроениями проникнуты «Будни» Александровского,—отголоски их—в повести Н. Ляшко «Стремена».

Очень своевременно нападать и клеймить «карминные губы совбурских дам», нового чумазого; понятен пессимизм Александровского, когда в условиях небывалого голода, словно глумясь над ним, радушно блистают витрины и рестораны, но в целом отношение к Нэпу здесь неправильное. Уже указано было выше, что поэты «Кузницы» не дооценили значения смычки пролетариата и крестьянства в русской революции. Ни в чем это так ясно не видно у них, как в их отношении к Нэпу. Карминные губы, рестораны и бары—это ведь только видимость, налет, — суть новой политики в смычке с крестьянином, в том, что крестьянину нужно было дать продавать хлеб. Отсюда рестораны, бары, витрины. Этой сути Герасимовы не видят, завороженные заводской метафизикой и схематизмом. Им остается только проклинать Нэп, видеть в нем только шаг назад и вспоминать, как раньше они срезали белые Монбланы.

Т.т. Герасимов и Александровский готовы героически срезать «белые Монбланы», резцами станка, в котором земля кажется небольшим шаром, и они очень легко просматривают, пропускают мимо глаз повседневную жизнь, обыденную работу с отступлениями, с уступками, с борьбой—когда нужно—тихой сапой, когда нужно—атакой в лоб. Это—от заводской метафизики. Великому трагическому маневренному искусству, которому учит всю жизнь свою пролетариат В. И. Ленин, они учиться не хотят. Они своеобразные максималисты, не умеющие диалектически разрешать противоречия между идеалом и действительностью.

Общий вывод, который следует сделать из всего сказанного, таков:

На творчестве поэтов «Кузницы» несомненно почил и запечатлелся дух их пролетарского происхождения. Их песни, стихи, поэмы, их отношение к революции во многом, но не во всем *качественно* отличаются от поэтики крестьянских, интеллигентских писателей, признавших революцию. Но основное ядро поэтов «Кузницы» состоит из культурных рабочих-одиночек. Их развитие происходило где-то близко, но все же в стороне *от больших* дорог партийной коммунистической среды, и это наложило заметные следы на их поэтическую работу. Они не прошли школы великого маневренного искусства нашей партии, плохо знакомы с ее жизнью; их социализм не облечен в плоть и кровь, он односторонен и схематичен; в нем есть привкус не то своеобразного синдикализма, не то того пролеткультизма, который полагает, что истинная социалистическая культура строится только пролеткультом, забывая о партии пролетариата, о профсоюзах, о советах. С виду эта точка зрения кажется очень рабочей, на деле же, об'ективно, иногда является отголоском каких-то посторонних идеологических наслоений. Чтобы найти полный контакт с партией, с революционной Россией, с моментом, нужно приблизить себя к жизненной гуще, окунуться в нее, отказаться от схематизации, от заводской схоластики, от перепевов лозунгов 1918 и 1919 годов.

Есть ли для этого данные у «Кузницы»?

Такие поэтические данные у них безусловно имеются. Поэты «Кузницы» прошли основательно и довольно успешно школу формальной эстетики. Они не являются Иванами, не помнящими родства. Они знают цену слова, умеют обращаться с ним, понимают, из какого материала получается и формируется художник. Они работают над собой. У них есть техника, навык. У них есть, о чем писать. Можно и должно с удовлетворением отметить, что русский рабочий так быстро выдвинул своих представителей в области искусства, которых уже не могут замалчивать наиболее добросовестные мэтры старого искусства. «Большой» поэзии, своих Блоков, «Кузница» еще не дала, во многом она хромает и отстает от поэзии таких «попутчиков» как Н. Тихонов. Дух Белого, Блока, Маяковского витает над поэтической формой «Кузницы»; не во всем, не всегда, не всему удачны их подражания, тем не менее их формальные достижения имеют под собой прочную основу.

Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на отдельной характеристике поэтов «Кузницы», но кое-что об этом сказать следует.

Наибольшей содержательностью, самостоятельностью в разработке тем, индивидуальностью выделяется Мих. Герасимов. Но он и один из спорных из них благодаря своей заводской метафизике. Влияние его работы на поэзию «Кузницы», думается, довольно веско. «Песня о железе», «Вот осень», «Березке», «Разбухли пашни», «Зарево заводов», «Деревня древняя», «Хотелось искренней и проще», «Зарницами целуют» — во всем этом ясно чувствуется одаренность, свежесть, своя индивидуальность, сочетание интимности и подлинной лирики с крепостью настроения, с мужественностью революционера. Кроме того стих тут ясен и прост, чего нет в его «Негасимой силе». Ее порой с трудом перевариваешь. Заводская схоластика, выраженная в ней с наибольшей силой, повидимому, потребовала и особого языка. Стих изломан, мертв, образы вычурны, постоянные длинноты, ясность и четкость отсутствуют. «Электропоэма» тоже длинновата, но не столь манерна, есть хорошие страницы.

Василий Казин—самый молодой из поэтов «Кузницы» и наиболее одаренный. Формой стиха он владеет вполне, но со стороны содержания в его поэзии нет еще определенности. Его пантеизм и антропоморфизм—прямой результат посторонних, наносных течений, очень заметна антропософия А. Белого; за всем тем он не спеша, с оглядкой, но верно идет по намеченному поэтическому пути. Пишет он мало, скупо, но каждое его стихотворение тщательно отделано, как будто долго и основательно вылежалось. У него большой вкус к слову и он его хорошо слышит. Усвоена природа образа. В его «Рабочем Мае», являющемся прекрасным подарком Новой России и бодрым предзнаменованием, играют и переливаются лучи солнца, действительно ощущается «малиновое сердцебиение», много света, неба, ласки, восторженной преклоненности пред вселенной, правда пассивной и пантеистической, чувствуется острота *своего* восприятия мира и какая-то прозрачность осенних дней после первых теплых дождей. Поэт, отмеченный большим и радостным талантом.

Поэтическая судьба В. Александровского представляется зыбкой и загадочной. Она заставляет выражать опасения. Он—настоящий поэт. Как уже отмечалось, у него больше, чем у других поэтов «Кузницы», конкретного живого подхода к России и к Революции. В этом его сильная сторона. Для России и революции у него есть большая настроенность с надрывом, с тоской, с терзанием и болью; есть чуткость и хорошая память к темным векам прошлого, но какое-то черное крыло незримо веет над ним, временами обессиливая автора. Это не ослабляет того, что его «Две России», «Деревня», «В огне» увеличивают число хороших поэтических вещей, напечатанных «Кузницей».

Поэзия В. Кириллова не выдержана и отстает в формальных достижениях. Встречаются прозаизмы, затасканные рифмы, заштампованные слова и образы. В. Кириллов—сродни Никитину и тянет поэзию к нему. В его стихах преобладают либо гимны пролетариату, либо описания пролетарских невзгод в прошлом: бедности, непосильного труда, заброшенности и т. д. Недостатки в манере, в стиле скрашиваются задушевностью и скрытой где-то на дне печалью.

«Эра славы» Филипченко и некоторые его последующие вещи утомляют: нельзя славословия делать такими длинными; и книга, и стихи выиграли бы от сжатости. Оценку, данную В. Брюсовым в предисловии к его книге, нужно признать правильной: «это—стихи поэта... там картина природы, взятая не банально; здесь—энергичный стих, никем не подсказанный; тут—мысль, нашедшая свое полное воплощение в слове... всего этого достаточно, чтобы оправдать первую книгу поэта».

С. Обрадович несколько однообразен, однотонен и спокоен в своих стихах. Они у него—гладки и проработаны. Наиболее поэт самостоятелен в стихах о провинциальной России; на этом ему и следовало бы сосредоточиться. В стихах о чугунно-бетонном городе—большое созвучие с Мих. Герасимовым.

Заметно крепнет и растет Полетаев. У него есть грустная нежность; он—большой мечтатель и фантаст, фантаст углов и подвалов, есть сожаление о днях неиспользованных, проведенных в сырости без солнца; он—лирик по преимуществу.

Из стихов Г. Санникова отметим «Поэму о собаке», поэму «Корабли». Склонность его к сюжетности следует выявить полнее, а сюжет лучше додумывать и четче конструировать.

Хороши стихи А. Макарова, очень звонки и молоды, но поэтическое лицо его еще не оформилось, оно зыбится.

Из всего этого видно, что художественные данные для дальнейшего роста у поэтов «Кузницы» имеются. Нужно преодолеть силу инерции и понять в применении к поэзии сегодняшнего дня верное указание тов. Троцкого: «время суммарных лозунгов насчет призрака коммунизма, который бродит по Европе, уже прошло—и еще не наступило». В противном случае придут другие и уже приходят в лице Тихоновых, либо таких вещей, как «Петр Смородин» Безымянского.

Время приспело; время для жатвы созревших колосьев современности.

Верим, что поэты «Кузницы» свою дорогу найдут к этим нивам, и свое слово скажут, применяясь к духу наших дней.

* * *

Художественная проза «Кузница» в первые годы революции занимала в ней третьестепенное место. Вместе с литературным оживлением в прозе за последние годы, в «Кузницу» вошло несколько прозаиков, так что помимо Н. Ляшко и Волкова в настоящий момент в «Кузнице» работают: А. Неверов, Павел Низовой, Федор Гладков, Новиков-Прибой, Чижевский, Павел Яровой. Усиление группы прозаиков в «Кузнице» является делом очень полезным не только потому, что в области прозы сильней всего сказывается оживление, но и потому, что введением прозаиков в свой круг «Кузница», усиливая свою позицию, получает возможность путем общения, совместной работы расширить свой кругозор, обогатить себя, приблизиться больше к живой жизни: прозаики всегда прикреплены к земле более прочными узами, нежели поэты.

Проза «Кузницы» заметно отличается в своем содержании, в настроении, в характере, в направлении от ее поэзии. За исключением некоторых рассказов Н. Ляшко в ней почти нет города, тем более—фабрики, завода. Темы—почти сплошь о деревне, о крестьянстве, о кулаках и т. д. Городу, фабрике в прозе пока удивительно не везет. Новый рабочий быт, новая фабрика, недавняя борьба и напряжение рабочих масс остаются почти совершенно неосвещенными.

Большинство прозаиков «Кузницы» в своем прошлом связаны больше с деревней, чем с городом. Их сочувствие—на стороне городской культуры, на стороне революционного, коммунистического города, но у них и в помине нет заводского пантеизма и метафизики. Потом: это именно сочувствие, тяга, а не переплавленное в упорной работе над собой стройное мировоззрение. И в этом, как и в общем деревенском уклоне, прозаики «Кузницы» очень близки к многим так называемым попутчикам революции. Иногда их трудно, невозможно отличить.

Прозаики «Кузницы» в письме—реалисты, некоторые с наклонностью к натурализму. Их реализм—продолжение реализма писателей из сборников «Знания». В целом он несколько отличается от других реалистических современных направлений. Одно из них, наиболее распространенное, является попыткой сочетания реализма с романтикой и символизмом и может быть названо неореализмом. В неореализме символу придается реалистический характер, а реализм становится символичным и романтичным. Таким путем стараются достигнуть органического сочетания бытового с романтикой и художественной «философией» писателя. Этим произведению придается большая значительность и широта и преодолевается ограниченность бытовых приемов. Так старый спор между реализмом и романтизмом разрешается жизнью путем со-

четания элементов того и другого. Такими неореалистами являются писатели из группы «серапионовых братьев», если отбросить излишества, манерность, литературщину, чего у них тоже не мало,—сюда нужно отнести Е. Замятина, Б. Пильняка, из поэтов Н. Тихонова. Среди прозаиков «Кузницы» в духе неореализма написаны некоторые вещи Н. Ляшко («Солнце, плечи и груз», «Стремена»), отчасти «Язычники» П. Низового. В основном же своем русле реализм прозаиков «Кузницы»—бытовой, натуралистический. В общем это—здоровый, хороший уклон, но чрезмерное увлечение бытом грозит тем, что произведения будут страдать некоторыми существенными недостатками. В бытовых произведениях сила художественного обобщения всегда ограничена местом, обстановкой, всем данным материалом. Быт ограничивает также художественную выдумку и экспериментаторство художника. Эти недостатки на-лицо и у прозаиков «Кузницы». Если современная художественная проза вообще не может похвалиться широкой обобщающей работой в духе старой классической литературы, то тем более это нужно сказать про большинство прозаических вещей «Кузницы». В них быт очень цепко обычно держит писателя, не позволяя ему сплошь и рядом выйти из рамок локального, текущего материала, препятствуя перейти с созданию типов, картин в большом масштабе, имеющих общечеловеческое значение, запечатлевающих наиболее крупные жизненные явления нашей эпохи. Правда, в увлечении бытом, натурализмом есть одно положительное качество, особенно ценное в наше время: бытовое направление в литературе позволяет собрать богатый и нужный художественный материал с тем, чтобы в последующем им могли воспользоваться для более обширной обобщающей работы. Это, так сказать, период первоначального накопления в литературе. Собственно говоря, такой период наша проза последних лет и переживает. Советский быт в одних областях жизни только складывается, в других—уже сложился, в третьих—находится еще в состоянии бесформенности. К изучению, к художественной переработке его только что приступают писатели, здесь еще все впереди. По силе сказанного современная тяга к быту в литературе совершенно закономерна и целесообразна. Нужно только не переходить известных границ, нужно все-таки уже теперь делать попытки более широкой и глубокой синтетической работы.

В этой области препятствием нередко является также подмена художественных заданий, тенденциозным, узко-агитационным отношением к материалу, чем некоторые из прозаиков «Кузницы» довольно грешны. Художество, разумеется, агитирует и пропагандирует (сознательно или бессознательно, в данном случае все равно), но агитирует и пропагандирует оно лишь в конечном счете; основная цель художественного слова в полном соответствии с его задачами как *мышления*, при помощи образов, заключается в синтезе, в творческом перевоплощении, в выявлении типических черт, характеров и т. д. Сплошь и рядом художник занимает неверную, неправильную позицию по отношению к своему герою, например, Тургенев к Базарову, но его работа остается высоко-ценной (Базаров у Тургенева). Это нужно твердо помнить нашей молодой художественной прозе.

Вопрос о бытовом, натуралистическом направлении связан с другим, с вопросом о художественной выдумке и об экспериментальном методе в искусстве. Быт и здесь ограничивает писателя. И мы видим, что в большинстве своем современные *бытовые* произведения «Кузницы», страдают отсутствием сюжетности, фабулы; нет в них и широких экспериментальных художественных опытов. Следует поэтому всемерно рекомендовать возвращение к лучшим традициям нашей классической литературы. Наши классики умели в совершенстве пользоваться этими методами воздействия на читателя; оттого так «вечны», так прекрасны, так широки и глубоки их произведения, так захватывают, покоряют и подчиняют они себе читателя, так прочно и сильно действуют они на его эмоции. Нужно также вспомнить и принять во внимание настроение нового интеллигентного нашего читателя. Успех Уэллса, даже таких вещей как «Атлантида» Пьера Бенуа, довольно недвусмысленно говорит, что читатель тянется к сюжетным фабульным произведениям, и не так уж экстравагантна мысль, приписываемая тов. Бухарину, о необходимости создания советских Пинкертонов.

В силу бытового уклона в прозе «Кузницы» несравненно больше России наших дней, чем в ее поэзии. Россия—низовая, преимущественно деревенская. Деревня—на грани двух эпох, между старым укладом и новым. Старым поколением оно еще в прошлом, опутано жадностью, тьмой, суеверием; новое поколение тянется к тому, что принесла с собой революция. Молодая деревня больше всего интересует прозаиков «Кузницы». Меньше, уже освещен середняцкий элемент деревни, самый, конечно, значительный и важный, может быть, потому, что он самый зыбкий в общественных своих настроениях, самый нетвердый, качающийся. В этом направлении прозаикам «Кузницы», однако, следует иметь в виду такие вещи, как «Перегной» Сейфуллиной, «Цветные ветры», «Дите», «Бронепоезд» Всев. Иванова; в них художественная правда о деревне нашла вполне удачное сочетание с пониманием основных задач революции, как и с воздействием на чувства читателя в нужном для революции смысле.

Расслоение деревни за и против революции по линии кулачества и деревенской бедноты намечены в прозе «Кузницы» довольно ясно.

Новая деревня, не комсомольская и красноармейская, а мешечная, американизированная, знающая себе цену, прожженная годами войны и революции, предприимчивая, оборотистая, смекалистая, побывавшая всюду, с кругозором и понятиями, о которых в прошлом не было и понятия,—этой деревни в прозе «Кузницы» нет, как нет ее и вообще сейчас у русских прозаиков. Обратить сюда свои взоры—одна из очередных задач современного художества.

Идеализации крестьянского быта, тем более собственнических инстинктов в крестьянине у прозаиков «Кузницы» нет; в этом их вещи вполне удовлетворяют идеологическим требованиям революции. Нет также и интеллигентски-барской точки зрения на русского крестьянина как на существо, лишенное образа и подобия истинно-человеческого. Прозаики «Кузницы»,

являясь сами выходцами из деревни, ее детьми, хорошо понимают, что две души у крестьянина: одна—заборная, собственническая; другая—трудовая, на протяжении истории находившаяся в кабале и путах.

Коммунистической партии у прозаиков «Кузницы» не везет. Мы совсем не видим пока попыток подойти к освещению внутреннего быта партии, ее романтики, что есть, например, у А. Аросева, Ю. Либединского. Большинство прозаиков «Кузницы», как и поэты, стоит в стороне от партийной жизни. Она им мало известна в своем укладе.

Переходя к отдельным писателям, мы остановимся сначала на старейших, не по возрасту, а по работе в «Кузнице»: на Н. Ляшко и Мих. Волкове.

Н. Ляшко—самый одаренный из них, наиболее интересный, не по сюжету и занимательности рассказа, а по углубленной сосредоточенности настроения и по работе над собой. Два основных тона в его рассказах, отрывках, повестях, то-и-дело сливающихся в один общий: чувство — вера, что человек по природе своей есть добро и одиночество, поющего о железе. Человек есть добр, вопреки всем видимым жестокостям и злу вокруг него,— только нужно уметь подойти к нему, вызвать истинно-человеческое. Достигается это не словами, не внешним давлением, а примером наглядным, выявлением братства, содружества на деле; только таким путем лучше, чище делается жизнь, соскабливается толстый слой злобы, отчуждения, создается новое, распутываются тенета, рассеивается окружающая морока. Вещи Н. Ляшко—бытовые в большинстве своем, но все они окрашены, согреты, освещены этим настроением. В рассказе «Голубиное дыхание», посвященном памяти В. Г. Короленко, автор пишет о старике Алексее, рабочем кирпичного завода. Старик—незаметен, косноязычен, не поймешь, что он хочет сказать: того, этого, вить и т. д. Не выделяется и умом. Но он умеет как-то по своему мирить кирпичников, утихомирить их. Его влияние на них огромно. Председатель совета, тоскующий по покою и главенству человек, не понимает, в чем сила старика: «плетет какую-то ерунду, а эти дураки стоят и слушают». На это заводская конторщица возражает:

«— Вы несправедливы к старику. Дело не в его словах, а в том, что он делает ими. Для вас главное в том, кто влияет. Вас злит, что он влияет не по книжкам, не по программе. А если он и без них чувствует главное...

«— Опять это главное! В чем оно?

«— А в том, чтобы мы были дружны... вот как он... он артельный. Ничего не требует, не просит... он инстинктом ощущает главное и люди чувствуют это...».

Вот это главное, артельное, лежащее в основе человека, обнаруживающееся в примере, в поступках, где человек себе ничего не требует, ищет, любит и ценит писатель, как начало, преобразующее жизнь. В «Радуге» отряд красноармейцев отправляется в горы выручать другой отряд, не подававший о себе вести. Продвигаются с опаской, кругом дико; кажется, отовсюду стережет опасность, смерть. Предприятие, однако, кончается благополучно; вожатый вместо того, чтобы ввести отряд в селение горцев, отправляется туда один: он верит в доброту, в артельность тех, кто живет трудами рук своих.

Он не ошибся; возможное кровавое столкновение предотвращено. Костю, молодого коммуниста, измаяли в городе «споры, дрязги и недоверие». Перед от'ездом в деревню он спрашивает любимого оратора, «почему он называет врагами тех, кто верит иначе, чем он». И когда тот с досадой предлагает ему разобраться самому, Костя «забормотал»: «ты твердишь, что в наших несчастиях виноват кто-то, а нас обеляешь: вы—пролетарии, вы—се,—вы—то. Лебезишь перед нами... Я вижу: виноваты во всем мы, мы не смогли стать примером». Костя едет в деревню. Она возбуждает в нем ненависть своей жадностью, своим тупым отношением к революции. В лесу, около убитого лося, в споре из-за него с охотниками, в Косте просыпается звериное, он готов защищать добычу пулей, ножем, чем и как попало; но у одного из охотников в самый напряженный момент, когда вот-вот прольется человеческая кровь, пробуждается «главное» и Косте уже кажется: «во сне он убил лося, во сне размахивал ножем, бранился, лгал, пьяный от крови, жадный и родной тем, кого осуждал, презирал и ненавидел» («Лось»). Об этом «главном» в рассказе «Марево» и в других вещах автора. Люди чуют это «главное» своим инстинктом, ибо у них у всех оно имеется. Чаще всего оно только под спудом. Окружающая среда, голод, тяжести, темнота жизни покрывают, обволакивают это «главное» морокой злобы, гадких, злых чувств и дел. В частности, очень этому благоприятствует деревенский уклад, где все пробуждает в человеке жестокое, собственническое, жадное,—но только *делом* человек освобождает «главное» из-под спуда.

Оттого Н. Ляшко, подобно конторщице в «Голубином дыхании», не очень верит в тех, «кто влияет по книжкам и программам», как не верит и программы, и ищет виновников неустройств и невзгод в том, что «мы не смогли стать примером». В повести «Стремена», художник Пимен в споре со старым партийным работником, коммунистом Вениамином, по поводу судеб революции и Нэпа, говорит: «вам тяжело. В Европе наши товарищи чешутся, чего-то ждут и мы в тисках. Я не обвиняю. Я за вас, я—ваш, без вас меня нет. Но глядите, глядите: жир выполз из щелей, афиши баюкают нас, улица выпятила живот и миллиардом соринок катится на заложенный нами фундамент, загаживает его, хочет занести, похоронить. Учитесь! Ведь, вы помогли ей! Вашими руками они воровали грузовики, подводы. Вашими руками загребали на рынке самое нужное нам». А раньше он говорит о том, как вынужденно рабочие обкрадывали самих себя на заводах, при нагрузках.

В художественной концепции писателя несомненно есть отголоски короленковско-народнических настроений. С точки зрения марксистского коммунизма здесь далеко не все на месте. Человек не добр и не зол, тем и другим он становится в зависимости от тех или иных общественных условий. Условия эти создают не только мороку, которая обволакивает «главное», но создают и самое «нутро», самое «главное». Роль «программы» и тех, кто «влияет по книжкам» взвешена и проверена жизнью. Наоборот, божьи Алексеи при всех их превосходных свойствах, в лучшем случае действовали на очень узкий круг лиц, выходов не находили, а в худшем погрязали в непротивленстве. Отвратное отношение автора к «про-

граммам» только подтверждает высказанные выше мысли и положения о «Кузнице».

Тем не менее Н. Ляшко чувствует границу, переступив которую, он мог бы впасть в сентиментально-добродетельное проповедничество толстовского толка. Этой грани он не переходит; он—социалист и знает, что со старым миром, построенным на мировой гигантской мороке людей, следует вести нещадную борьбу, хотя в этой борьбе он отдает свои симпатии не программам, не сознанию, а доброму, артельному инстинкту и примеру. Достаточно вспомнить его «Рассказ о кандалах». От народничества Н. Ляшко отделяет в конце концов глубоко реалистическое отношение к деревне. Поэтому его рассказы вселяют в конечном итоге бодрую веру в человека и в его дело на земле. Благодаря широкой человечности, любви к «главному» в человеке писатель так внимательно, так чутко всматривается в людей, из'еденных страданием, выброшенных на задворки жизни («Ворова мать», «Весть о кончине», «На дороге») и с такой сосредоточенностью старается ввести читателя в их внутренний мир.

«Одиночеству, поющему о железе», посвящена другая серия рассказов: «Крепнущие крылья», «Солнце, плечи и груз», некоторые отрывки из повести «С отарой». Это одиночество особое. Оно не имеет ничего общего с солипсистскими интеллигентскими тупиками. Оно оттого, что писатель давно, раньше братьев своих по труду понял, что со всесветной морокой надлежит вести борьбу во имя «главного», во имя артельности и содружества трудящихся. Им, непонявшим еще, кажется, что он «фордыбачит, ломается», они не понимают, почему вместо «Маруси» лучше петь «Песню ткача», они поднимают его на смех и уходят в кабак, а автору кажется, что он «потерял их»; «долго буду вспоминать этот случай, краснеть. Не смог подойти, показался чужим, вновь вызвал на смех».

Но крылья крепнут; одиночество поющего о железе проходит; с автором уже наборщик Юрка, Крапивин и другие. Вот уже вливается потоком на улицу новая, вся в брожении, спаянная «капля к капле, мыслей к мысли» трудовая масса. Еще хлещут ее нагайками, бьют прикладами, разгоняют, но «мы придем в другой раз, в третий, пока приклады не разобьются о наши груди»...

Н. Ляшко не многословен, сжат, чаще всего спокоен и тих, немного однообразен. Слово взвешено, обдумано. Фраза—коротка; нет длинных периодов. Основной стиль ровный, мы сказали бы короленковский, немного модернизированный; но есть вещи, написанные в другой манере: «Солнце, плечи и груз», «Стремена». В них манера—нервная, взвинченная, напряженная, узорная, еще более отрывистая, до лаконичности, с недомолвками, с вычурными сравнениями. Думается, что это—не родной язык писателя; пользуясь им, он теряет свою ясность, не только формально, но и по существу: как будто замутилось тихое, спокойное озеро и покрылось зыбью. От этого и поэтический облик писателя начинает двоиться. Может быть, следует также обратить внимание на фабулу, хотя переломить себя в этом направлении автору довольно трудно: он не принадлежит к разряду писателей, работаю-

щих над сюжетом. В виде последнего замечания еще раз напомним, что отношение автора к программам—пункт, весьма уязвимый в его художественной работе.

Мих. Волков вполне владеет техникой слова. Оно у него—выпуклое, ясное, выразительное. Из пролетарских писателей «Кузницы» его форма письма больше всех приближается к сказу, очень простому, без нарочитости. Сказ у него не литературный, а разговорный. Его небольшие вещи обвеяны теплым, добродушным, здоровым юмором. Ничего общего этот юмор не имеет с юмором и сатирой Тэффи и Аверченко, господствовавшим в последние пред революцией годы. Там—полная безыдейность, внешняя, без сердцевины занимательность, издевка над кем и над чем угодно, какое-то в сущности зубоскальство и гаерство; здесь—писатель отчетливо знает, для чего и во имя чего он пишет. У него всегда на первом плане поучение, борьба с суеверием, с религиозными и бытовыми пережитками, стремление вытравить старое. Отжившее сталкивается с новым: отсюда и «Заковыка», отсюда и юмор и смех Волкова. Смех Волкова касается деревенских дедов, убогих старушек, бедняков, брошенных, одиноких, забитых людей религии, реже прежних господ жизни. Русь—отсталая, подслеповатая, атавистическая, темная, вымирающая под свежим и грозным дыханием революции. Но даже такая Русь как-то по своему, на свой лад и образец переживает великий сдвиг, тянется, смутно ощущает новую правду жизни и по своему защищает ее. Вполне естественно—это вытекает из народности Мих. Волкова,—что в его смехе нет ни горечи Гоголя, ни свиста щедринского бича, он у него мягок, шутлив.

Размах работы писателя совсем не соответствует тем внешним данным, коими он наделен. Этот размах—узок; меж тем Волков безусловно обладает способностью для того, чтобы перейти к более крупным вещам. Почему бы ему не попытаться это сделать? Его книжка рассказов и сказок «Заковыка»—книжка не плохая, обточенная, но темы не значительны, не глубоки. Когда ее читаешь, все время думаешь о несоответствии выдержанной, хорошей формы с содержанием. Тем паче, что у писателя есть драгоценное для нашего времени качество—смех. К нашей сложности советской действительности только такие писатели, левого фланга, и смогут подойти с острым оружием смеха. Только они смогут найти необходимую меру, остановиться, где следует,—не впасть в безыдейное зубоскальство для нэпманов и вместе с этим осветить темные, пошлые углы нашего быта. Безусловно—такой писатель рискует встретиться с непониманием, с требованием: играй победу,—с обскурантизмом, но эти препятствия отнюдь не являются непреодолимыми: все это—накипь, недомыслие, случайное и временное. Пора глубже врезаться в действительность и шире обхватывать ее.

Александр Неверов—из пролетарских писателей—сейчас пишет больше всех. Он—деревенский бытовик с большим уклоном к натурализму. Он не очень глубок, но широк по захвату и разнообразию тем. С деревней он сроднился. Его вещи обнаруживают знание не только общего деревенского уклада, но и мелочей. Персонажи его рассказов жизненны и художественно

убедительны, хотя сплошь и рядом не ярки. Внешней изобразительности у Неверова нет, но он хорошо, не претенциозно и литературно умеет рассказывать с наблюдательностью и знанием людей и вещей. Сжатостью А. Неверов не обладает, качество, о котором ему не мешало бы иногда вспоминать, особенно в некоторых больших вещах (например, в повести «Гуси-Лебеди»). Несмотря на склонность к натурализму и даже к протоколизму, он—писатель с настроением, довольно прочным, постоянным и продуманным. Быт у Неверова служит как бы иллюстрацией, наглядным примером и подтверждением его художественного воззрения, но писатель дает этот быт в таком сгущенном виде, в таких больших дозах и порциях, что читатель иногда может проглядеть печку, от которой «танцует» автор. В художественном мировоззрении Неверова много от Чехова и Горького, без чеховской унылости и бездейственной грусти и без горьковской романтики. Лицо жизни в вещах Неверова в сущности жестокое, безжалостное, грубое, часто пошлое, искаженное, немое к человеческому страданию и горю; счастье и радости—непрочны. В рассказе «Лицо жизни», которым открывается его последний сборник рассказов, безногий инвалид-крестьянин рассказывает про свое житье-бытье по возвращении в родную деревню. У него семья: жена, брат, дети. Но он—не работник и потому его еле терпят. Жена стала любовницей брата. В доме—содом, ругань, дело доходит чуть не до поножовщины. В конце концов его бросают: брат выделяется, жена забирает детей и тоже уходит. Он один. «Кто-то тихий и кроткий проходит по уставшей за день земле, наливает сердце печалью. Нас—трое: я и два костыля, положенных на бревно». Это настроение характерно для всего сборника. Революция смяла, выбросила за борт прежних хозяев жизни в деревне: купцов, зажиточных мужиков, духовенство. Пришла голь, захватила дома, из огромных полных амбаров вывезла хлеб, развеяла с ветром все надежды, уничтожила уют, богачество; от всего былого счастья оставила дым и пепел. Об этом у Неверова—целая серия рассказов: «Новый дом», «Каряга», «Десять тысяч» и т. д. У Неверова нет ни намека любви к этим старым «карягам», «даже совсем наоборот», однако он умеет подойти к этим «карягам» так, что мы чувствуем в них живых людей, а не манекенов на предмет специального посрамления. Это подход настоящего художника. Поэтому Неверов довольно удачно совмещает в себе художника и пропагандиста, правда без аффектации, даже без особых боевых нот гнева и ненависти, а скорее с привкусом сожаления и грусти над бренностью человеческой судьбы и непрочностью его счастья.

Революции в деревне, тому новому, что вливается эпохой в крестьянские умы и сердца, Неверов посвятил тоже не один рассказ, в общем недурных.

Лучшей вещью писателя является новая повесть «Ташкент, город хлебный», напечатанная в №№ 1-м и 2-м альманаха «Вехи октября». Если отбросить кое-какие длинноты и повторения, которых, впрочем, в этой повести читатель почти не замечает, кое-какие крайности натурализма и протоколизма, нужно признать: повесть хороша. Прежде всего талантлива и нужна

тема. В центре повести Неверов поставил крестьянских голодающих детей. О детях у нас рассказано очень мало. Огромный, темный, во многих отношениях страшный вопрос, которого тяжко касаться, остается и в прозе, и в публицистике почти совсем не освещенным. В частности почти ничего нет о быте, об основах жизни, о складывающейся психике детей в послеоктябрьскую пору. Почин Неверова—а он, повидимому, продолжает работать в этом направлении—имеет неоспоримую ценность.

Повесть Неверова—целая Одиссея двух детей, отправившихся без «ничего» из Поволжья в далекий, неведомый, сказочный Ташкент за хлебом для семьи. Один из ребят умер в дороге, другой после нечеловеческих мытарств добрался до Ташкента и привез хлеб на родину. Очень верно схвачены преждевременная, хозяйская, деревенская, совсем недетская деловитость, удивительная выносливость, жуткая серьезность малышей, упорство, хитрость, заброшенность, сирость. Станции, где по неделям люди ждут как последнего выхода места в вагоне; тиф, дизентерия,—вся эта вымороченная, оголтелая, ужасная обстановка, где люди доведены до полной потери человеческих чувств, до последней черты одичания и отчаяния, до жестокости и равнодушия истуканов — переданы автором как живой, подлинный слепок жизни. Трагическое путешествие детей в этих условиях производит особо жуткое впечатление. Есть страницы во второй части повести, с рассказом, как Мишка один бредет в степях к далекой степной станции. Да, они не даром, не в холостую написаны. Живуч человек и велики жертвы русского народа! Вот она новая Америка, дорога незабываемых, самых фантастических приключений, путь новых Следопытов, Зверобоев и Эль-Солей, перед чем меркнут самые поразительные фантазмы любого романиста! И не так ли шествует Новая Русь Советов в поисках «града взыскующего», нового Ташкента, страны, где не будет страды людской и прежде всего детской?.. Что ждет этих новых искателей «приключений», этих Мишек и Ванек? Какая Россия растет в них и через них? Во всяком случае не та, что в 11—12 лет странствовала и путешествовала в уютных кабинетах, а в 35 лет благообразно лысела, заплывала жиром и прочно усаживалась на крепкой вые народной, забыв о «бреднях» молодости! Эти, новые следопыты, не забудут! Говорят: страдание очищает. Да. Его в республике советов накопилось ровно столько, чтобы очистить мир от порабощения человека человеком...

... Повесть Павла Низового «Язычники» обнаруживает в авторе художника, чуткого к природе, к тайнам жизни ее. Это—не повесть, это, скорее поэма,—радостный, ликующий гимн праматери-земле, как плодоносной, бесконечной, бессмертной и неустанной производительнице всего сущего. Природа воспринимается писателем прежде всего, как производительница, как роженица. В этом—ее первооснова. Человек—сын природы; он до краев наполнен, как и природа, могучим инстинктом пола; поэтому он един с природой, связан с ней этим инстинктом, сливается с природой в одно. «Слышу один, мучительно, страстно кричащий, предвкушающий близкое торжество свое, могучий голос пола. Он везде: во мне, вне меня, в каждом окру-

жающем предмете. Я наполняю им всю вселенную, приобщаю весь мир к великой тайне»... Голос пола, действительно, звучит у Низового на каждой странице, но по существу в нем нет противоестественного, хриплого, слюнявого, паточно-противного. Гораздо больше сомнений возбуждают рассуждения автора о религии. Он—пропагандист новой религии; в ней «божеством была бы великая творческая сущность, а святынею—человеческое тело; в кондаках и тропарях славословились Мгновения Любви и зачатия, и канонами утверждалась страсть». С понятием религии связано довольно определенное анимистическое об'яснение мира. Одно из двух: либо новая религия пола П. Низового ничего общего не имеет с анимистическим истолкованием мира—и тогда всуе употреблять это слово; либо это на самом деле религия, т.-е. в основе анимизм—и тогда надлежит указать, что совсем не пристало писателю «Кузницы», т.-е. пролетарскому писателю, путаться с анимизмом и путать других. Предположение, что речь у Низового идет действительно о религиозной системе, более истинно. Когда Ганс, товарищ автора, по поводу этих мыслей о новой религии, задает вопрос в том смысле, что это очень напоминает восстановление в правах древнего Ярила, ответ следует буквально такой: может быть. Рассуждения автора об едином мировом разуме еще более укрепляют в предположении, что автор отнюдь не чужд анимизму. В гипотезе о мировом разуме пролетариат столь же мало нуждается, как и в культе Ярила. Художник тов. Низовой не плохой, но философ совсем посредственный и путаный.

Гамсун оказал на Низового сильнейшее влияние и пантеизм автора тоже от Гамсуна и, конечно, от космистов «Кузницы». Куда заводит этот космизм, с виду очень революционный, пример тому «философия» т. Низового. А нам этот космизм выдают за мироощущение нового человека, который зреет якобы в рабочем. Нет уж, пожалуйста: от ворот поворот!

Крестьянские вещи П. Низового, например, «Черноземье» не лишены интереса, но слабее «Язычников» в художественном отношении. В общем дарование П. Низового располагающее, приветливое, согревающее. Он—художник.

У Федора Гладкова тоже есть свое художественное миросозерцание, проводимое им в его произведениях строго и последовательно. Согласно этому воззрению, в жизни над людьми господствует некая стихия; в ней человек как в пучине; помимо воли и сознания она захватывает его, несет как малую соринку, вертит, втягивает, всасывает в свой водоворот без остатка. Человеческая жизнь, его судьба всецело во власти этой стихии, то злой и темной, то благодетельной, несущей к новым берегам, ко всеобщему счастью людей; но и в том и в другом случае судьба человека трагична, ибо она всегда вне его воли и вне воздействия со стороны разума. В рассказе «Пучина», деревенского старика Фому эта стихия, олицетворенная в грозном, в таинственном, в непонятном, в незнаемом и ужасном лике войны, вырывает любимого сына, рушит всю кое-как налаженную жизнь, лишает эту жизнь смысла и цели, бросает старика из стороны в сторону, де-

лает его неприкаянным в родном селе и в хате и, наконец, сминает окончательно. Под таким же углом зрения писатель подошел и к гражданской войне — главная тема его последних вещей. В повести «Огненный конь», в наиболее значительном произведении автора, Гмыря, руководитель и вдохновитель донской большевистской повольницы, предревком, уверен, что «над ним и внутри него была великая стихийная сила. Она повелевала им и вела по предначертанному пути. Что это была за сила, каковы ее законы—он не мог постигнуть». Он знал одно: так надо и действовал весь во власти этой силы. Начальник бронепоезда «Глоба» несколько точней определяет характер этой силы: «Вольный степной бродяга умер в рабе полей, чтобы воскреснуть трудовой вольницей, владычицей земли... Будем итти по путям, положенным силой, стоящей выше нас... через кровь... через смерть... через трагедию... к бессмертию»... В повести два друга, бывший солдат Гмыря и бывший офицер Андрей, бросаются этой силой, «стоящей выше нас», выше дружбы, выше всего, в два противоположных лагеря. Они—уже смертельные враги; в стонах, в судорогах, со сжатыми зубами борются они друг с другом, пока один из них, Андрей, не уничтожается Гмырей. Ни один не отступает ни на шаг, так как оба они—одержимые, оба творят волю стихии, взвихрившей от края до края степи когда-то тихого Дона. Так же стихийно неподчинена разуму, вневольна и любовь Гмыри и Марины. Они сходятся и расходятся под влиянием каких-то центробежных и центростремительных сил, им не подчиненных. В рассказе «Волки» учитель, взявший в руки винтовку, против наседающих на станицу корниловцев, повторяет слова Гмыри о стихийной силе и прибавляет: «тяжело и страшно сознавать свое ничтожество, свою обреченность». Корниловец-офицер пред тем как расстрелять мальчика-красногвардейца, подходит к нему: «В одном мимолетном мгновении почувствовали, что оба обречены, что оба летят в бездну, что они—ничтожные пылинки в стихийных волнах великого урагана».

От этого восприятия гражданской войны и революции как урагана, в котором люди—ничтожные, обреченные пылинки, бессильные воздействовать на стихию силой своего разума,—надрыв писателя, особая острая повышенность его настроения, драматизм и трагизм в его вещах. И если при чтении «Огненного коня», в борьбе Гмыри и Андрея, вспоминается Тарас Бульба, то в рассуждениях о пучине, о том, что надо омыться в крови, чтобы достигнуть бессмертия, что люди—во власти стихии, есть много родственного с Андреевым.

В этих мыслях автора, может быть, много правды, если их рассматривать как отражение революционной борьбы на Дону, в среде казачества, т.-е. в средней зажиточной, состоятельной крестьянской среде; здесь, в самом деле, революция должна сплошь и рядом переживаться как стихийный ураган, в котором люди—песчинки. Эти мысли правдоподобны также и для тех, у кого воля, сознание и чувства расколоты настолько, что они только отчасти, путем насилия над собой, могут участвовать в революционной борьбе, как учитель в «Волках». Но как особая, обобщающая художественная концепция, как своеобразная философия гражданской войны, в которой

пролетариат играл руководящую роль,—а именно такое распространительное толкование склонен своим наблюдениям придать писатель—мысли тов. Гладкова не могут остаться без возражения. Тактическое и стратегическое маневрирование пролетариата во время революции,—удивительная прозорливость, острота и верность прогнозов пролетарских вождей и т. д. и т. д.,— только потому и возможны были, что пролетариат руководил революционной стихией, что он, как класс, сознавал себя творцом, стратегом, тактиком; как *класс* он не мог поэтому чувствовать, что стихия революции ему не подчинена, находится вне воздействия его разума. Меж тем Гмыря, Глоба у Гладкова хотя и отдаются с радостью «урагану», но их ни на минуту не покидает ощущение, что их разум, их воля ни в какой мере не управляют стихией. Они творят волю революции, творят с радостью, но творят чужую волю. От этого их сознание, что они—пылинки.

Повести и рассказы Ф. Гладкова проникнуты бытом Дона, степей, казацких станиц. Бытовой материал у писателя—богатый, и он им распоряжается довольно свободно. Характеры действующих лиц интересны, своеобразны. Они не списаны, не повторены автором с хороших книжек хороших писателей. Наши замечания о Гоголе и Л. Андрееве не имеют в виду отнять у автора права на то, чтобы его повести, рассказы и драмы рассматривались как самостоятельные, выношенные и выпестованные в усердной работе вещи. Почему-то лучше всего все-таки у него запоминаются второстепенные персонажи: мальчик-красногвардеец, Гмыря, его помощник Гмыря. Марина так же удачна. Чтению вещей Гладкова очень мешает великое множество областных слов, фраз и т. д. Иногда с трудом разбираешь, о чем идет речь; приходится догадываться по контексту. В пользовании областным языком следует автору сохранять бо́льшую осторожность.

Новиков-Прибой занимает в «Кузнице» место Станюковича. Он—моряк, пишет о моряках и о море. Отражения наших революционных дней писатель пока не дает. Его море несмотря «на грозы и бури», вопреки всем тяжестям, опасностям и превратностям морского быта, очень родное, любимое, близкое душе писателя. Оно зовет, оно притягивает и подчиняет себе. Во всех напастях, в бедствиях и невзгодах на земле тот, кто знает море и сжился с ним, тянется к нему как к великой, исцеляющей, умиротворяющей стихии, ищет в нем отрады, забвения, покоя, выхода из земных, береговых тупиков. Вот откуда таинственный зов моря, его притягательная сила. Море роднит, собирает этих вольных детей морского труда, океанов, бескрайней шири и просторов; всех этих веселых и беспокойных бродяг, обвеянных ветром и просоленых оно соединяет в одну братскую семью вольных морских чаек. «Несмотря на то, что мы здесь собраны со всех концов земного шара и являемся представителями различных рас, между нами нет той розни, какая замечается среди людей на суше... Наша жизнь проходит в одинаковых для всех условиях. Религия? Ее ни у кого нет... Национальные особенности? Все это давно вытравлено морем, рассеяно по разным странам. Здесь все космополиты, граждане всей нашей планеты... мировые бродяги... Какой только разговор ни услышишь, когда все матросы соберутся в кубрик!

Пользуясь такой свободой слова, какой нигде нет, ругают правительства, высмеивают религиозные обряды всех стран»... Они так часто спорят, доходя до ругани, но это им не мешает дружить с собой («Море зовет»). Эти строки, как и вообще рассказы Новикова-Прибоя, делают понятным, почему моряки выступают в нынешних революциях такой сплоченной вольницей, почему легче всех поднимаются и так отважно, упорно умеют умирать и побеждать. Как-то очень просто, по-трудовому обыденно писатель рассказывает о трагических случаях в море, об опасностях, о тяжком труде и превратностях морской жизни: он сам—человек труда и воспринимает все это как нечто примелькавшееся, привычное, а не как турист или искатель приключений.

Последняя повесть Новикова-Прибоя «Подводники», напечатанная в № 1 альманаха «Вехи октября», читается с повышенным интересом. В ней описаны плавания русской подводной лодки и ее злоключения во время войны 1914 года. Тема сама по себе выигрышная, экзотическая. Приключения, рассказанные автором, куда драматичней иных, описанных Жюль-Верном и Майн-Ридом. И все это—истинная правда, без тени фантастики, таинственности, уголовщины и разных надуманных трюков. Повесть усиленно можно также рекомендовать нашему юному поколению: помимо всего прочего, она очень сюжетна.

У автора—гладкий литературный язык. В этом отношении писатель больше других схож с писателями из «Знания».

Книжка Павла Ярового «Степные маяки» свидетельствует, что писатель усиленно работает над собой. Яровой очень близок к Неверову, настолько, что рассказ «Карята» написан ими совместно и вошел в сборники и того и другого. Основная тема его рассказов—новая деревня, неверными шагами, с трудом, с остановками, медленно и неповоротливо, но все-таки ступающая навстречу революции. Наиболее удачным у Ярового являются рассказы. «Взгляд прощающий» и «Степные маяки», особенно первый. В нем деревенский богатей из страха пред красными войсками (он помогал белым) скрывается из родного села, нанимается в батраки в другой деревне к богатею, испытывает все тяготы подневольной жизни и начинает прозревать. «Случай из жизни» переплетен исконной, неуемной мужицкой тягой к земле.

Вредит П. Яровому то, что он не ушел еще от предвзятости и тенденциозности. Не в том дело, что такой деревни, о которой пишет Яровой, нет. Она есть, но чтобы убедить в ней читателя нужно придать какие-то жизненные живые черты изображаемым лицам, может быть крупные, может быть мелкие. Только тогда писатель будет убеждать читателя. Поменьше трафаретности, поменьше шпаргалок и побольше самостоятельного отношения к жизни.

Драма Чижевского «Его величество Трифон» написана хорошим народным языком, без этих «таё», «тае», «анадысь» и т. д. Она—агитационна—и в этом ее значение. Повидимому, вполне пригодна для постановок.

* * *

Литературно-критический обзор наиболее интересных прозаических произведений «Кузницы», думается, подтверждает те общие замечания о характере, о направлении, о содержании и об основных формальных приемах прозаиков «Кузницы». Остается прибавить: идеологически прозаики «Кузницы» менее сплочены, чем поэты. Если в поэзии «Кузницы» чувствуется студийность, школа, длительная совместная послеоктябрьская работа, известная общность напевов и мотивов, то у прозаиков «Кузницы» этого нет. У них большой разнобой, несогласованность, несговоренность. Идеологически они более расплывчаты. Их художественная работа ничем существенным не отличается в идеологическом смысле от работы революционных попутчиков (В. Иванов, Сейфуллина, Малышкин, К. Федин и т. д.). Слабее они и с точки зрения формальных достижений своих товарищей-поэтов. Их сильная сторона в том, что у них больше «русского духа», больше живого подхода к жизни, они крепче прикованы к земле и лучше ее знают.

* * *

В заключение группа писателей «Кузница» пока не занимает руководящего, центрального места в нашей молодой советской литературе, обслуживающей нужды революции. Впрочем, такого места не занимает никто и никакая группа, тем более далека она от создания такого коммунистического искусства, которое бы сумело соединить высокую художественую правду в полном, в органическом сочетании с выдержанной коммунистической идеологией. При всех заслугах «Кузницы» пред революцией нельзя пройти мимо того, что в ее космизме, в ее заводской метафизике и схоластике, в некоторых художественных настроениях прозаиков слишком сильно звучат напевы, настроения, хорошо знакомые нам по произведениям старого дореволюционного искусства. Под видом самоновейшей пролетарской идеологии иногда пропагандируются и распространяются такие взгляды, с которыми нельзя согласиться. Среди писателей и поэтов «Кузницы» преобладают тоже попутчики. Но это попутчики особые: попутчики-пролетарии, выходцы беднейшего крестьянства. Их путь все время был путь революции. Как таковые они качественно отличаются от литературных попутчиков революции из интеллигентской среды. «Кузница» уже сумела дать много ценного, поучительного, своеобразного. В настоящий момент «Кузнице» и в первую очередь ее поэтам следует с особым вниманием приглядеться к новым условиям, в которых они работают, приникнуть к живым родникам жизни, к Советской России, перестать перепевать старое, поближе подойти к быту коммунистической партии, пропитаться сильней ее идеологией и перейти к попыткам более углубленного отражения ее в своих произведениях. Мы вправе пред'явить к пролетарским писателям эти более решительные требования, ибо речь идет не о выходцах из интеллигенции, а о писателях-пролетариях; говорящих от имени класса, за которыми все будущее. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Настоящая статья находилась уже в верстке, когда вышел № 1 литературно-критического журнала «На посту» под редакцией Волина, Лелевича и Родова. Подробное об'яснение с этими товарищами мы будем иметь в следующей книжке «Красной Нови». Но уже сейчас считаем настоятельно необходимым отмежеваться от их «методов» критики. Во-первых, не всякий, кто твердит на всех перекрестках, что он стоит «На посту», действительно на таковом находится. Известный герой из одной басни Крылова, самоотверженно и героически раскроивший череп своему другу пустыннику, наверное тоже воображал, что он стоит на славном посту. Во-вторых, наша критика «Кузницы» в некоторых положениях совпадает со статьей тов. Ингулова, но мы далеки от заушательной манеры, усвоенной редакцией «На посту», ибо твердо памятуем, что искусство неизбежно отстает от жизни. Нужно время, нужна большая внутренняя переработка, чтобы жизненный текущий материал смог быть художником реализован в его вещах. «Кузнице» следует поставить новые задачи перед собой. Мы и пред'являем их в качестве запроса. В-третьих, ни в коем случае не хотим своей статьей способствовать тем групповым домогательствам, которые бьют в глаза из каждой строки критических упражнений товарищей Родовых и Лелевичей.

Книга о Толстом [1]).

П. Сапожников.

Л. И. Аксельрод—автор широко известных «Философских очерков»,—являющаяся, на-ряду с Плехановым, продолжателем принципов ортодоксального марксизма в области философии и не раз направлявшая острый и точный резец своего диалектически-материалистического мышления на сокрушение всяких течений и поползновений идеализма,—обогатила нашу марксистскую литературу новой книжкой: сборником статей о творчестве и вероучении *Л. Н. Толстого.*

Я говорю—«новой» книжкой, ибо хотя статьи, вошедшие в этот сборник, и были напечатаны ранее в различных российских и заграничных журналах, однако, несмотря на свою внутреннюю необходимую связь и единство, они до сих пор не появлялись в печати собранными вместе.

Теперь этот недостаток пополнен, и наш читатель получил как нельзя более своевременный и ценный подарок в виде данной книжки т. Ортодокс. Своевременный и ценный: во-первых, потому, что в наши дни оживления на почве нэпа идеалистических, мистических и религиозных течений и предрассудков эта книжка, раскрывающая и разбивающая учение яснополянского моралиста, является в борьбе против них этих течений, могучим, разящим на-смерть, идейным орудием; во-вторых, потому, что данная работа Л. И. Аксельрод представляет превосходный образец применения нашего марксистского метода на конкретном материале и, следовательно, должна служить одним из необходимейших пособий марксистского самообразования и образования, и, наконец,—эта книжка является вообще большим вкладом в сокровищницу критической мировой литературы о *Толстом.*

Вот почему нужно горячо приветствовать появление этой книжки и высказать большую благодарность не только автору, но и издательству, которое ее выпустило.

Глубокий художник-реалист, «великий писатель земли русской», а вместе с тем—проповедник мрачного, мертвящего все живое и творческое аске-

---

[1]) Л. Аксельрод-Ортодокс, Л. Н. Толстой. Сборник статей. Московское отделение Государственного Издательства, 1922 г.

тизма; создатель таких шедевров мировой литературы, как «Детство и отрочество», «Война и мир», «Анна Каренина» и в то же время—яснополянский моралист, автор «Исповеди», «В чем моя вера» и «Круга чтения»; человек, языком древних пророков обличавший церковь и государство в царской России и—несмотря на это—глашатай заповедей новой религии «непротивления», рабства, покорности и терпения. Таковы внутренние (и внешние) противоречивые стороны творчества и воззрений *Л. Н. Толстого.*

Да и что может быть более противоречиво, чем такой редкий в истории случай, как совпадение в одном лице великого художника жизни и проповедника мастицизма и аскетизма. «Художник-аскет,—говорит Л. И. Аксельрод, — это contradictio in adjecto, вопиющее внутреннее противоречие» (стр. 31), ибо «художник есть чувственное существо, более чувственное, чем обыкновенный смертный... истинной стихией, настоящим источником его творчества является мир чувственный, телесный... Нет, художник не создан для потусторонних платоновских сфер! Художник — хочет он этого или нет — материалист до мозга костей, и чем плотнее населен его внутренний мир творческими... силами и возможностями, ...тем крепче и осязательнее его связь с внешней материальной действительностью», подчеркивает автор (стр. 32).

Но, если тем не менее рядом с художественно-реалистическими дерзаниями поэта, черпающими широко и неустанно из источника многогранной *жизни*, поселяются и живут догмы средневековой мистическо-аскетической морали, топящей все яркое, активное и творческое в темной бездне холодного самосозерцания, в состоянии смертного безразличия ко всему чувственному и конкретному, то в творчестве данного писателя неизбежен разлад, вражда между этими двумя силами творчества и души. И чем сильнее обе стороны, тем более жестокие, опустошительные и непримиримые формы принимает борьба между ними. Яркий образец такого колоссального противоречия и борьбы двух сил души художника мы видим в творчестве *Толстого.* Эта борьба шаг за шагом отдает Толстого во власть аскетической морали, являя тем яркий пример того, как мертвый не только хватает, но и душит живого!

Работа т. Аксельрод блестяще вскрывает и об'ясняет творчество *Толстого,* его разлад и его корни.

Но прежде чем остановиться на содержании этой книжки, нам следует подчеркнуть, что в об'яснении и анализе вероучения и творчества *Толстого* автор дает нам мастерской образец того, как нужно применять диалектический метод к изучению идеологии и особенностей творчества того или иного мыслителя, художника, писателя.

Т. Ортодокс совершенно чужда того «упрощенства», которое наблюдается у некоторых из наших марксистских писателей, когда они, например, хотят об'яснить мировоззрение и достижения философов, поэтов и т. д. *исключительно и прежде всего* социальными, классовыми антагонизмами и экономическими причинами. Как тонкий диалектик-марксист т. Аксель-

род только в конечном счете об'ясняет творчество и вероучение разбираемого ей писателя социальными свойствами эпохи.

Толстой — подлинный художник. «Природа одарила его, — говорит т. Аксельрод,—с безумной щедростью» (стр. 136): «колоссальная сила наблюдательности, гениальная способность на основании спокойного», как бы «естественно-научного анализа выделять крупные и наиболее характерные черты в изображаемых людях и вещах, настойчивое стремление воссоздать реальную действительность со всеми ее тонкими оттенками сделали из *Толстого* прирожденного реалиста, показавшего своей могучей работой всему цивилизованному человечеству мощь и значение реализма в области художественного творчества».

Анализируя сущность художественного творчества Л. И. Аксельрод говорит: «истинное творчество состоит не в произвольном фантастическом сочетании предметов, а в умении видеть их действительную *причинную* связь... Только одна эта особенность отличает творца от сочинителя посредственности. Видеть же действительность»,—подчеркивает автор,—«значит смотреть на нее глазами диалектика» (стр. 13)... значит уметь, согласно основе научного познания... «*сводить все качественное к количественным отношениям*»... «в корне уничтожая абсолютные контрасты, рассматривая каждый предмет не изолированно, а в ряду единого целого» (стр. 13), не *в абсолютно вечных* формах, а в отношениях, в развитии и изменении.

Толстой в своих прекрасных художественных произведениях осуществил эти формы истинного творчества. С гениальной прозорливостью и гениальной способностью находить общее в частном и частное в общем (стр. 120) он сумел, «оставаясь на почве реальной действительности», воплотить в своих произведениях «те общие черты, мысли и чувства, которые в той или иной форме свойственны культурному человечеству на протяжении долгих исторических периодов» (стр. 16). Отводя каждой вещи подобающее ей место и изображая своих героев и героинь «*действующими и, следовательно, в теснейшей связи со всем окружающим их миром*» (курс. автора), Толстой в сфере художественного творчества «неуклонно и последовательно придерживался точки зрения релятивизма» (стр. 17),—но не метафизического, головокружительного, исключающего *всякую устойчивость и всякое единство* и идущего в теснейшей связи с импрессионизмом нашего времени, а релятивизма диалектического, умеющего сочетать бытие и становление, движение и покой, устойчивость и относительность (см. стр. 18).

Словом, Толстой в своем художественном творчестве следует, хотя и бессознательно, методу диалектического материализма (стр. 19) и именно это «обеспечивает ему выдающееся место во всемирной литературе и неизменный захватывающий интерес к его произведениям» (стр. 120).

Так характеризует т. Ортодокс художественное творчество *Толстого*.

В гениальном даровании Толстого, нашедшем себе отражение в его высоко-художественных реалистических произведениях, проявилась та сторона его психики, та его «душа», «которая в своей резкой чувственности

крепко держится цепкими органами за земную жизнь» и стремится «исчерпать чувственные эмпирические радости во всех оттенках и изгибах, жадно хватаясь за все и вовсе не желая жертвовать даже незначительными вещами» (стр. 33—34). Эта сторона психики и творчества Толстого была тесно связана с новыми тенденциями эпохи, в частности с тем реалистическим методом в искусстве, который получил у нас широкое приложение во второй половине прошлого столетия. И именно потому, что Толстой был подлинный художник-реалист и что как таковой он «имеет колоссальное прогрессивное значение», наша партия, как представительница того класса, который разрушает капиталистический порядок, именно поэтому должна ценить художника Толстого и противопоставлять его могучее реалистическое творчество импотентным потугам современного импрессионизма и других подобных ему течений в области художественного творчества.

Нужно сказать, что те страницы, в которых Л. И. Аксельрод устанавливает задачи художественного творчества и дает анализ и оценку художественным произведениям Толстого, являются у нас, наравне со статьями Плеханова по искусству, единственными марксистскими работами по данному вопросу.

Но, на-ряду с чувственной, конкретной, жадной до жизни гениально-художественной душой Толстого, жила в его сердце другая душа—та, которая рвется «из земного праха в обитель праотцев, т.-е. к платоновским высям» (стр. 34), которая проникнута «святым равнодушием» и презрением к радостям и печалям жизни и ищет погружения в бесчувственное аскетическо-мистическое самосозерцание. Эта «душа» Толстого, отражая тенденции старого гибнущего мира, раскрывается мало-по-малу мертвящим цветком в содержании его произведений и губит его первую «душу», его гениальное реалистическое дарование.

«Следуя бессознательно методу диалектического материализма в деле чистого художественного воспроизведения противоречивой действительности, Толстой,—замечает Аксельрод,—и был, и в продолжение всей своей жизни оставался сознательным метафизиком-романтиком по своему мироощущению, стремлениям, душевным настроениям и исканиям. Эту сторону своей духовной жизни он воплощал, помимо своих религиозных сочинений, во всех своих главных героях, являющихся чистокровными романтиками» (стр. 19).

Принято думать, что только с «Исповеди» начинается переворот в миросозерцании Толстого в сторону мистицизма. Однако т. Аксельрод обнаруживает, что это не верно, что переворот, возвещенный в «Исповеди», в сущности не был переворотом, ибо Толстой, как мыслитель, в течение всей своей жизни, начиная с ранних пор, «знал одной лишь думы власть—думы аскетической» (стр. 52).

Даже первые художественные произведения Толстого обнаруживают власть этой заветной думы их творца.

Начав в своем миросозерцании с романтизма, общей и коренной чертой которого,—говорит Л. И. Аксельрод,—является, во-первых, гипертрофия само-

сознания, а во-вторых, вытекающее из гипертрофии самосознания чувство хронического неудовлетворения относительными ценностями и искание абсолютов (стр. 19), Толстой обнаруживает безысходный дуализм плоти и духа; он, как истый метафизик по своим исканиям, не будучи в силах примирить дуализм плоти и духа, проходит путь,—через все разрушающий умственный скепсис к мистике и превознесению бессознательного «непосредственного» созерцания и веры; ибо «скепсис и его родной брат солипсизм, являющиеся ближайшим следствием гипертрофии самосознания... имеют,—подчеркивает т. Ортодокс,—своим обычным естественным завершением мистицизм». Это подтверждается не только теоретически на основании логики и психологии скепсиса (измученный скептической рефлексией человек, в конце концов, преклоняется перед религиозной бессознательностью),—но и эмпирически—историей философии (стр. 25). Так «скепсис приводит к своей противоположности—к догматизму».

Именно этот путь, как видно из его дневников, прошел Толстой. И это же выразил он еще в героях своих ранних произведений в лице Иртенева («Детство и отрочество»), Оленина («Казаки») и т. д. Иртенев, например, начав с рефлексии и скепсиса, в конце концов преклоняется перед жизнью, которая воплощена еще в «Детстве и отрочестве» в фигуре странника Гриши; а Оленин в «Казаках», несмотря на все старания Овсянико-Куликовского представить его в духе только недоразвившегося героя Ж. Ж. Руссо, обнаруживает очевидное стремление к любви и самопожертвованию в духе аскета, т. е. к отречению от мира (стр. 37—38). Но еще сильна чувственная реальная душа, еще велика сила жизни и Оленин, а за ним и сам Толстой сбрасывают с себя «холодное одностороннее умственное настроение» и возвращаются из платоновских высей в конкретный мир многокрасочной действительности. Раскол двух душ на-лицо, но победа остается еще за первой и «сила жизни», по выражению автора, «обрывает речь смерти».

И все же, несмотря на победу на первых порах силы жизни, Толстого не интересуют те передовые в ту эпоху общественные настроения и идеалы, которые господствовали в литературе под именем народничества. Правда, Толстой, вопреки мнению Овсянико-Куликовского, весьма проникнут идейностью и сознательным пренебрежением к чистому эстетизму (стр. 41). Правда, он отдает неизбежную дань настроениям эпохи, проявляя интерес к народному горю и избирая крестьянскую нужду темой своих некоторых работ того времени («Утро помещика»). Но он отнюдь не является сторонником новых веяний в этом вопросе. Вопреки им он ищет счастья для народа не во внешней среде, не в изменении социального строя, а внутри человека, твердя назойливо: «счастье не зависит от внешних причин, а от нашего к ним отношения» и «царство божие внутри нас».

Вот почему нельзя смешивать взгляда Толстого со взглядами народничества, как это делает Михайловский. Последнего обмануло то, что у Толстого он нашел такое же отрицательное отношение к развитию капитализма в России и ко всей западно-европейской культуре. Но Михайловский не заме-

тил, или не хотел заметить, что в противоположность народничеству Толстой строил счастье человека (а не народа) на *религии*, что он не возлагал подобно первым надежд и упований на недовольство и революционные инстинкты крестьянской массы, а напротив того дорожил и превозносил ее ***«покорность, низкий уровень потребностей и христианское смирение»*** (см. стр. 44). Кроме того, решительно идя вразрез идеалам народничества, Толстой отрицал веру в возможность создания социалистического порядка и на почве крестьянской общины и т. д., как отрицал всякое значение культурного прогресса вообще, вплоть до отрицания пользы книгопечатания (см. стр. 49).

Давая превосходное сопоставление, анализ и оценку взглядов народников, Л. И. Аксельрод приходит к выводу, что хотя и можно говорить о незначительном влиянии народнических веяний на творчество Толстого, однако «исходные точки и конечные цели у Толстого диаметрально противоположны и принципиально враждебны основным стремлениям и заветным идеалам революционного народничества 70-х годов всех оттенков» (стр. 51).

Чем дальше, тем сильнее развивалась у Толстого и отражалась в его творчестве аскетическо-мистическая сторона его психики, подавляя реалистическую. В «Исповеди» и в других произведениях религиозно-морального содержания Толстой уже более или менее законченный мистик и провозвестник «новой религии». Прослеживая вероучение Толстого, тов. Аксельрод показывает нам, что, однако, и здесь отражается душевная трагедия их автора—борьба земного и платоновско-христианского начала.

Все более и более разочаровываясь в культурных ценностях жизни, яснополянский моралист мучительно, болезненно ищет спасения от бездн скептицизма—ищет непреходящих и сверхчувственных цели и смысла жизни. Не находя их ни в чувственно-реальном мире, ни в разуме, он приходит с согласия последнего к религиозной вере, которая, таким образом, должна утвердить для него пошатнувшиеся под напором скепсиса основы жизни (стр. 56). Именно в жизни, построенной на вере, перед которой разум капитулирует, ставя сам себе границу,—Толстой находит смысл жизни, напоминая этим разрешением проблемы знаменательные слова Канта: «я должен был уничтожить знание для того, чтобы очистить место вере» (стр. 58). Эту веру в бога Толстой, «подобно всем заправским мистикам», получает посредством откровения, путем «непосредственного созерцания божественной истины, стоящей за пределами разума» (стр. 59), которое по существу есть не что иное, как «основанная на предании вера в бога,... вера, внушенная в детстве бабушками, тетушками, нянюшками и тому подобными обладателями высших безусловных истин», иронизирует Аксельрод. «Оказалось, что открывающиеся разуму, дошедшему до своих пределов, абсолютные цели и смысл бытия есть просто-на-просто плод более ограниченного разума умерших поколений... Отжившая, давно утратившая все живые соки, идеология провозглашается источником вечных ценностей и высших критериев... Эту лукавую мысль

подсказывает старый порядок своим идеологам»,—заключает т. Аксельрод (стр. 60).

Вскрывая противоречия религиозной точки зрения, т. Ортодокс пишет: «Всякий критически мыслящий и требовательный человек вообще... должен поднять сатанинский бунт против мировоззрения, превращающего человека в жалкого раба». Но Толстой, благодаря тому, что идеология предков и дворянского сословия, которая передалась ему «по наследству вместе и в теснейшей связи с движимым и недвижимым имуществом», пустила глубокие и могучие корни в его душе, Толстой... «гордый и по своей основной природе нисколько не склонный к смирению, скептик до мозга костей,... находит полное успокоение в наихудшей и наиболее оскорбительной из всех догм» (стр. 62). Однако, так как Толстой все же не мог жить радостями и интересами и своей среды, и тем более не мог следовать формам господствующей церковности, недостатки которой он отчетливо видел и рисовал, то он, оставаясь по существу на старой основе христианской морали, хочет ее реформировать на свой лад, при чем берет за образец новой религии те формы терпения, кротости, смирения и т. д., которые он нашел в наиболее отсталых, темных и реакционных элементах бездомных слоев деревни.

Эта религиозная точка зрения, а также дуализм психики, получили философскую формулировку в трактате о жизни. По мысли этого трактата «материя является нам в наиболее туманной форме и яснее всего познается нами человек», именно потому, что в нем больше всего заключено мирового разума (стр. 66—67). Но и человек сам познается и ощущается нами по разному. Индивидуальное, эмпирическое конкретное сознание, связанное с предметным миром, или, как Толстой называет его,—«сознание животной личности»— лишено всякой устойчивости, непрестанно умирает, а потому, подобно всему пространственному и временному, не может дать нам никаких вечных и абсолютных истин и ценностей, как не может нам дать ничего кроме обмана и страданий соответствующая животной личности эмпирическая чувственная любовь. Другое дело чистое сознание, «разумное я, свободное от всякого конкретно-эмпирического содержания», не знающее ни начала, ни конца. «Это безначальное и бесконечное сверхиндивидуальное сознание есть проявление бога—истинная жизнь—и потому единственный предмет действительного познания». Это бесконечное я, лишенное временности и пространственности, т.-е. телесности, бессмертно. И победа его над животной личностью—победа сверхэмпирическая разума над чувственным миром, иначе говоря «потеря воли к жизни» и «святое равнодушие к земному бытию есть воскресение, или слияние разумного сознания с его первоисточником—богом», частью которого оно является (стр. 69). «Разумному я» соответствует абсолютная божественная любовь, чуждая земных интересов и страстей, заключающаяся в том, что «часть божества в человеке любит бога; таким образом любовь к богу есть любовь бога к самому себе». «Любить ближнего, значит с этой точки зрения любить его духовное существо, «его разумное я» и относиться с безусловным равнодушием к его мирским нуждам и страданиям» (стр. 76).

Понятно, что «из толстовской веры,—замечает т. Аксельрод,—нельзя вывести *ни одного положительного действенного нравственного правила»* и.. возвышенная божественная любовь есть не более как погружение в холодную эгоистическую нирвану (стр. 77). Отличие от буддизма при этом только то, последний проникнут светским рационалистическим содержанием, тогда как учение Толстого—церковным.

Раз истинная жизнь и любовь есть погружение в мистическое самосозерцание и созерцание божества и отрешение от блага животной личности, то отсюда вытекает, что истинная свобода для человека заключается во внутренней свободе—в свободе от чувств и страстей. «Царство божие внутри нас». Поэтому это учение не имеет ничего общего с боевым анархизмом (стр. 85) и хотя отрицает церковь и государство, как ненужные для внутреннего «царства божия» институты, но вместе с тем отрицает, исходя из тех же оснований, и всякую необходимость борьбы с ними. Больше того, то общественное движение, которое идет под знаменем социализма, именуется Толстым кличкой «дьявола», ибо социализм де во имя высоких целей сеет вражду и тем отвлекает людей от «царства божия». Побеждать зло,—учит Толстой,—можно только добром и непротивлением, что означает призыв к народу подставлять левую щеку тогда, когда бьют по правой.

Мало того, раз истинная свобода есть тупое равнодушие ко всему земному, то и искусство и свободный творческий труд «есть величайший и злейший соблазн». Но из этого же равнодушия вытекает заповедь: «заставят тебя сработать на себя одну работу—сработай две» (стр. 83). Так проявляет себя в учении Толстого идеология реакционного строя падающего и предчувствующего свою гибель, но пытающегося до конца разлагать живые движения своим мертвящим дыханием.

Учение Толстого о дуализме сознания есть философское отражение того душевного разлада между реальными и мистическими тенденциями, который мучил сердце и ум Толстого и проникал собою его творчество. Это учение,—говорит Л. И. Аксельрод,—есть не что иное, как весьма бледное и доморощенное отражение Кантовского учения о трансцендентальной и эмпирической апперцепциях. Но, в то время как «в Кантовском идеализме земное бытие имело преобладающее значение, конкретный человек брал верх над абстрактным человеком» и «живая действительность одержала не одну победу над мертвыми метафизическими догмами» (стр. 93), в это время у Толстого метафизика и мистика решительно господствуют над жизнью. Подобно Канту Толстой является типичнейшим представителем переходной эпохи... Но в то время, как Кант... идет навстречу прогрессивным требованиям века... в учении гр. Толстого получает преобладающее значение идеология старого порядка» (стр. 99).

Я позволю себе еще привести напрашивающееся сравнение мировоззрения Толстого с далеким, но гениальным мировоззрением *Спинозы*. В учении последнего существует также резкая непроходимая грань между чувственным,

эмпирическим, с одной стороны, и рассудочным и интуитивным, лишенным всякой эмпирии сознанием—с другой. Первое имагинативно, ложно и смертно и только второе вечно и может дать нам истинное знание. Это возможно потому, что «вечная часть души» есть «сущность тела под формой вечности», в ней заключены идеи божественной субстанции, ее атрибутов и т. д. А затем путем интуитивного погружения в мистическое созерцание божества в самом себе выводится адэкватно все истинное знание о мире. Но для этого душа должна преодолеть страсти и чувства и совершенно отрешиться от конкретного, эмпирического познания. Состояние интуитивного созерцания божества в себе есть вечное состояние свободы и проявление божественной любви (или по терминологии Спинозы—«amor Dei intellectualis») человека к богу и тем самым бога к самому себе.

Все эти положения учения Спинозы весьма близко напоминают нам вышеуказанные положения учения Толстого. Несомненно, что Толстой знал это учение (хотя и не упоминает нигде имени Спинозы), ибо Толстой ссылается на Шеллинга, а Шеллинг первого периода был, как известно, спинозист.

Любопытно, что такие герои Толстого, как Платон Каратаев и безвестный старик из «Воскресения» весьма напоминают последователя учения Спинозы. Но, конечно, как справедливо сказала однажды по другому случаю Л. И. Аксельрод, общество из последовательных спинозистов было бы невозможно.

Однако, несмотря на большое сходство между Толстым и Спинозой, между ними имеется и громадная разница и прежде всего в том, что если бог Спинозы есть природа и если материализм в общей системе Спинозы преобладает, а телеология отвергается, то у Толстого, наоборот, все построено на признании абсолютной цели человеческого бытия, и бог Толстого, в противоречие с его учением о разумном сознании, как части божества, есть личный бог, творец, законодатель и целеполагатель, т.-е. церковный бог, а человек выполняет только *волю* того, кто его послал.

Таковы сущность мировоззрения и вероучение Толстого, вскрытые т. Ортодокс. Ясно, что такое мрачное, аскетическое мировоззрение не могло выносить сожительства в груди Толстого его могучего художественного гения и пядь за пядью лишало его силы. Уже «Воскресение» Толстого являет собою пример некоторой победы мистического бездушного начала над его художественным творчеством. Поэтому, несмотря на ряд блестящих мест, «с художественной стороны «Воскресение» бесспорно стоит значительно ниже шедевров художника» (стр. 118).

Еще более победа мрачной христианской догмы над жизненным гением обнаружилась в посмертных художественных произведениях Толстого, которые поэтому суть лишь бледный и бедный сколок прежнего гениального творчества этого писателя. Борьба двух начал в его творчестве закончилась изменой жизни и победой религиозных метафизических основ, которые еще

с детства прорастали в его душе, посаженные отживающей рукой дворянских традиций и идеалов.

Мы дали в общем и целом контуры содержания данной работы Л. И. Аксельрод. Но, конечно, здесь нельзя хотя бы приближенно исчерпать всего богатства, которое бьет ключом на страницах этой книжки. Остается горячо рекомендовать ее вниманию читателя, в особенности партийца и сознательного пролетария.

Современная Германия.

С. Зорин.

(Путевые заметки).

Русская горчица.

От Москвы до Эйдкунена, несмотря на две границы—Латвийскую и Литовскую, вы слышите преимущественно русскую речь. В Эйдкунене, когда вы уже разместились в купэ и от нечего делать уничтожаете остатки еще российской провизии, к вам впервые заходит настоящий заграничный кондуктор. Это—немец. Он штампует ваш билет, осматривает, насколько хорошо уложены на полках ваши вещи, и, заметив на столике вашу еду, среди которой выделяется банка с горчицей, приветливо вам кивает:

— Русская горчица!..

Признаться откровенно, вы не могли ожидать, чтобы сразу на границе продукт русской пищевой промышленности мог вызвать такое приветливое внимание. И нет ничего удивительного в том, что этот случай моментально настраивает струны вашего сердца на самый добродушный лад так, что не успевает кондуктор повернуться к двери, как вы уже самым дружеским образом протягиваете ему бутерброд с колбасой, густо смазанный горчицей.

Кондуктор не заставляет себя упрашивать. Он плотно прикрывает дверь, опускает до-низу занавеску и решительно и быстро кусает кусок за куском!

— Русская горчица... Очень хорошо!—говорит он, вытирая с глаз набежавшие слезинки.

И само собой понятно, что тут же у него в руках появляется второй бутерброд, который с большей быстротой, но с не меньшим аппетитом также с'едается.

— Русская горчица... Благодарю... Очень благодарен!

Кондуктор спешит в другой вагон, а вы, усевшись поудобнее на своем месте, предаетесь разрешению настойчиво сверлящего ваш мозг вопроса:

— А что если бы горчица эта была не русская, а, скажем, абиссинская... что тогда? Не ел бы немецкий кондуктор эти же бутерброды с таким же аппетитом?..

Собственно говоря, русская горчица находится в большом почете не только у железнодорожных кондукторов и не только в сочетании с питательными бутербродами. Русская горчица завоевала себе, если не симпатии, то, во всяком случае, широкое внимание среди самых разнообразных кругов германского населения.

Вот входит поздно ночью в купэ нашего вагона новый пассажир. По внешнему виду в нем можно легко узнать человека коммерчески-делового. Он пыхтит сигарой и, устраивая свой чемодан одной рукой, другой вытаскивает из бокового кармана блок-нот.

То ли он записывает в свой пассив проездные расходы, то ли производит какую то иную калькуляцию—во всяком случае, он морщит лоб, пытаясь что-то припомнить, и еще пуще пыхтит своей сигарой.

— Скажите пожалуйста, вы не помните случайно, на чем закрылась сегодняшняя биржа в Берлине?—спрашивает он меня, ничуть не сообразуясь с тем, что я еду не со стороны Берлина, а из Москвы.

— На чем закрылась?.. Гм...—и я обращаюсь за советом к моему московскому спутнику, который свободно владеет немецким языком. Тот просит у немца прощения, об'ясняя ему, что по причине нашего трехдневного путешествия из Москвы нам не пришлось ознакомиться с сегодняшним берлинским биржевым бюллетенем.

— Ах так! — восклицает немец. — Вы из Москвы... русские... очень приятно! Тогда вы, может быть, скажите мне, каков теперь паритет между русским рублем и немецкой маркой.

Тут уж нам делается совсем неловко. Мы пытаемся выйти из затруднительного положения тем, что ищем в старых газетах, что-нибудь, что могло бы напоминать интересующий нашего соседа паритет. На наше счастье мы такой находим. Оказывается, что за русский рубль дают такое-то количество немецких марок.

— Как?—спрашивает удивленно немец.—За русский рубль дают столько германских марок? Не ошибаетесь ли вы?! Может быть, за немецкую марку дают столько-то тысяч рублей...

Мой товарищ снова прочитывает биржевую сводку, но на этот раз об'ясняет, что наш рубль 1923 года равен одному миллиону ранее выпущенных дензнаков.

Эта биржевая сторона вопроса, повидимому, успокаивает немца, но его теперь интересует, как наше правительство делает эти деноминации. И когда мы ему и это об'ясняем, то возникают десятки других вопросов на такие же финансово-экономические темы.

Блокнот нашего собеседника уж давно покоится на своем месте. Он сам уж давно закурил вторую сигару, а разговор все более и более расширяется. Теперь мы всецело заняты чистой политикой и тон нашего разговора принимает особенно своеобразный характер, в силу того, что мы проезжаем теперь «польский коридор».

Наш вагон запломбирован. На станционных остановках слышна поль-

ская речь. Видно, наш немецкий собеседник не привык еще к этим порядкам и, чувствуя себя как бы в окружении врагов, он разговаривает полушопотом.

— Да, очень тяжелые времена... Если *они* не передерутся между собою, то нам будет все хуже и хуже. Знаете, что я вам скажу,—мы немцы верим, что Россия все-таки нам поможет. Ведь мы же всегда жили в мире между собою и, если бы не эта проклятая война, то... Во всяком случае мы очень рады успехам вашей Красной армии. Очень рады...

И, глядя на этого немецкого купца, который «очень рад» за нашу Красную армию, мне невольно вспоминается недавний кондуктор, который был очень рад русской горчице. Только горчица бывает разная.

Марка падает.

Кажется, ко всему привыкли люди в капиталистических государствах: к безработице, к забастовкам, к локаутам, к войнам... не могут только привыкнуть к падению денежных ценностей.

Берлин—как Берлин, стоит на своем месте. И все в нем с внешней стороны, как и раньше: те же улицы и площади в честь членов династии Гогенцоллернов, те же памятники высочайшим особам, те же серые дома и даже те же шуцманы-полицейские. Все как будто стоит застыв в неподвижных позах. Только марка, та никак не стоит. Все прыгает да прыгает, все падает да падает.

Размеренно-точную жизнь привык вести немецкий обыватель. Его бюджет точнейшим образом бывал подсчитан на много времени вперед. А попробуй-ка подсчитать теперь хоть на один день!

— Вы слышали, марка опять...

— Да, да... опять...

Таков обычный тон обывательской жизни. Тон, который делает соответствующую музыку.

Эта улица одна из самых людных в Берлине. Здесь и гостиницы, и рестораны, и магазины, и конторы, и здесь же: проститутки, нищие, уличные торговцы и толпы пешеходов. И все это по вечерам залито электрическими огнями.

— Свету! Как можно больше свету!—как будто кто-то надрывается специально, чтобы вылить на эту улицу потоки света.

Но не к чему все это. На улицах холодно, слякотно. Снег падает и тут же под ногами прохожих превращается в грязь. Автомобили эту грязь разбрызгивают во все стороны. Толпы людей снуют взад и вперед, сталкиваясь и обходя друг друга. Проститутки не упускают случая задеть, кого только возможно. Они буквально напоминают бродячих, голодных собак: то они сбиваются в кучу, то расходятся одна за одной и, всматриваясь в лица прохожих, как бы вынюхивают—нельзя ли поживиться?.. Вот, кажется, можно—вертит хвостом... Но «кусок» проходит мимо, а то цыкнет кто-нибудь... и опять, поджат хвост, и опять сторонкой, сторонкой, куда-нибудь в тень.

А свет продолжает лить свои матовые холодные лучи. И в сиянии этого света блестят алмазным блеском окна магазинов, и тысячи глаз направлены в эти окна.

Глаза смотрят, облюбовывают... в голове производится сложение и вычитание.. Хватит ли?.. Хватит.—Ну, завтра купим...

А на завтра тот же великолепный блеск алмазных стекол, те же вещи в витринах... только цены не те: марка снова упала.

— Спички... купите спички! Дешевые спички...—бросает старик хриплым голосом в толпу прохожих. Спички, спички... сто марок коробка!

За городским шумом мало кто слышит старика. И для того, чтобы привлечь внимание прохожих, он от времени до времени вынимает из коробочки одну спичку, зажигает ее и, согревая несколько секунд слабым огоньком свои ладони, протягивает горящую соломинку к прохожим.

— Хорошие спички, лучшие спички, горят на ветру!.. сто марок коробка!..

А когда и этот способ не находит покупателя, старик прячет кисти рук в рукава потрепанного пальто и завистливо, со злобой, смотрит в сторону.

Там, в простенке между окнами ювелирного магазина и банкирской конторы стоит человек, у которого маленький коробок со спичками привешен к никкелированному крючку. Крючок заменяет отсутствующую кисть правой руки. Он хорошо пригнан к локтевому суставу, этот крючок. И он поднят как раз настолько, чтобы быть видным всем проходящим.

Инвалид одет в старую военную форму. На груди у него железный крест.

— Помогите искалеченному, купите спички!..

У инвалида покупателей немного больше, чем у старика.

И когда старик, закрыв клеенкой свою торговлю, медленно отправляется домой, он считает своим долгом остановиться возле инвалида.

— Имея крючок и крест, ты мог бы и не торговать спичками. Хлеб только отбиваешь у старых людей...

Инвалид что-то отвечает. Старик ругается. Но их не слышно. Возле окна банкирской конторы образовалась большая толпа. Только что вывешены последние вечерние цифры валютного курса.

— Марка. Опять марка!..

Задние напирают на передних, подымаются на носках.

— Как вам нравится?.. что дальше будет?!

Карандаш быстро бегает по листку записной книжки. В последний раз острый взгляд впивается в вывешенную таблицу.

Ошибки нет: доллар—столько-то, фунт—столько-то...

Карандаш скрывается в дверях соседнего магазина. Очередь следующих карандашей.

— Ах, эти женщины! Везде они шныряют!.. Здесь курс валюты, а они думают, что модные шляпки.

— Фрейлен, фрейлен... прошу прощения... вы мне мешаете, ведь вы не доллары продаете, а нечто другое...

Новый курс марки быстро становится достоянием всех интересующихся. Хозяева магазинов сверяют официальный курс с неофициальным, потом делается прогноз на ближайшие несколько дней, а потом в каком-нибудь мебельном магазине цены подымаются на 200%.

— Ты слышала?.. мебель...

— Как! Неужели опять...

— Ну-да. На целых 200%.

— Боже! Что ж я теперь буду делать? Ведь выйти замуж за Фрица без мебели невозможно. За два года я скопила на спальню... Оставались еще гостиная и кухня.—Гостиная и кухня! Это взяло бы еще два-три года... через три года я была бы замужем и у нас была бы своя квартира. А теперь... что теперь?.. Дай бог справиться в пять лет.

Это очень глупый обычай—собирать приданое для замужества. Но таков старый уклад жизни немецкого обывателя. Этот уклад теперь еще больше соблюдается, ибо в результате войны спрос на мужчин еще больше повысился, а мужчина—зверь хитрый: хочешь замуж—подавай меблированную квартиру.

И стараются невесты, выбиваются из сил:

— Дай бог справиться в пять лет.—Диспозиция.

А марка тоже старается, а цены тоже выбиваются из сил,—налегают.

— Ты слышала? Марка... опять...

— Слышала...

— Ну что ты скажешь?..

— Что мне сказать?!

— Когда этому будет конец?..

— Не знаю...

На людной улице становится меньше народу. Магазины закрываются. В окнах остаются только дежурные огни.

Проститутки о чем-то совещаются на углу. Вероятно, в связи с падением марки обсуждают ставки нового тарифа. Торговцы из магазином спешат по домам. Поспешные рукопожатия.

— Да, между прочим, вы слышали?..

— Слышал, слышал... на завтра ожидают еще большего падения марки...

— Нет, не то... сегодня... еще одна девушка упала в реку.

— Ах, не говорите. Городу их вытаскивать стоит теперь дороже, чем им падать. Опять повысят налоги...

...Из дверей ресторана вырываются звуки какой-то тягучей, нудной музыки.

„Очень мы запутались"...

Темно-синий костюм с ясно выделяющейся складкой брюк, крахмальный воротник, манжеты... коротко подстриженные волосы с пробором по средине, широкие роговые очки, выпуклые снаружи, маленькие водянисто-строгие глаза изнутри.

На иссохшем, безразличном лице написано: я—доктор. Точка.

Немецкий доктор медицины—существо особое. Он—строг, внимателен, неразговорчив.

— Сударыня, у вашей дочери никакого туберкулеза нет.

И после того, как сударыня, недоумевая, рассказывает о повышенной температуре ее дочери, которая уже в течение нескольких месяцев мучает ее,—доктор, выслушав все это терпеливо, изрекает:

— Сударыня, я имею честь лечить вашу дочь, а не температуру. Ваша дочь здорова.

Таков герр доктор снаружи. Как и костюм, как пробор на голове, как выпуклые роговые очки—все в порядке. Складка на хорошо разглаженных брюках имеет свое продолжение до макушки черепа.

Правда, иной раз бывает так, что складка разглаживается. Тогда брюки принимают простой человеческий вид, а лицо получает вид несколько помятых брюк. Доктор начинает думать, волноваться и говорить.

Такого доктора можно встретить в книге рассказов Леонарда Франка. Рассказы эти под общим заголовком «Человек добр» написаны автором из эпохи прошедшей войны. В них есть филистерско-религиозный привкус протестантского проповедника, произносящего с воскресной кафедры «слово» о «революции любви», «революции духа»... Но все это—продукт запутанного мировоззрения самого автора. Там, где его герои говорят сами от себя и за себя—там язык простой, чувства отточены, как клинок кинжала, мировоззрение самое земное.

Как у Л. Андреева один из персонажей твердит: «меня не надо вешать»...—так и тут простые люди, просто думают, говорят, умоляют: «меня, моих—сына, мужа, отца не надо убивать».

А когда убивают, при чем в процессе убийства выясняется, что убивают без всякого смысла, лишь во имя интересов ненасытной утробы капитализма,—то тогда раздаются проклятия, принимающие все более угрожающий характер.

Один из героев Леонарда Франка—доктор-хирург. Он работает в фронтовых госпиталях. В течение трех лет своей работы он беспрерывно ампутирует израненные руки, ноги и все, что поддается ампутации.

Из-под его инструментов выходят такие чудеса хирургической техники, что ему самому становится жутко на них смотреть.

Здесь и люди без обеих рук и ног; здесь есть и такие, у которых лицо превратилось в сплошной плоский рубец с разрезами вместо глаз, рта,

ушей и носа; здесь и люди—треугольники, с искривленными позвоночниками; наконец, здесь и просто сошедшие с ума от ужасов войны.

Три года работает доктор. Три года он молчаливо отрезает израненные части человеческого тела. Три года он наблюдает страшное страдание. Наконец, он однажды делает про себя подсчет и тогда получается, что отрезанных рук и ног, если бы их выложить в два ряда наподобие железнодорожных рельс, хватило бы на столько-то тысяч километров.

Сделав такой подсчет, доктор приходит к выводу, прямо противоположному выводам автора. Ни о какой «революции любви» доктор не помышляет, он решает проще: *«их надо заковать в цепи!»*.

«Их»—это тех, кто подготовлял и организовывал эту бойню.

«Их»—это тех, кто был заинтересован в ее проведении.

«Их надо заковать в цепи!»...

Так, по привычке кратко выражать свои мысли, начал говорить немецкий доктор.

Тяжелое это было, вероятно, время в Германии, если даже доктора заговорили таким языком. Но много радужных надежд должно было вселять оно в сердца измученных, но пробудившихся от кровавого кошмара людей.

И кто может осудить историю за то, что она мстит людям за пропущенные сроки?!

Да, не сбылись мечты старого доктора. *«Их»* не заковали в цепи. Наоборот, благодаря Шейдеманам и Эбертам, в цепи попали как раз те, кто разделял мысли доктора.

И вот стоит теперь пред нами Германия, стоит истерзанная, с проклятым наследием войны на плечах, с тяжелыми цепями Версальского договора на ногах.

Что ее ожидает?..

На этот вопрос даются разные ответы.

Революционные рабочие с величайшим трудом и величайшей настойчивостью собирают свои силы, чтобы ответить на этот вопрос соответствующим действием. Крупный капитал пытается сторговаться со своими иностранными противниками за счет бедноты. Группы и слои населения, находящиеся между этими двумя классами, уперлись в тупик.

Ресторанные кельнера, конторские клерки, страховые агенты, лавочники и все им подобные больше не устраивают митингов о «революции любви». Они все заняты своими повседневными делами, гоняясь за бешено летящей вниз маркой. Выполнение своих гражданских обязанностей они видят в том, чтобы ничего не продавать французам и бельгийцам.

Ну, а интеллигенция?.. Что думает наш старый, хороший доктор?..

Его я не встречал. Мне довелось случайно встретиться с другим доктором, но уж не в рассказе. Только этот другой думает несколько иначе, чем первый.

Это было в то время, когда французские войска занимали город за городом в промышленном Рурском бассейне. Я прочел в газете о последнем из

этих французских продвижений и попытался выяснить мысли доктора по этому поводу.

— Что вы скажете, герр доктор... как вы думаете, где французы решили окончательно остановиться?

Мой собеседник безнадежно махнул рукой.

— Ах, я не политик. Я этого не знаю. Я знаю только то, что жить становится все тяжелей.

Доктор нервно расхаживает по комнате. Вдруг на его лице появляется какая-то решимость.

— Вас мне нечего стесняться. Вы—русские такие же бедняки. Вот смотрите, вы видите меня?

Предо мной доктор—как доктор. Темно-синий костюм с хорошо проутюженными складками на брюках (возможно, что он был пошит еще до войны). Воротник. Манжеты. Роговые очки. Только глаза сверкают особым блеском.

— Вы видите меня?..—повторяет свой вопрос доктор.

— Да, да, вижу...

— Нет, вы не видите,—кричит он.—Вот смотрите!

И он быстро поворачивается спиной, разнимает сзади полы своего пиджака и на свет божий появляется хорошо заметная заплатина во всю ширину торса.

— Вот... видали!.. это—костюм немецкого доктора! Это—результат чьей-то политики. Вот это я знаю и понимаю!

И, приблизив свои очки к моему лицу, он продолжал:

— Костюм—это, конечно, неважно. Но понимаете, общая обстановка невозможно тяжела. Все неустойчиво, все идет прахом... И знаете, я думаю, что французы нам жить не дадут. Мы—или они—так стоит вопрос. И все то, что Германия теперь переживает, начиная от Рура и кончая такими костюмами... все это—их политика.

И с каким-то особым шипением в голосе он произносит:

— Нам их придется когда-нибудь поголовно уничтожить... и мы это сделаем... я верю в это!..

Немецкие доктора медицины очень скверные политики. Но мнение одного из них, может быть, и ярко индивидуальное, воскресило в моей памяти другой образ.

— Позвольте, доктор, вы, вероятно, читали рассказы немецкого писателя под названием «Человек добр»—вы помните, там есть такой доктор, который...

Мой собеседник не дал мне закончить. Он усталым взором посмотрел на меня и скороговоркой ответил:

— Да, да, конечно, читал... человек добр... как же, как же... только знаете, очень мы запутались...

Из белой прессы.

Побежденные.

Очерки.

Георгий Виллиам.

(Окончание.)

VI.

Черная орда.

Главная улица в Новороссийске—Серебряковская. Приблизительно посредине этой лучшей, но тем не менее достаточно нескладной и неприглядной улицы находилась бойкая кофейная, называвшаяся «кафе Махно». Здесь помещалась штаб-квартира спекулянтов, так называемой «черной орды».

Орда была действительно черная: по духу и по колориту. Сильные брюнеты: константинопольские греки, налетевшие на охваченный гражданской войной юг, как воронье на падаль, армяне, евреи—преобладали; хотя, конечно, не было недостатка и в представителях славянской расы...

В кафе Махно устанавливались цены на валюту, на товары, ценности, и оно до такой степени заменяло биржу, что с ним считались банки; а в местных газетах, в справочном отделе, котировки печатались под общим заголовком «кафе». Так же, как в былые времена печаталось: «фондовая биржа».

В обширной, грязноватой зале, с большою печью посредине, с несколькими чахлыми пальмами в качестве единственной декорации, стояло множество убогих столиков, непокрытых, заваленных крошками, залитых кофе. Освещалась кофейная плохо. Электричество часто не горело, и тогда, при свете стеариновых огарков, воткнутых в бутылки, она получала зловещий вид пещеры с пирующими разбойниками. Алчные, беспокойные, сверкающие взгляды, резкие телодвижения южан, лохмотья и шикарные костюмы,—все это еще больше увеличивало иллюзию. В воздухе всегда колыхалась синяя пелена табачного дыма и кухонного чада, и всегда, особенно в ненастье, была такая толпа и давка, около столов стояли такие очереди, дожидавшиеся, когда будет проглочен последний кусок, что бывать у Махно без дела бывало неприятно.

Столики обслуживались шикарными кельнершами, нередко блиставшими драгоценностями, доставшимися им Бог знает откуда и какой ценой. Работая у Махно без жалованья, кажется, платя даже за обед и чай, барышни эти зарабатывали баснословные деньги. Герои тыла, с утра до ночи воевавшие за столиками,—и, к слову сказать, наносившие добровольцам гораздо бо́льший урон, чем большевики,—были щедры. Город сидел на диэте: у многих простой хлеб и кусочек сала считались роскошью; с апломбом заказывая себе, сто́ящую бешеных денег, порцию сосисок с капустой, орда «держала фасон» и, желая блеснуть широтою натуры, выбрасывала «барышням» на чай крупные донские кредитки. Могильные гиены, стервятники раз-

ных величин, чувствовали себя здесь, у Махно, баловнями счастья и демонстрировали это без стеснения.

«Юрко и Паника», нарицательное имя спекулянтов, определяли курс русской и иностранной валюты, скупали золото и драгоценности, скупали гуртом весь сахар, весь наличный хлеб, мануфактуру, купчие на дома и именья, акции железных дорог и акционерных компаний. Тут можно было приобрести разрешение на ввоз и вывоз, плац-карту до Ростова, билет на каюту на пароходе, отдельный вагон и целый поезд, специально предназначенный для военного груза на фронт. Здесь торговали медикаментами и партиями снаряжения, в бесплодном ожидании которого добровольцы вымерзали под Орлом и Харьковом целыми дивизиями.

В теплую, погожую погоду «черная орда» высыпала на кафе на Серебряковскую. Почти напротив, в большом, мрачном четырехэтажном здании находилось комендантское управление. На тротуаре против управления, днем собиралась другая толпа: загорелые, дурно одетые, до зубов вооруженные офицеры, приезжавшие по делам и на побывку с фронта. Эти обездоленные, истощенные походной и боевой жизнью, измученные тоской по голодным женам и детям люди с нескрываемой, острой ненавистью поглядывали на другую сторону улицы, где, словно угорелые, метались хищные, сытые фигуры. Слышалось иногда брошенное вскользь замечание:

— Эх, поставить бы с обеих сторон Серебряковской по батарее да картечью!..

Или:

— В шашки бы их, мародеров!..

Из этого, само собой, не надо делать вывода, что среди «черной орды» не было людей с офицерскими и генеральскими погонами, с металлическими венками на георгиевской ленте за знаменитый «ледяной» поход; людей с золотым оружием и на костылях. Спекулировали в Новороссийске все: телефонные барышни и инженеры, дамы-благотворительницы и портовые рабочие, гимназисты и полицейские, священники и «торгующие телом». Спекулировали старики и дети, инвалиды на костылях и семипудовые толстосумы, последний нищий и первый богач.

Спекулировали даже представители высшей гражданской и военной администрации. Однажды к нам в редакцию зашел секретарь одного высшего добровольческого сановника, почтенный генерал с Владимиром на шее.

— У меня пикантнейшая новость,—сказал он, присаживаясь к столу. — Только, пожалуйста, не для печати!.. Сегодня, по поручению генерала, составил проект приказа о выселении из пределов города всех лиц, не состоящих на государственной, ни на общественной службе, приехавших после такого-то числа. Его высокопревосходительство внес в проект существенную поправку—прямо, можно сказать, создал новый объект для спекуляции!..

Генерал вздохнул и безнадежно поник красивой седеющей головой.

— Мой проект имел в виду исключительно спекулянтов: ведь дышать от них нечем! И что же вы думаете? Генерал разрешил жительство прислугам лиц, состоящих на службе. Посудите сами, какая теперь пойдет купля-продажа всяких поварских, лакейских и прочих должностей?!. И без того вакханалия полнейшая!

Генерал был прав,—все, что ни делалось против спекуляции, роковым образом обращалось в ее пользу. Я не знаю, спекулировали ли местами на кладбище; но билетами в номерные бани—спекулировали, и весьма прибыльно.

Днем по городу бродили толпы иностранных матросов и солдат. Они выменивали фунты и франки, скупая текинские и персидские ковры, расстилаемые армянами в продажу прямо на мостовой. Они продавали башмаки, белье, консервированное молоко и фуфайки, ткани и галеты, с жадностью скупая золотые вещи с рук и в магазинах. Офицеры, получавшие хлеб от интендантства, посылали в очередь около булочных своих денщиков, сами, с револьверами в руках, требовали, чтобы им продавали хлеб без очереди, захватывали его весь, гуртом,—и продавали его через тех же торговцев втридорога.

Спекулировали ордерами на реквизицию домов и квартир; спекулировали комнатами. Мальчишки-газетчики,—среди которых было не мало детей интеллигентных родителей,—зарабатывали на спекуляции газетами сотни рублей в день, и деньги эти тут же пропивали и проигрывали в карты и орлянку.

Когда одолеваемые все более наглевшими к концу трагедии добровольчества, зелеными, власти издали приказ о закрытии всех кофеен, ресторанов и харчевен после семи часов вечера, тотчас же начали спекулировать на этом приказе.

Я помню жуткую картину. В маленькой, очень грязной и всегда полной народу кофейной, называвшейся «кооперативной», дремали за столиками бездомные люди. Особенно врезалась мне в память молодая чета. Они потеряли друг друга на фронте: он безусый «фендрик», она—юная сестра милосердия. Они случайно встретились в «кооперативной» кофейной, оба, уже считавшие друг друга потерянными навсегда. Возглас, горячие поцелуи—что за дело, что тут посторонние! С сияющими глазами, пожимая руки, они сели за стол, незаметно съели обед, какое-то гнусное сладкое и—незаметно заснули от утомления, сидя рядом на поломанных стульях.

Часы пробили половину седьмого. Скромные, усталые служанки кафе с состраданием смотрели на них. Но—приказ был ясен и за неисполнение его грозила тяжкая кара. «Молодых», как их успели окрестить, растолкали. Они смотрели друг на друга нежными, печальными глазами. Итти им было некуда.

И, я помню, к ним подошел отвратительный жирный человек-паук. В засаленном котелке, в рваном пальто, он заставил их пересчитать все имевшиеся у них деньги—у обоих нашлось что-то тысячи полторы,—и все до последнего рубля отнял у них за какую-то конуру, в которой, по его заявлению, было скверно:

— Так, на манер амбарчика... Ну, животные, т.-е. крысы, конечно, есть... Дует; ну, да ведь вы молодые, согреетесь... У вас ничего не осталось больше, сестрица? Жаль; задаром почитай отдаю!..

Оба они хорошо знали, что ночевать на улице в городе, где каждую ночь зеленые охотились за добровольцами, а добровольцы за зелеными, было нельзя. Да и погода была неподходящая: ледяной норд-ост с дождем и хлопьями снега. А офицерские общежития были так переполнены, что спавшие в них на полу люди буквально поворачивались «по команде». Одному перевернуться на другой бок было нельзя.

Нечего удивляться, что на «черную орду» смотрели с горячей ненавистью. Со мной случилась такая вещь.

Как-то вечером я кончил работу и отправился ночевать к знакомому. Жил я тогда в редакции с полуидиотом сторожем и легионом крыс. Иногда становилось невтерпеж и тянуло к людям, в человеческую обстановку. Знакомый мой снимал комнату у воинского начальника. У него он выпросил разрешение иногда ночевать и мне.

Для меня такие ночлеги были настоящим праздником. Сначала чай—из самовара!—чай, за которым присутствовала детвора, который разливала милая женщина—где-то она теперь? А потом денщик «дядя Петра», пленный «красный», угрюмый и добродушный, стлал постель на чистом сеннике, казавшуюся мне после жесткого редакторского стола, на котором я работал днем, а ночью, с позволения сказать, спал, настоящим раем. Итак, я пошел ночевать к знакомому.

Погода стояла отвратительная. Добрался до домика воинского начальника на Соборной площади; смотрю, окна приветливо светятся, горит на крыльце электрический фонарик. Я уже ухватился за ручку звонка и успел перевернуть ее, как вдруг услыхал позади себя громкое откашливанье. Я оглянулся. Темно, только за оградой палисадника, шагах в четырех от меня, белеют два лица, фуражки с кокардами видно. Лица были простые, молодые, спокойные. Я снова было взялся за звонок; но тут со стороны палисадника раздался неуверенный голос:

— Вы!.. Вы—спекулянт?!.

Послышался металлический звук, какой бывает, когда приводят в боевую готовность браунинг.

Я невольно задрожал и оглянулся. Прямо на меня были наведены два револьвера. Один из офицеров спросил громко и отчетливо:

— Говорите правду: вы спекулянт?

Я—маленький и толстый. На мне было хорошее английское пальто и шляпа, купленная в Лондоне. Проклятая шляпа!

Положение было безвыходное. Я стоял безоружный на ярко освещенной электрическим фонариком площадке крыльца; спрашивающие были в темноте. Мелькнула безобразная мысль о смерти,—так, за здорово живешь. Язык отказывался произнести хоть какой-нибудь звук. Пролетела тяжелая секунда.

Вдруг широкая полоса света упала на меня, на темный палисадник из раскрывшейся двери. Жена воинского начальника в пуховом платке со спокойным и приветливым лицом показалась в половинке открытой двери. Мигом она поняла все и, загораживая меня своим телом, спокойно проговорила:

— Что это вы, господа? Здесь квартира воинского начальника! Вы должны знать...

— Проходите,—ободряюще улыбнулась она мне,—успокойтесь!..

Дверь захлопнулась. Позади я услышал виноватые голоса:

— Мы пошутили!.. Ничего!..

Мне было не до шуток. Я дрожал всем телом; сердце готово было разорваться от испуга и негодования. Помню, я долго плакал потом, сидя в теплой, светлой, уютной гостиной.

Когда вернулся воинский начальник, жена рассказала ему все. Бравый полковник посмотрел на меня с усмешкой. Он сказал:

— Напугали вас мои ребята? Пройдет! А с другой стороны—что же делать: ведь живьем едят, проклятые!..

Я едва не сделался, как узнал тогда же, жертвой охоты на спекулянтов, последним средством, выдвинутым отчаявшимися людьми против «черной орды».

VII.

Красные и зеленые.

Однажды, уже глубокой осенью, я вернулся домой и застал в белой кухонке у Бурачков перемену. На большом, расписанном цветами сундуке, заменявшем нам письменный и обеденный стол, лежал накрытый овчинным тулупом Павлик и скрипел зубами. Возле него, подгорюнившись по-бабьему, стояла мать. Глаза у нее были красны от слез; но она видимо крепилась. У двери стоял старший сын, только что вернувшийся с табачной фабрики. На этот раз он не предложил мне какого-то «совершенно отдельного» табаку, что проделывалось неизменно каждый вечер, и смотрел исподлобья, волком.

Я спросил:

— Что это с Павлом?

Мать сверкнула на меня глазами и промолчала. Потом рванулась к дико застонавшему мальчику, схватила его на руки, как грудного, перевернула спиной вверх и подняла рубашку. Спина несчастного Павлика вздулась как подушка; она была вся иссиня багровая, иссеченная так, что клочьями висело кровавое мясо. Положила сына обратно на дерюжку, постланную на ее приданном сундуке, хранившем фамильные богатства, и снова подгорюнилась.

Пришел отец; не поздоровался. Я попробовал разрядить сгустившуюся атмосферу и кивнул на Павлика:

— Кто это его так?

Павлик скрипнул зубами; но не выдержал и опять застонал:

— Ой, мамо моя, больно!

Бурачек, насупившись и сопя носом, опустил глаза и сурово выговорил:

— Увольняйтесь отсюда!

Легко сказать: увольняйтесь! Но куда? Снова пустил в ход дипломатию. Напомнил даже, «что ведь и мы тоже люди».

Куда там: упорно глядя в пол и сопя, Бурачек повторил:

— Известно, люди!.. А только—увольняйтесь! Самим деваться некуда. И то в сарае спали из-за вас в такой холод...

Искать квартиру в городе было бесполезно. Реквизировать не хотелось; да и нечего было реквизировать. Поэтому мы на другой день уехали в Крым.

Пароход, на котором мы плыли по бурному Черному морю, был старый и так зарос ракушками, что сделался похож на загаженную половинку яичной скорлупы. Волны кидали его, как мячик; к тому же нос его был перегружен и винт на корме все время со свистом вращался в воздухе. Пассажиры валялись от морской болезни вповалку, и только я да еще один высокий драгунский ротмистр уцелели и прогуливались по палубе. В каюту нельзя было войти: вонь и под ногами противная слизь, выброшенная больными желудками укаченных. Ротмистр от нечего делать стрелял из винтовки кувыркающихся вокруг кувыркающегося парохода дельфинов, и при каждом попавшем выстреле говорил:

— Что, брат, корлво?!.

Когда ему надоело бесцельное истребление безобидных морских животных, которым бывало так радовались все приезжавшие на Южный берег отдохнуть, он отнес винтовку в каюту, и мы стали разговаривать.

Мне этот ротмистр почему-то сразу приглянулся. Высокий, статный, загорелый, с белым сабельным шрамом поперек лба и с серьгою в ухе, он был по-солдатски простосердечен и грубоват, любил специфические кавалерийские словечки и отличался каким-то суровым рыцарством манер и характера. Рубака должно быть был отчаянный. Почему-то напоминал он мне Николая Ростова из «Войны и мира».

В победу Деникина он не верил. На добровольцев, особенно на кавалеристов, смотрел с презрением профессионала на дилетантов.

— Помилуйте, кавалерист должен быть на четырех конских ногах, как на своих двоих, а этот—и сидит-то словно собака на заборе!..

Я немного коварно спросил его про Буденного. Он задумчиво протянул:

— Д-да... Конник хороший!.. Нашей выучки...

Потом живо взглянул на меня и сказал:

— Впрочем, и Буденный никуда не годится... А уж эти «пролетарии на конях» настоящая мразь!.. Я их всегда расстреливаю, этих конников... Настоящего кавалериста не расстрелял бы, будь он семь раз красный!..

Видя, что меня слегка передернуло от его слов, он снисходительно усмехнулся:

— Нашему брату «нервов» не полагается. Гражданская война: сегодня ты, а завтра я. И сам пощады не попрошу, когда попадусь. А попадусь наверное—не сегодня, завтра.

Он помолчал немного; потом заговорил снова:

— Поверите, до чего дошел: вот вы для меня безразличны. А подойди к вам сейчас кто-нибудь, наведи револьвер, я и не подумаю вступаться. Разве отодвинусь, чтобы мозгом не забрызгало.

Красных, взятых в плен, он, по его словам, приказывал долго и нудно бить, а потом «пускал в расход».

— Офицеров красных, тех всегда сам...

Он оживился и с засветившимся взором продолжал:

— Поставишь его, Иуду, после допроса к стенке. Винтовку на изготовку, и начинаешь—медленно наводить... Сначала в глаза прицелишься; потом тихонько ведешь дуло вниз, к животу, и—бах! Видишь, как он перед дулом извивается, пузо

втягивает; как бересту на огне его, голубчика, поводит, злость возьмет: два раза по нем дулом проведешь, дашь помучиться, и тогда уже кончишь. Да не сразу, а так, чтобы помучился досыта. Бывало и так: увидит винтовку, и сейчас глаза закроет. Ну, такому крикнешь: «господин офицер, стыдно с закрытыми глазами умирать». И представьте себе: действовало!—обязательно посмотрит. Подраненных не позволял добивать: пускай почувствует...

Вообще отношение к взятым в плен красноармейцам со стороны добровольцев было ужасное. Распоряжения генерала Деникина на этот счет открыто нарушались и самого его за это называли «бабой». Жестокости иногда допускались такие, что самые заядлые фронтовики говорили о них с краской стыда.

Помню, один офицер из отряда Шкуро, из так-называемой «волчьей сотни», отличавшийся чудовищной свирепостью, сообщая мне подробности победы над бандами Махно, захватившими, кажется, Мариуполь, даже поперхнулся, когда назвал цифру расстрелянных, безоружных уже противников:

— Четыре тысячи!

Он попробовал смягчить жестокость сообщения:

— Ну, да ведь они тоже не репу сеют, когда попадешься к ним... Но все-таки...

И добавил вполголоса, чтобы не заметили его колебаний:

— О четырех тысячах не пишите... Еще, Бог знает, что про нас говорить станут... И без того собак вешают за все!..

Не так относились к зеленым.

К нам иногда заходил член военно-полевого суда, офицер—петербуржец. Совершенно лысый, не без фатовства слегка припадающий на правую ножку, с барским басом и изысканными манерами. Руки у него были выхоленные, как у женщины; лицо землистое, с мутными, словно плавающими в какой-то жидкости, мертвыми глазами и мертвой, застывшей улыбкой. Этот даже с известной гордостью повествовал о своих подвигах; когда выносили у него в суде смертный приговор, потирал от удовольствия свои холеные руки. Раз, когда приговорили к петле женщину, он прибежал ко мне, пьяный от радости.

— Наследство получили?

— Какое там!.. Первую, вы понимаете, первую сегодня!... Ночью вешать в тюрьме будут...

Помню его рассказ об интеллигенте—зеленом. Среди них попадались доктора, учителя, инженеры...

— Застукали его на слове «товарищ». Это он, милашка, мне говорит, когда пришли к нему с обыском. «Товарищ,—говорит,—вам что тут надо?» Добились, что он—организатор ихних шаек. Самый опасный тип. Правда, чтобы получить сознание, пришлось его слегка поджарить на вольном духу, как выражался когда-то мой повар. Сначала молчал: только скулы ворочаются; ну, потом само собой сознался, когда пятки у него подрумянились на мангале... Удивительный аппарат этот самый мангал!.. Распорядились с ним после этого по историческому образцу, по системе английских кавалеров. Посреди станицы врыли столб; привязали его повыше; обвили вокруг черепа веревку, сквозь веревку просунули кол и—кругообразное вращение! Долго пришлось крутить. Сначала он не понимал, что с ним делают; но скоро догадался и вырваться попробовал. Не тут-то было. А толпа,—я приказал всю станицу согнать для назидания,—смотрит, и не понимает, то же самое. Однако и эти раскусили, и было—в бега. Их в нагайки—остановили. Под конец солдаты отказались крутить; господа офицеры взялись. И вдруг слышим: крик!—черепная коробка хряснула—и кончено; сразу вся веревка покраснела, и повис он, как тряпка. Зрелище поучительное. И что же? В благодарность за даровой спектакль, подходит ко мне девица, совершенно простая, ножищи в грязи,—и харк мне в физиономию! Ну, я ее, рабу Божию, шашкой! Рядом с товарищем положили: жених и невеста, ха, ха, ха!

У воинского начальника, о котором я говорил в предыдущем очерке, был денщик «дядя Петра», как его все называли. Большой, тяжелый пожилой мужик, с самым обыкновенным мужицким лицом. Хмурый, жесткие солдатские усы, нос картофелиной, глаза детские. В первый раз, как я его увидел, он сидел у ворот на скамейке. Лицо задумчивое, печальное, а на коленях хорошенький мальчишечка в матроске. Оказалось, сын полковника, больной.

— Только дядя Петра и умеет его успокоить,—сказала мне мать ребенка.— Ему бы в сарафане ходить: так дети к нему льнут, что я даже ревновать начинаю... А ведь, представьте, красный, в плену!..

Про себя дядя Петра говорил:

— Все время в неволе—с самой войны. Сначала у немцев три года в шахтах работал и лошадью был, пахали они на нас... Домой пустили, опять мобилизовали, до деревни не дошел, и опять в плен. Ну, признаться, наши расстрелять перво-наперво хотели, да барин мой заступился, к себе взял. Ничего, житье хорошее, только бы домой вот!.. Ведь мы зубцовские сами; жена у меня, две коровы остались, ребята, поди, большие стали: шесть лет не виделись!..

Дядя Петра пригорюнился; потом сказал:

— Барыня наша,—она добрая,—красным меня дразнит. А мне—что красный, что голубой, все единственно: люди мы подневольные, господам подверженные; ведь и большевики, они нашего брата не очень-то милуют, только что товарищами называют...

И когда только вся эта канитель кончится? Али, когда перемрем все? Неужто и правда, что света конец настал?..

В Новороссийске было много красных пленных. Был, если не ошибаюсь, категорический приказ, чтобы их не убивали. В рваном холщевом белье, смирные, скучающие, они слонялись по базару, спали на пристанях. Вообще вели себя, как оторванные от всего привычного мужики. Многие из них не выдерживали голодовки,— кормили их отвратительно,—и вынужденной праздности, и уходили в горы, «в зеленые».

К зеленым население и серая солдатская масса добровольческой армии, и даже стражники, относились двойственно: и побаивались, и сочувствовали. Про них говорили:

— Нас они не тронут... Оружие действительно отберут... У буржуя одежду, которая лишняя, тоже возьмут... А так—народ даже очень обходительный...

Когда на расположенное неподалеку от города царское имение Абрау-Дюрсо, славившееся своим шампанским, напали незадолго до ликвидации добровольчества зеленые, гарнизон отдал им свои винтовки и пулеметы и дал ограбить контору. Отстреливался один офицер, начальник команды. Зеленых нападающих было тридцать; солдат—шестьдесят, и сидели они в хорошо укрепленной конторе имения...

Однажды в Новороссийске произошел скандал: осрамилась государственная стража. Переодетый агент контр-разведки арестовал на базаре «зеленого». Вынул из кармана револьвер и приказал ему итти впереди себя. Зеленый повиновался; потом внезапно обернулся и уложил агента наповал: револьвер был у него вероятно в рукаве шинели. Зеленый, как и обыкновенно, был одет в английскую шинель и фуражку, как и добровольцы. Поднялась суматоха; затрещали выстрелы; многих ранили,— ведь толпа!—а зеленый исчез. Говорили, что стража не особенно стремилась задержать его: умирать никому не охота—ни зеленому, ни стражнику.

Узнало об этом начальство и устроило генеральную порку. Всех стражников с базара собрали в комендантское и приказали им перепороть друг друга шомполами. Своеобразная это была картина. Стражники, усатые, нередко пожилые люди, спускали штаны, ложились, получали свои двадцать пять шомполов, и принимались на совесть драть своих палачей. Когда кончилась порка, им объявили:

— Завтра опять получите такую же порцию, если не доставите зеленого! Вы понимаете, что полицейский мундир замарали, вахлаки!

Вахлаки почесались и вышли. Двадцать пять шомполов—не шутка да и мундир опять. Словом, они были задеты за живое.

На другой день зеленый был приведен, связанный и основательно избитый. Какой это был зеленый и был ли он вообще зеленый, это составляло тайну восстанавливающих свою честь стражников. Начальству, конечно, было тоже все равно. Страже сказали, что они молодцы, а зеленого в тот же день судили и в ту же ночь повели расстреливать.

На суде зеленый держался удивительно хладнокровно; был вежлив с судьями и за смертный приговор поблагодарил—по традиции всех смертников. Члены суда решили, что он «идейный» большевик, и были довольны, что осудили может быть и не соответствующего, но все же безусловно опасного преступника.

На казнь его повели, связанного, десять человек. Утром они вернулись с «косы»—место, где расстреливали, на берегу залива,—и отрапортовали, что зеленый, пользуясь темнотой—бежал. Снова были пущены в дело шомпола; на этот раз безрезультатно. Стража стояла на своем: зги не было видно, напрасно только заряды потратили, стреляя в убегавшего. Дело было предано забвению.

Стража помалкивала. Честь полицейского мундира была восстановлена: зеленого они привели. А что убежал он, так что же удивительного? Может быть, и был он вовсе не зеленый!.. Да и что такое зеленый? Нынче зеленый, а завтра—надел английскую шинель и ходит по базару, охраняя общественную безопасность от зеленых по поручению начальства!

VIII.

Контр-разведка.

Контр-разведка в добровольческой армии была многообразна и многогранна. Она имела много различных наименований; разветлялась на множество учреждений; но имела некоторое единство в одном: большевики умело и удачно использовали ее, как верное прибежище для своих шпионов и агитаторов.

Шпионаж и контр-разведка на войне считаются необходимыми органами армий. В районе генерала Деникина контр-разведка представляла собой,—выражаясь словами Бурачка-старшего, «что-то отдельное», что-то ни с чем не сообразное, дикое, бесчестное, пьяное, беспутное. Главное командование, а вместе с ним и «Особое Совещание», т.-е. Правительство, с своей стороны, казалось, делали, что могли, чтобы окончательно разнуздать, распустить эту кромешную банду провокаторов и профессиональных убийц. Вот несколько иллюстраций, характеризующих деятельность контр-разведки «деда Антона», как звали Деникина в среде его подчиненных.

После занятия одного города в Крыму большевики расстреляли военного врача. Вскоре им пришлось очистить город в свою очередь. Вдова расстрелянного пошла и указала добровольческой контр-разведке убийц своего мужа. Их арестовали и «пустили в расход».

Город переходил из рук в руки несколько раз. Когда счастье снова улыбнулось красным, отмстившая за смерть мужа вдова собиралась эвакуироваться; но запоздала на пароход и вместе с двумя дочерьми, девушками-подростками, попала в руки авангарду большевиков. Вдову узнали и немедленно расстреляли на месте, а барышен посадили в тюрьму и там—«национализировали».

Вскоре после этого опять пришли добровольцы. Произошла обычная расправа с несчастными обывателями. Обесчещенных девушек выпустили из тюрьмы, обласкали, вознаградили, как могли. Несчастные твердо решили отмстить за мать и за себя. Однажды они опознали на улице одного из комиссаров, совершивших над ними гнусное насилие, и подняли крик. Комиссар был арестован, избит и отправлен в контр-

разведку. Через день барышни снова встретили его на улице; он нагло улыбнулся и галантно раскланялся со своими жертвами. Контр-разведка его выпустила; а начальство, к которому обращались барышни, только руками развело: это учреждение им не подведомственно, и, во всяком случае, вероятно, они ошиблись! Посоветовали забыть приключение в тюрьме и с контр-разведкой не ссориться..

В Новороссийске контр-разведкою называлось несколько учреждений; между прочим и уголовный розыск. Была другая контр-разведка, выдававшая пропуска отъезжающим, и другой уголовный розыск, ведавший всякие воровские дела. Где кончалось одно и начиналось другое учреждение, сказать не берусь: тут все переплелось и перемешалось.

Главная и должно быть подлинная контр-разведка помещалась на краю города, около так называемой «станички», за которой начинались горы и владения зеленых. Двор этого заведения, охраняемый часовыми, был почему-то всегда полон унылыми фигурами красных. Неподалеку находилась и тюрьма.

Говорили, что по ночам здесь слышались стоны и вопли; вообще было известно, что то, что творилось в застенках контр-разведки Новороссийска, напоминало самые мрачные времена средневековья.

Попасть в это страшное место, а оттуда в могилу, было как нельзя более легко. Стоило только какому-нибудь агенту обнаружить у счастливого обывателя района добровольческой армии достаточную по его, агента, понятию, сумму денег, и он мог учредить за ним охоту по всем правилам контр-разведывательного искусства. Мог просто пристрелить его в укромном местечке, сунуть в карман компрометирующий документ, грубейшую фальсификацию, и дело было сделано. Грабитель-агент, согласно законам, на сей предмет изданным, получал что-то около 80% из суммы, найденной при арестованном или убитом «комиссаре». Население было терроризовано и готово добровольно заплатить что угодно, лишь бы избавиться от привязавшегося «горохового пальто», не доводя дела до полицейского участка.

Выходило примерно так: вся обывательская масса в ее целом была «взята под сомнение» в смысле ее политической благонадежности; с другой стороны, существовало стоявшее—на подобие жены Цезаря!—выше подозрений фронтовое офицерство; а ним шли: контр-разведка, уголовный розыск, наконец государственная стража, действовавшие под охраной высших властей в полном единении с шайкой спекулянтов, грабителей и убийц. Все это сонмище, в конце концов погубившее добровольческую армию, было в равной мере опасно для населения «глубокого тыла»—по отношению к нему, сонмищу, абсолютно лишенному элементарных прав человека и гражданина.

Все, носившие английские шинели, и подобие погон, ходили в Новороссийске вооруженными до зубов; пускали в ход нагайки, револьверы и винтовки по всякому поводу и, как будто, никакой ответственности за это не подлежали. Ибо все остальное подозревалось в несочувствии, в измене добровольческому делу, в злостной спекуляции, большевистской и социалистической агитации, или хотя бы в «распространении ложных слухов» и принадлежности к «жидам».

Даже служившие в «пресс-бюро» и разъезжавшие в так называемых «агиопоездах» русские писатели, иногда довольно известные, и те ходили с револьверами у пояса. Я встретил известного поэта у входа в кафе Махно, во время происходившей там записи эвакуировавшихся англичанами офицерских семейств, с револьвером у пояса, сортировавшим публику...

Сверх всего этого в Новороссийске существовали тайные союзы офицеров, имевшие целью охрану жизни и достоинства офицерства. Эти союзы иногда проводили в жизнь постановления чисто террористические, и перед ними трепетали все, не исключая и самого ген. Деникина. Расправа с пом. главнокомандующего генералом Романовским в здании русского посольства в Константинополе после эвакуации

Новороссийска служит достаточной иллюстрацией для того, чтобы понять, что это было за учреждение.

Эта добровольческая «мафия» вынесла, например, постановление—не доводить до тюрьмы осужденных военными судами на смерть.

Государственная стража усмотрела в этом постановлении «разрешение на все» и начала действовать. Тем более, что состояла она преимущественно из профессиональных убийц, ингушей, лезгин, осетин.

В газету, где я работал, ежедневно попадали коротенькие заметки, получающиеся хроникером в полиции, об убийствах арестованных при препровождении в места заключения. Помещались эти заметки всегда под одинаковым заголовком: «неудавшийся побег». Первоначально заметки эти редактировались полицейскими протоколистами так: «при препровождении в тюрьму покушался бежать, за что был убит». Впоследствии такая редакция показалась конфузной начальству и была изменена следующим образом: «покушался бежать и, после троекратного оклика, был убит конвоем». Видимость закономерности была соблюдена, что требовалось: людей не убивали зря, а только после троекратного предупреждения, если таковое не помогало...

Отдел «неудавшихся побегов» удерживался в газете долго и закончился трагическим каламбуром военного губернатора.

Однажды мне принесли примерно такое сообщение. В один из участков государственной стражи, ночью, явился неизвестный, назвавшийся—большевиком-коммунистом. У этого двойного злоумышленника был при обыске найден паспорт и удостоверение датского консула «с явно подчищенной датой выдачи», как значилось в протоколе. Неизвестного повели в контр-разведку и по дороге убили,—вероятно, после троекратного оклика...

На другой день по напечатании этого сообщения, я получил «официальное опровержение» г. военного губернатора. Содержание этого любопытного документа было таково:

«В таком-то номере вашей газеты появилось несоответствующее истине сообщение. Неизвестный, назвавшийся большевиком-коммунистом, в действительности был конторщиком датской фирмы, большевиком же себя назвал потому, что, страдая возвратным тифом и находясь в бреду, незамеченный вышел на улицу и попал в участок».

Официальное опровержение имело в виду реабилитацию бредящего тифозного больного, убитого стражей вероятно только для того, «чтобы не возиться» с ним, и совершенно никак не реагировало на самый факт убийства нуждавшегося в помощи больного, не повинного ни в чем человека властями.

Опровержение вероятно показалось чересчур остроумным даже самому его автору, губернатору, потому что после этого полиция перестала сообщать об «неудавшихся побегах».

Я прожил в Новороссийске не долго. Однако при мне, за какие-нибудь три месяца, несколько раз сменяли комендантов в городе и начальников государственной стражи и обязательно с преданием суду: за лихоимство, за бездействие власти и другие преступления по службе. Заменявшее их новое начальство кончало тем же—такова должно быть была его «планида».

Поступивший при мне последний начальник стражи первым долгом приехал в редакцию знакомиться. Этим он, вероятно, желал демонстрировать свое уважение к гласности. Наружность нового начальника однако немного подгуляла: круглое, румяное лицо с небольшими, лихо подкрученными усами, масляные, вороватo шмыгающие глаза; общее выражение снисходительное и самодовольное. Типичнейший курощап! Чтобы не оставалось сомнений на этот счет, он в первую очередь сообщил, что «служил своему государю в полиции семнадцать лет, можно сказать всю нашу школу прошел»! Мне он объявил, что намерен беспощадно бороться с преступностью, со взяточничеством и прочими смертными грехами добрых полицейских служак.

Прощаясь с ним, я на всякий случай, как говорится, назвал ему свою фамилию. Он, сияя улыбкой, протестующе поднял руку:

— Фамилия не при чем: я вас узнаю теперь с первого взгляда. Если чем смогу быть полезен—милости просим в управление.

При этом он так выкатил на меня свои маслянистые глазки, что я едва удержался от улыбки.

В чем выражалась его борьба с преступностью, я не знаю. По-прежнему с наступлением темноты пощелкивали выстрелы на улицах; спекулянты и воры по-прежнему грабили и воровали в свое удовольствие; по-прежнему можно было за взятку получить отпущение вольных и невольных грехов и откупиться от всяких полицейских каверз. Но, как бы то ни было,—намерение нового начальника было несомненно не лишено искренности.

Я собирался уезжать в Крым, когда на Серебряковской, против редакции, был среди белого дня, не то что ограблен, а просто вывезен на подводах целый склад мануфактуры. По дороге на пристань я встретил катящего на извозчике начальника стражи. Он узнал меня и сделал ручкой; но потом раздумал, соскочил с пролетки и подбежал ко мне. Поздоровавшись, он спросил:

— Были?

То-есть на месте ограбления.

Я ответил, что был.

— Удивительные мерзавцы!—возмутился он.—Просто руки опускаются. Понимаете, бросают магазин, надеясь на какие-то там замки, а потом—полиция виновата!

Логика нового начальника была несокрушима: плохо не клади, вора в грех не вводи! Воистину, не легко ему было бороться с преступностью при такой путанице понятий...

Перед самым отъездом ко мне явился высокий благообразный господин в отличном пальто. Он отрекомендовался начальником контр-разведки и сказал, что пришел по официальному делу.

Приходилось разговаривать. Я спросил:

— Что вам угодно?

Он порылся в портфеле и ответил:

— Вопрос конфиденциальный... Какого направления была газета «Свободная Речь»?

Я разинул рот от изумления: «Свободная Речь» была официозом «Особого Совещания». А пока я сидел с разинутым ртом, начальник контр-разведки исследовал содержание моего стола и, не найдя ничего интересного, поднялся, вежливо откланялся и вышел вон.

Мне передавали, что с таким же визитом он являлся перед отъездом к моему заместителю по газете. Заметив на нем меховое пальто, он любезно осклабился:

— Вам вероятно известно, что меха вывозить нельзя?

Но шубу все-таки не тронул; вероятно, из уважения к гласности...

IX.

У большой воды.

Трагедия добровольчества подходила к своей естественной развязке. Кругом армии, обессиленной и не имевшей резервов, сосредоточивались со всех сторон враги. Глухо волновалась и уходила с фронта Кубань. Вражда к добровольцам еще более обострилась после поспешной казни одного из наиболее популярных членов Краевой Рады. Со стороны Грузии доходили раскаты пламенной ненависти к русским. Ни с чем уехала из ставки польская военная миссия, предлагавшая создать общий противо-большевистский фронт. Было сравнено с землей Гуляй-Поле, родина Махно, и крестьянские банды последнего жестоко мстили за своего «батька». Число-

зеленых, сорганизованных в целые армии, имевшие уже артиллерию, доходило только около Новороссийска до тридцати тысяч. Петлюра организовал своих украинцев против добровольческой армии; в это же самое время вспыхивали распри в сердце последней; начиналась борьба за распылявшуюся власть.

Но главное было все-таки—несочувствие населения. Что могли сделать красноречивые манифесты Деникина, когда в Валуйках плясал среди улицы с бутылкой в руках пьяный ген. Шкуро, приказывая хватать женщин, как во времена половецких набегов? Что могли поделать жалкие картинки «Освага», когда по тихим станицам Кубани развозили «для агитации» в стеклянных гробах замученных казаков; когда потерявшие голову генералы замораживали в степи целые армии, когда Екатеринослав был отдан ген. Корвин-Круковским на поток и разграбление, когда никто не мог быть уверен, что его не ограбят, не убьют без всяких оснований?!

Положение тщательно скрывали от населения. Вешали за распространение «ложных слухов». Но уже катилась от Курска, Харькова, Полтавы неудержимая волна беженцев; уже сдали Киев; восстание монархистов было в Крыму; уже поезд Деникина пришел из Таганрога в Екатеринодар; эвакуировались учреждения «Особого Совещания» и уезжали в Новороссийск иностранные миссии. Начиналась паника и связанная с нею жестокая, кровавая бестолочь. Величественное здание созданной патриотом Корниловым добровольческой армии рушилось, падало и грозило похоронить под своими обломками правых и виноватых.

Эвакуация Таганрога захватила меня в Екатеринодаре. Паника и бестолочь начинались и там. Квартирьеры правительственных учреждений захватили главную улицу города Красную. Выбрасывали целые магазины. В это самое время начальник гарнизона издал приказ, воспрещающий реквизицию. Да и сами учреждения не знали, куда они едут, где останутся. Уже начинало действовать двоевластие после вынужденного примирения с Кубанским правительством. Да, собственно говоря, не двоевластие, а безвластие, военный террор и бюрократическая анархия. Обыватели замерли в страхе, горя ненавистью к добровольцам. Те видели это и, с отчаянием сжимая в руках оружие, трепетали. Царили взаимное озлобление, вражда, предательство. Сказывались результаты произвола и хищничества. Железнодорожные власти продавали поезда правительственным учреждениям. Машинисты везли только за деньги и спирт, или с приставленными к их вискам револьверами. Нескончаемые вереницы пешеходов и экипажей, автомобилей и всадников тянулись по невылазной грязи дорог—к большой воде, к Новороссийску.

На ст. Екатеринодар я встретил дежурного генерала ставки Деникина. Он только что вышел из вагона, в котором приехал штаб—с дамами, с детьми, с собачонками. Я спросил, куда он едет. Дежурный генерал ответил:

— Я сам не знаю.

Для меня стало ясно, что все кончено.

Когда я вернулся, в Новороссийске свирепствовал генерал Корвин-Круковский; наделенный неограниченными полномочиями генералом Деникиным, беспробудно пьяный, сквернословящий, он был страшен. Отходившие к Новороссийску части задерживались перепуганным офицерством около станицы Крымской и жили грабежом. Слава Богу, что у Корвин-Круковского был трезвый адъютант, гуманный и умный человек и что непроспавшегося диктатора скоро догадались убрать.

Что-то невообразимое творилось «у большой воды». Улицы Новороссийска были переполнены офицерами с винтовками, с револьверами, с ручными гранатами. Растерянность и испуг их, однако, были таковы, что не будь в городе английских войск и английского броненосца за молом, какой-нибудь десяток головорезов захватил бы власть без сопротивления. И это, несмотря на то, что по ночам ходили по улицам караульные офицерские роты с песнями...

Никто не знал, где находился фронт. Слухи ходили самые невероятные. Ждали высадки 50.000 сербских войск и жаловались на французов, которые их будто бы

не пускают. Ждали, что город возьмут зеленые. Офицеры решили в случае катастрофы силой оружия захватить пароходы, стоявшие в порту, и перебить всех штатских, которые захотят спасаться с ними вместе. На улицу было опасно выходить: был издан приказ о мобилизации для рытья окопов всех мужчин до 54 лет, и полиция использовала его по-своему. Людей хватали и заставляли откупаться. Нашего сотрудника начальник стражи,—тот самый, который захватил в самой канцелярии военного губернатора и его спас только правитель канцелярии,—схватил за руку и втащил к себе в кабинет, где тот и отсиделся.

На Стандарте, в рабочей слободке, около заводов, уже не стесняясь, действовали большевистские агитаторы. Собиравшиеся кучками оборванцы, пленные красные, посматривали на проходящих весьма недвусмысленно. Работаешь в редакции вечером, случайно подымешь голову, а в окно тебе показывают кулак или револьвер.

В Новороссийск, к «большой воде», начинался слет ученых, писателей, государственных и общественных деятелей—этих пасынков добровольческой армии—под град сыпавшихся на них нареканий, среди невыносимых условий, буквально голодая, делая свое дело, покидая оставляемые города последними, часто бросаемые на произвол судьбы, даже предаваемые.

В редакции небольшой провинциальной газеты, где я работал, появились знаменитые писатели, редакторы толстых журналов, люди с мировой известностью. Наскоро был создан союз литераторов и ученых, касса взаимопомощи, бюро для регистрации. Союз начал, через известного английского журналиста, г. Г. Виллиамс, хлопоты перед британскими властями о спасении русской интеллигенции, которую, конечно, бросили бы иначе на гибель.

«Осваг», оскандалившийся и формально уже упраздненный, продолжал заявлять о своем существовании обычной буффонадой. Так была расклеена афиша:

«Вниманию отъезжающих за границу. Спешите записываться в очередь к позорному столбу в день торжества России».

На иностранных пароходах сидели в ожидании отплытия спекулянты и шакалы; рекой лилось шампанское.

Однажды в редакцию ворвался господин высокого роста, в дворянской фуражке, с седыми лакейскими баками. Отворив дверь, он спросил:

— Эта какая газета? Суворинская?

Ему ответили:

— Нет.

Он крикнул:

— Я так и знал, что жидовская!

И хлопнул дверью. Это был В. М. Пуришкевич. Через несколько дней он умер от тифа.

Работать было почти невозможно. Настроение у прибывающих журналистов и писателей было нервное: все они желали писать, садились к столу, но ничего не выходило. Все сбились с толку, потеряли способность думать о чем-либо, кроме спасения.

Однажды вечером в редакцию вошел высокий, немного сутуловатый человек в барашковом пальто, с коротко остриженной головой, с небольшой бородкой клинушком, и окинул всех смелым, слегка насмешливым взглядом умных глаз из-под золотых очков. Это был В. Л. Бурцев.

Его узнали; засуетились; усадили к столу. Вл. Львович, только-что сошедший с парохода, сел и, улыбнувшись довольно грустно, сказал:

— Услышал, что тут делается, и прилетел... Где теперь Деникин?

На другой день он уехал в ставку.

Не знаю почему, но приезд в Новороссийск, в этот стан погибающего добровольчества, В. Л. Бурцева подействовал необыкновенно ободряюще. Вспыхнула вера в себя, надежда затеплилась в сердцах. Бурцев приехал, будет в Ставке, значит еще не все кончено.

Говорили:

— Славный, смелый старик! Вероятно, он там узнал что-нибудь такое в Париже... Разве он поехал бы сюда, если бы была опасность! Да, были бы мы теперь в Париже, калачем сюда не заманили бы!.. Наверное что-нибудь есть... Ведь не дурак же он на самом деле?!

По ночам наша редакция превращалась в ночлежку. Ночевали на столах, под столами,—всюду, куда было можно лечь,—писатели, дамы; даже бездомные солдаты и офицеры. Однажды выпросился переночевать начальник какого-то танкового дивизиона с несколькими солдатами и инструкторами. Свою семью и танки он оставил в ст. Крымской. Инженер по образованию, он мечтал устроиться кочегаром на иностранный пароход и бежать. Настроение этого офицера было удивительное. Он рассказал:

— Еду сегодня в вагоне. Рядом со мной уселся жид. Отвратительная жирная морда. На руке перстень с громадным бриллиантом. Его счастье, что скандала не хотелось; а я уж ощупал было револьвер в кармане... Ведь я все потерял, а у меня вальцовая мельница была около Полтавы... Разве я не в праве вознаградить себя, ну... хоть за счет бриллианта этой акулы?

Узнав, что я в этот день купил несколько английских фунтов,—к нам постоянно заходили иностранные офицеры менять валюту,—он насторожился, даже приподнялся с постели, и спросил:

— У вас есть валюта?!

И только увидев мою жалкую «валюту», состоявшую из трех фунтов и пятнадцати франков, сказал:

— А я думал!..

И успокоился, не сказав, что он «думал».

Чтобы охарактеризовать несколько общее настроение, я приведу еще небольшой случай.

Зашел к нам молоденький, очень возбужденный офицер. Он рассказал:

— Ростов обратно взяли. Никаких большевиков не было!.. Все враки и жидовская провокация. Взбунтовались только местные рабочие. Мы их успокоили. Я сам вешал: по новому способу. Возьмешь двоих, накинешь петли и через перекладинку: так они друг друга и удавят!..

Был он очень истощен, весь в грязи и походил на сумасшедшего. Этот победитель шел от усмиренного им Ростова пешком и двое суток стоял у какого-то моста, дожидаясь, когда можно будет пройти: по мосту тянулась кавалерия, везли орудия, обозы. Пешеходов сталкивали в воду—чтобы не путались под ногами.

— Едва не умер с голоду. Какой-то солдат ел огурец с хлебом, пожалел: отдал половину огурца...

Но—в обратное взятие Ростова все-таки поверили...

Ужасную ночь мы провели накануне нашего, старого стиля, нового года. Голубые огни прожекторов с кораблей пронизывали густой туман, нависший над городом. Над нами встречала новый год государственная стража, бежавшая из города Изюма. Пьяные голоса горланили «Боже, царя храни». Потом началась пальба.

Пальба была по всему городу. Сначала стреляли пьяные—для встречи Нового Года. Дежурная офицерская рота приняла стрельбу за нападение зеленых, вышла и открыла по пьяным огонь пачками. Пьяные отвечали. На утро я видел, что все стены на Серебряковской были испещрены пулями.

В редакции на этот раз мы ночевали одни, я и товарищ мой Г., с нашими женами. Под Новый Год у нас не было хлеба. В тесной каморке, куда-то ушедшего идиота-сторожа, мы сидели на кипах бумаги, на покрытой паразитами постели сторожа. Из-за стрельбы было погашено электричество. Возились и дрались в темной редакции крысы. Жутко было. Прошлое вспомнилось; иные радостные, шумные встречи Нового Года. Никому не хотелось говорить.

И вдруг я слышу в потемках негромкий, слегка простуженный голос Г.

— А знаешь Гриша,—это он меня так называл, хотя я вовсе не Гриша.—Знаешь, Гриша, что мне вот сейчас пришло в голову?

Я отозвался:

— Говори.

— Пришло в голову, что если бы мы, газетчики, не трусили, если бы мы писали всю правду, не боясь ни тюрьмы, ни пыток, то не пропало бы так ни за что все это дело!..

Милый, наивный товарищ! Как теперь слышу этот хриплый голос, эти простые, святые слова самоосуждения гонимого, бессильного, бесправного работника печати... Что могла бы сделать, кому могла бы помочь наша с тобою «правда»?

Тогда, я помню, сказал что-то неопределенное и промолчал. И до рассвета просидели мы, все четверо, молча.

Другие этого не говорили. Другие были готовы обвинять все и вся, за исключением себя одних. Они проклинали Россию, проклинали большевиков, проклинали неповинный, залитый собственной кровью, народ, проклинали иностранцев. Полные злобы и отчаяния, полные недоверия ко всем, полные вражды, они строили самые невероятные планы спасения, эти проповедники, учители жизни, спасовавшие в свой черный час. Я знаю, что многие из них потом опомнились и мужественно оставались на своих постах до последней минуты. Но благородного порыва простого, маленького газетного работника они не повторили. И, если б могли повторить—не погибло бы начатое Лавром Корниловым дело!

На другой день делегаты нашего союза ездили к польскому консулу—вести переговоры об эвакуации на зафрахтованном им для подданных Речи Посполитой пароходе. По дороге у них убили на козлах извозчика. Они вернулись ни с чем. Приходилось думать каждому за себя.

Тогда я пошел в открывшееся рядом с редакцией в опустевшем «кафе Махно» английское эвакуационное бюро для семейств офицеров и записался. Ждать было нечего.

На утро нас разбудила орудийная пальба. Говорили, что большевики прошли г. Тоннельную, последний оплот Новороссийска, где тогда рыли окопы. Это была обычная ложь. К вечеру выяснилось, что зеленые заняли Геленджик, и что с моря их обстреливает французский миноносец.

Ночью я уложил свои пожитки, а чуть свет—отправился в город за извозчиком. Дрогаль, молодой малый, был очевидно в курсе дела:

— На «Ганновер»? Как не знать! Давай полторы тысячи!..

Одним ночлежником в редакции стало меньше.

X.

На «Ганновере».

Глухо доносилась орудийная пальба из-за мола. Горы стали серые, траурные, к вершинам их плотно прилегали клочья облаков—верный признак норд-оста.. Мрачно нахмурились горы и сурово смотрели на лизавшие их каменные подножья волны. Чайки кричали и кувыркались, прыгало стадо дельфинов; крепчал ветер и на «Ганновере» гордо трепался национальный английский флаг. Красная труба высоко вздымалась над стальным кузовом громадного парохода.

Рослые, чисто-выбритые, прекрасно одетые английские «томи» с примкнутыми к коротеньким винтовкам штыками стояли у пристани пропуская по очереди прибывающие «офицерские семьи» на «Ганновер». Ни толкотни, ни давки; все действовало как хорошо налаженная машина, подавляя своим спокойствием и размеренностью. Чувствовалось, что начинается что-то новое, непривычное.

Бесконечные ряды подвод, фаэтонов, автомобилей вытянулись вдоль берега. Здесь шла озлобленная руготня; визжала какая-то дама; ругались матерно наводящие порядок полицейские.

Оборванные, вымокшие рабочие выгружали багаж в стоявшие на путях пристани вагоны. Вагоны подкатывали к пароходу; и легко и быстро поднимались сундуки и чемоданы в объемистых веревочных сетках, которые бесшумно опускались в глубокие трюмы «Ганновера».

У трапа стояли наши контр-разведчики, проверяя документы; за ними английский контроль зорко вглядывался в лица проходящих. Ирландец в берете и с ружьем пропускал пассажиров наверх, где их встречал часовой, молча откидывая винтовку и снова загораживая ею проход к трапу.

На скользкой, мокрой от дождя палубе нас встретил краснощекий матрос, подхватил багаж и повел мимо бесчисленных дверей и окон классных помещений, мимо паровых лебедок, якорных цепей и вентиляторов.

Проходя мимо знакомого полковника с запрятанным в штаны протезом вместо ноги, я услышал сердитый шопот:

— Уже послана жалоба Деникину на этих подлецов! Понимаете, простой солдат-часовой толкнул в грудь генерала. Комендант написал рапорт, хотел отвезти в город и, представьте, самого не пустили... Коменданта!

Я остановился; спросил:

— Какого коменданта вы говорите?

Полковник удивился:

— Разумеется, русского—коменданта парохода!

По крутой, скользкой лестнице спустились вслед за матросом вниз. Удивительное зрелище представлял этот трюм парохода «Ганновер».

Это было громадное помещение с железными стенами, с железным потолком и железными двухэтажными нарами, между которыми шли узкие проходы. Свет слабо проникал сквозь тусклые стекла иллюминаторов: горело несколько электрических лампочек. Среди сваленных в беспорядке дорожных корзин, картонок, сундуков, узлов, копошились дамы в каракулевых саках; какие-то старушки с собачонками; генералы, статские, военные на костылях, мамки с ревущими ребятами. Все это металось, перегруживалось, плакало, грозилось кому-то жаловаться.

Этот трюм «Ганновера», в котором мне предстояло плыть с «офицерскими семьями» на Принцевы Острова, сразу напомнил мне знаменитый ночлежный дом имени Ляпина в Москве, который недаром называли «броненосцем». Те же железные нары, тот же яростный галдеж, та же бестелость толпы. Только там лотошили московские золоторотцы, а здесь «интеллигенция». Когда мы пришли, все койки были уже заняты положенными на них вещами. Хоть уходи назад; но провожавший нас «джонни», как называют английских моряков, очевидно знал, что надо делать. Он преспокойно опустил нашу корзину на модную шляпу, занимавшую пустую койку и сказал, посмотревши на номер нашего билета:

— That is your place! [1])

Он ушел; я взобрался на свое место на втором этаже и начал наблюдать за происходившим.

Каждый, спускавшийся в трюм, сначала растерянно оглядывался, потом как сумасшедший бросался на первую попавшуюся койку, валился на нее животом, на другую бросал картонку, на третью узел и вопил при этом, точно его резали:

— Сюда, сюда, Ниночка, Жора, сюда, Маруся! Федор Адамович, да занимай же скорее место напротив, чего ты ворон считаешь!..

На одну койку сажали плачущего ребенка; на другую привязали цепочкой собачонку с испуганной мордочкой и дыбом стоящей шерстью.

---

[1]) Это ваше место.

Всюду ругались люди.

— К чортовой матери собак! Детей положить некуда!

— Ступай сам к чортовой матери, большевик!—с достоинством отвечала на это владелица собаки, попыхивая папиросной.

— Мадам, я корпусный командир!..

— Я сама полковница!..

Больше всех надрывался и кричал уже взявшийся откуда-то «комендант трюма», какой-то худой, усатый господин с полковничьими погонами; он бегал от койки к койке, утирал красным платком градом катившийся со лба пот, клялся, что все «перетрется и устроится, когда отойдем»; дамы хватались за него, как за последнее спасение, что-то кричали, он вырывался, бледный, возбужденный, и бросался дальше. Сбрасывал чемоданы, с мольбой складывал на груди руки; какая-то собачонка уже успела укусить его за руку, какая-то нянька кричала плачущим голосом:

— Барыня, барыня, смотрите, что делает! Родимые. Неличку за ногу ухватил! Ах. ты каторжник!

— Вы не имеете права! У меня муж...

Плакали дети, жалобно и беспомощно, как плачут дети.

На всю суматоху и бестолочь, без улыбки, с серьезными бритыми лицами смотрело несколько чопорных английских офицеров в коротких, с золотым галуном, тужурках. Один из них остановил проходившего мимо сбитого с толку «томми» и вместе с ним решительно двинулся в самую гущу орущих барынь, лающих собак, кого-то распекающих генералов, плачущих детей—и в какие-нибудь четверть часа водворил порядок. Все получили места, при чем множество коек оказалось свободными.

— Всегда у нас так,—сняв фуражку и тяжело отдуваясь, ворчал комендант.— Народ, а еще—«интеллигенция»! Хуже готтентотов!..

Начали устраиваться. Дамы помоложе тотчас же достали кокетливые пеньюары, чепчики с лентами; на серых солдатских одеялах коек появились текинские ковры; между местами заколыхались простыни, ситцевые занавески. Скоро многие пассажиры улеглись с сигаретками в зубах в живописных позах на голубом и розовом атласе, обшитом прошивками и кружевом. Матери и няньки забегали с горшочками, выплескивая их содержимое в иллюминаторы. Капризный голосок затянул:

— Мама, чаю хочу, чаю!..

В трюме было ужасно холодно: во время стоянки в трубы не пускали пар. Первые заметили это дамы в пеньюарах. Послышались негодующие возгласы:

— Чорт знает что! Мы не позволим! Ведь это хлев, а не пароход! Должны были предупредить. Мы бы не поехали. Да где же комендант?

Комендант опять заметался. На его счастье в трюм спустился какой-то пожилой англичанин с трубкой в зубах. Комендант схватил его за руку, подтащил к батарее отопления и, показывая в воздух руками, кричал ему в ухо:

— Пар, пар! Вы понимаете—пар!

Англичанин смотрел на него благосклонно и попыхивал трубкой. Потом похлопал его по плечу и сказал:

— Карошо? Добро!

И, кивнув ему головой, ушел, попыхивая трубкой.

Комендант бессмысленно улыбался, глядя ему вслед. Вдруг какой-то старенький генерал с Владимиром на шее поднялся с корзины, на которой он до тех пор сидел, смиренно кушая бутерброд; поднялся и крикнул:

— Господа, да какой же он комендант, когда он по-английски не понимает?!

Однако усатый полковник запротестовал и с достоинством доложил его превосходительству, что его назначил русский комендант парохода. Раздались голоса:

— А коменданта парохода кто назначил? Им бы только хапать!..

— Здесь не на берегу, здесь мы сами коменданты!.. Мы протестуем!..

Наконец появился комендант парохода, маленький, приседистый, краснолицый генерал. Хриповатым, жирным, словно бульдожьим баском, он обратился к шумевшим пассажирам:

— Прошу успокоиться... Пар пустят, когда тронется пароход... Полковник, я прошу сообщать о тех, кто позволяет себе беспорядки!..

Генерал, очевидно, умел разговаривать с взволнованными людьми. Весь трюм моментально умолк. Полковник сделал под козырек и сказал:

— Слушаю, ваше превосходительство!

И с торжеством посмотрел на притихших пассажиров:

— Что—взяли?

Генерал с достоинством удалился. Впоследствии оказалось, что комендантом парохода он сам себя назначил; и за это всю дорогу ехал в каюте второго класса, а не в трюме, пользуясь всеми прерогативами законной власти.

От холода заткнули иллюминаторы подушками, пеленками, тряпками. От этого не сделалось теплее, но стало темно. Давал себя чувствовать голод. Вскоре, однако, комендант трюма объявил:

— Прошу обратить внимание: в шесть часов дадут чай и бутерброды. Горячий обед завтра!

Когда совсем стемнело, несколько молоденьких «томми» принесли большой, дымящий паром, котел с приготовленным по-английски, прямо с молоком и сахаром, чаем и несколько лотков с бутербродами. Увидев, что принесли ужин, пассажиры бросились все разом, с такой дикой жадностью, что «томми» попятился назад.

Началась сцена, на которую было стыдно и больно смотреть. Около бутербродов поднялась свалка. Их вырывали друг у друга, обливались чаем, пробовали и с отвращением выплескивали обратно в котел. Кричали:

— Что это за бурду принесли? Почему не предупредили, что будут кормить, как свиней?!

Но кружки продолжали вырывать друг у друга; запихивали бутерброды в рот, совали в карманы, и с полными ртами кричали:

— Женя, да чего же ты стоишь столбом! Бери на троих!.. Куда вы без очереди лезете, мадам? Вы думаете, я не вижу, что вы в третий раз?!.

Потом из корзинок, баулов, мешков стали появляться огромные хлебы, домашнее печенье, малороссийская колбаса, жареные индейки. Молчание воцарилось во всем трюме. «Томми» жалостно поглядывали на голодных людей, предлагали принести еще чаю. Давали шоколад детям.

Начали укладываться; и опять брань, жалобы, угрозы донести начальству, что тюфяки жесткие, что нечем дышать, что дут какие-то мужики, что так невозможно. Наконец угомонились и заснули.

Ночью в трюм спустились английские доктора и дежурный вахтенный офицер. Они открыли все иллюминаторы—в трюме стоял такой «дух», что тошнило! Я видел, как, проходя по узким коридорам между койками, они с недоумением смотрели на валявшиеся на полу бутерброды, куски сыру, консервов. После пришли «томми» с вениками и совками и выбросили все это в море.

Я не мог заснуть; поднялся и вышел на палубу. Норд-ост уже разыгрывался. Палуба была засыпана снегом; в воздухе, под черной водой трепалась под яростными порывами ветра белая пелена падающих хлопьев. Быстро неслись обрывки туч по черному, беззвездному небу; голубой луч прожектора ложился попеременно на тучи и на волны, хлеставшие уже довольно сильно о стальные борты «Ганновера». Со стороны Геленджика бухали тяжелые орудия: словно вздыхал в горах какой-то великан, тяжело сотрясая ночной воздух. Новороссийска не было видно. Одиночные огоньки мелькали кое-где сквозь снежную пелену. Все было мертво. Но чудилась во всем этом жуткая жизнь. Что-то насторожилось и припалось в потемках, большое, хищное, злое. И вдруг острая жалость к этому темному городу к беспредельным просторам,

расстилавшимся за ним, охватила сердце нестерпимою болью. Хотелось охватить руками эти околдованные чарами смерти просторы с потерявшимися в них спящими деревушками, городами, с миллионами истерзанных людей!.. А свирепый норд-ост свистел в снастях, гнал по небу обрывки туч и кружил по мокрой палубе снег.

Внизу, разметавшись, спали женщины, дети, инвалиды, старые, важные даже во сне, генералы. Слышалось сонное бормотание, храп. Пар пустили, и в трюме стало тепло. Кто-то уже успел закрыть все иллюминаторы.

Мне с моей верхней койки было видно все это становище беспокойно спящих людей. Изгнанники, что их ждет там, где за белеющим молом бешено скачут волны, где мрак закрывает просторы, таящие мрачное будущее?..

Вечером на другой день к «Ганноверу», суетливо сопя, подошел небольшой черный буксир и потащил оторвавшегося от стенки дебаркадера гиганта за мол, в открытое море.

Смеркалось; мимо проплыли «справляющие революцию» темные заводы. Метель выла в горах, а тучи все еще плотно прижимались к вершинам, скрывая от глаз домик «гастронома». Вот и часовой в лохматой папахе на конце мола. Прошел весь залитый огнями серый дредноут с белым адмиральским флагом. И уже свободно катились вдаль широкие волны, не встречая преград. «Ганновер», слегка покачиваясь и высоко разбрасывая холодную соленую воду, шел полным ходом. Борта облепили машущие неизвестно кому белыми платками эмигранты. Многие плакали навзрыд. Надвигалась с востока черная мгла.

Критика и библиография

Л. Сайфуллина. — Перегной (повесть), изд. «Сибирские Огни», Ново-Николаевск 1923 г. Тоже — из-во «Круг», Москва — Петербург 1923 г.

Наша современная литература, по преимуществу бытовая литература, стремящаяся—по мере умения, наблюдательности и сродства с революцией — показать (и только показать) чудодейственный процесс напластования черноземных глыб будущего.

Л. Сейфуллина — имя новое и свежее (ибо она—от жизнетворящего чернозема революции) — примыкает к плеяде все тех же писателей-бытовиков, и, притом, к числу лучших из них, к числу подлинных (т.-е. немногочисленных) мастеров современного слова. Но, оставаясь типичным бытовиком, Сейфуллина в то же время мастерство изобразительности сочетает с глубиной взгляда, с отточенной логичностью художественного доказательства изображаемого, с законченными—непосредственно из доказательств вытекающими — выводами. Отсюда—не только ее глубина и свежесть (свежесть и глубина хрустального таежного родника), не только отсутствие в ее творчестве анекдотизма (хотя бы и узорного), но и подлинная, не искаженная современность, народность (в ее революционном смысле) и истинно - революционный закал.

Сейфуллина—безусловно значительное явление современной литературы. Безусловный талант. И если, как бытовик, она примыкает к числу лучших мастеров современности, то внешняя манера ее письма — суховатый, сжатый, бережно-скупой, но радужно-красочный, умело отгравированный язык приближает ее к мастерам старым, к мастерам непревзойденных возможностей и сил. Ее творчество не отблескивает купальскими огнями и фейерверочно-нервными вспышками словесной изломанности; на нем лежит тихий, ровный, спокойный свет — свидетельство уверенности, твердости и целостности.

Есть у Сейфуллиной и недостатки: узость захвата, частичная шероховатость, беглость и скомканность. В этом отношении показательны две ее повести: «Четыре главы» и «Александр Македонский», вполне справедливо исключенные при переиздании книги издательством «Круг».

В «Четырех главах» развернута история деревенской девушки, ставшей актрисой — Анны Николаевны и Владимира Степанова — политического ссыльного, в детстве воспитывавшегося вместе с Анной Николаевной и, при встрече через 15 лет, сделавшего ей предложение. Предложение отвергается: А. Н. сходится с фабрикантом-золотопромышленником После его смерти начинает грустить о Владимире. Теперь отвергает Владимир. В революцию (картины революции в сибирской глуши, как и бытовые картины сибирской деревни — избиение цыган и т. д., показаны, между прочим, мастерски) — А. Н. входит в Р. К. П., перерождаясь в женщину силы, идеи и борьбы. Но борьба и сила подернуты все той же зыбью романтики (любви к Степанову) и перерождение, как и психологическое об'яснение перерождения, получились у Сейфуллиной и малоубедительными, и недоказательными, и невыдержанными.

Невыдержана и другая повесть («Александр Македонский»), сопровожденная типично-провинциальным подзаголовком «эскизной повести». Здесь—забитый кон-

торщик, «малый» человек — потомок «униженных и оскорбленных» Достоевского, также—и опять в силу чисто случайных причин — вступивший в партию. Опять бегло, недоговорено, запутано и неубедительно. Но и в этой повести есть подкупающие места и подкупающие силуэты. Таков силуэт Лизаньки — дочери Македонского, к сожалению, только набросанный и намеченный. А о ней — именно о ней — и надо было рассказывать.

Зато неизмеримо богатство трех остальных вещей—«Ноев ковчег», «Правонарушители» и «Перегной».

«Ноев Ковчег», — это гостиница, в которой собраны самые разнообразные обитатели, от бывшего помещика - жуира Холодковского, до коммунистов — Шереметева, Стеценко и Тарасова и «тихих идиотов»—по выражению Шереметева— с.-р. «Пары чистых и нечистых». В гостинице бурлят политические диспуты, разыгрывается драма Холодковского, впоследствии арестованного и растрелянного (об этом рассказывается у Сейфуллиной просто, хладнокровно и естественно, как о бытовой детали революции), концентрируется, сгущается тревога, охватившая город при приближении казаков. Приближение казаков — горячие митинги, звездное зарево красных знамен, призывные, трепетные, как и знамена, речи—все это у Сейфуллиной живое, наше, революционно-родное, близкое. Отдельные моменты осады города,— донесение о смерти Стеценко, ночь в монастыре (правдиво-жуток образ фанатичной старухи — Феклуши) зарисованы с тем чувством меры, с той зоркостью и тем бестенденциозным и правдиво-искренним оттенком, на которые способен только истинный художник.

Художественность Сейфуллиной, не самодовлеющая, а чувствуемая в каждом слове и каждым словом оправдываемая, достигает своей образцовой полновесности в повести «Перегной» — несомненно лучшей ее вещи. В повести очерчены деревня, первые революционные дни, классовой водораздел и дифференциация крестьянства, показанные, как следствие рассказа, как непременный знаменатель художественно-логического развития действия.

Построена повесть очень просто, жизненно просто, без бенгальских огней эффекта, без тени надуманности и кокетства со словом. Характеристики героев коротки и живы: у Сейфуллиной меткий, точный, безошибочный резец.

В центре повести представители двух миров: солдат — большевик Софрон — настоящее деревни и староста Жиганов—ее прошлое.

Софрон опирается на гранитный массив крестьян - безземельников и малоземельников, Жиганов — на деревенских землевладельцев и зажиточных сектантов (баптистов).

В повести много незабываемых эпизодов ломки навозной целины рабского быта, много отрицательных (но н е и з б е ж н ы х) подробностей, сопровождающих эту ломку. В этом смысле особенно показательна сцена с доктором, поселившимся в б. усадьбе, сразу сошедшимся с баптистами и убитым вместе с женой [illegible]стьянами-большевиками, предводите[illegible]емыми Софроном. Убийство ко[illegible]ое, ненужное, лишнее убийство. И, все-таки, не случайное. Оно обусловлено обстановкой — близостью белогвардейцев (при приходе, они не только замучили Софрона и его товарищей, но и вспороли живот его беременной жене) и произведено во имя з а щ и т ы р е в о л ю ц и и. Правда, здесь сыграла роль наивная мнительность—подозрение в сношениях доктора с казаками через посредство громоотвода, но и это обстоятельство имеет свою искупающую причину: ту вековую темноту, в которой держало деревню прошлое и которую разрушила только р е в о л ю ц и я.

Отрицать отдельные (пусть и ненужные) случаи убийства — бессмысленно и бесцельно: не надо ни стыдливых оправданий, ни исторической неточности—оправдываться не в чем и скрывать не за чем. Лучше жестокая правда революции — великой жизнеподательницы м и л л и о н о в, чем ненужная драпировка залитых кровью баррикад.

И тем более удивительно, что в издании «Круга», глава, посвященная убий-

ству доктора, опущена целиком. Личность Софрона выходит неполной и не законченной, а действие—смятым.

Нет, эту кошмарную сцену мы, все же, предпочтем сходной (отчасти) сцене у Замятина, в «Сподручнице грешных»[1]), где мужики, пришедшие к игуменье, с целью убийства, под влиянием сладкого пирога и ласкового голоса отказались не только от убийства, но и от первородного революционного сознания.

А революционное сознание, сознание классовости, как орудия борьбы—основная особенность «Перегноя».

Фигура Софрона, символа непримиримо-стихийной классовости, особенно удалась Сейфуллиной. Его характеристика не испорчена и с чисто-личным началом: любовью к учительнице, Антонине Николаевне, символу мещанской пошлости, за белой кисеей стыдливости скрывшей шантанную татуировку разврата. Любовь Софрона, оттолкнувшая его от жены, кончается глубоким разочарованием—изменой А. Н. Измена приводит Софрона снова к жене, олицетворению деревенской силы и непосредственности—к силе исцеляющей земли.

А земле, земной красоте в повести уделены одни из ее ценнейших страниц.

Описание сенокоса—подлинного славословия коллективному труду — напоминает лучшие вещи Горького, в частности сцену разгрузки дровяной барки в его «автобиографических рассказах». Что же касается пейзажа, то он у Сейфуллиной, как и все, сжат, короток, но и душисто-свеж: свежестью степного ветра и брусничных просторов тайги. В ее пейзаже нет сантиментальной ласковости; скорее — холодок: мраморный холодок росного ландыша.

Свежесть, росистая свежесть и молодость—неизменные спутники творчества Сейфуллиной. Не оттого ли так хороши в ее произведениях дети—Ванька—сын Софрона (в «Перегное») и Гришка—в удивительно-живом рассказе «Правонарушители»? Сейфуллина не только знает тайники детской психологии, но умеет рассмотреть в ребенке и будущего нового человека-строителя (Ванька), и художественно проследить внутреннее — под влиянием воспитательных условий—преображение Гришки-«правонарушителя».

Талант Сейфуллиной многообразен, разносторонен и самобытен. В ней нет ни подражательности, ни чьего либо определенного влияния. Она—от чернозема революции, от нового, нарождающегося быта. Быт—ее литературный путь. Простота—ее знамя. На этом знамени излишни и тонкое кружево символики, и драгоценные жемчуга образности.

Свежесть утренних сопок, ветер полудиких степей, хмель степного здоровья и жизнерадостности — такова должна быть оправа дальнейшего ее творчества.

Чистый таежный родник, родник-зеркало, отразивший кряжистого завоевателя земли, могучего золотоискателя будущего—такой должна быть внутренняя суть ее будущих книг.

Ник. Смирнов.

[1]) Альманах «Пересвет», № 2, 1922 г.

Н. Никандров. Береговой ветер. Рассказы. Новая Москва, 1923 г., стр. 130.

Никандрову вначале не веришь: слишком много звериного видит он в человеке. Потом, вчитываясь глубже, признаешь спокойную правду и отчетливую точность его художественных построений. Правда, порой животная сторона в поведении и жестах его героев обведена слишком заметными линиями:

«Санька, сверкая белками, глянул на него так, как собака, гложущая кость, смотрит на своего соперника.

— Да,—буркнул он, с набитым ртом и сладкими щеками,—у кого какой характер..!» (19).

«Юрка торопился, точно ел на железнодорожной станции, рычал и собачьими глазами косился на чужие тарелки» (51).

«Когда подали сладкое, румяную бабку..., наступило продолжительное молчание. Каждый, с хищным выражением, как кошка, треплющая живого воробья, смотрел в собственную тарелку и, как бы на случай нападения неприятеля, крепко сжимал в пятерне вилку...» (55).

«Отец, весь устремленный на письмо, держа его впереди себя обеими ру-

ками, ревниво уносил к себе, в свой угол. Мать и дочь подчиненно плелись за ним, как собаки» (123).

Но за этими резкими, зоологическими сравнениями, смягчая их остроту, стоит и господствует основной метод художественного восприятия Никандрова, общий тон изображения жизни, раз-на-всегда усвоенный Никандровым. Мы оцениваем этот метод, как биологический. Как натуралист, естествоиспытатель, без предвзятых идей и гуманистического шаблона, с чистым и точным непосредственным созерцанием подходит Никандров к жизни человека, к природе и зарисовывает ту и другую, как видит, как она есть,—почти протокольно, бесстрастно, спокойно и четко. Никандров—чистейший созерцатель, биологосозерцатель. Он воспринимает и изображает человеческую жизнь в аспекте ее простейшего, звериного,—берет ли он эту жизнь в природе или в стенах жилья, одного ли героя или целую массу, ребенка или взрослого, и везде, во всю ширь психологических изгибов и колебаний человека, он улавливает один основной закон, один категорический тон, которому, как тела—закону тяжести, подчинены все состояния человека—закон борьбы и страха за существование.

И раскрывая человеческую жизнь в ее подчинении и вечном сочетании с огромным законом, Никандров рисует живого, подлинного человека, каким мы его знаем, видим и слышим, каким мы его переживаем в себе. Человеческое не перестает быть человеческим в изображении Никандрова, хотя бы и была обнажена его животная, биологическая сторона.

Книгу открывает рассказ: «Береговой ветер». Два мальчика, ученики церковно-приходской школы, Санька и Митька, соблазнясь солнечным днем и береговым ветром, обещающим счастливый улов, отправляются, вместо скучной школы, на берег моря, проводят там весь день, к ночи возвращаются в город. Как жизнь природы (берег, море, морское дно, бродячая собака), так и смены и содержание душевных состояний обоих мальчиков подчинены суровому голосу борьбы. Мы видим, как инстинкт ребенка и охотника увлекает мальчиков на море, мы, вместе с ними, погружаемся в полусонную, дремотную, медлительно-бесконечную жизнь побережья.

Санька и Митька на берегу моря, по существу два дикаря. Сильный подчиняет себе слабого, слабый мстительно склонен к коварству (15, 19, 27). Вот они оба увлечены совсем атавистической погоней за воображаемой «дикой лисицей». Переживают животные восторги и соперничество в еде, в купанье, в ловле рыбы. Сообразно с удачей—неудачей, усталостью и нарастанием жизненной силы меняются и варьируют их психические выражения. Закон борьбы за существование управляет инстинктивными темами их разговоров, сменою чувств:

— Я первый ее заметил.

Санька молчал.

— Я первый ее заметил,—повторил Митька, и безжалостно глядел товарищу в глаза.

Санька скривил на своем лице больную улыбку и глухо, животом, проговорил:

— Зато я ее ловко саданул бы вот этим ножиком в бок...

Или:

Санька улыбнулся, мотнул головой и сказал:

— Я раз в такую погоду дельный кошель ершов взял, штук, может, пятьдесят, да все здоровые, отборные, прямо один к одному.

— А я раз в такую погоду трех горбылей на одну удочку вытащил, наверное, фунтов по пятнадцати каждый...

— А я раз...

— А я раз... и т. д. (Хвастовство, усиливающее тонус жизни, и жажда первенства особенно забавно выражены во время рыбной ловли: почин Митьки и т. д.)

Колебания от дружбы к ненависти, от вражды к спаянности в одно существо мастерски описаны автором.

— Дам—дам.

— Дай—дай.

— Чего же ты не бьешь?

— А ты чего не бьешь?

— Я вдарю, так ты полетишь.

— И я вдарю, так ты полетишь.

«В напряженной готовности они стояли глаза к глазам, ресницы к ресницам и, не мигая, глядели друг на друга в упор. Оттого, что они глядели долго, лица их стали казаться им необычайно большими и незнакомыми. И каждый из них боялся шевельнуть хотя одним членом, из опасения, чтобы тот великан, который стоит рядом, не принял бы это за попытку ударить».

Или:

«Крепко спаянные чувством страха, они представляли из себя одно тело, бегущее на четырех несогласованных ногах. Если им приходилось падать в ров или в яму, они падали оба и там, на дне ямы, судорожно хватающими руками, прежде всего искали в потемках друг друга...» «Но вот уже и что-то другое владеет ими: в минуты животного покоя, удовлетворенности, сытости и безопасности, они чувствуют великодушие и дружественность друг к другу, поддаются очарованию морем, в котором чуют что-то вечное и сильное» (21).

Наиболее выдержанным и крепким мы считаем рассказ: «Во всем дворе первая». Тому же непреложному закону борьбы подчинены и здесь люди, в семье, в человеческом общежитии. Быть первым, быть наиболее вооруженным, удачливым, сильным требует воля к жизни:

«С первого дня своего появления во дворе Катя, вопреки существовавшему там обычаю мыть полы раз в неделю, стала мыть их через день. Обитательницы почти всех пятидесяти квартир насторожились и, чтобы не оказаться позади, тоже начали мыть полы через день. Она ежедневно, и они ежедневно. Она с мылом, и они с мылом...» (41).

... — А у Люськи сегодня курица на второе.

— Ну, и иди к своей Люське и живи у ней, если там лучше,—заметила мать, и после минутного молчания, продолжала с раздражением: — Большое счастье: четверть курицы. Мы цельную купим на папины именины... И мы возьмем себе в субботу сосисок, на зло нашим врагам! (53).

Отношения детей: Юрки и Маруськи между собой и к матери, отношения Якова к жене и соседей к соседям—все вовлечено в орбиту того же всеобщего закона: меняющиеся психологические состояния на фоне бытовой обстановки и составляют богатое содержание рассказа. И подобно тому, как рассказ «Береговой ветер» богат прекрасными картинами моря—утреннего, дневного, вечернего,—четкими и веселыми, так что после чтения рассказа остается впечатление будто провели день на берегу моря, так и рассказ «Во всем дворе первая» ценен незабывающимися картинами семейного быта в рабочей слободе Романовке, быта, утесненного тяготой материальных недостатков, чрезмерного труда, бессмысленной и стихийной жестокостью нравов. Мастерски написаны образы Кати, Якова, Юрки, гостей; в особенности прекрасно очерчен, центральный в рассказе, образ Маруськи. Среди детских образов в нашей литературе он займет одно из первых мест.

В третьем рассказе «Горячая» Никандров живописует толпу, ищущую исцеления в яме, наполненной горячей морской водой, вытекающей из-под паровой мельницы «Наследников Самуила Файнштейна». Здесь уже не отдельные люди, не семья, а целое множество людей, подчиняясь также воле к жизни, закону борьбы и страха за жизнь, беззастенчиво и стихийно выражают свои надежды и опасения, наполняющие их мысли - слова.

Массовые сцены у Никандрова жизненны и колоритны, он знает и верно владеет народным языком и психологией, до такой стереоскопической четкости и ясности зарисовывает толпу, что кажется, что многие фигуры, речи и слова списаны им прямо с натуры.

Четвертый рассказ «Бывший студент» случайно дополняет книгу, некоторые места его бледны (гл. I и III до последней сцены), по содержанию он отходит в сторону от основной идеи книги.

Как художник-мастер, Никандров чистейший реалист. Он обладает счастливым свойством и высоким мастерством, когда за словами, ставшими опрозраченными и неощущаемыми—значит, настолько верно и метко и в меру взятыми,—видишь портреты, образы, обстанов-

ку, быт, жизнь людей и природы. Психолог он тонкий и сторожкий. Живописец искусный и сдержанный. На-ряду с отмеченной уже бледностью некоторых мест четвертого рассказа мы могли бы только указать на некоторую неполноту воплощенности в образе Саньки («Береговой ветер»), который взят автором и ощущается читателем прекрасно, но не вполне выдержан в речи («Вот море! За целое лето не помню такого моря. Так и застыло! Как масло!.. и т. д.», или: «Давай так,—предложил Санька,—до тех пор, пока не поймаем хорошую, крупную рыбу, до тех пор н е п р и к о с н е м с я д о е д ы» (13), или: «Вот и лови с т а к и м м а л ь ч и к о м пополам (14).

Отметим еще несколько, не взятых обратно, авторских самообнаружений или сомнительных сравнений:

«Санька... истязуя несчастную путовицу, пойманную на груди товарища...» (9).

«Около многочисленной компании черных камней...» (12).

... «На согнутых с просонок ногах» (?)

«Метко шлепал ему в лицо слова», и рядом: «вкусно выговаривал он» (9) (ослабление образа).

«Совершенно больной от пережитых волнений, он (ерш) уволокся к себе в траву (31).

«Сияя глазами, как звездами» (47).

«Осведомительно сияя»...

«У Кати от горячего чесалась голова, и она беспрестанно тыкала в нее, сквозь платок, в и л к о й».

«— Самовольничать? точно пушечный выстрел, вдруг разорвалось над ее головой» (43).

— «Из нее (наружной двери), как из пушечного жерла, кубарем вылетал кто-нибудь из детей».

... «картина наступившей осени, когда небо с м е р т е л ь н о б л е д н е е т» (113)... Это все мелочи, но тем более они бросаются в глаза на-ряду с выдержанным всегда, метким и точным языком автора.

Манера учитывать и строить психологию героев, в особенности детей, на инстинктивно-животных или стадных побуждениях сближает Никандрова с Рони Старшим («Власть улицы» и др.). Изображение рабоче-мещанской среды, человека в ожесточенной, стихийной, иногда бессмысленной вражде друг к другу, сближает Никандрова с М. Горьким («Детство» и др.). Но тут мы должны отметить огромную разницу: повествования Горького полны внутреннего бунта, боли, сострадания, гнева, величайшего стремления... Вещи Никандрова бесстрастны, спокойны, эпически равнодушны.

Петр Журов.

К. Тренев. Н а я р м а р к е. Рассказы. «Новая Москва» 1923 г., стр. 86.

Незадолго до революции мы были свидетелями зарождения новой народнической литературы. Начало ее можно видеть еще в «Мужиках» и «В овраге» Чехова, в рассказах Бунина позднейшей поры его творчества. Но то были случайные, пришлые со стороны наблюдатели и рассказчики деревенской были. Чехов жил вдали от народа и не мог доподлинно рассмотреть мужицкое море. Бунин привнес в изображение мужика, мужицкой жизни, наблюдаемой извне и со стороны, свои особые оценки и точки зрения художника культуртрегера, отпрыска старого барства, русского европейца. Надо было ждать, что народная нива, мужицкий мир, даст своих настоящих певцов и художников и через них скажет, страстно и неповторимо то, что до сих пор косно и глухо теснилось в мужицкой груди (нечто подобное мы имели в явлении Максима Горького). Но перед тем, как совершились бурные социально-экономические потрясения, в итоге своем, по нашему мнению, создающие опору для н а р о д н о й уже литературы, выступила фаланга писателей, тесно связанных происхождением, опытом, судьбой, творчеством с широкими народными массами. В творчестве их мы видим последний этап народнической литературы, в смену им выступят народные мастера. Один из этих последних народников, может быть, ближе других подошедший к народной литературе—К. Тренев.

От старой народнической литературы новую отличает сразу бросающееся в глаза приобретение: она несомненно ху-

дожественна. В ней нет публицистического элемента, нет желаемых иллюстраций к идеально определенным путям и устоям крестьянской жизни, нет интеллигентской или романтической идеализации. Живое и вольное реалистическое письмо, свежие и веселые тона, непринужденные положения, широкие панорамы, выторженные из жизни сцены и речи, оживотворенность изображаемого, в чем человек, труд, быт и природа слиты в многоцветную, звучащую, движущуюся гамму, художественная самоценность — все это счастливые приобретения новой народнической литературы. В ней мы имеем живую живопись народной жизни, живопись, которой, при случае не пренебрежет ни публицист, ни народный учитель.

Лучший в книге рассказ «Затерянная криница». Он написан наиболее просто и собранно. Изображаемая в нем жизнь заброшенного степного хутора, погибающего от засухи, от панской жадности, от темноты, кровно близка и раскрыта для взора и слуха художника. В рассказе поет его душа, его прошлое, воплотившееся в фигуры молчаливых мужиков, легковерных, мающихся баб, деревенских пророков и пророчиц, в светлую резьбу природы, в смену душных трагических настроений обреченной на голодную гибель деревни. Отчетливо и остро проведена роковая черта, отделяющая крестьянский мир и благополучное барское владение, огражденное гигантами тополями и крылатыми стражниками-черкесами. Старая жизнь воочию: неумолимая, жестокая «судьба»:

> «Солнце лило море горячего света на ободранные хаты и ослепительно сверкавшие поля, а в мужичьей душе было темно и холодно, как в заброшенной среди осеннего ненастья лачуге. Мужики шли молча, с потухшими глазами. Женщины рыдали над улетевшим счастьем, рыдали, что бесследно где-то затерялось на земле то место, за которое небо пощадило бы землю. Искали его и не нашли... И не переплыть и не перелететь теперь безбрежного мужичьего моря» (70).

Хорошо показана в рассказе встреча молодой нарождающейся в деревне силы—оживленных надеждами и верой в жизнь школяров и старого деревенского шамана Толстобрехи. К этому же рассказу, по простоте замысла и тонкого психологического письма, примыкает последний в книге рассказ: «Шесть недель». Художник соединил в одно полотно жизнь поля, деревни и осиротевшей семьи, нежно зарисовывая долгий след, который провела в душе каждого члена семьи смерть хозяйки-матери.

Картины деревенской жизни, крестьянской судьбы дополняются широкими перспективами рассказов: «В станице» и «На ярмарке». В них, на-ряду с жизненностью и художественностью в целом, в общем контуре изображаемой жизни и отдельных образов и сцен, выразились, в подборе персонажей, характерных деталей и штрихов, социальные симпатии автора.

В рассказе «В станице», искусно построенном, прекрасно исполненном, и широкой панораме прибрежных донских степей, в характерных картинах ленивой и неподвижной станичной жизни, свежо и ясно написаны типы и жизнь паразитирующих над деревней людей: станичного бакалейщика, войскового старшины и отдыхающего под'есаула. Но кажутся уже несколько подведенными типы халжи, труса и воздыхателя Евсея Марковича, усмирителя Тюрьморезова и легкомысленного героя Сиволобова. Самые имена их, как старинные Стародумы, Правдины, Миловзоры, говорят о некоторой задуманной схематичности этих образов.

Еще более нарочитого подбора второстепенных тем и мотивов, хотя и отвечающих некоторой об'ективной правде, но слишком сгущенных в пределах одного полотна, находим в рассказе: «На ярмарке». Вот голый перечень написанных или вскользь задетых мотивов:

1) Приказчик обвешивает дядю Охрима, принимая у него хлеб.

2) Торговец продает Охриму дрянной линючий платок.

3) Амнистированный погромщик Смалько, убивший когда-то доктора и учи-

тельницу, отбирает у Охрима, без всякого сопротивления с его стороны, почти всю выручку за хлеб.

4) Миша, исправников сын, неосторожно обращается с вырученными от лотереи деньгами.

5) Он же, с помощью старшего городового Путри, готовится овладеть крестьянской девушкой.

6) Отец Филарет морочит наивных баб, выменивая «святость» на холстину.

7) Городовой Птаха тащит намеченную Мишей девушку в полицию.

8) Земский порет в Высокой Слободе народ.

9) Предводитель дворянства фон-Гебунден затоптал лошадьми бабу и трех детей.

10) Помощник исправника Сударкин спускает с крыльца Народного Дома деда Терешку.

11) Он же бьет дядю Охрима...

Мы соглашаемся с нарастанием обиды, смуты и протеста в немотной душе Охрима, но самая форма вспышки этого протеста—он выбрасывает в лицо барышни пустые лотерейные билетики — кажется неубедительной. Испорчен образ деда Терешки, веселого и благодушного балагура. После довольно ядовитого разговора его с помощником исправника Сударкиным, в конце чего Сударкин спускает с лестницы Народного Дома деда Терешку, автор вдруг превращает Терешку в наивного заступника избиваемого бабами «исправникова Миши», в глуповатого почитателя «каблука» и кулачества отца Филарета (образ двоится). Волна народного гнева и движения, налетевшая на ярмарку, как дыхание свежего ветра, как огромная тень от легко несущегося облака, передана прекрасно. Но автор сам чувствует маломощность, стихийную случайность этой волны и как-то неопределенно обрывает рассказ.

Донская дореволюционная деревня, станичный крестьянский мир нашел в Треневе своего бытописателя. Письмо Тренева прозрачно, легко, выразительно, ясно. Лучше, когда оно проще и безыскуснее. Довольно часто Тренев пользуется приемом антропоморфической метафоры. Иногда, таким образом, ему удается получить удвоенную изобразительность: жанр и пейзаж помогают друг другу (стр. 48). Но такие образы, как:

«К Покрову небо вспомнило о земле; низко-низко наклонилось над нею и, видя, что все до времени умерло, заплакало скупыми, но назойливыми слезами старости...» (9), или: «Акации, прильнув в стенам, о чем-то неотступно шепчут в закрытые окна»... и так дальше (37), или: «И неслась по речке... Дашкина разгульная знойная песня, заставляя стыдливо шептатся прибрежные камыши...» (66), кажутся нам условными и невыразительными.

Петр Журов.

С. Под'ячев. На грани. Сборник рассказов. Издат. Наркомзема «Новая деревня», 1923 г. 158 стр.

Деревенский и мещанский быт на грани революции,—основная тема под'ячевских рассказов.

Деревенская беднота, прохвостигающие кулаки, спекулянты, духовенство, трактирщики и т. п.,—вот круг персонажей, которым замыкается книга.

В рассказе «Голодающие» есть пометка: «с натуры»; эту пометку нужно отнести ко всем рассказам, ибо они натуралистичны, почти фотографичны от начала и до конца.

Натуралистический подход выявляется и в диалогическом принципе построения рассказов.

Там, где нет диалогов, Под'ячев торопится, бежит к ним, пишет скупо, серо; по хроникерски.

«Весь приход православных «граждан» села Путилова и деревень (следует перечисление. Н. С.), по инициативе церковного старосты «Садилича», вынес постановление пригласить...» и т. д., или, «у Петра Ивановича Куркина пятый день болели зубы», это не те зубы, которые болели у Бен-Товита в день, когда на Голгофе был распят Христос,—это просто «зубы, как зубы». У Под'ячева материал не средство для создания художественных возможностей, а сам по себе, он костяк, на котором будут построены диалоги.

У Под'ячева нечего искать образов, четких эпитетов, определений, лирики, у него только быт в диалогах, диалоги, как быт.

И потому, когда он пытается дать образ, то звездное небо превращается в чашку, а в «дно чашки» набито «бесчисленное множество гвоздиков со светлыми головками». Сильно мудрено и совершенно безобразно.

Лучшие рассказы в сборнике: «Болящий», прекрасная маленькая вещица «Бог он я» и «Предупредили».

Нужно еще отметить, что Под'ячев не прячет своего отношения к описываемому, как это наблюдается особенно часто в нашей современной литературе.

Под'ячев, это — тот автор, в котором нуждается теперешняя деревня. Простой язык, подлинная жизненная правда, данная в свете современной идеологии, — качества, редко вместе встречающиеся.

К сожалению, о связи нашей литературы с провинцией существует одна печальная формула: если в современной литературе всегда можно найти деревню и редко большой город, то в нашей провинции, где нет больших городов, литературы нет никакой. Если этот пробел пополнять, то, конечно, в первую голову Под'ячевым.

Н. Спасский.

Я. Яковлев. Деревня, как она есть. (Очерки Никольской волости). Издательство «Красная Новь», Главполитпросвет, 1923 г., стр. 132.

Накануне XII партийного с'езда, по поручению Ц. К. Р. К. П. тов. Яковлев вместе с 9 статистиками и 4 коммунистами—крестьянскими работниками обследовал Никольскую волость Курской губернии. На основании собранного материала, опроса, наблюдений им была написана монография, заглавие которой выписано выше.

Монография тов. Яковлева несомненно обладает многими превосходными достоинствами, главное из которых состоит в умелом, мы сказали бы, в об'ективном подходе к современной деревне. Это, действительно, деревня, как она есть, без прикрас, без высоких громких загромождающих слов, без официального оптимизма и благодушия, но и без нервозности, без упадочности, уныния и резиньяции.

Монография удачно сочетает в себе трезвую наблюдательность и бесстрашие мысли с бодрой деловитостью, с уверенностью, что трудности будут преодолеваться, что «проклятые» вопросы деревенской действительности найдут свое надлежащее разрешение благодаря сторожкой и внимательной тактике коммунистической партии.

Автор довольно подробно останавливается на состоянии крестьянского хозяйства в революционную пору, на расслоении крестьянства в связи с новой экономической политикой, на появлении нового «чумазого» в деревне, на растущей зависимости от них неимущих и малоимущих,—на «недостатках», мягко выражаясь, нашего советского механизма в деревне, подкрепляя свои выводы обильным цифровым материалом и удачными характеристиками-портретами нынешнего крестьянства.

Еще больше уделено внимания общественному деревенскому быту. Вывод автора таков: «падение общественных моментов крестьянской жизни чрезвычайно характерно и стоит чрезвычайно большого внимания, ибо старая крестьянская общественность, во главе которой стоял поп, купец и кулак, не действует, не будет действовать и не хочет действовать, когда вопрос идет об организации школы, или пожарного обоза, или сохранения хлебозапасных магазинов. А новая общественность, которую может возглавлять коммунистическая организация и красноармейцы, вернувшиеся с фронта, — нарождается с громадным трудом. И партия и советское государство не делают еще той политической и культурной работы, без которой этой общественности не создать».

По вопросу об отношении середняцкого элемента к советской власти т. Яковлев вынес убеждение, что «в крестьянском сознании, очевидно, крепко засела связь между наличием земли в их руках и существованием советской власти», что

отнюдь не исключает широкого недовольства и даже озлобленности, раз только заходит речь о налогах, о дороговизне городских продуктов.

Книжка тов. Яковлева чрезвычайно ценна и полезна для каждого партийного работника, для партии в целом. С точки зрения практического подхода к делу смычки пролетариата с крестьянством. В рецензии нет возможности рассмотреть те мероприятия в самых различных областях крестьянской жизни, которые выдвигает автор. В целом они — разумны, неотложны, злободневно-необходимы. Но так же ценна работа тов. Яковлева и в других направлениях. Она нужна нашим газетным работникам, передовикам, корреспондентам и т. д., как наглядный пример того, как следует теперь, в 1923 г., подходить к деревне; над книжкой Яковлева надлежит призадуматься и нашим деревенским писателям,—одним для того, чтобы отойти от бунтарства, от интеллигентской повольщины, от махновщины, от пессимизма, чтобы разглядеть ту новую деревню, которая еще слаба очень, но растет,—другим—для того, чтобы перестать писать мало художественные агитки и вложить «персты свои в раны» нашей деревни, в наши раны и осветить в художественных образах и типах, в бытописаниях и очерках, деревню, как она есть.

А. Воронский.

Франц Юнг. Красная Неделя. Госиздат. Москва — Петроград 1923 г. 44 стр.

Маленькая книжечка повествует о кровавых событиях, разыгравшихся в одном из небольших заводских поселков Германии. Действие происходит в наши дни. В ближайшем городе идет вооруженная борьба за власть, и в эту борьбу постепенно втягиваются рабочие поселка. Они полны воодушевления, надежды, что борьба принесет им избавления от рабского положения,—они полны решительности и веры; но, как только правительственный кризис разрешился, новая власть тотчас же издала приказ повсюду восстановить силою оружия порядок и в первую очередь ударила по рабочим.

«В телеграмме нового правительства, которое только что спасли сами же рабочие, было ясно сказано: действовать беспощадно. Вечером было решено произвести основательную чистку рабочих поселений в окрестностях».

Итог. «Штаб карательного отряда расположился перед трактиром поселка... Всех арестованных разделили на группы, в десять человек в каждой... Группу главарей отделили и поставили к сараю. Выстроили всех в ряд, лицом к стене. Раздалась команда... Выступил взвод солдат и дал по осужденным ружейный залп».

Итог не новый. Хорошо известный.

Книжка прочтется, особенно рабочим, с большим интересом. Написана она просто, без патетических речей ораторов и теоретически-агитационных рассуждений о капитализме и социализме, чем страдают многие подобные произведения. Нет в книжке и героев, увлекающих массу. Герой — сама масса, и действует она не в романтически-героической обстановке, а в обычной. Повседневная жизнь нарушена, но она идет тут же, рядом с борьбой, без всяких пышных фраз и необычайных положений. Это придает произведению большую жизненную правду.

Рекомендуем его для библиотек, обслуживающих широкие массы.

Валерьян Полянский.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Коммунистический Манифест. С введением и примечаниями Д. Рязанова. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Библиотека научного социализма. Вып. I. Госиздат. 2-е доп. изд. 1923 г., стр. 343.

В 1923 г. истекает 75 лет со времени опубликования Коммунистического Манифеста—ясно, поэтому, насколько своевременным является комментирование переиздания этого бессмертного памятника, предпринятого Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса. Редактор Д. Рязанов совершенно правильно указывает в предисловии, что, как и всякий исторический документ, Коммунистический Манифест, при его непреходящих достоинствах, носит отпечаток своего времени и, п...

этому, может быть понят только в связи с той исторической эпохой, которая породила его. Целый ряд указанных в нем явлений отошли в область истории. В то же время он нуждается в многочисленных фактических дополнениях. Вот почему так настоятельно чувствуется нужда в подробном комментарии к Манифесту».

Составление исчерпывающего комментария к Коммунистическому Манифесту представляет, однако, необычайные трудности, об'ясняемые тем, что, давая программу всему международному движению, Манифест «сам является международнейшим произведением».

Для осуществления этой работы необходимо дать историю всех развитых в нем идей, на фоне социально-экономической жизни Англии и Франции в течение более столетия. Исходя из этих соображений, Д. Рязанов поставил себе гораздо более скромную задачу: дать не систематический комментарий, а лишь необходимые примечания к Манифесту.

Самому Манифесту предпосланы две статьи: Д. Рязанова: «Союз Коммунистов» и Ф. Энгельса «Революционные движения 1847 г.». Д. Рязанов дает сжатый и остроумный анализ очерка истории «Союза Коммунистов», данного Энгельсом в 1885 г., и устанавливает, что он представляет скорее «дидактический рассказ», написанный в поучение немецким социал-демократам 90-х г.г., нежели об'ективное историческое положение. Статья эта дает достаточный очерк истории возникновения Коммунистического Манифеста и остается лишь пожалеть, что она так коротка (21 стр.).

Останавливаться на отдельных примечаниях Д. Рязанова ко всем главам Манифеста (всего 63 номера), конечно, не представляется возможным. Мы имеем здесь экскурсы: чисто исторического характера (Крушение средневекового хозяйства и развитие меновой торговли, Политическое развитие буржуазии и т. п.), экономико-теоретические (К теории и истории кризисов, Труд и рабочая сила и др.), общеобразовательные (Капитализм и подчинение сил природы человеку и др.) и, наконец, историко-биографические. В своей совокупности эти примечания дают превосходный комментарий не только для индивидуального изучения Манифеста, но и для работы над ним в университетских семинариях.

Чрезвычайно ценными дополнениями ко второму изданию являются: первый номер «Коммунистического Журнала», вышедшего за несколько месяцев до Манифеста (в сентябре 1847 г.) и Устав Союза Коммунистов. Многочисленные и притом тщательно исполненные иллюстрации (портреты, заглавные страницы первых изданий Манифеста и Коммунистического журнала, факсимиле К. Маркса и Ф. Энгельса и др.)—чрезвычайно украшают книгу, являющуюся достойным памятником гениальному произведению К. Маркса и Ф. Энгельса.

В. Кряжин.

Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Издание под редакцией С. Я. Вольфсона. Издательство «Белтрестпечать». Минск 1923 г. 337 стр.

«Теории, которые содержат в себе очевидные истины, легко подвергаются вульгаризации»,—говорит Л. И. Аксельрод-Ортодокс в своих «Философских очерках». Этой участи не избежал и марксизм.

Что из себя представляет критика марксизма «суб'ективных социологов» девятисотых годов XIX в. в России, как не попытку вульгарной трактовки и беспредельного диллетантского извращения марксовой теории исторического материализма?

«Очевидность влияния экономического фактора, — говорит Л. И. Аксельрод-Ортодокс там же, — дает таким образом возможность получить поверхностное представление о марксизме, а это поверхностное представление делает диллетанта вульгарным противником этого сложного и всеоб'емлющего мировоззрения».

До появления в свет книги Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «суб'ективные социологи», во главе с Михай-

левским, Кареевым и К°, владычествовали над умами российской интеллигенции и революционной молодежи. Между 1891—1895 годами, в периодической печати развивается широкая кампания, развенчивающая исторический материализм и стремящаяся доказать его доктринерство, догматичность и научную несостоятельность. Просматривая сейчас страницы бесподобной полемики книги Плеханова, диву даешься поверхностности, самоуверенности и полнейшему непониманию критиков марксизма критикуемой ими теории и степени их влияния на современное поколение. Впервые Плеханов с присущим ему мастерством четко поставить вопрос, исследовать во всех деталях, всесторонне проанализировать его, вскрыл все противоречия и заблуждения своих противников, дал глубокое, классическое изложение исторического материализма. Неудивительно, что его книга была могучим марксистским громом в безоблачном идеалистическом небе. И по сегодняшний день эта работа Плеханова остается классической при изучении основ материалистического понимания истории.

Поводом к ее появлению была необходимость решительно и окончательно разделаться с российскими «суб'ективистами», причиной же — назревшая потребность в пропаганде и популяризации идеи марксизма в среде революционной интеллигенции и зарождавшегося рабочего движения.

В своей полемической части (почти треть книги) она ныне устарела и для читателя, неискушенного в вопросах развития марксизма в России, лишена той прелести, которую она имела для поколения 90-х годов.

С. Я. Вольфсон, неутомимый исследователь и популяризатор идей Плеханова, взял на себя труд дать современному читателю, в особенности рабочему-интеллигенту и учащемуся, эту работу в таком виде, чтобы она была вполне доступна для усвоения заключенного в ней богатого научного материала.

Вот что пишет С. Я. Вольфсон по этому поводу в своем предисловии: «Считая необходимым преодолеть это серьезное препятствие (полемическую часть. Р. П.), ставшее на пути усвоения современным читателем этого классического произведения марксистской литературы, я пытался отделить в книге научный материал от полемических мест и уже в таком виде предлагал ее студентам. Многократно повторенный опыт дал вполне удовлетворительные результаты.

Таким образом у меня возникла мысль, ныне реализованная Государственным трестом издательского отдела Белоруссии: выпустить книгу Плеханова, изданной в соответствии с указанным опытом, т.-е. напечатать ее двумя шрифтами—крупным и мелким.

Читатель, впервые приступающий к чтению произведения, может ограничиться лишь крупным шрифтом. Этого будет достаточно для того, чтобы он усвоил тот научный материал, который таится в работе Плеханова и который обогатит его основными знаниями в области исторического материализма. Читатель же, который пожелает постичь историческую ценность выступления Плеханова который пожелает изучить это мастерское выступление таким, каким оно вышло из-под пера автора, будет читать книгу целиком».

Надо признать, что в целом автор со своей работой справился хорошо и вышедшая под его редакцией работа Плеханова будет весьма полезным пособием для наших советских партийных школ и коммунистических университетов.

Книга снабжена ценными примечаниями и предисловием С. Я. Вольфсона, дающим правильную оценку труду Плеханова, вкратце знакомящим нас с позицией «суб'ективистов» и подытоживающим научное и историческое значение работы.

В итогах, вполне основательно отмечает С. Я. Вольфсон то положение, «что диалектический материализм не обломок левого гегелианства, а цельная научная теория». Этим по сегодняшний день грешат многие из нас, забывая то знаменитое замечание Маркса, которое он сделал в послесловии ко второму изданию

первого тома «Капитала»: «мой диалектический метод не только в корне отличен от гегелевского, но представляет полную его противоположность». Вокруг этого стержня, этой основной мысли вращается и вся работа Плеханова, (идеалистической немецкой философии, как известно, Плеханов уделяет в «К вопросу» большую и серьезную главу).

В смысле распределения материала крупным и мелким шрифтом, конечно, не всюду можно согласиться с редактором. Так, напр., полемику с «суб'ективными социологами» на стр. 39. 40, 45 смело можно было включить в мелкий шрифт. Это же замечание относится и к полемике с Михайловским и Кареевым, а именно, большая часть текста на стр. 81, 82, 110, 112, 156—180 просится в мелкий шрифт. На стр. 74 и др. наоборот, многое, включенное в мелкий шрифт, следует перевести в крупный. Речь здесь идет о раздутой «суб'ективистами» гегелевой триаде, вполне резонно развенчанной Плехановым, в смысле употребления ее, как довода. Однако коммунистическая молодежь и по сегодняшний день. особенно в наших советских провинциальных школах, ею серьезно увлекается, именно как доводом, не считая нужным искать эмпирического содержания.

Напрасно редактор не переводит на русский язык названий десятков трудов, сообщаемых Плехановым, в своих примечаниях. Можно было бы указать еще несколько тех или иных недочетов в редактировании, сводящихся почти исключительно к тому, что́ выделять крупным шрифтом и что́ мелким, однако, они будут столь несущественны и незначительны, что отмечать их здесь не место. Надо полагать, что при следующих изданиях редактор вновь подвергнет продуманному и тщательному просмотру труд Плеханова и мелкие эти недочеты устранит.

В целом надо признать работу С. Я. Вольфсона большой и плодотворной и появление в свет «К вопросу» под его редакцией вполне своевременным.

Р Пикель.

Проф. Л. Любимов. К у р с п о л и т и ч е с к о й э к о н о м и и. Том первый, выпуск первый. Госуд. Издат. 1923 г. Стр. 265.

Задача создания марксистских учебников по различным общественным наукам является в настоящее время чрезвычайно актуальной. В частности ощущается острая потребность в марксистском курсе политической экономии для высшей школы.

Выход первого выпуска курса Л. Любимова заслуживает, поэтому, внимания. В отличие от краткого курса А. Богданова и полного курса А. Богданова и И. Степанова, где политическая экономия растворена в истории хозяйства,— Л. Любимов устанавливает, что политическая экономия изучает производственно-трудовые отношения капиталистического строя и тем самым правильно ограничивает предмет изучения.

Учебник написан легко и местами даже увлекательно. Эта популярность достигнута, однако, в ряде глав в ущерб серьезности и научности изложения. Серьезным недостатком курса со стороны его формы мы считаем отсутствие в нем обобщающих определений и формулировок излагаемых законов, понятий, категорий. В этом отношении курс Л. Любимова повторяет ошибку курсов Богданова и Степанова, представляющих собою, по методу изложения, не учебные курсы, а книги для чтения. Буржуазные ученые (напр., Туган-Барановский) прекрасно понимали значение таких обобщающих определений и формулировок в деле облегчения уча́щимся усвоения курса и широко пользовались ими в учебных курсах. Такие определения и формулировки являются узловыми пунктами изложения каждого вопроса и облегчают тем самым усвоение курса.

Переходя к разбору курса по существу, — следует, прежде всего, отметить несерьезность, поверхностность вступления, посвященного предмету политической экономии. Автор, очевидно, не учитывает места и значения учения о товарном фетишизме в экономической системе марксизма. Товарному фетишизму автор посвящает всего 1½ поверхност-

ных странички при изложении теории стоимости. Между тем, действительным вступлением в политическую экономию является учение о товарном фетишизме и лишь на его основе предмет политической экономии может быть научно и обстоятельно выяснен. Такое изложение предмета политической экономии на основе учения о вещном характере экономических категорий облегчило бы переход к изложению методологии политической экономии и сделало бы возможным серьезный научный анализ учений, излагаемых в этом выпуске. Между тем, глава о методологии вовсе отсутствует. В обстоятельном курсе, каковым должен быть учебник для высшей школы, — отсутствие специального предварительного освещения методологии является крупным дефектом. Что глава о методологии отсутствует не случайно, доказывает характер изложения автором теории стоимости и теории цен производства: основное положение теории, что стоимость — общественное отношение—выявлено недостаточно выпукло и убедительно.

Чтобы доказать, что труд является субстанцией стоимости, — автор перебирает, процеживает все общие свойства товаров и приходит к трудовой теории стоимости методом исключения. Между тем, как это прекрасно выяснено Гильфердингом в его работе «Бэм-Баверк как критик Маркса»,—теория трудовой стоимости выводится не из анализа различных общих свойств товаров, а из анализа роли товара, как воплощения производственно-трудовых отношений, из анализа роли трудовой стоимости как регулятора распределения общественного труда между отраслями хозяйства. Став на путь доказательства методом исключения, Л. Любимов вульгаризирует теорию стоимости Маркса.

Значительным дефектом страдает также учение об абстрактном труде. Автор не выяснил в достаточной мере социального характера этой категории. Учение об общественно-необходимом времени изложено в курсе удачно. В учении о редукции автор выдвинул новое и интересное об'яснение высокой стоимости продуктов квалифицированного труда. Л. Любимов доказывает, что во всякой профессии, связанной с высокой квалификацией, весьма значительное число лиц не достигает по различным причинам необходимой степени совершенства и бросает профессию. Если это явление типично для данной профессии, то эта пропадающая масса труда воплощается в продуктах, создаваемых трудом тех лиц данной профессии, которые достигли совершенства, и повышает стоимость этих продуктов. Это об'яснение, предложенное Л. Любимовым, мы считаем убедительным лишь в применении к некоторым высоко-квалифицированным профессиям, связанным с большими материальными затратами или большим сроком обучения, или с индивидуальными способностями. Но даже в этих профессиях об'яснение Л. Любимова не исчерпывает причин высокой стоимости продуктов этих профессий. Что же касается отличий между трудом неквалифицированным и трудом средней квалификации то это об'яснение к ним неприменимо. При об'яснении этой категории отличий,—Л. Любимов не учел труда учителей, затрачиваемого на создание квалифицированной рабочей силы. Труд средней квалификации создает большую стоимость в силу того, что на создание квалифицированной рабочей силы затрачивается не только труд самого обучающегося, но и труд его учителей, — труд в свою очередь квалифицированный.

В отделе о стоимости последняя глава посвящена разбору ходячих возражений против трудовой теории стоимости. Автор рассматривает с точки зрения этой теории цены хлеба в урожайный и неурожайный год, сезонное и районное изменение цен, цены модных и немодных товаров, цену старого вина, редких монет, картин и т. д. Стремление Л. Любимова осветить все эти вопросы — следует приветствовать, ибо студентов—все эти «казусы» всегда сильно интересуют. Некоторые его рассуждения и решения (напр.: в случае со старым вином) являются, однако, сомнительными и малоубедительными. Вообще, все эти проблемы подлежат еще обсуждению в порядке дискуссии.

Не лишен ряда дефектов и второй отдел, посвященный теории денег. Крупным дефектом является, по нашему мнению, недостаточная разработка закона количества денег, необходимых товарному обращению. Как это прекрасно выяснено в работах И. Трахтенберга и Е. Преображенского этот закон является ключом к уразумению явлений денежного, — в особенности бумажно-денежного, — обращения. Между тем, Л. Любимов ограничился лишь приведением формулы и не выяснил роли различных факторов. Главы о бумажных деньгах поверхностны и недостаточно полны для учебника, предназначаемого для высшей школы. Автор лишь мимоходом выясняет природу кредитных денег, банкнот, ограничившись повторением Гильфердинга и Трахтенберга. Природы современного типа банкнот, являющихся официальными деньгами государств, автор не анализирует. Недостаточно ясна и убедительна, несмотря на свою пространность, критика теории денег Гильфердинга. Л. Любимовым не использована убедительная аргументация К. Каутского в его статье, посвященной критике теории денег Гильфердинга. Наконец, автор не рассматривает других школ и не уделяет новее внимания ряду других вопросов; при чем, — неясно выпускает ли он все это вовсе или подвергает рассмотрению в других выпусках. В общем же отдел о деньгах является по содержанию самым слабым в книге.

Отдел, посвященный теории прибавочной стоимости, в общем и целом удовлетворителен, хотя и слишком элементарен по своему содержанию. Теория цен производства изложена, по нашему мнению, удачно. Дефектом этого отдела является лишь недостаточное освещение, с методологической стороны вопроса о так называемом «противоречии». Кроме того, оба эти отдела страдают отмеченным нами выше дефектом книги, — отсутствием определений и формулировок.

Последний отдел книги посвящен экскурсам: автор подвергает в нем некоторые вопросы более детальному анализу. Экскурс о производительном труде односторонне развивает точку зрения, изложенную Марксом в ч. 1-й «Теории прибавочной стоимости». Несмотря на свою пространность, экскурс не уделяет абсолютно внимания противоречию между этой точкой зрения и точкой зрения, изложенной Марксом во 2-ом и 3-ем томах «Капитала» по вопросу о непроизводительности наемного труда, занятого в торговле. Экскурс этот в общем слаб и не лишен серьезных ошибок. В экскурсе об общественно-необходимом рабочем времени автор защищает т. н. техническую версию, названную им производственной,—охарактеризовав так называемую экономическую версию, как потребительскую. В экскурсе о природе прибыли кооперации автор обстоятельно критикует воззрения Туган-Барановского на этот вопрос и доказывает, что доход кооперации основан на прибавочной стоимости. Нам кажется, что все эти экскурсы, без ущерба содержанию, могли бы быть сокращены и за счет их сокращения следовало бы ввести несколько экскурсов на другие не менее важные темы, — как, например, экскурс о критике Туганом теории прибавочной стоимости и закона тенденции нормы прибыли к понижению,— экскурс о проблеме «противоречия» между 1-м и 3-м томом, — экскурс о критике Бэм-Баверком трудовой теории стоимости и т. п.

Заканчивая рецензию, мы считаем нужным подчеркнуть, что, несмотря на отмеченные нами дефекты,—курс Л. Любимова может и должен быть использован в качестве учебника в высшей школе. Ибо на-ряду с недостатками он имеет ряд бесспорных достоинств: ортодоксальность в трактовке вопросов, умелое расположение материала, легкость и увлекательность изложения и т. д. С особенной пользой он может быть использован как основной учебник, дополняемый по указанию преподавателя по ряду вопросов чтением соответственных работ других авторов. Рекомендуем его также и для самообразования. Заканчиваем пожеланием, чтоб автор при повторном издании этого выпуска устранил отмеченные дефекты и избегнул их в остальных выпусках курса. **В. Мотылев.**

Ежегодник Коминтерна. Справочная книга по истории международного рабочего, политического и профессионального движения, статистике и экономике всех стран мира на 1923 г. Изд. Коммунистического Интернационала. 1923 г. 1047 стр.

Вскоре после октябрьской революции наметилась потребность в Справочнике, который содержал бы совокупность экономических, политических и социально-общественных сведений, переработанных в духе революционно-марксистского мировоззрения. Было сделано несколько попыток создать марксистский или рабочий энциклопедический словарь, той же цели служили календари, выпущенные в 1920 г., изд. ВЦИК в Москве и Петербурге, которые являлись по существу сжатыми энциклопедиями, во многом чрезвычайно удачными.

Только что вышедший «Ежегодник Коминтерна» ставит своей прямой целью разрешить эту насущную задачу. Редакция Справочника указывает в предисловии что она имела в виду: «дать товарищам, перегруженным партийной работой, в наиболее планомерной форме, максимум сведений, необходимых им в повседневной деятельности», а также «сжато изложить сущность коммунистической точки зрения, согласно которой должно оценивать современные, столь запутанные во всем мире, взаимоотношения. Эта книга таким образом должна служить как для чтения, так и в качестве справочника».

Весь огромный сборник делится на три больших части: обзор международного положения (политического, хозяйственного и т. д.), обзор взаимоотношений Советских Республик и обзор положения в буржуазных странах. Несомненно, что редакция в общем чрезвычайно успешно разрешила поставленную перед ней трудную задачу и создала Справочник, являющийся по содержанию и по выдержанному коммунистическому подходу, **единственным не только для России, но и для Запада.**

Первая, Общая, часть Сборника распадается на следующие основные рубрики: международное рабочее движение (начиная с I-го Интернационала), профдвижение, положение рабочего класса, мировая экономическая жизнь, мировая политика и демографические заметки. Главную ценность этого отдела (так же, как и вообще всего Справочника) составляют многочисленные статистические таблицы, комментирующие по необходимости крайне сжатые статьи. Такие таблицы, как: «безработица» (в статье Е. Варга), потери в мировую войну или многие десятки сельскохозяйственных диаграмм— представляют огромную научно-демонстративную и одновременно политико-агитационную ценность. В отделе мировой политики очень удачно помещены главнейшие международные договоры (Версальский, Севрский и др.), к сожалению, в слишком сжатом изложении.

Второй, основной отдел, посвященный Советским Республикам, распадается на две большие рубрики: РСФСР и союзные автономные республики.

В ряде конспективных статей читатель знакомится с основными чертами государственного строя РСФСР, ее экономической жизнью, героической борьбой с контр-революцией, наконец, положением пролетариата. Написанные почти исключительно руководителями нашей политической и экономической жизни (Л. Красин, Л. Троцкий, А. Халатов, А. Луначарский) или специалистами (проф. А. Горев, Л. Крицман и др.), на основании неопубликованных данных, представленных различными Наркоматами, статьи эти представляют совершенно исключительный интерес.

Несколько слабее построен обзор государственно-экономической жизни автономных республик, составленный в значительной степени по устаревшим данным и притом чересчур конспективно.

Наконец, последний отдел посвящен буржуазным государствам, здесь мы имеем краткие характеристики политической жизни, хозяйства, социальных отношений и т. д. 60 самостоятельных государств и крупных колоний, при чем составители Справочника сумели даже включить такие политические новообразования, как Аравию, Сирию, Ирак и т. п.

Как и всякий первый опыт, рецензируемая книга, конечно, не лишена некоторых недостатков. Редакция, впрочем, оговаривает в предисловии большинство недочетов (напр., слабое освещение внешней политики, отсутствие сведений о западных партиях и т. д.), об'ясняя это новизной дела, отсутствием послевоенных проверенных статистических данных, часто абсентеизмом западных товарищей и т. п.

Наиболее крупными недочетами, помимо указанных, для нас представляются следующие: в отделе «Мировая экономическая жизнь» отсутствуют таблицы некоторых важных продуктов (напр., резины), некоторые же составлены слишком схематично. Напр., таблица добычи нефти занимает лишь одну страницу и совершенно не содержит цифровых данных добычи нефти в Южной Америке, французских колониях и т. д. Одновременно не дана таблица потребления нефти главнейшими государствами, между тем как этот вопрос является чуть ли не осью всей мировой политики.

Слишком сжато воспроизведены международные мирные договоры: так, напр., в изложении Севрского мирного договора почти ни слова не сказано о режиме проливов, о международной финансово-экономической комиссии в Турции, а между тем они как раз являлись основными частями этого важного документа.

В отделе, посвященном РСФСР, нет отчетов о состоянии флота воздушного и морского, нет краткого отчета о русской науке и искусстве (хотя бы за истекший год) и т. д. Отделу Автономные Республики совершенно необходимо предпослать статью о политической конструкции тех или иных областей, входящих в СССР, а именно: автономные области, автономные республики, независимые республики (социалистические и советские).

Самое название «автономные республики» совершенно неправильно применено к Украине, Бухаре, Хорезме, Грузии и др., так как они являются как раз «независимыми республиками», находящимися в союзных договорных отношениях с РСФСР. Эта вводная статья могла бы также включить постановку национального вопроса в практике и теории Р. К. П. и Советской России.

Наконец, что касается до буржуазных государств, то тут бросается в глаза невыдержанность самого распределения материала.

Так, напр., для Австралии есть рубрика «форма правления», для Аргентины «форма правления и государ. устройство», для Бельгии же почему-то отсутствует и та и другая рубрика. Для всякого Справочника, совершенно очевидно, должна быть выработана точная однородная схема, согласно которой и должен распределяться весь материал.

Во всяком случае, при наличии этих, а может быть и многих других недочетов, рецензируемая книга сохраняет все свое огромное значение первого политико-экономического, коммунистического Справочника, могущего выдержать сравнение с лучшими аналогичными западными изданиями, вроде: Statesman's Year Book, Labour Year Book и др. Справочник Коминтерна, несомненно, станет настольной книгой для всякого политического деятеля, журналиста и обществоведа.

В. Кряжин.

А. Н. Макаров. Лига Наций. Издат. Academia. Петербург. 78 стр.

«Лига является одним из достойных внимания проявлений современной нам культуры запада... Задуманная в годы жестокой войны, Лига Наций призвана была не только устроить мир, но и упрочить его на будущие времена, создать такой правопорядок, который уберег бы человечество в будущем от тех страданий, которое оно только пережило. Это основное задание Лиги в полной мере отразилось на тексте создавшего его договора».

Так характеризует автор книжки Лигу Наций, этот венец Версальского творения империалистов.

Но мало того, наш юрист—так он себя рекомендует—не ограничивается глубочайшим анализом настоящего, и вперив свой проницательный взор в историю былых

времен, он рисует картину мировой тоски, по «надгосударственной правовой организации человечества» и ее начало он видит в... пресловутом Священном Союзе 1815 г., созданном, как известно, для защиты монархии, борьбы с рабочим и национально-революционным движением угнетенных народов. Но по учено-юридической выкладке г. Макарова выходит, что союз «всецело обязан своим появлением религиозно - мистическому настроению Александра I». Продолжая в том же духе, автор, между прочим, причисляет к международным соглашениям для разрешения «культурных заданий» соглашение о защите промышленной собственности (1883 г.) и распространяется о «достижениях» пресловутой гаагской мирной конференции, инициатором которой был, как известно, не кто иной, как известный апостол мира... «наш» Николай II. Далее он отмечает, что Лига Наций «с честью продолжает оборванную войной культурную работу» и выражает удовлетворение, что «теперь это целое (надгосударственное) существует, анархическое... состояние позади».

Такие перлы нанизаны на каждую строчку книжки.

О взаимоотношениях между Лигой и Россией во всем трактате г. Макарова упоминается только вскользь, что Россия и Мексика, как государства, возглавляемые непризнанными правительствами, в Лигу приняты не были. И ни слова больше. У автора, нашедшего в своей душе столь прекрасные слова о тоске мира по «надгосударственной организации человечества», тут как будто вдруг иссякли творческая фантазия и чернила. Кто знает, может быть, у него и имеется кое-какие мысли и суждения на сей счет, но, видите ли, цензура одного из этих «непризнанных правительств»...

Правда, автор оговаривается, что Лига, как продукт Версальского договора, не идеал совершенства и что она «оказалась причастной к политически-преходящему, и в этом, конечно, ее реальная слабость». Бедная невинная дева Лига, — с ней приключилось «случайное» грехопадение, она «оказалась причастной» к бренной политике!..

Эта «критика» Лиги хуже похвал, ибо она затемняет принципиальную сторону вопроса — бессилие всяких Лиг обеспечить дело мира.

Здесь не место и бесполезно спорить против тяжелой «научно-юридической» аргументации ученого академика из книгоиздательства Academia. Достаточно только указать на следующее: всеми делами Лиги фактически управляет ее Совет, а в этот Совет входят, согласно договору (§ 4) пять представителей крупных держав-победительниц (Англия, Франция, Италия, Соед. Штаты и Япония) и 4 представителей от мелких держав-пешек (Бельгия, Бразилия, Испания и Греция). Таким образом самый устав Лиги санкционирует неограниченное полновластие грабителей-победителей.

Г-н Макаров указывает в предисловии к своей книжке, что взялся за ее составление, т. к. в «русской литературе о Лиге Наций нет решительно никаких работ». Разумеется, подобное заполнение этого пробела только ухудшает положение. Необходимо, чтобы одно из наших издательств выпустило небольшую книжку, которая дала бы читателю в должном освещении положительные сведения о Лиге Наций, истории ее возникновения, уставе, конструкции, отношения к рабочему вопросу и к Сов. России и т. д.

Это—неотложная задача.

М. Танин.

Антанта и Врангель. Сборник статей. Выпуск I. Госиздат. 1923 г. 260 стр.

Основным тезисом, выдвинутым бароном Врангелем в борьбе с Советской Россией, было:—«Все возможное должно быть сделано, чтобы удержать с помощью союзников, последний кусок несоветской России».

Это «все возможное» и было сделано. Заключалось оно в полном и совершенном погроме «последнего участка», при деятельном участии Антанты.

Поддержка белогвардейцев Антантой выражалась в присылке обмундирова-

ния, вооружения, попытках высадить десант, присылке своих инженеров для укрепления Перекопа, обстреле с судов побережья, переговорах о перемирии с советским правительством, с «гуманитарными» целями,—не дать возможность красным войскам уничтожить Врангеля в «Крымской мышеловке».

Разумеется, все это делалось Антантой не ради «прекрасных глаз» контр-революции. Антанта носилась с Врангелем как с писаной торбой потому, что Врангель обещал щедро расплатиться, предоставив с многих поколений рабочих и крестьян «Единой Неделимой России» драть по двадцать шкур.

Полное экономическое рабство нес договор Врангеля, заключенный с Францией.

И. Альф (П. Сеймович) в статье «Антанта и Врангель» приводит этот договор. Вот часть его:

«Передача Франции права эксплоатации всех железных дорог Евр. России на известный срок.

Передача взиманий таможенных и портовых пошлин во всех портах Черного и Азовского морей.

Предоставление Франции излишка хлеба на Украине и в Кубанской области.

Предоставление трех четвертей добычи нефти и бензина.

Передача четвертой части добытого угля в Донецком бассейне»... и т. д.

Передача и предоставление до бесконечности. Конечно, Антанта не кормилась обязательствами, а выкачивала из Крыма все и всякими способами. В конце концов забрала в «принудительную аренду», т.-е. попросту присвоила, часть флота, который был распродан Врангелем кому попало и как попало, под угрозой отобрания его «доблестными» союзниками, с одной стороны, а с другой, захвата его красными войсками.

Политика погрома крымского контр-революционного «оазиса», проводимая Врангелем,—жуткая картина опустошения, нанесенная краю белогвардейской саранчей; частично она установлена в статьях Я. Шафира — «Экономическая политика белых» и Л. Полярного—«Следы разгрома» в Северной Таврии; уничтоженные города,—Перекоп, Армянск, Геническ, попытки поджога Симферополя и прочие «культурные художества» вплоть до потопления не только артиллерии, но и конского состава, дабы он не попал в руки Красной армии. В конце книги приложены иллюстрации.

Знаменитая крымская панама с распродажей русского флота, под фиговым листочком «реализации негодного казенного имущества», учиненная Врангельскими незаурядными прохвостами, освещена в статье Л. Полярного.

Полное представление о Крыме в присно-памятные времена Врангелевщины дополняют статьи: Я. Шафира «Орловщина», С. Шгулова «Крымское подполье», Д. Маслова «Печать при Врангеле», П. Хвойнова «Рабочее движение и профсоюзы в Крыму в 1920 г.» и Григорьева (Генкер) «Татарский вопрос в Крыму».

Особенно интересна статья Д. Маслова о печати при Врангеле, с приведением текста белогвардейских газет,—подделок под «Бедноту».

Н. Спасский.

«КРАСНАЯ НОВЬ»

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ.

Выходит один раз в 1½—2 месяца книжками в 17—19 л.л.

ВЫШЛО 11 НОМЕРОВ.

Состав сотрудников:

Художественное слово.

В. Александровский, А. Аросев, Мих. Артамонов, Н. Асеев, Анна Баркова, Демьян Бедный, С. Бобров, Валерий Брюсов, Артем Веселый, Анна Веснина, В. В. Вересаев, Максимилиан Волошин, В. Волчанецкая, Иван Вольнов, Д. Выгодский, М. Герасимов, Ф. Гладков, Андрей Глоба, С. Городецкий, Максим Горький, А. Дроздов, И. Ерошин, С. Есенин, Мих. Зощенко, Ал. Зуев, Всев. Иванов, Вера Ильина, Вас. Казин, Ив. Касаткин, В. Кириллов, С. Клычков, Кл. Лаврова, Е. Лунц, Н. Ляшко, О. Мандельштам, А. Мариенгоф, В. Маяковский, В. Муйжель, Петр Мытарь, В. Нарбут, А. Неверов, П. Низовой, Н. Никитин, С. Обрадович, П. Орешин, Н. Павлович, Б. Пастернак, А. Перегудов, Б. Пильняк, В. Плетнев, С. Подьячев, Ел. Полонская, Н. Полетаев, А. Пришелец, П. Радимов, Лариса Рейснер, Ив. Рукавишников, С. Семенов, Д. Семеновский, Сергеев-Ценский, П. Сухотин, Н. Тихонов, А. Н. Толстой, К. Тренев, К. Федин, Е. Федоров, Ольга Форш, В. Ходасевич, А. Чапыгин, М. Шагинян, Г. Шенгели, М. Шимкевич, Вяч. Шишков, Эйдеман, Ил. Эренбург, А. Яковлев и др.

Политика, экономика, наука, критика, библиография.

Вл. Архангельский, Антропов, Б. Арватов, Н. Асеев, Л. Аксельрод (Ортодокс), В. Баженов, В. Базаров, С. Бобров, О. Бик, И. Бороздин, проф. Блажко, Н. Бухарин, Илья Вардин, А. Воронский, Евг. Варга, В. Ваганян, Б. Горев (Гольдман), С. Гусев, С. Городецкий, Карл Грасис, Ш. Двойлацкий, А. Деборин, Б. Завадовский, М. Завадовский, С. Ингулов, Н. Крупская, М. Кантор, Г. Кржижановский, П. С. Коган, В. Кураев, А. Канторович, Н. Ленин, А. Луначарский, Ю. Ларин, А. Лозовский, И. Майский, Н. Мещеряков, А. Меньшой, П. Месяцев, Милютин, З. Маркович, Нурмин, В. Невский, А. Неверов, М. Ольминский, Е. Преображенский, М. Павлович, Вяч. Полонский, Г. Пятаков, проф. Прянишников, М. Н. Покровский, Пржеборовский, Е. Пашуканис, Карл Радек, А. Реформатский, М. Рейснер, И. Рейснер, Д. Рязанов, М. Смит, Вл. Сарабьянов, В. Смушков, И. Степанов, В. Смирнов, Н. Суханов, П. Садыкер, Т. Сапожников, А. Тимирязев, Л. Троцкий, В. Фриче, Мих. Фрунзе, Фридеман, А. Хрящева, Клара Цеткин, С. Членов, Я. Шафир, А. Юрлов, Я. Яковлев и др.

Книга первая.

Всеволод Иванов. Партизаны. Рассказ.— *М. Пожарова.* Стихи.— *С. Подьячев.* „Голодающие". (С натуры). — *Д. Семеновский.* Современные частушки. — *Николай Колоколов.* Стихи. Политико-экономический отдел. *Н. Ленин.* О продовольственном налоге.— *Ш. Двойлацкий.* Накопление капитала и проблема империализма.— *К. Радек.* Третий год борьбы советской республики против мирового капитала.— *А. Хрящева.* К характеристике крестьянских хозяйств периода войны и революции.— *Н. Крупская.* Система Тэйлора и организация работы советских учреждений. Искусство и жизнь. *А. Луначарский.* Наши задачи в области художественной жизни.— *В. Фриче.* Ромэн Роллан. Отдел научно-популярный. *А. Тимирязев.* Периодическая система элементов Менделеева и современная физика. Научная хроника. *Вл. Архангельский.* Наши достижения в аэрогидродинамике.— *В. Баженов.* Успехи применения радио за границей. Внутри Советской России. *Е. Преображенский.* Новая полоса.— *И. Вардин.* „После Кронштадта". Иностранное обозрение. *М. Смит.* Производственные и социально-политические предпосылки забастовки английских углекопов.— *М. Павлович.* Кемалистское движение в Турции.— *М. Павлович.* С. Штаты и Советская Россия. Из прошлого. *Вяч. Полонский.* Вейтлинг и Бакунин. В порядке дискуссии. *М. Ольминский.* О книге т. Бухарина.— *Не-ревизионист.* О книге т. Бухарина.— *Н. Бухарин и Г. Пятаков.* Кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия. Из зарубежной прессы. *Н. Мещеряков.* „Наши за границей".— *А. Воронский.* Уэльс о Советской России. Критика и библиография. 1. *А. Воронский.* Об отшельниках, безумцах и бунтарях.— 2. *Нурмин.* Леонид Андреев. „Дневник сатаны".— 3. *А. Меньшой.* „Парализованные".— 4. *Нурмин.* Феликс Гра. „Террор".— 5. *А. В.* Распад идеологии.—6. *М. Кантор.* „Народное хозяйство", ежемес. экон. журнал.— 7. *Проф. Реформатский.* Наука и ее работники.—8. *Мих. Павлович.* Мих. Лемке „250 дней в царской ставке".— 9. *Я. Шафир.* Н. Ашешов. Софья Перовская.— 10. *Я. Ш.*

Книга вторая.

Книга третья.

Книга четвертая.

тики.—*К. Радек*. Пути русской революции (по поводу новой экономической политики). — *Милютин*. На экономические темы.—*А. Луначарский*. Достоевский как художник и мыслитель.—*В. Вересаев*. Художник жизни (о Л. Н. Толстом).—*В. Плетнев*. Некрасов и современность.—*С. Бобров*. Кони о Некрасове и Достоевском. **Внутри Советской России**. *Сарабьянов*. Кое-какие итоги нового курса.—*Демьян Бедный*. Курология. **Критика и библиография**. *П. Коган*. Литературные заметки (об Андрее Белом.)—*Сергей Городецкий*. Обзор областной поэзии.—*Цег*. „Самое главное".—*А. Тимирязев*. Обзор литературы о принципе относительности.—*Б. Арватов*. Общая эстетика.—*Ил. Вардин*. „Пролетарская Революция" № 1.—*Ил. Вардин*. Я. Яковлев „Русский анархизм". **Белая печать**. *С. Гусев*. О гражданской войне.—*И. Вардин*. Мелкое земледелие (о книге Чупрова).—*Орфик*. Мережковский. Царство антихриста.

Книга пятая.

Вячеслав Шишков. Вихрь (драма в 4-х действиях).—*Михаил Зощенко*. Лялька Пятьдесят (рассказ).—*Сергей Семенов*. Тиф (рассказ).—*Борис Пильняк*. Отрывки из романа „Голый Год".—*Всеволод Иванов*. Бронепоезд № 14.69 (повесть).—*В. Вересаев*. К Афродите (из гомеровых гимнов). -*Стихи*: Ольги Криницкой, М. Герасимова, П. Радимова.—*Бернард Шоу*. Диктатура пролетариата (с английского).—*М. Покровский*. Наши спецы в их собственном изображении.—*Ш. Дволайцкий*. Мировое хозяйство и кризис 1920—1921 г.г.—*В. Смирнов*. Наша экономическая политика.—*Н. Мещеряков*. Задачи современной кооперации.—*А. Воронский*. Советская Россия в освещении белого обозревателя.—*Н. Мещеряков*. Распад.—*П. С. Коган*. Памяти В. Г. Короленко.—*С. Бобров*. Символист Блок. **За рубежом**. *М. Павлович*. Вашингтонская конференция. **Внутри Советской России**. *П. Месяцев*. Сельско хозяйств. кризис.—*К*. В журнальном мире (хроника).—Проф. *Блажко*. Успехи астрономии.—Проф. *Пржеборовский*. Успехи химии в России.—*Демьян Бедный*. Басни.—*Сергей Городецкий*. Красномосковье (стихи). **Критика и библиография**. *Статьи и рецензии*: Нурмина, Боброва, М. Рейснера, М. Ш., Б. Завадовского, З. Марковича, В. Смушкова, З. Марковича.—*А. Воронский*. Из человеческих документов.—*Объявления*.

Книга шестая.

А. Чапыгин. „На лебяжьих озерах". Повесть.—*А. Аросев*. Недавние дни. Очерки.—*Анна Веснина*. Крест. Рассказ.—**Стихи**: *Сергей Есенин, Борис Пастернак, В. Казин, П. Радимов, Сергей Клычков, Д. Семеновский, П. Сухотин, Н. Полетаев, Мих. Герасимов, Г. Шенгели, Петр Орешин*.—*Ник. Суханов*. В июле 1917 года.—*С. Членов*. Германская революция и социал-демократия.—*А. Лозовский*. Мировое наступление капитала и единый пролетарский фронт. **Закат Европы**—I. *Карл Грасис*. Вехисты о Шпенглере.—II. *В. Базаров*. О. Шпенглер и его критики.—III. *Сергей Бобров*. Контуженный разум.—*Е. Преображенский*. Русский рубль за время войны и революции.—*А. Воронский*. Литературные отклики.—*М. Рейснер*. Старое и новое.—*Мих. Завадовский*. Аскания-Нова.—*П. Садыкер*. Войны будущего. **За рубежом**. *Мих. Павлович*. Генуэзская конференция. — *Клара Цеткин*. Железнодорожная забастовка в Германии. **Внутри Сов. России**. *С. Ингулов*. Заметки о голоде. **Литературные края**. *С. Бобров*. „Я, Николай Ставрогин..." *Н. Мещеряков*. Русские сменовеховцы.—*Нурмин*. В журнальном мире.—*О. Бик*. Литературные края.—*Объявления*.

Книга седьмая.

А. Неверов. Маленькие рассказы.—*Максимилиан Волошин*. Из поэмы „Путями Каина". Стихи.—*Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман.—Стихи: *Василий Казин, Мих. Герасимов, С. Обрадович*.—*Александр Зуев*. Смута. Бытовые очерки.—Стихи: *С. Есенин, И. Ерошин, С. Клычков, П. Радимов*.—*А. Аросев*. Недавние дни (окончание).—*Г. Шенгели, В. Маяковский, Н. Асеев, С. Бобров*.—*Л. Троцкий*. „Дело было в Испании" (по записной книжке).—*М. Н. Покровский*. Правда ли, что в России абсолютизм „существовал наперекор общественному развитию"?—*С. Членов*. Сумерки божков.—*Д. Рязанов*. Рикардо как человек и мыслитель.—*Г. Пятаков*. Философия современного империализма (этюд о Шпенглере).—*Фридеман*. О феномене Hegell'я. С предисловием *Б. Завадовского*.—*А. К. Тимирязев*. Внутри-атомная энергия. **Внутри Советской России**. *С. Ингулов*. На текущие темы.—*Н. Мещеряков*. Новое студенчество. **Литературные края**. *Ник. Асеев*. Письма о поэзии.—*П. С. Коган*. С. Есенин. **Критика и библиография**. Статьи и рецензии: *Н. Асеева, С. Боброва, А. Воронского, А. Неверова, А. Юрлова, А. Аросева, М. Н. Покровского, И. Степанова, С. Членова, К. Грасиса, Канторовича, Сапожникова и др*.—Объявления.

Книга восьмая.

Н. Тихонов. Сами. Стихи.—*Петр Орешин*. Квасок. Комиссарка. Стихи.—*В. Вересаев*. Из повести „В тупике".—*Ник. Асеев, Илья Эренбург, О. Мандельштам, В. Нарбут*. Стихи.—*Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман (продолжение).—*Елизавета Полонская*. *Василий Казин, Н. Полетаев*. Стихи.—*Ник. Никитин*. Из повести „Рвотный форт". *Владислав Ходасевич, Сергей Клычков*. Стихи.—*А. Зуев*. „Смута". Бытовые очерки (окон-

чание).—*С. Огурцов.* Частушки.—*С. Витте* „Покушение на мою жизнь" (из II тома „Воспоминаний").—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (из воспоминаний).—*Джон Гобсон.* Проблемы нового мира (с английского).—*М. Рубинштейн.* Борьба за нефть.—*А. Буцевич.* Высшая школа.—*В. Мотылев.* Об основных проблемах экономической теории социализма.—*В. В. Савич.* Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта.—*Н. Понятский.* Отповедь старого дарвиниста. **Литературные края.** *Н. Асеев.* По морю бумажному (журнальный обзор).—*А. Воронский.* Литературные силуэты. I. Б. Пильняк.—**Внутри Сов. России.** *Нурмин.* Процесс правых эс-эров. Критика и библиография. Рецензии *Н. С., А. Н-ва, Сергея Боброва, Марковича, Горева, Милютина, Канторовича, Б. Завадовского, Д. Хлебникова* и других авторов.—*В. Маяковский.* Хлебников.—*Объявления.*

Книга девятая.

Георгий Шенгели. Поручик Мертвецов. Стихи.—*Николай Тихонов.* Песня об отпускном солдате, Колымага и др. Стихи.—*В. Вересаев.* Два отрывка из повести „В тупике". *Вера Инбер, Вера Ильина, Владимир Нарбут.* Стихи.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Василий Казин, Петр Орешин, Дм. Семеновский.* Стихи.—*Ганс Сакс.* Фюнзингенский конокрад и вороватые крестьяне. Перевод Бориса Пастернак.—*Ольга Форш.* Африканский брат. Рассказ.—*Сергей Бобров.* Глаза свободы. Стихи.—*Александр Дроздов.* Бес. Рассказ.—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—*Карл Радек.* Что дала октябрьская революция.—*Е. Преображенский.* Крах капитализма в Европе.—*Рубинштейн.* Стиннес.—*Яковлева.* Общее положение профессионального образования в Р.С.Ф.С.Р.—*Я. Шатуновский.* Коммунизм в борьбе с голодом.—*А. Пюттер.* Голодная смерть. Пер. с немецкого Г. Азимова, с предисловием Б. Завадовского.—*К. Радек.* Генуэзская и Гаагская конференции.—**За рубежом.** *Мих. Павлович.* Японский империализм.—*П. Китайгородский.* Современная Ирландия.— **Литературные края.** *А. Воронский.* Литературные силуэты.—**Внутри Советской России.** *С. Ингулов.* Без помещиков.—**Критика и библиография.** Рецензии *А. А., А. Воронского, Б. Горева, А. К., В. Кряжина* и др.—*Объявления.*

Книга десятая.

И. Эренбург. Жизнь и гибель Николая Курбова (отрывок из романа).—*Мариэтта Шагинян.* Перемена. Быль.—*А. Чапыгин.* Чемер. Рассказ.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Н. Асеева, С. Колбасьева, Е. Полонской, Валентина Парнаха, А. Ширяевца, Петра Орешина, П. Незнамова, Сергея Клычкова, Г. Санникова* (стихи).—*Алексей Толстой.* Аэлита. Роман.—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—*П. Н. Дурново.* Записка Дурново со вступительной статьей Мих. Павловича.— *Л. И. Аксельрод (Ортодокс).* Курс лекций по историческому материализму. I. Возможны ли исторические законы.—*Н. Сретенский.* Людвиг Фейербах.—*В. Молотов.* На шестой год (к итогам и перспективам партийной работы).—*А. Немилов.* Успехи биологии в сов. России.—**Внутри Советской России.** *Вяч. Шишков.* „С котомкой" (путевые заметки).—**Литературные края.** *А. Воронский.* Литературные силуэты. Ш. Е. Замятин.—*Н. Смирнов.* По журнальным страницам.—**Библиография.** Рецензии *А. А., А. Воронского, С. Боброва, Э. Бика, А. Юрлова, С. Зорина, Мих. Павловича, А. Андреева, Рубинштейна* и др.—*Объявления.*

Книга одиннадцатая.

М. Горький. Автобиографические рассказы.—*Дм. Земляк, П. Незнамов, О. Мандельштам, Вера Инбер.* Стихи.—*Алексей Толстой.* „Аэлита". Роман (продолжение).—*С. Обрадович, А. Кусиков, П. Радимов, Сергей Клычков, В. Наседкин, Мих. Герасимов.* Стихи.—*Николай Огнев.* „Евразия". Повесть.—*Всев. Иванов.* „Голубые пески". Роман (продолжение).—*А. С. Мартынов.* Мои украинские впечатления и размышления.—*Л. И. Аксельрод (Ортодокс).* Курс лекций по историческому материализму. Лекция 2-ая.—*В. Смирнов.* Наше денежное обращение и пути его оздоровления.—*С. Членов.* Современный Берлин (впечатления).—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—**Внутри Советской России.** *Вяч. Шишков.* „С котомкой" (окончание).—**За рубежом.** *М. Павлович.* Русские события и угроза будущей войны.—*П. Китайгородский.* Власть нефти.—*Н. Бухарин.* По скучной дороге (ответ моим критикам).—**Литературные края** *А. Воронский.* Литературные заметки.—*М. Левидов.* Организованное упрощение культуры.—*В. Кряжин.* История одного отречения.—**Библиография.** Рецензии *Юрия Соболева, А. А. Неверова, М. Щанина, Ник. Смирнова, П. Сапожникова, Мих. Завадовского, Б. Завадовского, А. К.* и др.—*Объявления.*

Книга двенадцатая.

М. Горький. Автобиографические рассказы.—*Алексей Толстой.* Аэлита. Роман (окончание).—*Мариэтта Шагинян.* Перемена (продолжение).—*А. Малышкин.* Вокзалы. Повесть.—*А. Сигорский.* Плюшевая головка. Рассказ.—*А. Аросев.* Председатель. Повесть.—*Соколов-Микитов.* В лесу.—*М. Волошин, О. Мандельштам, В. Парнах, П. Радимов, С. Клычков, В. Ильина.* Стихи.—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (окончание).—*Н. Осинский.* Мировое хозяйство в оценке наших эконо-

мистов.—*А. Мартынов*. Великая историческая проверка (часть II).—*Ил. Вардин*. Либерализм—царизм—революция.—*Мих. Завадовский*. Этюд о К. Тимирязеве.—**Внутри Советской России.** *Ив. Вольнов*. Деревенская пестрядь.—**Литературные края.** *П. С. Коган*. Современная литература за рубежом.—*Сергей Бобров*. Лоскутья победы.—*А. Воронский*. Литературные отклики.—*Ник. Иорданский*. Между историей и политикой.—**Критика и библиография.** Рецензии *Юрия Соболева, А. А., С. Вольфсон, В. Кряжина, Б. Завадовского, Б. Андреева, Н. Николаева*.—*Объявления*.

Книга тринадцатая.

М. Горький. Автобиографические рассказы (продолж.).—*М. Пришвин*. Кощеева цепь—хроника. *А. Малышкин*. Вокзалы—повесть (окончание). *Вс. Иванов*. Голубые пески—роман (окончание). *Б. Пильняк*. Волки—рассказ. Стихи: *Р. Бехер, В. Брюсова, С. Клычкова, В. Инбер, Н. Антокольского*. *Л. И. Аксельрод (Ортодокс)*. Курс лекций по историческому материализму. Методологические основы социологии в их развитии. *И. Майский*. Демократическая контр-революция (окончание). *Ю. Ларин*. Деревня и бюджет. *Проф. Н. Иванцов*. Новый поход против Дарвина. *А. Мартынов*. Великая историческая проверка (продолж.) **Литературные края.** *Вяч. Полонский*. Заметки о культуре и некультурности. *П. С. Коган*. Заграничные литературные новинки. *Н. И. Иорданский*. Между историей и политикой. *А. Воронский*. О группе писателей „Кузница". **Из белой прессы.** *Георгий Виллиам*. Побежденные—очерки. **Библиография.** **Рецензии:** *П. Журова, Н. Смирнова, В. Кряжина, Ю. С-ва, Березина, Цинговатова, Б. Андреева, Б. Завадовского, Пинкевича и др.*

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Сретенский б., Милютинский пер., 5-й подъезд, 4-й этаж. Тел. 2-71-00.
Прием по понедельникам, средам и пятницам от 1 до 3 ч. дня.
Рукописи менее печатного листа не возвращаются.
Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.
Члены Ред. Коллегии { А. Бубнов. В. Смирнов.

Книгоиздательство „МАТЕРИАЛИСТ“.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“.

ежемесячный, философский и общественно-экономический журнал.

Год издания второй.

Выходит при ближайшем участии:
А. Деборина, В. Невского, Д. Рязанова, А. Тимирязева и др.
книгами не менее 12-ти листов.

На складе издательства имеются:
№ 3, № 7—8, 9—10, № 11—12 за 1922 г., № 1, и № 2—3, за 1923 г.

Вышел и поступил в продажу № 4—5.

Содержание: — **Д. Рязанов**—Вступительные замечания к статьям Маркса и Энгельса; **Ф. Энгельс**—Коммунисты и Карл Гейнцен; **К. Маркс**—Морализующая критика и критикующая мораль; **А. Деборин**—Вступительные замечания к статьям Дидро; Дидро Эпикурсизм; **Юринец**—Эдмунд Гуссерль; **Н. Корнилов** Современная психология и марксизм; **А. Тимирязев**—Диалектический метод и современное естествознание; **И. Стуков**—В плену у релятивизма; **А. Максимов**—Теория относительности и материализм; **И. Павлович**—Ленин, как разрушитель народничества; **Б. Шеболдаев**—Бабувизм и рабочие в Вел. Франц. Рев. **М. Покровский** О книге академика Лаппо-Данилевского; **В. Полянский**—О левом фронте в искусстве; **С. Кривцов**—В. В. Воровский; **В. Невский**—Ю. Мартов; **Э. Гольденберг**—Еще несколько слов об общественно-необходимом труде; **А. Мендельсон**—К вопросу о различных версиях в трактовке понятия „общественно-необходимый труд“; **В. Позняков**—Формула схемы простого воспроизводства;

Трибуна: **Н. Бабахан**—В защиту ленинизма; **Материалист**—Ответ Н. Бабахану;

Сообщения и заметки:

Библиография: **В. В-ян**—Национальный вопрос и Р. К. П.;

Отзывы о книгах: В. В-яна; Гр. Баммеля; В. В-яна; В. Румий; И. Вайнштейна; В. Семенченко, В. Мотылева; И. Л. Валер. Полянского; Ц. Фридлянда.

Вышла и поступила в продажу книга А. М. Деборина ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ личность и мировоззрение.

Содержание: Предисловие. I. Фейербах, как человек и мыслитель. II. Критика идеализма. III. Основные принципы философии Фейербаха. IV. Критика религии и обоснование атеизма: 1—Метод исследования. 2. Натуралистические религии. V. Духовные религии и критика христианства. VI. Проблема бессмертия. VII. Этические и общественные взгляды Фейербаха. VIII. Заключение.

Книга снабжена двумя портретами Л. Фейербаха—гравюры на дереве, работа Ив. Павлова. Стр. 360. Цена 1 руб. зол. по курсу Котир. Комиссии.

Адрес Конторы и Редакции Издательства—Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиженский пер., д., № 9, кв. 13, тел. 2-34-53.

Вышла и поступила в продажу книга ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ
Принципы материалистической теории познания. Перевод **Я. Вяткинд** с приложением статьи **А. М. Деборина** — „Людвиг Фейербах“.

Содержание: 1) **А. М. Деборин**—Л. Фейербах. 2) **Л. Фейербах**—Предварительные тезисы к реформе философии. 3) **Л. Фейербах**—Основоположения философии будущего.

Портрет Фейербаха—гравюра на дереве работы **Ив. Павлова**. Стр. 210. Цена 60 коп. зол. по курсу Котир. Комиссии.

Склады издания: Книгоиздат. „Московский Рабочий“—Б. Дмитровка, 15/а